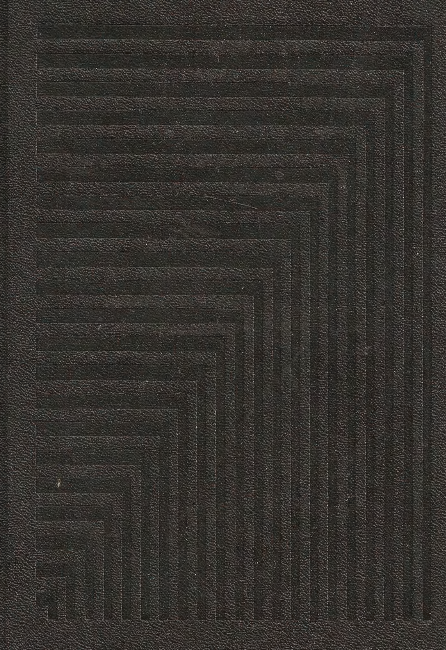
ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ





ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

МОЛОДОСТЬ С НАМИ

РОМАН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

Р2
К75

Оформление художника
А. ЛЕПЯТСКОГО

К $\frac{0732-229}{028(01)-74}$ Подп. изд.


Молодость с нами

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Безмолвно и медленно поднимались они на свой третий этаж: Павел Петрович впереди, Оля — на шаг отставая.

Точно так же вот, медленно, не сказав друг другу ни слова, разделенные этим скорбным шагом, отец и дочь прошли пешком через весь промерзший город от кладбища до дому. Над крышами крутил ветер с восточных озер, по хмурым улицам, заметая трамвайные пути, волочила хвост февральская поземка, хлестала в лицо, в колени, в спину. Оле казалось, что уличный холод добрался до сердца, что и оно застывает, как давно застыли руки и ноги,— вот стукнет еще раз и перестанет.

Броситься бы вверх по лестнице бегом, обогнать папу и, как всегда — первой, нажать на беленькую кнопочку звонка.

Но сегодня спешить незачем и некуда; сегодня никто не откроет дверь, в которую двадцать три года назад молоденькая мама впервые внесла на руках свою дочку, завернутую в розовое. Мама не доверила ее папе, потому что молодой папа, собираясь в родильный дом, надел новые ботинки и на осенних мокрых листьях всю дорогу оскальзывался.

Нет, совсем-совсем незачем спешить теперь к такой знакомой, такой родной двери, обитой коричневой клеенкой, на которой в ее, Олину, бытность, кажется, в седьмом,

а может быть, еще и в шестом классе, один озорной мальчик выцарапал булавкой: «Оля+Шурик=?»

Должно быть, и папу страшила пустая квартира. Дойдя до двери, на которой Оля вновь увидела так и не решенный вопрос, когда-то волновавший озорного мальчика, Павел Петрович остановился и долго, не шевелясь, стоял спиной к Оле. Оля машинально перечитывала тысячу раз читанные надписи на стенах, на перилах, на ступеньках лестницы. Дворники стирали и замазывали их каждую неделю, но надписи появлялись вновь: «Любка дрянь», «Любка дура», «Любка — козьи ножки». Этажом выше жил знаменитый тенор, и сумасшедшие почитательницы тенора до слез ненавидели его стареющую жену за то, что она мешала им врываться в его квартиру, не звала его к телефону и прямо на лестницу вытряхивала из почтового ящика письма в обрызганных духами конвертах.

Оля не заметила, когда Павел Петрович достал из кармана ключ и повернул его в замке,— она увидела распахнутую дверь и полосатую материю, которой было затянуто зеркало в передней. Павел Петрович обождал, пока Оля переступит порог, захлопнул дверь за собой и ушел в столовую. Оля заглянула туда. Непривычно сгорбленный, отец сидел в кресле возле окна, как был — в пальто, в шапке, в калошах. Воротник пальто поднят, верхний крючок застегнут,— за тем, чтобы всегда было так, много лет следила мама, беспокоясь о здоровье папы, который часто простужался. На шапке, на воротнике, на бровях этого родного-родного человека таяла снежная пыль, и по лицу, по щекам, отражая скупой вечерний свет, бежали мелкие капельки. Взгляд его был устремлен в спинку высокого стула, на котором, хозяйничая за столом и разливая чай, любила сидеть мама.

В доме было тепло, но Олю охватил озноб еще больший, чем на улице. Оля понимала, что должна бы кинуться к отцу, обнять его, утешить. Но она не могла сделать это, у нее не было для этого сил, она сама ждала, все время ждала откуда-то утешений: глубоко в сознании таилась надежда, что все это окажется вдруг неправдой, чьей-то злой, отвратительной шуткой.

Она прикрыла дверь в столовую, оставив там отца, ушла в кабинет и, тоже не раздеваясь,— в пальто, в вязаной шапочке, в ботах,— легла на холодный черный диван. В кабинете стоял сумрак от приспущенных штор,

снежная пыль скреблась за окнами, размеренно и не спеша постукивали большие часы в углу... Оля вновь услышала железный скрежет кладбищенских лопат и равнодушный грохот мерзлой земли о дерево, вошедший в ее сознание навеки. Она сжалась в комок на диване. Кто сказал, что ей, Оле, двадцать три года? Это же не так! Ей нет и десяти. Ей восемь... семь... Она возьмет и заплачет, закричит на весь дом, на весь мир, пусть все знают о ее страшном горе.

Но она так много плакала в минувшие дни, что уже не могла плакать, она могла только тихо стонать. Под этот стон она и задремала.

И вдруг...— да, да, не напрасно теплилась надежда: конечно же, все было неправдой, Оля так ведь и знала! — в передней громко зазвонил звонок — энергичный, резкий, его ни с чьим никогда не спутаешь. Это был мамин звонок.

«Мамочка, мамочка пришла!» — закричала Оля изо всех сил. И очнулась.

Звонил телефон на отцовском столе. Со стены перед столом на Олю смотрела мама. На улице зажгли фонарь, и в его колеблющемся свете мама была как живая. Это была совсем молодая мама: коротко стриженная, почти мальчик, в гимнастерке, которую и она и отец почему-то называли юнгштурмовкой, с широким ремнем через плечо, с комсомольским значком на карманчике. Казалось, мама встряхнула своей стриженой головой, высоко взлетели ее красивые брови, в глазах вспыхнули веселые синие искры.

Телефон звонил и звонил почти непрерывно, замолкая лишь на короткие минуты. По временам звонили и в передней, но совсем не условным маминым звонком. Поэтому ни она, Оля, ни Павел Петрович не шли отворять. Они никого не хотели видеть. Как только эти страшные мерзлые комья застучали о дерево, они, не сговариваясь, скрылись от всех родных, знакомых и друзей. Сейчас, конечно, друзья беспокоятся. Но неужели они думают, что в таком горе возможны какие-то утешения?

Оля встала с дивана, зажгла верхний свет и подошла к маминому портрету. Она принялась внимательно рассматривать каждую черточку на мамином лице. Так она рассматривала это бесконечно родное и милое лицо только в раннем детстве, когда не было на свете никого умнее и красивее, чем мама. Лет с пятнадцати или шестнадцати

Оля уже не подходила к маминому портрету так близко и уже не рассматривала его так внимательно, с таким обожанием и любовью. Кончилось это, кажется, именно в ту пору, когда один озорной мальчик нацарапал на дверях ту загадочную и волнующую формулу с плюсом и вопросительным знаком.

Ведь если вспомнить, с годами Оле в тягость становились мамины заботы и мамина опека. Оле надо было спешить на каток, в школу на вечер, куда пригласили мальчиков из соседней школы. Происходили встречи на уличных углах, велись полные глубочайшего значения, очень-очень важные разговоры; они заканчивались или долгими стояниями возле подъезда Олиного дома, когда нет никаких сил сказать друг другу «до свидания», или ссорами «навсегда».

Потом пошли институтские дела, более серьезные, чем школьные; все меньше и меньше Оля делилась ими с мамой, они все больше и больше заслоняли собой маму. Конечно, мама всегда оставалась мамой — самой любимой и родной, но обнаруживалось это почему-то только тогда, когда Оля заболевала и мама превращалась в сиделку возле ее постели, ставила на горло компрессы, записывала три раза в день температуру в тетрадку, в ночном полумраке подносила к сухим Олиным губам кружку с клюквенным морсом.

Оля болела редко, а здоровая, она считала, что мама существует для удобств ее, Олиной, жизни. Маме уже ничего не нужно, маме уже сорок лет, зачем маме такие туфли и платья, зачем маме в театр,— это ей, Оле, нужны наряды и развлечения, это ей нужен театр, потому что у нее, у Оли, молодость и вся жизнь впереди.

У Оли, бывало, собирались товарищи по институту. Оля перед этим ластилась к маме — мама готовила, пекла, жарила, мама хлопотала, как будто бы это к ней, к маме, придут гости, а не к Оле; мама красиво накрывала стол. И тогда Оля всячески старалась выпроводить из дому и маму и отца: они ей мешали. Оля видела по маминым глазам, что маме хотелось бы остаться в молодой компании, потанцевать, спеть. Разве фигурой, жизнерадостностью и даже вот этим милым лицом маму так уж легко было различить среди Олиных подруг?

Но Оля была жестока, она старалась не видеть маминых глаз.

Страшно подумать — она, Оля, радовалась, когда мама и отец уезжали на курорт. Она с нетерпением ждала такого дня, потому что с того дня она становилась хозяйкой в доме. Могла делать все, что ей вздумается.

— Мамочка, мамочка,— шептала Оля, проводя рукой по стеклу портрета, — если бы ты только вернулась... Только бы с тобой мы ходили в театр, только бы с тобой танцевали и пели, только бы ты, только ты одна и никто-никто другой мне никогда бы не был нужен. Мы бы вместе просиживали все вечера, мы бы рассказывали друг другу о себе все-все. Родненькая мамочка, ведь ты так мало знаешь о своей дочке, у нее такое множество всяческих тайн от тебя...

Оля отвела руку от холодящего стекла, как бы ожидая маминого ответа на свою мольбу. И ей показалось, что мама смотрит на нее с укором, будто бы говоря: «А много ли ты-то обо мне знаешь, дочка? Часто ли ты расспрашивала меня о моей жизни?»

Оля вздрогнула от глухого удара в окно. Она подошла, отогнула край шторы: к стеклу прилип комок снега. С еще более сильным стуком рядом с первым комком появился второй.

Внизу на мостовой Оля увидела темную фигуру; человек нагнулся, он, должно быть, собирал горстями снег для нового комка. Узнать, кто это, было невозможно,— на улице по-прежнему клубилась мелкая снежная пыль. Оля и не стремилась узнавать. Может быть, это Володя или Анатолий. Не все ли равно. Что им надо? Как люди не понимают!.. Оля тяжело вздохнула. Вспомнила обоих. И тот и другой, кажется, ей нравились когда-то. Но папа... Ах этот папа! «Не хочешь ли ты выйти за него замуж? — начнет он вдруг, заметив, что Оля слишком часто упоминает имя Володи или Анатолия. — Очень приятный молодой человек. Только что это у него с подбородком? Удивительный подбородок! Вот ведь каприз природы. Раздвоила парню подбородок природа. Извини меня, Олечка, но это не подбородок, а... как бы тебе сказать поделикатнее... Черт знает что!» Или про Анатолия скажет: «Довольно лопоухий товарищ. Он мне напоминает звукоуловительную установку на батарее у зенитчиков. А так вообще миляга, миляга».

Папа скажет — и все кончено. Смотрит Оля на Володю и не может глаз отвести от его подбородка, как будто Володя только и состоит что из этого подбородка с преда-

тельской ложбинкой. Смотрит на Анатолия, и тоже хоть плачь — нет Анатолия, есть звукоуловительная установка.

Папа почему-то даже мысли не выносил о том, что она, Оля, когда-нибудь может выйти замуж. «Это же ужасно! — говорил он маме с негодованием.— Будет штопать носки какому-то прыщеватому юнцу, гладить его засаленные штаны, варить ему вонючие рыбные селянки. Будет исполнять его дурацкие капризы. По какому праву? Почему? Почему она должна уйти из дому бог весть куда и всю жизнь слоняться следом за своим, извините, повелителем и кумиром?» — «Ну, а мы-то с тобой, Павлик? — отвечала с улыбкой мама.— Ты забыл уже, как было у нас, когда я штопала твои...»— «Мы! —возмущенно перебивал папа.— Нашла, что с чем сравнивать! Мы! Мы — совсем другое дело. У нас все было по-другому».

Лет восемь или десять назад Олю почему-то остро волновали папины и мамины отношения. Когда никого не было дома, она забиралась сюда, в отцовский кабинет, и отмыкала ключом вон ту левую тумбочку письменного стола, где, перевязанные шпагатом, хранились толстые пачки писем: от мамы к папе и от папы к маме. Среди конвертов попадались и фотографические снимки. С тех давних пор Оля не заглядывала в левую тумбочку папиного стола. «У нас все было по-другому»,— прозвучал в ее ушах голос отца, вновь напоминая о существовании этих писем и фотографических снимков. Выключив верхний свет, Оля села в кресло, зажгла лампу под зеленым абажуром, вытащила из стола первую затянутую шпагатом пачку — и тотчас на старый почтовый конверт из Олиных глаз с отчетливым стуком упали две слезины: адрес на конверте был надписан маминой милой рукой, родным маминым почерком, крупным и понятным, которым всегда писались все деловые записки Оле: «Суп и второе завернуты в твое одеяльце. Кушай. Вымой потом посуду», или: «Приду сегодня поздно, похозяйствуй, пожалуйста, за меня. Не оставь без обеда нашего папу».

Телефон продолжал звонить, снежные комья летели в окно, перед дверью на лестничной площадке стучали каблуками в кафельный пол, часы в углу кабинета отбивали время через каждые тридцать минут. Но Оля уже ничего не слышала. Старые письма и старые фотографии страница за страницей раскрывали перед Олей книгу жизни ее родителей.

Вот папино письмо военного времени. Папа пишет из Кенигсберга. Он пишет, что город еще в огне, что еще идут бои в центральных кварталах, но его дивизион уже вышел из боя, стоит на берегу какого-то озера, солдаты сбросили гимнастерки и студеной водой ранней весны смывают с себя пороховую копоть. Пусть мама извинит за грязную бумагу — это дым кенигсбергских пожарищ.

Письмо было бодрое, веселое. Оно заканчивалось словами папы о том, что теперь-то уж скоро войне конец, теперь-то он скоро вернется — «и тогда жизнь у нас пойдет! Всем на зависть». Оля хорошо помнила, как она и мама прыгали, прочитав это письмо, как вместе сочиняли ответ папе. Вот он, этот ответ, тоже здесь, в пачке. Сначала мама подробно сообщает о своих биологических делах, о том, как подвигается ее работа. А потом идет всякая фантастика: описание предполагаемой встречи после войны.

Получилось совсем иначе. Не было никакого белого коня и никакого оркестра, не было ни цветов, ни чепчиков, которые женщины должны были бросать в воздух при подходе поезда к перрону. Мама стояла в очереди за сахаром в коммерческом магазине, а папа — с чемоданом, с мешком за плечами — зашел в магазин, чтобы позвонить по телефону-автомату на мамину службу, потому что он уже побывал возле дверей квартиры, но никто ему не отворил. Мама услышала за своим плечом голос: «Гражданка Колосова!» — обернулась и — такая материалистка, последовательница академика Павлова, непримиримый борец против субъективизма в ее науке — упала в обморок.

Оля вытащила из середины пачки следующее письмо.

Точнее, это было не письмо, а памятка. Папа оставил ее маме, уходя на фронт. Он приказывал немедленно эвакуироваться в далекие тыловые области и увезти Олю. Известно, что мама не выполнила папин приказ. Она не уехала с институтом в Сибирь, она пошла врачом в госпиталь и ее, Олю, никуда от себя не отпустила.

В памятке было много всяких пунктов. Одни мама выполняла, о чем каждый раз считала нужным сообщить папе, а другие вот не выполняла, как папа ни сердился в письмах.

Дальше пошли письма или забытые Олей, или не понятые ею в детские годы, или совсем ей неизвестные. По этим письмам было видно, что папа и мама часто расста-

вались. Папа первым ехал в какой-нибудь город, там устраивался, потом к нему с маленькой Олей и еще меньшим Костей приезжала мама. Они побывали в Магнитогорске, в Харькове, в Челябинске, в Кузнецке. Они что-то строили, с кем-то ссорились, против кого-то боролись. Потом большей частью стал ездить один папа, потому что мама поступила учиться в медицинский институт. Папа приезжал только в отпуск и на зачетные сессии: он тоже учился, но учился заочно, на металлурга.

Папины и мамины письма следовало бы читать, держа перед глазами географическую карту и учебник новейшей истории: столько мелькало в них названий городов, столько упоминалось и комментировалось всяческих важных событий. Оля ни в одной книге не встречала, например, таких подробностей о коллективизации в деревне, про какие папа писал маме с Украины, куда он, молодой слесарь, ездил с бригадой рабочих.

Оля отыскала фотографию, на которой возле пузатого железного барабана, на дощатом помосте, были изображены мама и папа. Папа в комбинезоне, из карманов над коленками торчат инструменты. Сам в кепочке, сдвинутой на ухо. Улыбается во все лицо. Мама — в брезентовой аккуратной курточке, в складчатой юбке, в русских сапогах, волосы повязаны платочком. Тоненькая-тоненькая. И тоже улыбается, но сдержанно и гордо. Она — отметчица на бетономешалке, ей шестнадцать лет. Она уже три дня знакома с папой. Фотографирует их в обеденный перерыв папин друг, тоже слесарь, Федя Макаров. Все это маминой рукой написано на обороте карточки.

Письма того времени были истертые в карманах, ветхие, распадающиеся на клочки. Адрес на конвертах начинался словом: «Здесь». Папа писал что-то очень нервное, непонятное. Мама отвечала безразлично и холодно. Оля не могла не улыбнуться сквозь слезы, прочитав слова: «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я предлагаю: останемся друзьями». Ой, хитрая мамочка! Она, Оля, тоже так ответила однажды Анатолию, когда он заговорил о своих чувствах. Оля тоже прикинулась ничего не понимающей и подала ему руку «на дружбу».

Мамины и папины письма и совместные их фотографии начинались только с той поры, когда мама и папа встретились возле бетономешалки, ремонтировать которую был прислан слесарь Павлуша Колосов. До той поры

были фотографии отдельно мамины, отдельно папины. Оля не могла оторвать взгляда от большого снимка, где в тени вековых лип в две шеренги выстроились пионеры. В центре, под самым знаменем, справа от него, гордая маленькая девочка, с высоко поднятой головой, в белой блузке и в белых носочках, в коротенькой юбочке, едва до загорелых худеньких колен, с галстуком, повязанным по всем пионерским правилам,— она потом и Олю учила так повязывать галстук,— брови строгие. И у всех там под этим знаменем очень строгие лица. Они и песни в те времена пели какие-то очень строгие. Бывали вечера воспоминаний, когда мама и папа запевали свои пионерские и комсомольские песни. Почему, почему она, Оля, такими вечерами убегала в кино или просто с девочками на улицу? Вот и не вспомнишь теперь, что́ мама и папа пели про паровоз, который летит вперед и у которого остановка будет только в коммуне, что́ пели про Буденного и первого красного офицера товарища Ворошилова, про вороного коня, который должен был передать о том, что его хозяин честно погиб за рабочих...

Ничего-то она, Оля, толком не знала о своих родителях. Перед нею были их почетные грамоты, собранные в отдельную папку, похвальные листы, выписки из приказов, были слова: «За отличную работу», «За образцовое исполнение», «За большевистскую инициативу»... И все это Оля видела будто бы впервые; и не будто бы впервые, а совершенно определенно впервые своим обострившимся от горя сознанием ощущала маму и папу в их незаметных, но больших-больших делах. В какой-то один короткий миг все удивительное поколение Олиных родителей как бы сошлось вот сюда, под пионерское знамя, на котором было написано: «К борьбе за рабочее дело будьте готовы!» Поколение это предстало перед ней в образе одетой в белую блузку маленькой девочки с очень строгими бровями.

Оля опустила голову на раскиданные по столу бумаги и снимки. В эту минуту она бы не задумываясь отдала свою никому-никому не нужную, глупую жизнь, лишь бы только жила эта девочка, ее мама.

Пол в кабинете дрогнул. Что-то в доме грохнуло так, будто упала бомба. Оля выбежала в коридор, она испугалась: не с папой ли что-нибудь? За входными дверями, сквозь замочную скважину, слышался крик: «Откройте же, откройте, или буду ломать!» Голос был знакомый.

Оля отворила. В переднюю с топором в руках ворвался занесенный снегом Костя.

— Где мама? — крикнул он, расстегивая ремень и пуговицы на шинели. — Два часа стучу, звоню, швыряюсь снегом в окна! Топор вот у дворника взял. Где мама?

Оля стояла перед братом с опущенными руками. Ей хотелось броситься к нему, обнять его, прижаться к его плечу. Но она стояла неподвижно, и Костя закричал:

— Почему так поздно сообщили? Я вам этого никогда не прощу! Где отец?

Оля указала глазами на дверь столовой.

Не снимая зеленой пограничной фуражки, Костя шагнул в темную столовую, пошарил на стене и зажег свет. По полу бежали струи воды. Возле стола лежал самовар с отломанным краном. Павел Петрович стоял над ним с белым лицом. Увидев Костю, он сказал:

— Вот уронил в темноте... Как же быть-то, ребятки мои родные. Как быть?

2

После длинной недели вьюг и снегопадов воскресенье началось солнцем. Солнце разогнало вьюжную хмарь, над городом всплыли клубы медленных дымов, на подоконниках таяло, и к вечеру над окнами повисли длинные тонкие сосули.

Оля смотрела на них, и ей хотелось напомнить Косте о том времени, когда они вдвоем, тайно от родителей, с веселым хрустом грызли такие же отличные ледяшки и никогда не выдавали друг друга, если кто-нибудь после этого заболевал ангиной. Но Костя сидел возле дяди, маминого брата, полковника Бородина, который работает в разведке, и конечно же — можешь ему говорить, можешь не говорить, — он все равно ничего не услышит, потому что, встречаясь с дядей Васей, слушает только его, дядю Васю. Это под влиянием дяди Васиных рассказов Костя не пошел после окончания десятилетки ни в какой институт, а поступил в пограничное училище, стал лейтенантом и несколько месяцев назад уехал на границу. Даже в таком горе, от которого у Кости второй день подергивается щека, он все равно не позабыл своего дядю Васю. В глазах слезы, но смотрят глаза все на него, на дядю Васю.

Народу за столом было много. Как ни скрывались Колосовы от тех, кто хотел выразить им свое сочувствие, в воскресенье уже никуда скрыться было невозможно. С утра приходили и уходили подруги и товарищи Оли. К вечеру вот пошли друзья и сослуживцы папы и мамы. Перед всеми на столе стыл в чашках чай, налитый Олей, которая, выполнив свои хозяйские обязанности, ушла от стола к морозному окну. Места для нее за столом не хватило, все стулья были заняты. Кроме маминого. Мамин пустовал по общему безмолвному уговору.

— Не могу примириться, не могу, не могу! — подняв лицо кверху, с болью в голосе сказала Серафима Антоновна Шувалова.

Оле очень нравилась Серафима Антоновна и очень не нравился ее муж, Борис Владимирович Уральский. Все время, пока сидели за столом, он крутил ложкой в вазочке с вареньем и одну за другой курил длинные щегольские папиросы. Он молчал, в разговор не ввязывался, только кивал головой, как бы подтверждая слова Серафимы Антоновны.

Чему бы тут нравиться или не нравиться! И все же он Оле не нравился. Ей все в нем не нравилось. Уж очень вежлив, уж очень любезен. Говорили, что это профессиональная привычка: фотокорреспондент областной газеты! А фотокорреспондент должен быть вежливым и любезным, он должен производить на людей самое приятное впечатление, иначе люди на его снимках будут получаться мрачные и хмурые. Еще говорили о Борисе Владимировиче, что он красавец и что за эту красоту Серафима Антоновна его и полюбила. Оля могла только пожимать плечами от удивления: тоже — красота! Таких красавцев, сделанных из воска, выставляют в витринах парикмахерских. Правда, более молодых, чем Борис Владимирович, и у которых все зубы свои собственные, а не вставные. Оле никогда бы не могли понравиться этакие голубенькие, как незабудки, глаза, этакие шелковистенькие и, наверно, завитые щипцами, пышные волосы. Все это ненастоящее, выдуманное, притворное. Оле казалось, что Борис Владимирович всегда и во всем притворяется, что за внешней, профессиональной вежливостью и любезностью он прячет совсем другое, что доброта его показная, а дома он кричит на бедную Серафиму Антоновну и топает ногами.

Оле было жалко Серафиму Антоновну. В свои сорок семь или сорок восемь лет статная Серафима Антоновна выглядела удивительно молодо. Видимо, она очень следила за собой, ухаживала за кожей лица, подкрашивала в белый льняной цвет длинные волосы; была она вся аккуратная, собранная. Как только такая женщина могла терпеть возле себя противного Уральского?

— Ну, а кто же может примириться? — ответил Серафиме Антоновне полковник Бородин.

— Ученые примирились! — горячо воскликнул Костя.— Это позор! Нельзя, чтобы люди умирали в сорок лет.

— Костя! Костя! — сказал тихо Павел Петрович, подняв тяжелый взгляд на сына.

— Да, позор! — продолжал Костя.— Это что же? Через девятнадцать лет я должен умереть? А я еще и не жил!

— Кровоизлияние в мозг... Это далеко не с каждым случается,— сказал директор института, в котором работала мама.— И далеко не каждому угрожает.

— Тяжелое время... Враг в нескольких десятках километров. Бомбежки. Голод. Нервы...— заговорил Павел Петрович.— Я настаивал: уезжай из города, эвакуируйся. Нет, не поехала, отказалась... Вот последствия!

— Павел, ты не прав,— сказал Бородин и отхлебнул холодного чая.— Если так, значит, у всех, которые тут провели годы войны, можно считать, жизнь недолга? Нет, Павел. Сами вы неправильно вели себя с Леной. Вы только работали, работали и работали. Вы ничего вокруг себя не замечали — ни природы, ни литературы, ни искусства, которые созданы для человека. На один месяц в году съездить на курорт, и вот вам все заботы о собственном здоровье!

— Наука утверждает, что человек должен время от времени выключаться и переключаться,— неожиданно проговорил Уральский, закуривая новую папиросу.— То есть я хочу сказать, что человек должен переключать свой мозг и свои нервы. Взять, например, карты...

Шувалова посмотрела на него с явным неодобрением. Оля мысленно поблагодарила ее за этот взгляд.

— Какие карты! — Бородин сделал досадливый жест рукой, как бы отмахиваясь от слов Уральского.— Охотиться надо, рыбу ловить, ходить за грибами и за ягодами. Это естественно для человека, который и человеком-то стал в борьбе с природой.— Широкое, крупное свое

лицо он оборотил к Павлу Петровичу.— А вот интересно — вы были с Еленой хотя бы на одной выставке художников?

Оля слушала с удивлением и с некоторым негодованием. Дядя Вася работает чуть ли не по пятнадцать часов в сутки. Он сам, наверно, давным-давно не бывал ни на каких выставках.

— Дядя Вася,— запальчиво сказала она,— зачем вы укоряете папу и маму? Мы же все знаем, сколько у вас самих остается времени на развлечения. Мы же знаем, сколько вы спите.

Бородин посмотрел на племянницу долгим, внимательным взглядом, таким долгим, что, казалось, он видит вовсе и не ее. Потом расстегнул верхний крючок кителя и усмехнулся:

— А на то мы, такие вот, как твой дядя... да вот твой брат,— он положил тяжелую руку Косте на плечо,— и ночей не спим, чтобы вы как следует спали. Верно, Костюха?

Оля подошла к столу, присела на край Костиного стула. Начался спор о том, как жить, о цели жизни, об идеалах. Оля и Костя горячились. Бородин усмехался. Уральский поддакивал то одному, то другому. Присоединились к спору директор института, в котором работала мама, и два инженера — сослуживцы Павла Петровича. Некоторые ушли в кабинет курить. Стулья вокруг Павла Петровича освободились. На один из них тотчас пересела Серафима Антоновна.

— Дорогой Павел Петрович! — заговорила она вполголоса.— Если бы это было возможно, поверьте, я с величайшей готовностью приняла бы на себя ваше горе. Какая тяжелая, ничем не измеримая утрата...— Серафима Антоновна вздохнула, помолчала.— Павел Петрович,— заговорила она снова,— я не знаю, чем это вызвано, но мы с вами в последние годы были не очень дружны. Наши отношения большей частью ограничивались случайными производственными отношениями. Еще раз поверьте, я буду всегда рада видеть вас у себя дома. Вы найдете там человека, который поймет вас, постарается поддержать. Слышите?

Павел Петрович был искренне благодарен Шуваловой за ее сочувствие. «Конечно, конечно, — думал он, — в текучке жизни многого не замечаешь и много хорошего проходит мимо тебя». Ему вспоминалась предвоенная пора, когда он, молодой заводской инженер, ходил за по-

мощью в научно-исследовательский институт и повстречал там человека, понимавшего все его затруднения, чуткого, заботливого и предупредительного. Это была она, Серафима Антоновна. В те предвоенные годы она была очень красивой и очень привлекательной. Молодой Павел Петрович с немалым интересом поглядывал на нее, вдову ученого-металлурга, о которой товарищи говорили, что это тоже будущее светило в науке о металлах.

Серафима Антоновна охотно делилась в ту пору с Павлом Петровичем своим опытом исследовательской работы, она как бы взяла над ним негласное шефство. Задерживаясь иной раз после рабочего дня в институтских лабораториях, они рассказывали друг другу о себе. Павел Петрович узнал от Серафимы Антоновны историю всей ее жизни — историю того, как студентка, ученица известного ученого, влюбилась в своего учителя и стала его женой, как, не желая отставать от мужа, с упорством проникала в науку о металлах, искала своих собственных путей в этой науке и как ей это не удавалось.

Возвратясь с войны на завод, Павел Петрович поспешил восстановить свои связи с институтом. Там он вновь встретил Серафиму Антоновну. Но это была уже совсем другая Серафима Антоновна. Ему рассказали, что упорство и настойчивость этой женщины привели ее к желаемой цели. Орден и две золотые медали лауреата Сталинской премии с достаточной убедительностью свидетельствовали о том, что в Сибири, в Кузнецке, она поработала плодотворно.

При встрече Серафима Антоновна не выразила особой радости. Павлу Петровичу показалось даже, что разговаривает она с ним покровительственно, свысока. Это его обидело, навязываться Серафиме Антоновне он не стал, и их отношения с того дня,— Серафима Антоновна правильно сказала,— ограничивались чисто производственными интересами, поскольку и завод и институт разрабатывали общие проблемы сталеварения.

— Вы такой скрытный,— продолжала она.— Я почти ничего не знаю о вашей новой работе. До меня стороной дошло, что вы на заводе работаете над какой-то очень интересной проблемой. Что-то такое по поводу водорода в слитках.

— Почему же стороной? — возразил Павел Петрович.— О нашей работе писали в газетах, мой заместитель

делал о ней доклад у вас в институте. Но пока что хвастаться нечем, дальше предположений и разговоров дело-то не пошло.

Незаметно Серафима Антоновна вовлекла Павла Петровича в разговор о проблемах металлургии. Она вела этот разговор так, будто не она доктор технических наук и знаменитость, а он, Павел Петрович, будто он ее учитель, а она его ученица. Павел Петрович постепенно оживлялся. Но вдруг он умолк на полуслове. Серафима Антоновна проследила за его взглядом. Взгляд Павла Петровича был устремлен на посудное полотенце, которое висело над самоварным столиком. Серафима Антоновна не знала, конечно, что повешено оно туда еще руками хозяйки дома. Но она тоже умолкла, опустив голову, и так сидела возле него, разделяя его горе.

Около двенадцати все стали расходиться. Последними собрались Бородин с женой. Старший брат Олиной матери уже давно поседел с висков, но полнеть начал только по окончании войны. Где он пропадал в военные годы, не знал никто. За всю войну он появился перед родными только один раз, провел дома одну ночь, и его жена Екатерина Александровна рассказывала, что той ночью он дважды просыпался и щупал под подушкой браунинг. После войны больше чем на две, на три недели дядя Вася никуда не исчезал.

Пожав на прощание руку Павлу Петровичу, Бородин сказал:

— Крепись, Павлуша. Не сиди тут в одиночестве. На людях всегда легче — в любом горе, в любой беде. Поверь мне: худшее на свете, когда вокруг нет никого, к кому бы пойти в трудную минуту. Ты меня понял? Ну будь здоров, Павлуша, будь здоров, дружок!

Костя подал ему теплую кожаную шубу без погон. Уже затягивая пояс, Бородин спросил:

— Ну, как на границе?

— Сейчас тихо, дядя Вася,— ответил Костя.— Зимой всегда тише. Вот в октябре было...

— Гляди в оба, Костенька. И зимой всякое бывает. Особенно когда вьюга или сильный снегопад. Не разевай там рот.

Заперли дверь за Бородиными, погасили свет в столовой и в передней, перешли в кабинет, расселись кто на диване, кто в кресле. Сидели тихо-тихо. Прислушиваясь к стуку часов, каждый думал свое. И каждый посматри-

вал по временам на портрет той, которая, уйдя из дому, по-прежнему жила в нем и среди них. Она жила в каждой вещи, потому что каждой вещи еще совсем недавно касались ее руки и каждая вещь как бы еще хранила тепло этих рук.

Часы ударили половину первого. Не успел умолкнуть их густой медный голос, в передней послышался короткий звонок.

— Павел, ты меня извини, пожалуйста,— заговорил пришедший, разматывая зеленый шарф, — что поздно так, извини. Я бы не позвонил, если бы не свет в окне... С завода, понимаешь, еду.

— Чего ж в воскресенье-то на заводе? — Как ни тяжко было на душе у Павла Петровича, он не мог не улыбнуться при виде своего старого друга, Феди Макарова, того самого Феди, который когда-то возле остановившейся бетономешалки сфотографировал молодого слесаря и совсем молоденькую отметчицу и который был свидетелем их любви и первых дней семейной жизни.

Павел Петрович Колосов и Федор Иванович Макаров любили друг друга, часто друг о друге вспоминали, но встречались так редко, что от встречи до встречи иной раз проходили месяцы. Трудно даже сказать почему. То ли потому, что Павел Петрович в молодости много разъезжал по стране, а Макаров все сидел и сидел на одном заводе; то ли потому, что Павел Петрович все больше углублялся в производственную деятельность, а Макаров обрастал множеством все новых и новых общественных обязанностей. Года два или три назад производственная деятельность инженера Макарова вообще окончилась — его избрали секретарем партийного комитета машиностроительного завода. С тех пор встречались еще реже — за праздничными столами в ноябре и в мае да в дни рождений и в Новый год.

Федор Иванович и его жена Алевтина Иосифовна были на кладбище в день похорон Елены Сергеевны, но ни тот, ни другая к Павлу Петровичу не подошли. Павел Петрович их понял: они не верили в силу своих утешений.

— Да вот пришлось съездить на завод,— входя в кабинет, ответил Макаров на вопрос Павла Петровича.— Такая, знаешь, штука со мной приключилась... С завтрашнего дня забирают в райком. — Он сел на диван.

— Каким-нибудь отделом заведовать?

— Секретарем райкома меня выбрали, Павел.

— Да что ты!

— Верно. Вот сдавал сегодня дела своему заместителю. Понимаешь, ведь как получилось... Тогда, на конференции-то, прошлой весной, я был избран в члены райкома, на пленуме райкома выбрали в бюро. А тут вдруг ситуация: первого секретаря в обком забрали, второй секретарь третий месяц болеет, неизвестно еще, встанет ли, тяжелая болезнь...

Макаров смутился, покраснел и умолк. Ему показалось, что он допустил неслыханную оплошность, напомнив другу о болезнях и смертях. Он уже два дня назад вместе с Алевтиной Иосифовной порывался приехать к Колосовым, уже набрал было номер телефона, но так и не приехал и не позвонил. Теперь он решился и зашел, чтобы просто пожать руку Павлу, да и уйти. Так думалось. А получилось куда хуже. Неуклюже получилось.

Павел Петрович сделал вид, будто никакой оговорки и не было.

— Трудно тебе придется, Федя,— сказал он.

— Вот и я говорю: страшновато... сразу так...— Макаров потер локоть левой руки. Он был ранен в этот локоть, и, когда нервничал, у него всегда тут сильно зудило.— Третью ночь не сплю, кручусь с боку на бок. Худо-то работать не хочется, хочется — хорошо. А заводские масштабы по сравнению с тем, что предстоит... Разве сравнишь? Ты знаешь, какие в нашем районе учреждения, какие заводы, институты! Всех направлений и профилей! Вникни в специфику каждого из них. Какая нужна голова! Какие знания! А много ли их у меня, знаний-то, Павлуша? Как мы учились, наше поколение? Правда, уже не в бряцании боев, но и не так, как ныне учатся. Плоховато, в общем-то, учились; всякими бригадными методами. Один за всех отвечает, а мы сидим, как говорится, разиня рот.

— Что-то ты, Федя, преувеличиваешь,— сказал Павел Петрович.— Мне, например, кажется, что учились мы хорошо. Хорошее было время.

Они заговорили о прошлом, о молодости, вспоминали друзей, то и дело восклицая: «А ты помнишь?», «А ты не забыл?..».

Оля слушала, забравшись с ногами в кресло возле книжного шкафа, и вновь перед нею вставали дела поколения, к которому принадлежала ее мама.

Костя при появлении Макарова перешел с дивана в кресло за письменным столом и давно спал, положив голову на руки. Он видел белый, сверкающий под солнцем снег и на нем тревожную нить незнакомых следов. Чей-то голос говорил над ним: «Рот-то не разевай. И зимой всякое бывает. Ты это помнишь? Не забудешь?»

3

— Папа, за тобой приехали,— сказала Оля, выглянув в темное окно. Она накрывала на стол, и руки ее были заняты тарелками.

Павел Петрович тоже посмотрел на улицу, туда, вниз, где под не погашенным с ночи фонарем стоял маленький помятый «москвич».

С новой силой ощутил Павел Петрович постигшее его горе. В эти несколько траурных дней все разговоры, слова, мысли, действия вращались только возле нее, возле Елены, и от этого казалось, что она еще не совсем ушла, что она все еще где-то в доме, в его воздухе, в его тепле. Приезжали и заходили то директор, то главный инженер, то начальники цехов, то мастера и бригадиры,— Елена была здесь, потому что они приезжали и заходили ради нее, она жила в каждом их вопросе, в каждом их жесте и взгляде,— нет, она не умирала...

Но вот этот заводской автомобильчик под окном... Еще более одиноко, еще тоскливей, безысходней стало в сердце Павла Петровича. Он понял, что стоит ему выйти из дому, поехать на завод — и позади него беззвучно рухнет большой теплый мир, так старательно поддерживаемый всеми в осиротевшем доме, мир неушедшей Елены. Стоит уйти из дому — уйдет из него и это родное тепло, весь этот дорогой мир. Вернешься вечером — будет уже все не так, не так навеки.

Маленький заводской автомобильчик стоял там, под фонарем, на грани двух миров: прекрасного прошлого и сумрачного, зябкого будущего.

— Ольга,—сказал Павел Петрович просительно,— оставь свои тарелки. Поедешь со мной, там позавтракаешь.

Павел Петрович не сумел бы с какой-либо ясностью ответить на вопрос, зачем он зовет с собой Олю. Может быть, ему думалось, что если Оля будет при нем, все

время рядом с ним, то и тот большой светлый мир ее матери сохранится дольше...

Оля не стала задавать вопросов, выключила электрический кофейник, написала записку Косте, который еще спал, погасила свет в комнатах, оделась и ждала в передней, пока оденется Павел Петрович. Она поправила ему шарф, застегнула верхнюю пуговицу пальто, точь-в-точь как это делала мама, и они вышли к машине.

Павел Петрович поздоровался с шофером за руку, не сказав ни слова, сел возле него; Оля устроилась на заднем сиденье. Ей там было холодно, она ежилась. Все молчали. Оля, если наклониться сильно влево, видела в шоферском зеркальце лицо Павла Петровича с закрытыми глазами, а если вернуться на место — морщинистое лицо шофера, Ивана Николаевича. По временам Иван Николаевич шевелил губами, у него при этом подымалась левая бровь,— он что-то беззвучно говорил, тоже, наверно, слова утешения, а может быть, ругал злодейку судьбу или медицину.

Машина катилась в рассветной мгле по каким-то страшным и незнакомым улицам. Надо было проехать по проспекту Ленина через мост, к вокзалу, свернуть на улицу Куйбышева, и дальше почти прямой путь до завода отца. Так нет же, едут закоулками, мимо длинных темных заборов, трамвайных парков, через речки по дощатым зыбким мостикам. Ни короче, ни быстрее не получалось. Впрочем, не все ли равно, как и куда теперь ехать.

Олю нисколько не удивило, что отец зачем-то везет ее к себе на завод. Ну, везет и везет. Возил как-то раз, сразу после возвращения из армии. Ехали тогда долго, на трамвае, через весь город. Долго ходили по заводским дворам, по цехам, сидели в каких-то конторках в табачном синем дыму, и с кем бы ни встречались, с кем бы ни разговаривали, каждый раньше или позже спрашивал: «Это что же за невеста с тобой, Петрович?» И радостный Павел Петрович отвечал: «Уходил — чуть ли не в люльке оставил, а вот в десятый класс перешла». Оля при этом стояла в сторонке и сильно краснела, ей казалось, что все они, в том числе и отец, говорят про нее как-то слишком шуточно, по-нарочному.

С тех пор отец на завод ее не только не приглашал, а просто отказывался брать, хотя она, бывало, и просилась. Он отвечал: «К чему эти семейные экскурсии!»

— Ну вот, приехали! — сказал Иван Николаевич.

Оля даже вздрогнула от неожиданности. Она давным-давно позабыла не только, куда едет, но даже, что вообще едет.

— Паспорт у тебя с собой? — спросил Павел Петрович, выходя из машины.

Оля достала из портфельчика институтское удостоверение.

— Полагается паспорт,— сказал Павел Петрович строго.— Без паспорта нельзя.

Но для дочери инженера Колосова сделали, видимо, исключение, и вскоре из окошечка бюро пропусков на деревянном лотке выехали и Олино удостоверение, и голубой талончик пропуска.

На заводском дворе, под шеренгами промерзших старых тополей и вдоль разметенных метлами железнодорожных линий, громоздились сугробы грязного снега. За сугробами что-то очень визжало. Павел Петрович сказал, что это циркулярная пила. Когда стало тяжко ухать, так, что земля толкалась в подошвы ботинок, он сказал, что это паровой копер, который заколачивает сваи. Было еще множество различных других звуков,—еще что-то рокотало, пыхтело, будто бы втягивало в себя воздух, звякало и похрустывало. Неслышный за этими шумами, навстречу выкатил маленький паровозик с пузатой трубой. Он был приземистый, плечистый, окутывался паром, шипел, и с него, будто седые усы, свисали сосульки.

— Павлу Петровичу! Здравия желаем!

Из окна паровозной будки смотрело тоже седоусое, прокаленное морозом и окутанное табачным дымом стариковское лицо.

Павел Петрович кивнул в ответ.

Потом они поднялись на второй этаж старинного сумрачного здания с очень толстыми стенами, такими толстыми, что окна в них были подобны крепостным бойницам. Французским ключом Павел Петрович отомкнул в длинном коридоре одну из фанерных дверей, на которой была табличка: «Главный металлург». Это был отцовский кабинет, в нем стояли большой письменный стол, кожаный диван, два глубоких кресла и несколько стульев вдоль стен; на стенах висело множество диаграмм и фотографий чего-то вроде каналов на Марсе или лунных кратеров.

Оля села в углу на диван. Павел Петрович сел за стол возле окна. Видимо, сквозь фанерные стены хорошо были слышны и шаги и звук отодвигаемого кресла, потому что

уже через минуту в кабинет один за другим стали входить люди. Они буднично здоровались с Павлом Петровичем, буднично раскладывали перед ним бумаги, ведомости, рапортички, ни о чем не расспрашивали, ничего не высказывали; то ли они делали вид, то ли и в самом деле им так казалось, будто ничто в жизни инженера Колосова не изменилось, будто он и не отсутствовал пять долгих дней, а вот ушел вчера — и сегодня вернулся в этот кабинет к привычным делам и заботам.

Время шло, электрические часы на стене отщелкивали каждую минуту, люди в кабинете сменялись, звонили телефоны, Павел Петрович разговаривал то с тем, то с другим, куда-то выходил, возвращался. А Оля все сидела на диване. Отец о ней позабыл. Вот уже полтора часа, как он на нее ни разу не взглянул. У нее по щекам бежали слезы, сдержать их она не могла, как ни старалась, они текли и текли, стало мокро под подбородком и очень больно там, где сердце. Может быть, оттого, что она не сняла пальто в таком жарком помещении. Она принялась было расстегивать крючки, но ее остановили слова Павла Петровича. Павел Петрович отчетливо и раздраженно говорил в трубку телефона:

— В брак? Все сорок тонн? Этого быть не может! Но вы же знаете, что в эти дни я... у меня... ну ладно, ладно, хорошо. Разберемся.

Он швырнул трубку на аппарат и постучал кулаком в задребезжавшую стену.

Вошел маленький рыжеватый старичок, у которого не только лицо, но и шея были в густых веснушках; из-под белых бровей и ресниц смотрели сердитые глаза.

— Константин Константинович! — встретил его Павел Петрович. — Мне только что...

— Я слышал, — перебил старичок. — Увы, Павел Петрович, увы! И нечего тут разбираться, виновники брака мы. Морозов что-то такое перемудрил, а тут еще и Уткин...

— Я же сто раз говорил, зачем допускаете к ответственным плавкам всяких недотеп! Я же тысячу раз предупреждал...

— Извините,— снова перебил старичок.— Вы насчет обратного предупреждали, Павел Петрович. Чтобы никаких препятствий экспериментаторам.

Оля видела, как Павел Петрович опустил голову над столом, досадливо потирая лоб ладонью и морщась, будто у него там, во лбу, сильно болело.

— Ну и что? — спросил он.

— А то: полагаю, перегрели металл в восстановительный период. Избыток водорода. Флокены.

— А марка-то, марка какая? Из инструментальных, что ли?

— Марочка, Павел Петрович...— Старичок настороженно оглянулся на Олю и что-то быстро шепнул в ухо Павлу Петровичу.

— Какая неприятность! — сказал Павел Петрович.

Оля подумала о нем в эту минуту: «Какой ты странный, отец! Неужели в таком горе для тебя может существовать еще что-то волнующее и заботящее тебя? Неужели ты способен понимать сейчас какие-то марки, плавки, флокены? Папа, папа!.. Ведь мы потеряли нашу маму. Папа!..»

Павел Петрович тем временем стал надевать пальто. Старичок тотчас вышел за дверь. Павел Петрович не успел еще застегнуть пуговицы, а он уже появился вновь в плотной шубе с круглым, очень похожим на женский, черным воротником, в островерхой высоченной шапке из такого же черного меха; ноги у него прямо с ботинками были сунуты в валенки, обрезанные наподобие калош.

Оля побоялась одна остаться в пустом кабинете: неизвестно, сколько тут придется сидеть в тоскливом одиночестве: она вышла вслед за Павлом Петровичем и старичком, которого Павел Петрович называл Константином Константиновичем, шла позади них по шпалам заводских путей, скользя и спотыкаясь. Отец и Константин Константинович о чем-то спорили,— Оля не вслушивалась, о чем; она только смутно сознавала, что между этими людьми согласия нет, и еще в ее памяти возникло далекое воспоминание: Константин Константинович? Это, кажется, папин заместитель.

Дорогу перегородил давешний плечистый паровозик. Переходя по стрелкам с одного пути на другой, он толкал своей стариковской грудью две платформы с обломками металла, на которых мелко сверкала в косом солнце голубоватая изморозь.

Так, за паровозиком, и прошли сквозь распахнутые настежь ворота в сталелитейный цех.

Павел Петрович и его маленький сердитый заместитель завернули за какие-то глыбы металла и сразу же исчезли. Оля тоже хотела завернуть за эти глыбы, — навстречу ей, тесня ее в сторону, оттуда медленно выползла платформа с изложницами. Оля двинулась меж металли-

ческих нагромождений угловатых форм,— над нею резко ударил громкий колокол: мостовой кран нес огромный ковш, над которым плескались языки горящего газа. Оля отступила, прижалась к кирпичной стене, пропуская спешащих людей — в пиджаках, в шубах, в кепках, в шапках, с бумагами и без бумаг в руках.

Цех был огромный, дальний его конец тонул в мареве, и все же в нем было тесно, так тесно, что еще один лишний человек, она, Оля, не находил тут себе места. В среднем, самом высоком пролете стояли мартеновские печи— сооружения этажа в три высотой. В верхних этажах у них, за стальными заслонками, стараясь вырваться наружу, с ревом металось рыжее пламя. Там вверху, на рабочих площадках, обнесенных перильцами, стояли и ходили люди. Оля увидела отца на одной из площадок. Павел Петрович размахивал рукой перед лицом какого-то толстяка в кепке. Оля поняла: отец волнуется. Она подумала: зачем он ее сюда привел — слушать этот оглушающий грохот, тесниться в углах, мешать людям? А потом подумала: так он же ее сюда и не вел, он оставил ее в своем рабочем кабинете.

Она не дивилась растерянно и бессмысленно на заводские чудеса. Дочь металлурга прекрасно знала, что огромнейшее стальное ведро, которое несет кран,— это разливочный ковш, и что есть ковши, вмещающие до двухсот тонн расплавленного металла; что чугунные, пустые внутри, граненые тумбы — это изложницы; в них из ковша разливают сталь, она там застывает и в виде таких граненых слитков идет в прокатку или в поковку. Оля знала это по книгам, по рисункам, по фотографиям, по рассказам отца, по киножурналам, по картинам художников и даже по рассказам мамы. Мама с первых дней сознательной жизни Оли и Кости внушала им, детям, любовь и уважение к профессии их отца. «Это самая главная и самая благородная профессия»,— говорила она. Оля вспомнила, что мама в молодости перебывавшая с папой на множестве заводов, — на этом заводе, в этом цехе так ведь и не была. Папа все обещал ее привезти сюда, а вот и не собрался.

Оля не заметила, когда ушла со своего места у стены; она очнулась только возле чего-то похожего на самовар паровозных размеров. У этого круглого сооружения, как и у самовара, из трубы валили пламя и дым. Оля подумала, что, наверно, это электропечь. Вот три толстых,

подобных бревнам, угольных электрода, которые опущены через свод; вот стеклянная будочка, в которой, регулируя ток, возле приборов стоит девушка в синем халате.

Внутри печи выло от электрических дуг, рокотало от кипения стали. Сталевар открыл заслонку, и из квадратного окна вырвался нестерпимый жар; жмуря глаза, Оля увидела внутренность печи — в ней стоял ослепительный белый свет.

Сталевар взял поданную подручным ложку на длинном черенке, покопался ею в печи, вытащил полную огненного металла и быстро наполнил им чугунный стаканчик и прямоугольную формочку, которые подставил ему на чугунную тумбу второй подручный.

Стаканчик, когда сталь в нем потускнела и перестала метать искорки, куда-то унесли, а брусочек, вынутый из прямоугольной формы, сталевар взял клещами и опустил в бочку с водой, а потом на стальной плите переломил ударом молота. Он поднял обломки, осмотрел места излома, сказал что-то первому подручному, тот подал ему лопату, печь снова открыли, и сталевар, швырнув в пламя несколько лопат бурого порошка, размешал его там длинной кочережкой. Делал он все это, опустив на глаза поля войлочной шляпы, в которые были вставлены синие защитные стекла.

Покончив с печью, сталевар поднял шляпу с глаз, утер лицо прожженной рукавицей, погасил тлеющую искорку на таких же прожженных брезентовых брюках и улыбнулся Оле.

— Интересуетесь? — сказал он, подойдя ближе.— Из института?

— Да,— ответила Оля. Ей не хотелось объяснять, кто она и зачем здесь.

— Трудная плавка,— говорил сталевар.— Опытную марку варим.

Приняв Олю за студентку металлургического института, он стал объяснять ей, как и зачем берутся эти пробы в стаканчик и в брусок, что плюшка — тоже проба, кусок стали, расплющенной молотом в лепешку; надо, чтобы края ее получились без трещин, которые он называл рванинами.

— Вот работка какая! — сказал один из подручных сталевара, показывая на свою куртку, которая когда-то была, видимо, черным матросским бушлатом. Теперь это было нечто невообразимое. Одну полу будто бы отъели

крысы, половину правого рукава тоже отхватили невидимые зубы, на месте пуговиц зияли дырки, и вообще по всей ткани были рассеяны дырки.— За два месяца так разделала! — добавил он, кивнув в сторону печи.

Оля слушала все это безучастно.

— Скажите,— спросила она, чтобы не молчать, чтобы хоть о чем-нибудь спросить,— а что такое флокены?

— Скверная штука,— ответил старший сталевар.— Это когда, например, слиток испытывают на излом, а там внутри оказываются трещины. И — что самое скверное — получаются они, как на грех, в самых ответственных сталях. Понимаете?

— А отчего они получаются?

— Ученые говорят разное. Большинство считает, от водорода. Внесешь с шихтой, со шлаком, с какой-нибудь присадкой воду в печь, перегреешь ванну не в тот период, когда это можно,— вот вам и липику водорода получится. У тех ребят так и случилось.— Сталевар указал рукавицей на мартеновскую печь, возле которой Оля только что видела отца.— Перегрели,— добавил он и снова взялся за свою великанскую ложку. Первый подручный тотчас открыл заслонку печи, второй приготовил новый стаканчик и новый брусочек на чугунной тумбе.

Оля вздрогнула, потому что ее неожиданно обняли за плечи и крикнули ей почти в самое ухо: «Оленька! А я тебя всюду ищу».

В Олино лицо заглядывали большие, серые, в длинных ресницах, глаза Вари Стрельцовой.

— Варя! — Оля схватила ее за рукав курточки.— Как же я забыла, что ты здесь работаешь!

— Вот видишь,— ответила Варя. В ее глазах было настороженное выражение; она не знала, как держаться с Олей в ее несчастье: говорить ли слова сочувствия или, может быть, вообще молчать о том, что случилось. — Вот видишь,— повторила она,— а я тебя не забываю. Ну пойдем ко мне в лабораторию. Тут недалеко, два двора пройти — и у меня.

По дороге она говорила:

— Это Павел Петрович мне сказал, что ты где-то здесь. Я была на третьем мартене, он там наводил порядки, он мне и сказал, чтобы найти тебя.

— А что на том мартене случилось? — перебила Оля, вспомнив, как размахивал рукой отец.

— Запороли плавку.
— Флокены?
— Флокены? — переспросила Варя.— А ты откуда знаешь?

Прежде чем отворить дверь с табличкой «Лаборатория», она удивленно посмотрела на Олю, а введя ее в помещение, заполненное различными приборами для испытания металлов, первым делом взяла с одного из столов обломок стального диска и показала:

— Видишь на изломе светлые пятна, окруженные темным металлом? В таком месте сталь никуда не годится.

Обе смотрели на обломок стали, но думали совсем о другом. Варя отбросила обломок и обняла Олю. Они постояли так, уткнувшись лицом в плечи друг другу, потом утерли мокрые глаза и щеки, сели рядом возле длинного стола, заваленного пробами металлов.

В соседней комнате зазвонил телефон. Варя пошла послушать, потом сказала, что она на минутку выйдет: ее куда-то зовут. Оля осталась одна среди столов и приборов. Она взяла в руки обломок, брошенный Варей, повертела его, увидела предательские трещины, подумала о Варе — какую странную профессию избрала себе эта маленькая, хорошенькая, сероглазая девушка.

Оля вспомнила, как встретились они с Варей на первом курсе исторического факультета. Варя была первым человеком, который заговорил с Олей в первый день занятий в институте. Они сидели за одним столом на первой лекции. Они вместе провели время первого перерыва, вместе вышли из института после занятий. Оле очень понравилась девушка из деревни Холыньи под Новгородом. Война не дала ей вовремя окончить школу: бои шли совсем недалеко от их деревни, и школа не работала. Варя на четыре года отстала в учении, она на четыре года была старше Оли. Но это не мешало Варе краснеть, когда к ней обращались с вопросом, и смущаться из-за любого пустяка.

Бывая вдвоем с Олей, Варя очень интересно рассказывала о своей Холынье, где выращивают знаменитые холынские огурцы; Варин отец тоже их выращивает, он — колхозный огородник. Вокруг Холыньи места такие, что одно древнее другого. Озеро Ильмень, знаменитая река Волхов, по которым проходил торговый путь «из варяг в греки». Рукой подать до Рюрикова городища, до Юрье-

ва монастыря, до разбитой гитлеровской артиллерией известной историкам всего мира церкви Спаса Нередицы.

Оля ходила к Варе в институтское общежитие, Варя любила приходить домой к Оле, где ее всегда встречали приветливо. С Еленой Сергеевной и с Павлом Петровичем она со временем стала чувствовать себя так же просто, как и с Олей. Особенно ей нравилось разговаривать с Павлом Петровичем. Павел Петрович расспрашивал ее про огурцы, про то, как их хранят до весны, опуская осенью в бочках на дно озера, об окрестных новгородских древностях, о годах войны. Он, в свою очередь, рассказывал Варе о металлургии. Он уверял Варю, что история и металлургия — родные сестры, потому что история человечества — это история того, как человек учился и научился добывать и обрабатывать металлы.

Павел Петрович, сам того не подозревая и не желая, оказался виновником переворота во всей Вариной жизни и в ее судьбе.

Оля и Варя перешли на второй курс, и, когда уже проучились половину второй институтской зимы, Варя вдруг ушла из педагогического института в индустриальный, на отделение металлургии. Помощь ей в таком трудном переходе вынужден был оказывать Павел Петрович. Уступая его и ее просьбам, Варю отпустили из одного института и приняли в другой. Но уже никто не помогал Варе догонять своих однокурсников в новом институте. Это было нелегко, ведь почти ничего нет общего в программах подготовки историков и металлургов. Варе пришлось вновь сдавать все зачеты и экзамены за первый курс и за половину второго, ей пришлось самостоятельно изучать предметы, которыми ее однокурсники полтора года занимались под руководством преподавателей. Трудности были неисчислимые.

— Это Павел Петрович звонил,— сказала Варя, возвращаясь.— Надо сделать несколько сложных анализов и разных испытаний.— Она была озабочена.— Ты извини, пожалуйста, Оленька, сейчас мы займемся. Придется тебя оставить.

— Ты одна будешь их делать, эти анализы? — спросила Оля.— Здесь почему-то никого больше нет.

— Как почему-то? — Варя сбросила свою ватную курточку и осталась в голубом свитере, который плотно обтягивал ее легкую фигуру. — Потому что обед. — Она поправила прическу.— Целый час. А ты есть не хочешь?

Оля вспомнила утро, свои тарелочки, оставленные на столе, яичницу, в которую она на кухне роняла слезы и которую не захотел есть папа, — и на обломок стали с флокенами вновь капнула слеза. Оля, наверно бы, расплакалась, но удержалась: она знала, что и у Вари, — правда, когда Варя была еще совсем маленькой, — тоже умерла мама.

4

Это был длинный и трудный день. Оля долго сидела в Вариной лаборатории, следила за тем, как в специальных станках, автоматически регистрирующих степень сопротивления проб, разрывали, гнули, скручивали, ломали стальные кусочки, как, отшлифовав некоторые из них до зеркального блеска, рассматривали в микроскоп и фотографировали структуру испытываемого металла, как травили металл кислотами и растворяли его в различных реактивах.

Все сотрудники лаборатории, за исключением тихого старичка с острой белой бородкой, который производил фотографирование под микроскопом, были Вариного возраста, но обращались они к Варе как к старшей. Варя отвечала серьезно, две складки возникали у нее меж бровей. Оле было странно видеть это. Только прошлой весной Варя окончила свой институт, тогда же, когда окончила свой и она, Оля, но вот Варя уже самостоятельный человек, ее называют Варварой Игнатьевной, она что-то творит, от нее что-то зависит. А что же Оля? Все еще в девочках при папе и ма...

Вот и снова мокро подбородку и в сердце душно.

Оля ушла из лаборатории, побродила по заводским дворам и потом в длинных коридорах заводоуправления не без труда отыскала дверь с табличкой: «Главный металлург». Дверь была заперта. Оля села напротив нее на деревянную скамейку и сидела неизвестно сколько. Кабинеты, соседние с отцовским, постепенно пустели, в них гасли огни, их хозяева расходились по домам, все реже пробегал кто-либо мимо Оли. Только упорно и монотонно, подобно сверчку, в дальнем конце коридора все еще стрекотала пишущая машинка.

— Вам кого, девушка? — услышала Оля над собой голос. Перед нею стоял человек в брезентовой куртке,

в брезентовых штанах, с широким поясом, на котором были начищенные медные кольца, цепи и крючки. В руках он держал громадную связку ключей. Оля догадалась, что это пожарный, который осматривает комнаты и проверяет, не оставил ли кто по рассеянности непогашенный окурок или включенный электрический чайник.— Дело такое, никого нету,— говорил он.

— Я жду Павла Петровича Колосова,— ответила Оля.

— Поди, у директора он, — сказал пожарный. — Заседают.

— Почему вы так думаете?

— А у нас примета. Если вот, допустим, на столе у директора лампа горит, значит, он у себя один... ну или еще кто, двое-трое. А если люстра зажжена, точно: заседают. Сейчас по двору иду, вижу — люстра.

— А туда пройти можно?

— Чего же не пройти? До конца коридора, потом на второй этаж по лестнице, а там сами увидите — кожаная дверь. Только зря вы к нему сегодня, к товарищу Колосову. Беда у него большая.

— Я знаю,— ответила Оля, быстро вставая со скамейки.— Спасибо вам.

Она поднялась на второй этаж, нашла кожаную дверь. Но за той дверью была еще одна дверь, и тоже кожаная; ее охраняла седая строгая дама в пенсне.

— Да-а,— говорила она в телефон тягучим голосом.— А кто спрашивает? Вы откуда? Его нет, товарищ... Неизвестно.— Она положила трубку и взглянула на стоявшую у дверей Олю.

— Я ищу Павла Петровича Колосова,— поспешила объяснить Оля.— Мне сказали, что он...

— Вам правильно сказали, — перебила седая дама, — он действительно здесь, у директора. Но рабочий день окончен, приема нет. Кто вам так поздно выдал пропуск?

— Мне его выдали утром. Если можно, я подожду Павла Петровича у вас?

— Пожалуйста.

Оля села. Седая дама читала толстую книжку, выдвинув ее вместе с ящиком стола. По временам звонили телефоны, седая дама слово в слово повторяла всю эту формулу: «Да-а... А кто спрашивает? Вы откуда? Его нет, товарищ... Неизвестно» — и опускала трубку.

Круглые часы на стене показывали десятый, когда в приемную вошла молодящаяся женщина лет сорока

пяти; волосы огненные, на шее такого же цвета лиса; на ногах белые резиновые боты; пышная, бодрая.

— Я закончила, Галочка, — воскликнула она. — Перепечатала все. Будь здорова.

Но вместо того, чтобы, сказав слова прощания, уйти, она уселась на стул возле седой Галочки, раскрыла свою громадную пятнистую сумку из шкуры нерпы и принялась перед зеркальцем красить губы, потом загибать ресницы.

— Новость, — говорила она при этом. — Мне только что сейчас рассказали. У Ларочки ушел муж!

— Да что ты! — Седая дама задвинула ящик с книгой.

— Третий! Это же катастрофа. Впрочем, Ларочка должна бы радоваться. Он был пьяница и слюнтяй...

— Все-таки— был, все-таки — мужчина.

Они помолчали, обдумывая событие. Пришедшая сказала:

— Не понимаю, почему у нее такая несчастная жизнь! Интересная женщина...

— Чего же тут непонятного? — заговорила седая дама.— Основного жениха — ждала-ждала — убили на войне. После войны ей уже было двадцать шесть. Особенно-то не поразбираешься. Вышла за майора-инвалида. Он ее бил. Не выдержала. Потом вот тот молодой человек без определенных занятий. Естественно, что тридцатилетняя Ларочка не могла его устроить надолго. Наконец, четвертый... Не может же человек жить в одиночестве, сама пойми.

— Я понимаю. Но мне кажется, что она не только в одиночестве, но и с одним-то ни с кем не уживется. Она привыкла к переменам, к разнообразию.— Пышная дама усмехнулась. Седая Галочка пожала плечами.

— Может быть,— ответила она.— Но не будем осуждать ближнего.

Оле было удивительно слышать то́, о чем, не стесняясь ее присутствия, говорили эти женщины. Почему у них считается, что в одиночестве жить нельзя, что непременно хоть пьяницу, хоть хулигана, да надо кого-то иметь рядом с собой? Для чего? Неужели без непременного замужества у тебя не будет друзей, товарищей, хороших знакомых? Неужели когда они есть, то все равно тебе их мало и все равно надо иметь еще «основного», как они называют? Конечно, у нее, у Оли, тоже будет, наверно, муж,

преданный друг и товарищ, но совсем не потому, что она во что бы то ни стало должна избавиться от одиночества, а потому, что она его полюбит, и потому, что он полюбит ее. Это будет человек большой души, высоких стремлений, благородный, умный...

— Да-а, — услышала она вдруг голос седой дамы. — А кто спрашивает? Кто-кто? Вы откуда? Ах... сию... так!.. — Выражение ее лица изменилось, изменился тон разговора и даже сам голос. — Так-так!.. Сейчас, одну минуточку. Соединяю.

Она быстро ушла за кожаную дверь, вернулась, перевела переключатель телефона, подергала щепотью за белую блузку на груди, как бы давая груди остыть, и сказала своей собеседнице вполголоса:

— Из обкома. Заведующий отделом науки.

Из директорского кабинета вскоре вышел Павел Петрович.

— Оленька! — воскликнул он испуганно.— Ты здесь? Почему не уехала домой?

Оля молча взяла его под руку, они спустились в первый этаж, вошли в кабинет Павла Петровича. Павел Петрович позвонил шоферу, чтобы подъезжал. Он все время сокрушался, как же так получилось, что Оля еще на заводе.

— Оленька,— сказал он, когда они уже ехали по длинному пустому проспекту,— мне придется завернуть в областной комитет. Я там останусь, зачем-то вызывают, а тебя Иван Николаевич отвезет домой.

— Нет, папа! — запротестовала Оля.— Я тебя подожду.

В большой комнате бюро пропусков за поздним часом было тихо и пусто. Отец подал партбилет в одно из окошечек и ждал, пока выпишут пропуск; ждала и Оля. Над окошком, на стене, тикали круглые часы, такие же, как в приемной директора завода.

Потом Оля проводила Павла Петровича до вращающейся двери и осталась возле подъезда одна. Вился, щелкая над старинным зданием, алый флаг, освещенный прожектором, метались черные деревья в снежной февральской пыли, ветер бил по ногам и рвал с головы вязаную шапочку. Оля стояла меж массивных колонн, и перед нею из метели вставали картины далеких-далеких дней, когда в этом здании, так же как в Смольном в Петрограде, находился революционный штаб всего края, когда тут

тоже были костры, пулеметы, люди... тоже ветер, ветер великой революции, долетавший до Лады с Невы.

Мысли Павла Петровича, подымавшегося по лестнице на второй этаж, были сходны с мыслями Оли. Попадая в обком, Павел Петрович тоже всегда думал о тех временах, когда в этом здании работал революционный штаб. Он тоже думал так: «Вот по этим плитам ходили первые герои революции, вот в этих комнатах рабочие, матросы, солдаты дымили махоркой и ждали приказа — двинуться к телефонной станции, к телеграфу, к вокзалу».

Теперь здесь уже не было ни запаха махорки, ни суеты, в коридорах и на лестницах была тишина, были бесконечные ковровые дорожки, строгий сумрак и строгие двери с обеих сторон коридора, белые таблички на дверях. Павел Петрович нашел дверь с табличкой: «П. И. Зайцев».

Инструктор Зайцев что-то жевал, поэтому поздоровался с Павлом Петровичем молча. Прожевав, он сказал:

— Очень хорошо. Сейчас пойдем к заведующему. Вы знаете, зачем мы вас пригласили?

— Нет, не знаю.

— Ну, сейчас узнаете.

Заведующий отделом снял и положил на стол огромные очки, отодвинул в сторону толстую рукопись и взял из коробки папиросу, покрутил ее в пальцах, потом вынул из ящика стола баночку с леденцами, раскрыл ее перед Павлом Петровичем: «Угощайтесь». Павел Петрович отказался.

— Бросаю, понимаете, курить,— сказал виновато заведующий отделом, фамилию которого Павел Петрович не запомнил, хотя только что прочел на дверях.— Вот и мучаюсь,— добавил он и положил в рот леденец.— Скажите, товарищ Колосов, — заговорил он уже другим тоном, — вам известно такое научно-исследовательское учреждение: Институт металлов?

— Известно,— ответил Павел Петрович.— До войны я с ним был очень тесно связан. Теперь — постольку, поскольку их работники ведут некоторые темы у нас на заводе.

— Очень хорошо. Значит, характер деятельности института до некоторой степени... ну хотя бы в общих чертах... вам знаком, понятен?

— Что касается «знаком», то я бы этого не сказал, а понятен ли? Думаю, что да.

— Тогда, чтобы зря вас не интриговать,— сказал заведующий отделом,— объясню вам все. Как вы посмотрите, товарищ Колосов, на то, чтобы пойти поработать в этот институт?

Павел Петрович был застигнут врасплох.

— Откровенно говоря, мне и на заводе не худо,— ответил он растерянно.

— Все это понятно. Но дело в том, что в институте-то дела неважные. Нужен хороший директор.

— Директор?! — воскликнул Павел Петрович.— Это уж совсем не по мне. Я вообще далек от научной работы, а тем более...

— Это неверно! — Инструктор Зайцев, все время молчавший, вдруг заговорил: — Совершенно неверно. Перед войной, как свидетельствуют документы, вы отлично защитили диссертацию на степень кандидата наук. Многие диссертации идут на свалку, в архив, а вашу опубликовали, на нее и по сей день ссылаются и даже вот упомянули в недавно вышедшем учебнике для металлургических вузов.

Павел Петрович потер лоб, поморщился:

— Это была случайная работа. Накопился практический материал. Его признали интересным. Ну и вот... почти без защиты...

Заведующий отделом вышел из-за стола, взял руку Павла Петровича, пожал ее и сказал:

— Сегодня же докладываю о нашем разговоре секретарям. Завтра устроим встречу с ними и все решим. Не отказывайтесь, не отказывайтесь. Никаких отказов не примем. Идите пока отдыхать до завтра, посоветуйтесь с женой...

— Несколько дней назад я ее потерял,— сказал Павел Петрович, подымаясь из кресла.

С полминуты, может быть, даже минуту, они безмолвно стояли друг перед другом. В первое мгновение заведующий отделом побледнел от неловкости, теперь у него лицо, уши, шея краснели.

— Извините,— сказал он тихо.— Извините.

Снова отец и дочь подымались по лестнице, испещренной бранью в адрес Любки, у которой козьи ножки, снова Павел Петрович медлил перед дверью, прежде чем вставить ключ в скважину замка, снова была сумрачная передняя и все еще не снятая полосатая ткань на зеркале.

На этот раз Павел Петрович сбросил шапку, снял пальто и размотал шарф и пошел он не в столовую, а в свой кабинет.

Да, он так и знал, он предчувствовал, вернешься — и все уже будет по-другому. Елены в доме больше нет, и не с кем больше посоветоваться, некому рассказать, как его вызвали в обком, что́ ему там предложили, какие крутые перемены ждут его впереди. Первый раз в жизни не с кем посоветоваться. Давно ли то было: он возвратился сюда, в этот дом, из райкома комсомола. «Меня посылают в деревню, на коллективизацию!» — еще в дверях говорил он своей Ленс. И она захлопотала, неумелая его юная хозяюшка, складывая какие-то вещи в чемодан, потом оказалось, что эти вещи никому не нужны, что носки в каждой паре разные, что на рубашках нет пуговиц. Но это оказалось потом, потом... А тогда всю ночь пролежали они без сна, взволнованные, она шептала ему, чтобы он берег себя, чтобы ночью не выходил один на улицу, чтобы, зажигая лампу в избе, непременно задергивал занавески, потому что кулаки стреляют в окна из обрезов. Или когда он пришел из райкома домой там, в Донбассе, и сказал, что надо ехать в Кузнецк. Снова тогда лежали рядом без сна, чтобы завтра пойти на вокзал за билетами. Или когда он пришел домой из райвоенкомата и сказал...

Сколько их было, этих «когда», сколько их было, этих крутых поворотов или подъемов в жизни! И не было среди них такого, чтобы совершал его он, Павел Петрович, в одиночку, без совета, без поддержки Елены.

Куда пойти, кто скажет слово? Костя? Вот он там, за стеной, спит так, что даже от стука дверей не проснулся. Он еще не понял, не осознал в полной мере, что́ значит остаться без матери. Оля? Бедная девочка, разве Павел Петрович не видит, как тяжко ей, как подавлена она страшным этим несчастьем. Бородин? Макаров? Шувалова? Шувалова... Нет, все они не годятся для того, чтобы пойти к ним в ночной тиши, не спеша, сто раз повторяя одно и то же, обдумать и взвесить, принять и отвергнуть, отвергнуть и принять то новое и неожиданное, перед чем так внезапно поставила его, Павла Петровича, жизнь. И вообще, нужно ли это все кому-нибудь?

— Папа...— услышал он. Рядом с его креслом стояла неслышно вошедшая Оля. — Папочка, — повторила она, — что же будет? Что же делать? Папа...

Павел Петрович встал, обнял ее за плечи и прижал к груди. Оля слышала, как с глухим шорохом стучит папино сердце.

Павлу Петровичу казалось, что он утешает дочь в их общем горе; ему так казалось, на самом же деле он сам искал утешения, тепла, ласки. Обнимая Олю, он положил свою голову ей на плечо, и Оля чувствовала, как горячие тяжелые капли падают за воротник ее платья. Она гладила спину отца рукой, она шептала: «Папа, милый, родной, не надо. Папочка...» Больше что же она могла сказать? К ней приходило сознание того, что жизнь возлагает на нее заботу об этом большом, сильном человеке, который ее папа. Он много-много заботился о ней, вот пришла пора, когда ему нужны ее заботы. Годы не могли сделать того, что сделала одна минута. В эту минуту Оля почувствовала, что детство ушло от нее навсегда, что она стала взрослой.

5

Костя не спеша шел по дозорной лыжне. Шагах в пятнадцати за ним, с автоматом на груди, следовал ефрейтор Козлов. Лыжи скользили мягко и неслышно. Вокруг — на склонах распадков, на огромных, вросших в землю гранитных валунах, на ветвях елей и сосен — толсто и пухло лежал неправдоподобно белый, никем и нигде не тронутый снег. Ни один след — ни лыжный, ни пеший, ни человечий, ни звериный — не должен пересекать дозорную тропу. А когда он пересек — так случилось вчера возле рухнувшей от старости березы,— то немедленно была поднята тревога на заставе и по следу отправился наряд пограничников с собакой.

Это был лосиный след. Люди, которые его обнаружили, ясно видели, что в снег вдавливались копыта большого зверя, а не подошвы человеческих сапог. И все-таки они сообщили о найденном следе начальнику заставы.

На границе нет ничего незначительного и не заслуживающего внимания, на границе ничто не принимается на веру, никто здесь не доверяет своему первому чувству. На границе все должно быть тщательно проверено и изучено.

На этот раз границу перешел зверь. Так в течение зимы случалось много раз. Но ведь могло случиться

и по-другому, могло случиться, что, падев на ноги звериные копыта, через пограничную полосу крался бы и человек с кольтом в кармане, с запасом патронов к нему, с ядовитыми ампулами в тайниках одежды, с адресами явок и инструкциями для резидентов, заученными наизусть.

Костя Колосов, лейтенант пограничных войск, служит на границе совсем недавно, с осени. За четыре с лишним месяца еще не было случая, чтобы границу на их участке перешел человек. Но у Кости уже родилось и с каждым днем крепло то чувство, которое комендант участка подполковник Сагайдачный называет чувством границы, когда ты в любую минуту суток, даже во сне, ждешь, что вот на границе появится чужой, и тогда ты во что бы то ни стало, любой ценой, вплоть до цены своей жизни, должен его задержать.

Солнце, отражаясь от снега, слепит. В затишье оно начинает припекать, и на стволах сосен, возле комлей, на валунах с южной стороны снег набухает, плавится, из-под него лезут седые жесткие мхи. Иной раз негромко ухнет в лесу, и там, где ухнуло, взметнется светлое искристое облачко. Вглядывайся в том направлении, напрягай слух. Кто ж его знает, отчего с еловых лап сполз и рухнул вниз тяжелый снежный пласт,— то ли солнце его подточило, то ли по иной какой причине; не промахнись тут, пограничник!

Взойдя на пологий холм, Костя остановился. Остановился и Козлов. Линия редко расставленных полосатых столбов бежала с пригорка вниз к длинному узкому озеру; за озером снова виднелись столбы, подымающиеся на следующий холм, и там уже был участок другой пограничной заставы.

На западной оконечности озера тесно стояло большое селение, над ним возвышалась островерхая кирка. Костя слышал брякающий и печальный звон ее колоколов. Этот звон напомнил Косте первый день его выхода на границу...

Когда подполковник Сагайдачный в тряской двуколке привез Костю на заставу и представил его начальнику заставы капитану Изотову, стояла глубокая осень, начинался ноябрь, и дожди нещадно поливали и так пресытившуюся влагой землю. В природе шло как по расписанию: дождь начинался в полдень, сила его к ночи нарастала, ночью он буйствовал уже вовсю и утихал только к рассвету; на рассвете небо очищалось, холодно голубе-

ло, чтобы к полудню снова окутаться тучами и ударить дождем.

Не помогали ни высокие сапоги, ни плащи, ни капюшоны,— люди с границы возвращались до нитки мокрые; днем и ночью трещали еловые дрова в сушилке, днем и ночью сушились на ней шинели, портянки, гимнастерки, фуражки. Повар круглые сутки держал в котлах горячую пищу и огненный, крутой кипяток для чая. «Пограничная погодка!» — говорили солдаты вечерами, вглядываясь в черные окна, за которыми под плотными тучами и в яростном дожде было так темно, что даже на дворе можно было столкнуться лбами, не говоря уже о лесных тропах. На границе было напряженно, усиливались дозоры и удваивались секреты.

В первый же день своего приезда сюда Костя рвался выйти на границу. Он с завистью смотрел на каждого возвратившегося из лесу солдата, промокшего до пуговиц на белье. Но в первый день его на границу не послали. Капитан Изотов по карте знакомил его с участком, который охраняла застава, с системой сигнализации, с аппаратурой, поднялся вместе с ним на наблюдательную вышку, которая стояла во дворе заставы. С вышки в мощный бинокль далеко была видна сопредельная сторона. Там, за границей, тоже стояла вышка, и на ней тоже поблескивали оптические стекла. Косте был неприятен чужой соглядатайский глаз, устремленный, как ему казалось, прямо на него. А на Изотова это уже давно не производило никакого впечатления. Он заставлял Костю рассматривать в бинокль то лощинку, затянутую туманом, то дорогу, по которой никто никогда не ездил, то непроходимый частый ельник. Костя рассматривал, капитан Изотов объяснял ему, что это наиболее опасные места на границе и за ними нужно особо внимательное наблюдение. Начальник заставы знал очень многое о жизни на сопредельной стороне, он знал там все ближайшие к границе селения, знал обычаи и привычки жителей. «Вот поживете у нас годик-другой, и вы, лейтенант, узнаете,— говорил капитан Изотов. — Глаза, да слух, да умение сопоставить виденное и услышанное, да еще умение делать выводы из этого — основной источник знаний пограничника».

Костя жил той минутой, когда он выйдет на границу. Он, конечно, еще в бытность в пограничном училище узнал, что́ такое граница, что на ней нет ни сплошной

линии дотов, ни высокой степы, как думают некоторые, и что «граница на замке» — это совсем не ворота, на которые навешен пудовый замок, а нечто иное. Граница была проще и в то же время бесконечно сложнее.

В одно осеннее утро, под голубым холодным небом, капитан Изотов и Костя впервые вышли вот сюда, как раз на это место, на пригорок, с которого пограничные столбы бегут к озеру. На мертвой траве густо лежала ледяная влага, окрест на березах неподвижно, как чучела, сидели тетерки. И всюду пламенели огненные гроздья рябин. А граница?.. Дозорная тропинка, протоптанная солдатскими сапогами через лес, да изредка полосатые столбы — вот и вся граница.

Костя и начальник заставы подошли к самым столбам. С советской стороны стоял красно-зеленый четырехгранный столб немногим более чем в рост человека. Отделенный пространством в несколько шагов, напротив него стоял точно такой же по размерам, но иной раскраски чужой столб. Костя осторожно сделал два шага и остановился между столбами. Гербы двух государств смотрели друг на друга со столбов. Колосья, земной шар, серп и молот, ленты с надписью на пятнадцати языках, все это из нержавеющей стали. И — чугунный щит с лохматым зверем, который был вооружен кривой секирой. Костя повернулся грудью к зверю. За бело-голубым столбом перед Костей стоял лес, точно такой же, как и за Костиной спиной; там точно так же на мертвой траве лежала студеная густая влага, там точно так же пламенели рябины. Да, все-все одинаково и по ту и по эту сторону границы, и вместе с тем Костя испытывал нечто вроде легкого кружения головы от сознания того, что он стоит на рубеже двух совершенно противоположных миров. И еще у него было такое чувство, будто бы он противостоит один тому миру, который позади лохматого зверя, и что любая злоба и ненависть, любые козни, любые черные дела хозяев этого зверя, направленные против родной Костиной страны, должны быть прежде всего встречены его, Костиной, грудью. Государственная граница Советского Союза — это его, Костина, грудь.

Костя с волнением повернулся к Изотову. Изотов спокойно курил папиросу и, казалось, без всякого интереса смотрел в сторону западной оконечности озера, где над чужим селением возвышалась эта вот кирка и слышалось печальное дребезжание ее колоколов.

По ту сторону границы прошли два солдата в незнакомой Косте иностранной форме. Увидев советских офицеров, они приложили руки к козырькам. Изотов ответил на приветствие, ответил и Костя.

В тот же вечер он написал длинное-предлинное письмо домой, маме. Он со всеми подробностями рассказывал Елене Сергеевне о своем первом дне на границе. Он писал о незримой черте в ничейном пространстве, которая является рубежом двух миров, и о чувствах, которые он испытал, ступив на эту черту. Потом он писал домой каждую неделю, сообщая все новое, что появлялось в его пограничной жизни. К его сожалению, самое интересное почему-то происходило на участках соседних застав. К соседу слева, туда вот, за озеро, под самый Новый год заскочила иностранная лыжница. Когда ее задержали, она принялась плакать, уверяла, что сбилась с дороги, заблудилась, что ее ждут дома к накрытому столу, и с пригорка указывала на освещенные окна двухэтажного особняка там, на западной оконечности озера, в которых пестро горели елочные огни. Она так искренне выражала свое горе, что и в самом деле можно было посочувствовать синеглазой, розовощекой девушке.

Но на границе ничто не принимается на веру, никто здесь не доверяет своему первому чувству, и когда в соответствующих инстанциях были проверены и изучены личность синеглазой девушки и обстоятельства появления ее по эту сторону границы, то оказалось, что она далеко не случайно блуждала на лыжах метельной ночью.

Костя хотел и об этой истории написать Елене Сергеевне, но не написал; еще дядя Вася учил его: «Для нас с тобой, Костенька, молчание куда дороже золота!»

По ту сторону границы ударил гулкий выстрел, по лесу, приближаясь, покатилось трескучее эхо. Костина рука сама собой потянулась к кобуре пистолета. Рядом с ним тотчас встал ефрейтор Козлов. Менее чем через минуту они увидели, как сквозь можжевеловые кусты грузно ломилась безрогая самка лося.

Ударил новый выстрел, еще ближе, лосиха рванулась, поднялась на дыбы и, запрокидываясь на спину, рухнула в снег невдалеке от столба с изображением лохматого зверя. Возле нее заметался выскочивший из кустов лосенок. Он перепрыгнул через упавшую мать, лизнул ее, кинулся вправо, влево, словно звал на помощь. Вслед за ним к границе выбежали на лыжах люди в охотничьих куртках

и в меховых шапках. Это была не помощь. Они набросились на лосиху с кинжалами. Испуганный лосенок отскочил в сторону. Но он не уходил, он стоял невдалеке и дрожал всем телом. Косте стало жаль и самого лосенка, и его мать, которая, попав в кольцо охотников, видимо, изо всех сил стремилась увести своего детеныша к линии зелено-красных полосатых столбов, за которой — это давно знают все лоси — в них не стреляют. Да вот не успела.

Косте было отвратительно смотреть на кровавую возню, которую охотники затеяли вокруг матери лосенка. Он ушел в развалины каменного сарая, оставшегося на границе с давних времен, снял лыжи и сел там на переломленную дубовую балку. Козлов встал в проломе стены за молодой елочкой и смотрел в сторону границы.

Костя закурил. Курить он начал с той минуты, когда подполковник Сагайдачный передал ему по телефону текст подписанной Ольгой телеграммы: «Маме очень плохо. Немедленно приезжай». Он не знал тогда, что мамы уже не было в живых, он так поспешно собирался, как не бывало никогда,— ведь и этого еще никогда не случалось в его жизни, чтобы маме было очень плохо. Он не умел скрыть волнения и тревоги, да и не пытался скрывать. Он выехал в тот же вечер.

Костя курил и размышлял о своей семье,— такая она была всегда дружная, крепкая, бодрая, трудовая. И вот стала распадаться. Сначала уехал он, Костя, мама писала, что без него в доме пусто и скучно. Теперь не стало самой мамы. Пройдет немного времени, какой-нибудь красавец уведет Ольгу. Останется один отец. Как, должно быть, горько и печально много лет строить, строить, укреплять семью — и вдруг остаться одному в жизни!

В день отъезда Кости Павел Петрович позвал его и Ольгу в кабинет, посадил их возле себя на диван, обнял. «Ребятки, эх, ребятки...» — и долго больше ничего не мог сказать. Потом вдруг сказал не совсем понятно для чего: «А ведь мы с мамой тоже были комсомольцами». Помолчал и еще сказал: «Что ж, и мы совершали ошибки, есть у нас кое-какой опыт, в случае чего — не прячьтесь со своими бедами, приходите, посоветуемся».

Погасшая папироса дрогнула в зубах Кости. Третий выстрел прозвучал в этот день на границе. Костя выглянул из сарая через плечо Козлова. Охотникам, кромсавшим дымившуюся тушу лосихи, должно быть, надоели

жалобы и плач ее детеныша: они прикончили и его. Лосенок лежал на снегу в нескольких шагах от своей матери.

Костя встал на лыжи и в сопровождении помрачневшего ефрейтора пошел дальше вдоль границы.

В чужом селении в последний раз брякнул колокол, и дребезжащий этот звук долго не мог угаснуть над лесистыми холмами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Лет двадцать назад под Институт металлов — в ту пору это была экспериментальная металлургическая лаборатория — выбрали место в отдаленной и тихой части города — в Сосновке. Вокруг было пустынно, безлюдно: зимой тут все заносили снегопады, весной стучали в окна и крыши сырые морские ветры, осенью на облетевшую желтую листву с шорохом падали с дубов желуди и перезрелые багряные ягоды с боярышника.

Деревья на участке стояли густо, как в лесу. Немало их впоследствии вырубили, чтобы заложить фундаменты мастерских, и все равно, сколько бы ни рубили, если заглянуть с улицы через глухой забор, строений никаких не увидишь, так надежно прикрыли их древесные кроны; подумаешь: парк, одичалый, заброшенный парк.

Меж двух- и трехэтажных серых зданий, которые еще с дней войны хранили остатки пятнистого камуфляжа, и в самом деле раскинулся обширный парк с извилистыми дорожками, с прудами и горками из искусственного туфа, поросшими ярко-красным лозняком.

Летом в парке было тенисто, и сюда, в эту зеленую тень, иной раз выносилась некоторая доля текущей работы института. Здесь, возле пруда или на склонах горки, руководитель группы производил разбор темы с младшими сотрудниками; здесь спорили, завтракали, отдыхали.

Зима загоняла всех в кабинеты, в лаборатории, в мастерские. В один из последних дней февраля, когда окна закидывало мокрым снегом, в пустом зале заседаний встретились два доктора технических наук — старик Малютин и Бакланов, высокий подтянутый человек средних

лет. Через зал заседаний пролегал кратчайший путь к институтскому буфету. Бакланов шел перекусить, Малютин уже закусил. Они поздоровались, и Малютин сказал:

— Не спеши так, Алексей Андреевич. Ничего хорошего там уже не осталось. Чай да кефир. Иди-ка сюда, присядем на минутку.

Малютину было около семидесяти; еще в начале века он окончил Петербургский технологический институт, в тысяча девятьсот двенадцатом году вступил в партию большевиков; ему посчастливилось присутствовать на заседаниях VI съезда, он штурмовал Зимний дворец, некоторое время работал в Совнаркоме при Ленине, потом был одним из первых организаторов советской власти на Ладе, куда его направил Центральный Комитет; его не раз избирали в ту пору в губком партии, всегда он был активным общественником. Только после войны возраст и здоровье помешали ему в полной мере участвовать в общественной жизни. Он работал в институтском конструкторском бюро.

— Вот что, Алексей Андреевич,— заговорил он, усаживая Бакланова рядом с собой в кресло первого ряда.— Как ты думаешь, почему к нам решили прислать нового директора со стороны? А не выдвинули кого-нибудь из своих? Разве у нас мало народу!

— Откуда же я знаю, Николай Николаевич,— ответил Бакланов, поправляя седую прядь на лбу.— Мое дело маленькое, мое дело — жаропрочная сталь, а не распределение кадров.— Он помолчал и добавил: — Откровенно говоря, мне жалко этого нового товарища, я ему не завидую, трудно ему придется.

— Вот и я считаю, что трудно,— заговорил Малютин. — Надо было кого-нибудь из своих подымать в директора. Тебя, например, Алексей Андреевич.

— А я слышал другой вариант: что Шуваловy бы.— Бакланов улыбнулся, и от глаз его побежали в стороны веселые морщины, которые, как ни странно, этого человека не старили, а молодили. Старила его седая прядь на лбу. Она появилась у него еще в детском возрасте, когда он чуть было не сгорел, оставленный один в закрытом родителями доме.

— Что ты, что ты! — отмахнулся Малютин. — Пусть она способная, энергичная, умная — что хочешь. Но ведь она женщина, женщина! Не по силам ей такое делище.

И характер у нее неровный. Любимчики пойдут, сынки да пасынки. Нельзя, нельзя Шувалову в директора! Тебя бы надо.

— И меня нельзя. Я плохой организатор. Буду сам за всех работать, а люди от работы отвыкнут тем временем. Да и в партии я совсем недавно, после войны вступил. И вообще, хотя, конечно, этому человеку, как я считаю, будет очень трудно, пользы он принесет институту больше, чем кто-либо из своих. Нам всем наши недостатки давным-давно примелькались, мы к ним привыкли, а ему бросятся в глаза, он с ними мириться не станет. Думаю, что именно для этого, для свежего глаза, к нам и шлют товарища со стороны, Николай Николаевич.

— Значит, считаешь, придет этакий герой, увидит и победит?

— Если мы сами этому герою не окажем помощи, он никого и ничего не победит. Под бременем наших неурядиц он рухнет, как в послевоенные годы уже рухнули три директора.

— Они рухнули, Алексей Андреевич, поверь мне, совсем не потому, что им не помогали, а потому, что у них не было своей программы. Вместо того чтобы наметить себе какой-нибудь свой собственный определенный курс, они этак плыли по теченьицу, озираясь по сторонам и ожидая руководящих ветерков. А тут надо взять в руки руль и шкоты и вести эту ладью твердо, не трясясь от страха, если по ее днищу царапнут камни, если волна ударит в борт и так далее. Может он, этот товарищ, вести дело так или не может?

— Чего не знаю, того, Николай Николаевич, не знаю. У себя на заводе он с делом справлялся неплохо.

И Малютин и Бакланов обернулись на голос, произнесший:

— Не будучи волшебником, могу, однако, сказать наверняка, что разговор идет о новом директоре.

К ним подходил Мелентьев, секретарь институтского партийного бюро. У Мелентьева был высокий открытый лоб, узкое, бледное лицо и голубые глаза.

— А я как раз сегодня навестил старого директора,— продолжал он.— Расстроился, чудак, человек. Лежит, за сердце держится. Врачи говорят, недели на две — на три залег. А в общем-то, если разобраться, ну чем и в чем он виноват?

— В том, что громадные деньги, затрачиваемые государством на институт, шли и идут на ветер,— раздельно произнося каждое слово, сказал Бакланов. — Мы почти ничего не даем производству. Работаем сами на себя. У нас страшнейший застой. А он с этим примирился. А вместе с ним и мы примирились. И вы в том числе, товарищ Мелентьев.

— Совершенно точно,— вставил Малютин.— Вот уж никак нельзя сказать, что мы работаем по-большевистски.

— Позвольте, товарищи, позвольте! — Мелентьев протестующе поднял руку.— У нас есть такая манера: когда снимут руководителя, вешать на него всех собак. Я, например, был против того, чтобы снимать директора. И сейчас, когда есть решение вышестоящих организаций... я им, конечно, подчиняюсь полностью, я дисциплину знаю, но в душе... по совести если говорить: чем был плох наш директор?

— Пожалуйста, я отвечу, — сказал Бакланов. — Сверхмощные паровые турбины, реактивная авиация, атомная техника — они требуют жаропрочных сплавов, жаропрочной стали. Над проблемами жаропрочности у нас в институте работаю я один, если не считать двоих-троих лаборантов. Я в одиночку провожусь сто лет и все равно ничего толком не сделаю. Я приходил к директору много раз, я писал ему докладные, заявления, предупреждения, я требовал создать группу...

— Минутку, минутку! — перебил Мелентьев. — Требовали, настаивали, это нам всем известно. Но план, Алексей Андреевич, отпущенные ассигнования — через них не перепрыгнешь. Директор не виноват.

— Вот я и говорю: у нас только бы план да баланс копейка в копейку, а если дело не движется — плевать! — воскликнул Бакланов, подымаясь.—Вот за это и сняли вашего директора. С ним было спокойно. Тем, которые любят спокойствие, для которых это спокойствие дороже всего. Но работать с ним было невозможно.

— Не знаю, не знаю, я срабатывался,— сказал Мелентьев.— Против планов вы напрасно ратуете, Алексей Андреевич. У нас все хозяйство советское — плановое.

Бакланов махнул рукой, сказал, что он очень голоден, и ушел.

— Горяч товарищ,— заметил ему вслед Мелентьев.— Молодой коммунист, еще не понимает, что нельзя все так прямо резать. Ведь коммунист, Николай Николаевич, он

еще и дипломатом должен быть, обладать гибкостью. Верно я говорю?

— Не знаю, товарищ Мелентьев, не знаю,— ответил в раздумье Малютин.— Может, у вас какие-нибудь новые установки появились. Но когда я с Владимиром Ильичем работал, великий вождь революции учил нас прямоте, принципиальности, непримиримости к недостаткам. И даже вот такую, как вы ее называете, горячность поддерживал. Равнодушия он не терпел, чиновничьего отношения к делу. Я, например, вполне разделяю негодование Алексея Андреевича против равнодушного стиля руководства директора.

— Эх, не поняли вы меня с Баклановым, Николай Николаевич! — сокрушенно сказал Мелентьев. — Нет, не поняли. А я что? Я разве за равнодушие? Вы, Николай Николаевич, член партбюро,— скажите, разве мы с вами равнодушно решаем на партбюро вопросы?

— Во всяком случае, не мы с вами, товарищ Мелентьев, поставили вопрос о неблагополучии в институте. К великому сожалению, сделали это за нас вышестоящие организации. Поэтому и давайте судить, как мы относимся к делу: равнодушно или неравнодушно.

— Вывод чисто формальный.— Мелентьев медленно раскурил папироску и пошел из зала.

В институтском буфете тоже шел разговор, и тоже о новом директоре. За круглым столом тут была Серафима Антоновна Шувалова, одетая, как всегда, тщательно и нарядно: в строгом платье из черного бархата с переливающейся блесткой на груди. Был тут старший научный сотрудник Александр Львович Белогрудов, который любил употреблять в разговоре слова непонятные, иносказания и притчи и подо все, что бы с ним ни происходило, непременно старался подвести теоретическую базу. Он и его жена много лет жили на разных квартирах. Все знали, что происходит это из-за полнейшего неумения и самого Белогрудова, и его жены устраивать сложные квартирообменные операции. Но Белогрудова такое объяснение нисколько не удовлетворяло. Он придумал другое. «Так дольше сохраняется свежесть чувств,— говорил он, когда заходил разговор об этом.— Совместная жизнь с ее неизбежной прозой сначала охлаждает, а затем и отталкивает друг от друга. А кроме того — целее нервы, шире возможности для всестороннего самосовершенствования».

Напротив Белогрудова сидел Валентин Петрович Харитонов, инженер с белыми редкими волосиками и с такими же белыми глазами. Когда он улыбался, получалось очень странно: глаза стекленели, а уголки губ загибались кверху. Это выглядело так, будто улыбается только нижняя часть его лица. Харитонов был самый, как о нем говорили, мобильный сотрудник института. Он мог в любое время суток собраться и выехать в любое место Советского Союза или куда угодно отправиться читать лекцию на любую тему. Он любил поезда, гостиницы и бильярд. Сотрудникам института давно были известны его неизменные телефонные звонки после рабочего дня. «Понимаешь,— замученным голосом говорил он в трубку жене,— директор поручил тут одно срочное дело. Приеду поздно». И пока он гонял шары в красном уголке, его жена рассказывала какой-нибудь из своих приятельниц: «Вот пойду к ним в партийное бюро пожалуюсь. Что он им, Валенька, двужильный, что ли? То директор срочное задание, то местком в комиссию назначит, то доклад подготовь, то кружок веди, то выставку организуй!.. Весь институт товарищ Харитонов тащит на своем горбу».

О спинку стула Харитонова облокотился заведующий химической лабораторией Григорий Ильич Румянцев, крупный химик, который, помимо работы в институте, читал еще и курс аналитической химии в нескольких вузах. Он был толстый, грузный, пел в компаниях приятным тенорком, играл на гитаре. Большое его лицо почти всегда улыбалось, глаза хитро щурились за выпуклыми стеклами очков.

Полной противоположностью Румянцеву и по внешности, и по характеру была Нонна Анатольевна Самаркина, высокая, худая, всегда чем-то озабоченная, никогда не улыбающаяся.

Олег Николаевич Липатов, заведующий издательским делом института, отставив стул от стола, сидел за спиной Самаркиной.

Со стола было убрано, остались тут лишь два стакана с остывшим чаем, да на бумажной салфеточке перед Самаркиной лежал мандарин, расщипанный на дольки.

Все смотрели на Серафиму Антоновну, поскольку Серафиме Антоновне, как она сама только что сказала, больше, чем кому-либо иному, был знаком человек, которого — это уже точно известно — назначают директором

их института. Он вызван в Москву и вот-вот должен вернуться с приказом министра.

— Да, товарищи, я его знаю близко,— говорила Серафима Антоновна слегка нараспев. — Прекрасной души человек. Отзывчивый, честный, мягкий.

— Товарищу с такими качествами лучше всего идти в детский садик, — сказал Харитонов, и глаза его, как всегда, остекленели, а уголки губ загнулись кверху. — Воспитателем. У нас учреждение сложное. Тут нужна крепкая рука.

— У нас была так называемая крепкая рука, Валентин Петрович,— возразила Самаркина.— У нас когда-то был товарищ Федоров! Почему же вы не боролись за него, когда обком решил отстранить товарища Федорова от руководства институтом?

— Товарищи! — заговорил Белогрудов.— Пожалуйста, запомните, что никакая перемена начальства никогда ни к чему не ведет. Одни ждут этой перемены, потому что надеются: вот их теперь заметят, они пойдут в гору и те-де и те-пе. Это бездарности, никто их не заметит, и никуда они не пойдут. Другие боятся прихода нового начальства, думают: ах, ах, новое начальство окажется проницательнее старого, оно увидит, что они ничего не делают, заставит их работать по-новому или вовсе прогонит. Это лодыри. Новое начальство, однако, ничего не заметит и никого не заставит.

— Теоретик, ох, теоретик! — Румянцев смеялся, держась руками за живот и толкая локтем в бок Харитонова.

— Я считаю, что никакой железной руки институту не нужно,— продолжала Самаркина.— Совсем наоборот, нужна высокая культура, понимание особенностей — и научной работы, и самих людей, которые занимаются этой работой.

— Совершенно верно, — сказал Липатов. — Совершенно верно, — повторил он. — Я разделяю опасения Нонны Анатольевны. Инженер с производства, способен ли он...

— Удивляюсь, товарищи! — перебила Серафима Антоновна.— Мне просто странно слышать. Разве многие из нас пришли в институт не с производства? Ну вот здесь, из присутствующих... скажем, Александр Львович — нет, Олег Николаевич — нет, Валентин Петрович — тоже нет. Их путь был из института прямо в науку. А Григорий

Ильич, а Нонна Анатольевна? Ваша покорная слуга, наконец... Мы откуда?

— Наша уважаемая Серафима Антоновна может объявить интердикт, то есть запрет, нашим суждениям,— снова заговорил Белогрудов.— И это будет правильно. Пустые рассуждения. Повторяю: не все ли равно, кто директор, какое начальство.

— Я совсем не хочу объявлять какие-то интердикты, не имею я права никому ничего запрещать.— Серафима Антоновна говорила это с волнением.— Мне просто обидно: к нам идет прекрасный человек, а мы, не зная, не видя его, уже готовы...

— Объявить персоной нон грата, — вставил Белогрудов.

В буфет при этих словах вошел Бакланов, минуту назад расставшийся с Малютиным и Мелентьевым.

— Вижу по лицам, что общество чем-то сильно обеспокоено,— сказал он, окидывая всех быстрым взглядом.

— Решаем вопрос: аксиос или не аксиос для нас новый директор.

Бакланов подсел к столу и попросил чаю.

— Ну что ж, — заговорил он. — Поскольку вы такой поклонник этой тарабарщины, уважаемый Александр Львович, то я вам скажу в вашем духе: аллотрией занимаетесь, то есть пустяками. Нам всем надо подумать о другом. А не подумать ли нам всем вместе о том, что институт-то долгие годы работал, в сущности говоря, плохо, вхолостую, только видимость соблюдалась того, что мы обслуживаем производство, а на самом деле ведь в собственном соку варимся.

— Преувеличиваете! — возразил Белогрудов. — Гиперболизируете, Алексей Андреевич!

— Ничуть! Семь, а то и десять лет разрабатывать одну тему... Да за этот срок производство на полвека от нас уходит вперед! Так что дело не в том — аксиос или не аксиос новый директор, достоин он или недостоин, а в том, как вместе с ним сделать так, чтобы преодолеть толчение воды в ступе.

Бакланову принесли чай, он помешал в стакане ложечкой и, видя, что все молчат, продолжал:

— А что касается достоинств инженера Колосова... Не знаю, есть ли у него какие-нибудь выдающиеся особенности, мне известно одно: это хороший металлург, пре-

красно знающий производство и нужды производства. Я читал его диссертацию...

— Он имеет ученую степень? — спросила Самаркина.

— Кандидат наук,— ответил Бакланов.

— Но это же совсем другое дело!

— Интереснейшая работа, — продолжал Бакланов. — Читаешь и чувствуешь: писал человек, который умеет мыслить самостоятельно.

— Я очень рада, — сказала Серафима Антоновна, — что и вы, Алексей Андреевич, разделяете мое мнение о Колосове.

— Простите, а каково это ваше мнение? —спросил Бакланов.

— Самое лучшее.

Бакланов удовлетворенно кивнул.

— Время бежит,— сказала Серафима Антоновна, взглянув на часы. — Час обеда давно прошел. — Она встала, все еще статная, несмотря на возраст, и пошла к двери.

Серафима Антоновна закрылась в своей рабочей комнате на французский замок и, стоя у окна, через залепленные снегом стекла смотрела в парк. Мысли ее были расплывчаты. Вспоминалось, как Павел Петрович бывал в этой самой ее комнате, вспоминалось, как бродили они вдвоем по тем вот дорожкам за окнами, рассказывали что-то о себе, спорили. Какое было время! На десять лет моложе... Бедный Павел Петрович! Его состояние даже и сравнить нельзя с тем состоянием, в каком находилась она, когда умер ее муж. Ну что ей тогда было? Двадцать семь или двадцать восемь. Сама молодость служила могучим утешителем, впереди было еще так много неизведанного. А у него, у Павла Петровича? Пятый десяток — на неизведанное рассчитывать трудно. С утратой жены утрачены все богатства, которые долгие годы накапливались в душе.

Серафима Антоновна подошла к столу, выдвинула ящик и среди бумаг отыскала старый журнал, в котором была опубликована яркая цветная фотография: сталелитейный цех, из мартеновской печи хлещет поток металла, в горячем зареве стоит и улыбается, как написано под снимком, главный металлург завода имени Первого мая П. П. Колосов.

Серафима Антоновна медленно сложила журнал. Перед нею возник совсем другой Павел Петрович — тот,

которого две недели назад она видела после похорон Елены Сергеевны. Он сейчас в том состоянии, когда всякий, подошедший к нему с участием, дружбой, лаской, может стать его другом навсегда.

Она, Серафима Антоновна, знает по себе, как беда сближает людей. Злые языки любят посмеяться над ее мужем, Борисом Владимировичем: дескать, вот человек, который известен только тем, что он муж Шуваловой, мужчина на побегушках, мужик в доме. Но ведь надо еще знать и те обстоятельства, которые привели ее к близости с Борисом Владимировичем.

В памяти Серафимы Антоновны встал январь тысяча девятьсот сорок второго года. В блокированном Ленинграде умирали от голода тысячи людей. Умирала и она, Серафима Антоновна. Она лежала в черной, закопченной комнате своей сестры, к которой приехала в начале войны, да так возле нее, больной, умирающей, осталась и сама умирать; видела белый иней на спинке кровати и разорванный морозом графин на ночном столике. Она знала, что кто-нибудь в конце концов упакует и ее в одеяло, как упаковали сестру, и отвезет на склад мертвецов, устроенный за тем забором, за которым до войны продавались дрова. И ей было все равно, потому что муки голода уже миновали, в теле не было никаких мук, никаких желаний, не было никаких претензий к жизни.

И вот пришел он, Борис Владимирович, фотокорреспондент газеты, сосед сестры по квартире, большой, голубоглазый, похожий на витязя из русских былин; он действительно упаковал ее в одеяло, но отвез не на дровяной склад, а за Ладожское озеро и отправил дальше, туда, в Сибирь, в Кузнецкий бассейн, где концентрировались части распавшегося было института.

Что его заставило это сделать? Во имя чего носил он ее на руках из машины в машину при пересадках на озере? Во имя чего отдавал ей свой скудный паек? Он даже объяснить этого не мог.

Потом, когда она уже работала в одном из сибирских городов, он дважды приезжал к ней в отпуск. Первый раз сам решил это сделать. Он явился тогда очень и очень кстати. В ту пору Серафима Антоновна тосковала в одиночестве: как бы ни была она захвачена работой для фронта, работа приносила удовлетворение уму, но разве могла согреть сердце? Согрел сердце он, заботливый, добрый, ласковый.

Со вторым приездом получилось уже иначе. Ей пришлось долго убеждать и упрашивать его в письмах, чтобы он приехал. Дело в том, что в тот год она получила Сталинскую премию, о ней писали в газетах, о ней говорили, ее чествовали. Он боялся того, что о нем будут говорить: муж Шуваловой. Вот, дескать, что привело его к ней, ее слава, ее почести, ее деньги.

Ей удалось его убедить тогда, что подобные опасения — пустяки, ерунда. Он приехал, но было видно, что его тяготит положение мужа при жене. Со временем это все улеглось, утряслось. Мужчины, конечно, посмеиваются над Борисом Владимировичем, но стоит ли придавать значение глупым смешкам! Люди просто не знают, какую роль в жизни человека могут сыграть случайно сложившиеся обстоятельства.

Бился ветер в окна, падал пластами снег с деревьев в парке, зима была на исходе, за этими ветрами уже шла где-то по южным степям весна. В сердце Серафимы Антоновны вкрадывалось беспокойство. Оно, как Серафима Антоновна говорила себе, было совершенно беспричинным. И это ее слегка раздражало.

2

Когда Оля пришла в институт после почти двухнедельного перерыва, она узнала, что за этот долгий срок в аспирантуре произошло множество разнообразных событий. Навещая ее дома, друзья об этих событиях умалчивали,— видимо, чтобы не расстраивать своего комсомольского руководителя. «Чего уж на девушку-то они взъелись!—еще в раздевалке заговорила с Олей гардеробщица тетя Аня. — Сами рассудите, товарищ Колосова, девке двадцать шестой, а все холостая. Кто же ее вправе неволить?» — «О чем вы, тетя Аня? Не понимаю», — сказала Оля с удивлением. «О Савушкиной, товарищ Колосова, о ней, о ком же еще! Вышла замуж — радоваться за нее надо, а не прорабатывать, как наши взялись».

На кафедре Оле рассказали о Савушкиной более подробно. Тамара Савушкина, аспирантка второго курса, вдруг неожиданно для всех, кажется, даже и для себя, вышла замуж за научного сотрудника Ботанического сада. Они два раза встречались на катке, но, по словам Тамары, так безумно влюбились друг в друга с первого

взгляда, что в третий раз пришли на каток уже мужем и женой. Несколько дней назад Тамара приходила в институт, чтобы подать заявление об отчислении из аспирантуры. Она сидела на скамейке в коридоре, окруженная подругами, и тараторила о том, что теперь ей не до диссертаций, теперь надо устраивать дом, окружать Мишу уютом и заботами. Он такой способный, подающий надежды, он уже открыл способ борьбы с сельскохозяйственным сорняком — для этого надо с самолета разбрызгивать над полями какую-то жидкость, которая сжигает сорняки и не трогает культурные растения. Миша сказал, что весной он возьмет ее, Тамару, с собой в экспедицию, что они поедут куда-то очень далеко, в Кара-Кумы, там есть русло древнего Узбоя, и вот там экспедиция будет изучать условия жизни растений.

— Ну и как же нам поступить, девочки? — в раздумье спросила Оля, выслушав рассказ о случае с Тамарой Савушкиной.

— Надо вытряхнуть ее из комсомола! — сказал аспирант-историк Георгий Липатов.— Мы об этом уже говорили. Сколько государственных средств на нее истрачено! А для чего? Чтобы у товарища ботаника была жена кандидат в кандидаты искусствоведческих наук? Надо вытряхнуть. Райком нас поддержит. Уверен.

Еще две недели назад, пожалуй, и Оля думала бы примерно так же, как Георгий, она бы тоже без особых колебаний голосовала за исключение из комсомола Тамары Савушкиной. Но полтора десятка минувших дней заставили Олю серьезно поразмыслить о многом, из чего состоит жизнь человека. Они научили ее вглядываться в жизнь пристальнее, чем прежде, и, уж во всяком случае, не слишком спешить в суждениях.

— Посмотрим,— сказала Оля.— Посмотрим. Надо поговорить с Тамарой.

— Говорили! — ответил Липатов. — Бесполезно. В обывательщину скатывается. Мы уж тут на бюро постановили: объявить строгий выговор за антигосударственное решение. Я имею в виду уход из аспирантуры.

Потом Оле рассказали о делах самого Георгия Липатова. Вот рассуждает — прямо-таки Савонарола, да и только! А что у него с Люсей? Еще года нет, как поженились, — Савонарола уже утверждает, что она ему не пара, что ее заедает обывательщина, которая этак и его может засосать, если он не примет решительных мер.

И наконец, на Олину голову обрушилась еще одна неприятность: Нина Семенова и Маруся Ершова подрались. Так вот взяли и надавали одна другой по щекам. Мальчишки-первокурсники утверждают, что Нина при этом даже сказала нехорошее слово.

С Тамарой Савушкиной, с Георгием и с Люсей Липатовыми решить что-либо так сразу было невозможно, следовало обдумать их дела коллективно. Но вот Маруся и Нина... Оля попросила позвать их обеих к ней в комнату бюро. Первой пришла Маруся, воскликнула:

— Оленька, дорогая, здравствуй! — и поцеловала Олю.

Вошедшая следом Нина увидела Марусю и, не глядя на нее, буркнула Оле:

— Здравствуй!

— Девочки, садитесь! — сказала Оля приветливо.— Как давно мы не видались!

Маруся и Нина уселись у противоположных стен большой комнаты, демонстративно отворачиваясь друг от друга.

— Ну как же это могло случиться?— заговорила Оля после некоторого молчания.— Взрослые люди! В вашем возрасте у моей мамы уже было двое детей. Да, говорят, Нина, ты что-то такое сказала, что...

— Это вранье! — резко перебила Нина.— И вообще нечего тут раздувать. Все это наше личное дело. Ты правильно сказала: мы —взрослые люди и в назиданиях не нуждаемся.

Оля так и не смогла ничего добиться. Нина и Маруся ушли от нее еще бо́льшими врагами. «А из-за чего они подрались-то, из-за чего?» — расспрашивала растерявшаяся Оля однокурсников. «По очень простой причине, — объяснили ей. — Нина сочинила для самодеятельности очередную пьесу из институтской жизни. Маруся, как всегда, взялась ее ставить. Но пьеса провалилась. Маруся сказала, что, значит, такая пьеса. А Нина заявила, что не пьеса виновата, а такая уж была постановка, такой оказался режиссер. Сначала обе плакали, а потом вот взяли и подрались».

Удрученная, Оля ушла из института поздно. Провожать ее увязался Георгий Липатов. Он шел рядом, подняв меховой воротник тужурки, и в этот воротник бурчал малопонятное о неустройствах в человеческой жизни, о том, что, не пожив с человеком бок о бок, его невозможно

по-настоящему узнать, а когда поживешь и узнаешь, то часто выясняется, что это совсем не тот человек, который тебе нужен, и вот начинаются драмы, начинаются всякие помехи на твоем жизненном пути.

На улице было очень холодно и ветрено. Георгий предложил зайти в ресторан и поужинать, у него есть деньжата. Оля не хотела начинать с ним разговор, не поговорив с Люсей. Она резко ответила: «Знаешь, на твоем месте я бы пошла домой» — и встала в первую попавшуюся очередь к автобусу, встала спиной к Георгию, ни на одно его слово больше не ответила. Он потоптался-потоптался возле нее и ушел.

Очередь подхватила Олю и внесла в автобус. Пришлось проехать остановку по ненужному Оле маршруту. Выйдя из автобуса, она увидела трехэтажное здание с колоннами, в котором были квартиры и общежития завода ее отца. Оля уже перешла улицу, чтобы, пробежав по морозу квартал, сесть в трамвай, но с противоположного тротуара увидела ярко освещенные окна и вспомнила о последней встрече с Варей Стрельцовой на заводе.

Постояв у подъезда, она решила зайти к Варе. Все равно спешить домой незачем: отец третий день в Москве.

На стук вышла сама Варя. Девушки обнялись так горячо, будто после многолетней разлуки. Оле почему-то было очень приятно прижаться щекой к теплому Вариному плечу.

Оля поздоровалась с соседкой Вари по комнате, белокурой девушкой Асей, у которой были удивительно длинные и вместе с тем очень красивые ноги; она всегда старалась выставить их напоказ. Она и сейчас их выставляла, показывая своему гостю — курсанту военно-морского училища. Его отстегнутый палаш лежал на подушке Асиной постели. Будущий морской волк играл на гитаре; когда ему представили Олю, он поспешно отложил гитару, встал и очень вежливо поклонился.

Оля заходила к Варе несколько месяцев назад. Но тогда в комнате не было ни моряка, ни гитары; Ася тихо читала книгу, в окно весело светило солнце. Сейчас Оля была ошеломлена обстановкой, в которой оказалась Варя,— ведь Варя уже не студентка. Она увидела на Варином столике кипы журналов и книг; некоторые из них были раскрыты, из других торчали газетные закладки.

— Ты можешь заниматься в таких условиях? — спросила Оля тихо.

— Я могу заниматься в любых условиях,— ответила Варя.— Это ты избаловалась в своей квартире. Подайте ей тишину, не скрипните, не шагните...

— А чем ты занимаешься? — сказала Оля, взяв в руки первую попавшуюся книгу.

— Павел Петрович просил составить ему обзор по температурному режиму скоростных плавок. Вот видишь, натащила литературы.

Оля уже давно знала, насколько ее отец ценил свою «верную младшую помощницу», как он называл Варю. Оля знала, что Павел Петрович, очень требовательный к себе, многого требовал и от других. Но заставлять людей работать даже поздно вечером, и в таких условиях... это уже слишком!..

— Ты должна отдыхать! — сказала она Варе строго.

— Товарищи девушки! Может быть, нам в порядке отдыха потанцевать? — предложил веселый моряк, опять взявшийся за гитару. Он повернул ручку репродуктора на стене, прислушался. Передавали тягучую, нудную музыку.

— Это не танцевальная музыка, — сказала Ася.

— Играют в общем-то на нервах. Точно,— согласился моряк.— Но что-нибудь медленное можно потанцевать и под это.

— И в самом деле, почему передают всегда только серьезное да серьезное,— сказала Варя.— Я хоть и не танцорка, а веселую музыку люблю с детства. У нас в деревне был знаменитый баянист Гриша. В войну он приобрел аккордеон и так играл, так играл!..

— Видите ли,— заговорил моряк, вежливо выслушав Варю,— в радиокомитете сидят, мы так считаем, старички. У них подагра, у них в коленях хруст...

— Совсем не поэтому,— возразила Оля.— Ваших танцев и так слишком много. В любом клубе, на любом вечере —только танцы да танцы.

— Ну, кому как! — миролюбиво не то согласился с Олей, не то возразил моряк, взглянул на часы и стал одеваться. — К поверочке должен быть дома! — сказал он, затягивая ремень с палашом.— А то, поди, так недельки на две останешься не только без танцев... Служба!

Он распрощался и ушел. Белокурая девушка Ася, что-то напевая под нос, принялась расстилать постель. Варя

повела Олю в полутемную гостиную общежития. Там было пусто; они уселись рядышком на мягкий, слегка попахивающий пылью диван.

— Не знаю, что и делать,— заговорила Варя.— Составляю этот обзор Павлу Петровичу, а сама думаю: зачем? Ведь уходит Павел Петрович с завода. Можно считать, уже ушел. Приедет из Москвы, сдаст дела — и до свидания. Мне так грустно, я так привыкла работать с Павлом Петровичем, он такой хороший...

— Ну, хороших же на свете много.

— Я и не говорю, что больше нету. А все равно мне очень грустно. — Варя вздохнула. — Я всегда вспоминаю, — снова заговорила она, — как я сидела у вас в кабинете на диване, как Павел Петрович ходил из угла в угол и рассказывал об истории металлургии, о железе, о стали. Это у меня в жизни второй такой человек. Первым был наш деревенский учитель, Иван Степанович. Он умел так рассказывать об истории, что не ушел бы из класса хоть до следующего утра. В общем-то, если задуматься, я из-за него вначале и хотела учиться на историка.

— Ты смешная,— сказала Оля.— А вдруг тебе встретится человек, который будет очень хорошо рассказывать о лесоводстве или о сельском хозяйстве, ты что же, бросишь все и поступишь в лесной институт или в агрономический?

— Не знаю,— ответила Варя нетвердо.— Не думаю,— добавила тверже. — А впрочем... — Она тряхнула головой и с какой-то задорной мечтательностью закончила: — Впрочем, была бы такая возможность, я бы и лесным делом занималась, и агрономическим... Может быть, это худо, но мне все интересно, все нравится, всего хочется.

— Ты рано родилась. Тебе бы надо было родиться при полном коммунизме. Тогда ведь человек сможет делать все, что ему заблагорассудится, не связывая себя какой-нибудь определенной профессией.

— Ты зря, Оля, смеешься,— ответила Варя без обиды.

— А я и не смеюсь.

— Смеешься, вижу. Вот вы меня осуждали, помню, зачем не осталась в аспирантуре: предлагали, мол, надо было пользоваться случаем. А я не могла оставаться, мне хотелось поскорее в жизнь, в события, в действия. И не жалею. Очень правильно поступила. А наука? Я и на

заводе могу работать над диссертацией. Только я сама пока не стремлюсь, и Павел Петрович не советует спешить. Он говорит: если ты не лишен качеств исследователя, это само придет со временем. Диссертация должна рождаться от избытка опыта, от потребности сказать такое, что еще никем не сказано, а вовсе не в мучительных стараниях надергать отовсюду, от чужих мыслей, от чужого опыта. Я с ним полностью согласна.

— Значит, я отовсюду дергаю, хватаю чужие мысли, пользуюсь чужим опытом? — заговорила Оля медленно и тихо.

— Ну а как же! — воскликнула Варя.— Ты что — сама производила какие-нибудь раскопки, изучала какие-нибудь могильники, много путешествовала, сорок лет сопоставляла факты? Нет же, Оля! Ты взяла уйму книг...

— Знаешь, Варя, не будем говорить об этом,— сказала Оля.— Это очень сложный вопрос. Ты меня как-то запутала своими рассуждениями. Вот ведь отец какой! С тобой он откровеннее, чем со мною. Мне он так никогда не говорил.

— Ты его береги,— вдруг сказала Варя. — Он, я вижу, стал рассеянный. На улице может что-нибудь случиться. И дома не оставляй одного.

— Как же это сделать? — машинально ответила Оля, раздумывая над словами Вари о диссертациях.— У меня столько всяких обязанностей.

Варя заметила, что у Оли стали дрожать и кривиться губы. Она обняла ее. И снова Олиной щеке было тепло и уютно на мягком Варином плече. Оля не вдумывалась, почему ей хотелось подольше задержаться на этом плече; помимо ее сознания, память возвращала Олю в детство, в те годы, когда, обиженная кем-нибудь, исплакавшаяся, она задремывала на плече своей мамы, согретая маминым теплом.

Через час, лежа дома в постели, Оля вспоминала весь этот вечер: Варин столик, загроможденный книгами, моряка с гитарой, Асю, напевавшую старинные романсы. Варя, конечно, права, утверждая, что Оля избаловалась в квартире, где, кроме столовой, спальни, папиного кабинета, бывшей Костиной комнаты, есть еще и отдельная ее, Олина, комната, и когда Оля занимается там, то действительно в доме устанавливается абсолютная тишина.

Оля долго не могла уснуть, ворочалась, зажигала свет, пила воду прямо из горлышка графина. Она уснула только тогда, когда у нее зародился один, с ее точки зрения совершенно правильный, план. Интересно, согласится с ним отец или нет? Странно, почему бы ему не согласиться?

3

Пришел такой час, когда Павел Петрович остался один. Один в громадном сумрачном кабинете о четырех окнах. За окнами было черно от корявых старых лип, на окнах уныло висели коричневые драпировки, дневной свет с трудом проникал через эти заслоны; не сразу в нем, на фоне темных дубовых панелей, различались три или четыре десятка жестких кресел, выстроенных вдоль стен ровными линиями. Входивший в кабинет далеко перед собой, за обширным пустым пространством, прежде всего видел массивный директорский стол. Направо от входной двери был еще один стол, длинный, покрытый зеленым сукном и тоже со всех сторон окруженный ровной изгородью из жестких кресел. Еще тут, на стене против окон, были часы.

Павел Петрович подумал о своей маленькой комнатушке в заводоуправлении; она вспоминалась такой уютной, светлой, теплой, что захотелось надеть пальто, шапку, выскользнуть незаметно из этого мрачного помещения, выбраться на улицу к автобусу, да и махнуть туда, на завод, в ту комнатушку, защелкнуть замок,— пусть ищут.

Это был третий день пребывания Павла Петровича в стенах института. В первый день тут стояла суматоха, в первый день тут еще властвовал приехавший вместе с ним из Москвы заместитель министра. Высокий начальник вызывал главного инженера, который является и заместителем директора по научной части, вызывал хозяйственников, приглашал ведущих сотрудников, секретаря партийной организации, председателя месткома. Люди шли, о чем-то говорили, на что-то жаловались, что-то предлагали.

Вчера было несколько тише. До поздней ночи Павел Петрович знакомился со списком сотрудников, с планами научной работы, с финансовым положением института; но все это еще в присутствии заместителя министра, при

его участии и помощи. Вчера же с ночным поездом заместитель министра уехал.

Сегодняшним утром уже никто никакой помощи Павлу Петровичу не оказывал. Напротив, все ждали от него самого действий, указаний, распоряжений. Не будь его, продолжись еще месяц или два такое положение, когда старый директор снят, а новый еще не назначен, дела в институте, наверно бы, шли и шли своим чередом, каждый бы делал то, что определено ему его должностью и планом. Но такое положение кончилось, новый директор есть, и вот выясняется, что всем нужны его указания и распоряжения, причем срочно, немедленно, сию же минуту.

Еще только начало дня, а от Павла Петровича уже потребовали решения по поводу организации какой-то комплексной бригады для отправки в Донбасс, спросили, как быть с неким Артамоновым: отзывать его из Кузнецка или нет, — он перерасходовал квартальные лимиты командировочных средств по группе доменщиков; потребовали дать кому-то указания о необходимости получить наряд на кирпич и цемент; понадобились мероприятия для обеспечения института серной кислотой и брезентовыми рукавицами; уже успел зайти главный инженер и сказал, что он хотел бы освободиться от своей должности: «Вы меня извините, товарищ Колосов, но я вам буду плохим помощником. Я механик и по образованию, и по опыту работы. Ни металлургического производства, ни проката, ни холодной обработки металлов не знаю. Как я могу руководить научно-исследовательской работой в этих направлениях? Никак! Считаю, что налаживать дело в нашем институте надо с освобождения меня. Я это прежнему директору говорил сто раз».

Павел Петрович был очень недоволен собой. Он чувствовал, что поступает совсем не так, как надо, что он излишне теряется перед натиском всяческих требований и претензий. Он отлично знал, какие требования предъявляет производство к науке, он не раз слышал жалобы производственников на оторванность научно-исследовательской работы от нужд производства, на ее отставание, ему самому приходилось сталкиваться на заводе с такими захожими работниками, которые из года в год занимались какой-либо темой безрезультатно. Павел Петрович ясно сознавал, что деятельность института должна полностью отвечать нуждам производства. Институт отраслевой,

и каждый его сотрудник, разрабатывая ту или иную проблему, обязан видеть перед собой производственную цель, во имя которой проблема разрабатывается. Это было понятно, это само собою разумелось. Об этом же Павлу Петровичу было сказано и в горкоме и в министерстве. Не знал он только, как за новое, незнакомое ему дело приняться практически.

Ко всему прочему Павла Петровича угнетал еще и мрачный огромный кабинет, обставленный в сугубо бюрократическом стиле. Павел Петрович встал и измерил его вдоль и поперек большими метровыми шагами; получилось двенадцать на шесть, семьдесят два квадратных метра.

Он рассмотрел на столе, рядом с телефонными аппаратами, кнопку электрического звонка, хотел было нажать, но не решился: еще никогда в жизни ему не приходилось вызывать кого-либо к себе таким способом. На заводе он демократически стучал в стенку кулаком.

Павел Петрович распахнул дверь в приемную. В приемной за столом сидела изрядно раскрашенная, пышная женщина. Ему вчера сказали, как ее зовут, но он позабыл.

— Можно вас на минутку? — позвал он.

Когда она вошла в кабинет, Павел Петрович предложил ей сесть в кресло и спросил:

— Вы секретарь директора?

— Не знаю, — ответила она с улыбкой. — Может быть, уже нет. Может быть, вы меня уволите.

— Почему же?

— Новая метла чисто метет. И вообще новые начальники любят приводить с собой своих прежних секретарей, помощников, референтов. Так повелось.

— Вас разве тоже привели? — спросил Павел Петрович.

— Да, — сказала она. — Мне было тогда восемнадцать лет. А теперь уже тридцать восемь.

— Позвольте, как мне известно, прежний директор пробыл тут не двадцать лет?

— Конечно, нет! — воскликнула она.— За эти двадцать лет у нас сменилось двенадцать директоров. Вы тринадцатый.

— Тринадцатый?

— Да, вот так получилось.— Она все улыбалась, глядя прямо в глаза Павлу Петровичу.

— Прошу прощения,— сказал Павел Петрович,— как вас зовут?

— Лиля Борисовна.

— Лиля... Это что же значит?

— Это значит... ничего особенного. Вообще-то я Лидия. Но меня с детства зовут Лилей.

— Тоже так повелось? Ну хорошо. А как же так произошло, что вы пережили двенадцать начальников? Ведь они приводили с собой своих прежних секретарей?

— Некоторые приводили. Но в условиях нашего института эти секретари оказывались непригодными. Тут надо многое знать... И меня... сначала-то отправляли на какую-нибудь другую должность... а потом вот брали обратно сюда. Я ведь здесь со дня организации института. Меня сюда, как вы сказали, привел первый директор, профессор Кожич. Я работала у него лаборанткой в технологическом, он ко мне привык и, когда его послали организовывать этот институт, взял меня с собой. Потом он умер...

Лиля Борисовна гладила ладонью полированное ребро стола. Павел Петрович рассеянно следил за ее движениями. Ему думалось, что, наверно, она вспоминает то время, когда пришла сюда, молоденькая, восемнадцатилетняя, с надеждами и планами на будущее; сидела вот так же, поди, перед своим профессором Кожичем, и, поди, в этом же кресле, и возле этого стола, и потом еще видела одиннадцать директоров. Они приходили, распоряжались тут, объявляли свои программы, бушевали и... уходили. А она оставалась перед дверями в этот кабинет, и все более обогащаясь знанием человеческих натур, все совершенствуя свое умение применяться к любым характерам.

— Лидия Борисовна,— сказал Павел Петрович,— вы уж извините, я буду вас звать как взрослую. У меня к вам такой вопрос: а нет ли тут комнатушки поуютней, чем этот сарай?

— Вам не нравится ваш кабинет?— почти с ужасом воскликнула Лиля Борисовна.

— Не нравится, Лидия Борисовна. Решительно не нравится. Отдадим семьдесят квадратных метров под лабораторию или мастерскую да переедем метров на двадцать пять. А?

— Ваше дело, Павел Петрович, ваше.— Круглое лицо Лили Борисовны вытянулось, улыбка с него сошла: лю-

бые перемены ее страшили, ломали привычный, размеренный ритм жизни.— Но только я не знаю ничего подходящего.— Она пожала плечами.

Павел Петрович сказал, что она свободна, и проводил ее до двери. В дверях он почти столкнулся с Шуваловой.

Он очень обрадовался приходу Серафимы Антоновны. Она была для него здесь единственным знакомым и в какой-то мере близким человеком, единственной связью с привычным, изведанным миром, единственной опорой, казавшейся наиболее надежной.

— Давно рвусь к вам,— заговорила она, присаживаясь в кресло.— Да у вас все народ, народ... Как я рада, что вы пришли к нам! Теперь можно будет работать, теперь мы вместе... Надеюсь, вы не отвергнете скромную помощь ваших друзей? Совместно мы сможем многое улучшить. Наша беда заключалась всегда в том, что с приходом нового руководителя начиналась так называемая перестройка. Всё ломали, рушили, обвиняли один другого во всяческих грехах. Кадры высокой квалификации в результате этих перестроек таяли... Надо добиться того, Павел Петрович, милый, чтобы не было перестроек, надо сразу войти в ровный рабочий ритм. Если вы не против, я вам помогу, я познакомлю вас с теми людьми, которые нужны науке, они будут вашей опорой.

На душе у Павла Петровича светлело: рядом с ним была, предлагала ему свою помощь она, известная не только в Советском Союзе, но и за границей, доктор Шувалова, дважды лауреат Сталинской премии, профессор с двадцатипятилетним опытом научной работы.

Серафима Антоновна подробно рассказывала о каждом из ведущих научных сотрудников института. Павел Петрович записывал. На первых порах, для установления правильных взаимоотношений, эти сведения были ему очень важны. Потом поговорили о личном: скучает ли Павел Петрович по заводу, как себя чувствует Оленька — очень милая, славная девушка,— где и как Павел Петрович питается. Серафима Антоновна была бы очень рада видеть его у нее дома, она надеется, что теперь они будут встречаться гораздо чаще, чем прежде.

От ее участливых слов и дружеского тона, от мягких жестов на Павла Петровича веяло теплом, он почувствовал себя свободнее и увереннее. Поэтому, когда Серафима Антоновна ушла, сказав: «До скорой встречи»,— он уже

без колебаний нажал кнопку звонка. Лиле Борисовне сказал, чтобы она не чинила никаких препятствий, если к нему будут приходить сотрудники института.

Потом он листал свои записи, перед ним мелькали незнакомые фамилии, за фамилиями шли те характеристики, которые дала этим людям Серафима Антоновна. Вот какой-то Харитонов... Пока что о нем записано со слов Серафимы Антоновны: «Ни то ни се». Что-то покажет жизнь? О некоей Самаркиной сказано: «Везде и всюду стремится показать свою ученость. Болтлива». О Липатове, который заведует издательским делом института, Серафима Антоновна сказала немного: «Начитан, интеллигентен». Гораздо подробнее она говорила о Белогрудове: «Очень талантлив. За что берется, делает с огнем. Своеобразен и оригинален. Нужен подход». Много говорилось о Румянцеве и особенно о Красносельцеве.

Перебирая записи, Павел Петрович подумал о том, что надо бы обстоятельно побеседовать с Мелентьевым, секретарем партбюро. Уж кто-кто, а тот-то должен знать людей не хуже милой, но беспартийной Серафимы Антоновны. При первой встрече, в присутствии заместителя министра, да и вчера, когда тут был представитель горкома, Мелентьев произвел на Павла Петровича впечатление человека серьезного, вдумчивого, который спешить не любит, зато делает все основательно, крепко, солидно.

Снова Павел Петрович не решился прибегнуть к современному средству общения,—он не позвонил секретарю партбюро по телефону, не пригласил его к себе, а, справившись у Лили Борисовны, где помещается партбюро, сам пошел разыскивать комнату номер сто тридцать четыре.

Комната сто тридцать четыре тоже была длинная, мрачная, в ней тоже было много стульев и два стола, из которых один — длинный — тоже стоял возле окон и был покрыт сукном, но не зеленым, а красным. Пожалуй, наиболее существенное отличие помещения партбюро от директорского кабинета заключалось в том, что в углу здесь стояли два алых, обшитых золотом институтских знамени да посреди стола, покрытого красным, возвышалась металлическая ваза — кубок за какие-то спортивные достижения тысяча девятьсот тридцать шестого года. Она уже давно служила вместо пепельницы.

Мелентьев принял Павла Петровича как радушный хозяин.

— Садись, товарищ Колосов, садись! — пригласил он его широким жестом в кресло.— Кури! — И передвинул на столе раскрытую коробку папирос «Казбек».

— Да нет, я уж «Беломор»,— ответил Павел Петрович, осматриваясь и доставая портсигар.

— У нас есть некоторые, тоже оригинальничают. Зарабатывают кучу денег, а курят «гвоздики».

— Я не для оригинальности. Привык,— возразил Павел Петрович.

— Надо отвыкать. Надо переходить на директорское положение,— не то в шутку, не то всерьез сказал Мелентьев, щуря ясные голубые глаза.— Ну как, осваиваешься? Это не сразу, на это несколько месяцев понадобится. Я вот когда сюда пришел, как в лес густой. Непривычно. До того в аппарате работал, там все ясно, все определенно. А тут... Что ни человек, то загадка. И так вокруг него ходи, и этак. Трудно было. Вот сработался. Осенью второй раз выбрали секретарем. Из девяноста шести голосовавших только двадцать восемь были против. Этим, значит, не угодил. Да ведь всем не угодишь, как ни старайся.

Павел Петрович чиркнул спичкой, закурил свой «Беломор». Раскрыв блокнот, он принялся проверять правильность характеристик, которые дала ему Серафима Антоновна.

— Харитонов? Почему же ни то ни се? — Мелентьев наморщил высокий лоб. — Он в числе моего актива. Человек безотказный. Кто это тебе успел наговорить на него, товарищ Колосов? Удивляюсь. Дальше кто? Самаркина? Да без нее мы бы пропали. Бывает, на собрании никто не хочет выступать в прениях первым. Товарищи, взываешь, ну что же это, и так далее. А тут, на грех, еще представитель из райкома, неподготовленное, подумает, собрание, активности нет. Ну и кто выручит? Нонна Анатольевна. Вот народ, вот народ! — Мелентьев покачал головой. — Уже успели оговорить хороших людей. Я тоже, помню, пришел сюда... некоторые пытались чернить в моих глазах друг друга. Не вышло. Не слушай никого, товарищ Колосов. Ты слушай меня. Я дам тебе списочек, на кого сто́ит опираться. Во-первых, Харитонова не отталкивай. Не первый работник, но и не последний. С Нонной Анатольевной тоже надо наладить правильные отношения. Ну, ты тут помянул Белогрудова... Не знаю, может, и талантливый, но, думаю, не очень. Пустоцвет. Липатов? За

галстук закладывает. И к тому — слабак. Выпьет сто граммов, а будто бочку принял.

Мелентьев называл одного сотрудника за другим, и Павел Петрович чувствовал, как из-под него уходит едва было нащупанная почва. Некоторые характеристики Мелентьева совпадали с теми, которые дала Серафима Антоновна, но большинство его характеристик — это же катастрофа! — были противоположны ее характеристикам.

Мелентьев, видимо, заметил недоумение нового директора и поспешил сказать успокоительно:

— Ты, в общем-то, товарищ Колосов, не теряйся. Это хорошо, что ты ко мне пришел. Мы тебя поддержим, создадим тебе авторитет, рабочую обстановку. Только работай. А что же ты думал? Без трудностей не обойтись. А без поддержки трудность не преодолеешь.

Павел Петрович закончил свой рабочий день в одиннадцатом часу вечера. У подъезда его ждала темно-коричневая машина марки «БМВ», но Павел Петрович сказал шоферу, что у него болит голова и он пойдет домой пешком.

Он шел по незнакомым местам, глухими улицами, не совсем ясно сознавая, куда и как надо идти. Не этим были заняты его мысли. Он хорошо помнил тот день, когда его, молодого инженера, впервые назначили помощником плавильного мастера к мартеновским печам. Он не знал, что надо делать, с чего начинать, к чему приступать. И сколько же у него тогда оказалось добровольных и терпеливых наставников, учителей, консультантов! Подходили старые, молодые, мастера, бригадиры, просто рабочие, протягивали портсигар, кисет с махоркой, сложенную гармошкой газету, за перекуркой втолковывали, объясняли, показывали. Не забыл Павел Петрович и тот день, когда стал начальником цеха, а потом и еще один день — день назначения главным металлургом завода. И никогда у него не было такой тревоги, как теперь.

Он пришел домой озябший, к Олиному удивлению, достал из буфета графин с водкой, налил рюмку — выпил, налил еще — выпил; когда налил третью, Оля испуганно воскликнула: «Папа, что с тобой?» Она попыталась отнять у Павла Петровича рюмку, но быстрым движением он успел выпить и третью, подсел к столу и принялся жевать хлебную корку.

— Папочка, что с тобой? — повторила Оля.

— Ну что, что! — развел руками Павел Петрович. — Трудно, вот что. Трудно. Назвался груздем, а в кузов-то пихают — и плохо.

— Папочка ты мой милый, хороший мой! — Оля подошла, охватила голову отца руками и гладила его ладонью по щеке. Он сидел тихо, не шевелясь.

Потом она носила из кухни еду, они вместе ужинали; как она ни протестовала, Павел Петрович выпил еще две рюмки, стал кого-то ругать. Оля так и не поняла кого. Поужинав, он лег на кушетку и тяжело вздохнул. Оля села рядом.

— От Кости ничего нет? — спросил Павел Петрович.

— Дождешься от него,— ответила Оля.— Он только маме писал.

— Напиши Косте, Оленька,— сказал Павел Петрович.— Мы с тобой все-таки вдвоем, а он один. Ему тяжелее.

— Хорошо, напишу. — Оля помолчала. — Папа, — заговорила она снова,— ты можешь выслушать меня серьезно?

— Конечно, могу.

— Папа, я на днях была у Вари Стрельцовой.

— Ну что там на заводе? — Павел Петрович сказал это, не открывая глаз.

— На заводе я не знаю что. А вот Варе, мне кажется, очень тяжело жить. Она ведь в общежитии. Она какие-то работы для тебя делает. А вокруг танцы, романсы, гитары.

Павел Петрович открыл глаза.

— Для меня? — спросил он удивленно.

— Ну да, для тебя, еще по заводской работе. Она и говорила: зря, наверно. Но я не об этом. Я считаю вот что... Папа, ты можешь меня правильно понять?

— Конечно, могу.

— Папа, давай пригласим Варю к нам. У нас пять комнат...— Оля замерла и не без страха смотрела на отца; вдруг обозлится, начнет отчитывать: чужих людей, неизвестно кого... в дом! Черт знает что такое!

Но получилось все совершенно иначе. Павел Петрович сказал: «Пожалуйста, приглашай»,— еще раз вздохнул, и Оле показалось, что он спит. Но он не спал, он думал о том, что это, пожалуй, не так уж и плохо, если Варя Стрельцова поселится у них: он будет всегда в курсе заводских дел, будет живое связующее звено с дорогой его сердцу жизнью завода.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Павел Петрович отпустил машину, но не спешил войти в подъезд. Он отошел с тротуара к чугунной ограде бульвара и несколько минут смотрел на освещенные окна второго этажа. Окна были узкие и очень высокие, сводчатые, как во многих старинных особняках бывшего губернского города. Кариатиды из темного, почти черного камня поддерживали такой же каменный балкон.

Нет, не здесь жила до войны Серафима Антоповна — в другом районе, в одной из боковых улиц. Павел Петрович провожал ее тогда однажды и запомнил высокое здание этажей в семь или восемь, отнюдь не такое роскошное, как вот это, на бульваре имени Железнякова.

Он еще постоял, потому что ему вспомнилась школа, в которой он учился. Школа была рядом, на углу Фонарного переулка, только перейти мостик через городской пруд.

Сколько раз он переходил этот мостик! И в снег, и в дождь, и в тепло, и в холод. Было как-то весной: на середине мостика его обогнала высокая беленькая девочка из старшего класса — ее звали Леля, фамилию он не запомнил,— она бежала под весенним дождем, размахивая портфельчиком из красной кожи. То ли она поскользнулась, то ли задела своим портфельчиком за перила, но случилось так, что портфельчик перелетел через перила и шлепнулся на разъеденный солнцем и размытый дождями лед пруда.

Павлик Колосов тут же сбросил тужурку, перешитую из отцовского пальто, перемахнул через перила моста и по деревянным скользким бревнам устоев спустился на лед. Лед крошился под ногами, по нему надо было ползти. Павлик вымок, покрылся грязью и царапинами, но красный портфельчик был возвращен Леле. Леля смотрела на героя сияющими глазами. Они у нее были зеленые и немножко желтые, будто у кошки.

Вспомнились Павлу Петровичу и еще одни глаза — угольно-черные, глаза Наташи Александровой, худенькой девочки, у которой на шее, когда она не знала урока, выступали красные пятна. Наташа говорила, что пьет

бром, от этого она казалась необыкновенной, ей завидовали.

Был окончен седьмой класс, миновало лето. Павел Колосов уже работал на заводе, он уже забывал школьных товарищей. Но его не забыли, он получил письмо, его приглашали на вечеринку бывших семиклассников. Вот здесь, рядом со школой, кажется, в том облупленном доме, если пройти два двора и подняться по узкой темной лестнице — теперь уж и не найдешь эту лестницу,— состоялась первая в его жизни вечеринка. Было очень смешно и вместе с тем торжественно от того, как серьезно, старательно и неумело хозяйничали за столом девочки. Мальчишки отчаянно кашляли, потому что для них купили бутылку противной водки, и водка почему-то попадала именно в то горло, которое называется «не то».

Поначалу все старались подражать взрослым, говорили неуклюжие учтивости, потом это прошло, рассказывали смешное, острили, хохотали.

В ту пору патефоны были редкостью, а танцы считались признаком мещанства, поэтому Наташа села за пианино, играла все, что ее просили; под Наташину музыку пели. Потом — Павел Петрович не мог теперь вспомнить, почему так случилось,— они оказались вдвоем с Наташей на кухне, среди множества грязных тарелок, в шутку простерли друг другу руки и обнялись. А когда обнялись, то совершенно неожиданно для обоих поцеловались. Это было незнакомое, странное ощущение, глубоко взволновавшее и его и ее. Они поцеловались еще, потом еще и еще и весь вечер только и искали случая, чтобы скрыться в передней, за вешалкой с одеждами, в ванной комнате, где был испорчен свет, в кухне — и снова и снова испытывать это новое для них чувство.

С тех пор Павел Петрович впервые увидел Наташу Александрову в позапрошлом году. Он ходил по этажам универмага в поисках подарка к Олиному дню рождения, и там они столкнулись на лестнице. Прошло более четверти века, но они не только сразу узнали друг друга, но в первое мгновение им даже показалось, что они и не изменились за эти долгие годы. Несколько позже, когда миновала радость встречи, Павел Петрович разглядел, что перед ним совсем не худенькая девочка, пившая бром, а очень толстая женщина, которая озабочена поисками некоего штапельного матерьяльчика.

Они обменялись телефонами. Павел Петрович записал телефон Наташи на спичечном коробке,— Наташа сказала на прощание: «Приходи непременно, пофлиртуем немножко». «Как же! Конечно!» — ответил Павел Петрович. Ему так и думалось, что он непременно придет к ней поболтать, повспоминать былое. Но коробок утерялся, и это помешало встретиться. Можно было позвонить в справочное бюро и узнать номер телефона Наташи, она ведь назвала ему свою новую фамилию. Но было как-то удобнее считать виной всему злополучный коробок, и раз нет коробка, то что поделаешь, досадно, но увы!

Павел Петрович отвернулся от слепящих лучей автомобиля. Автомобиль остановился возле подъезда с кариатидами. Хлопнула дверца, и, когда автомобиль отъехал, кто-то оттуда, с панели, спросил:

— Товарищ Колосов? Вы что там?

Павел Петрович не знал, кто это перед ним. Он еще не встречался в институте с Белогрудовым, но понял, что это один из гостей Шуваловой.

— Да вот забыл номер квартиры,— на скорую руку придумал он, чтобы объяснить свое стояние против окон Шуваловой.— Не то три, не то пять.

— Пять. Пойдемте, а то нам попадет за опоздание. Серафима Антоновна — женщина крутая. Некоторые из нашего брата выдумали самоласкательную формулу: дескать, лучше один день быть петухом, чем всю жизнь курицей. Но такая курочка, как наша уважаемая товарищ Шувалова, сто́ит доброго десятка самых великолепных петухов, индюков, павлинов и иных разнообразных птичьих красавцев. Видите, как ее ценят у нас в городе! В каком курятничке горсовет выделил ей квартирку! Князья да графья так, бывало, квартировали.— Белогрудов говорил это уже на лестнице отделанного мрамором просторного вестибюля.

— Все есть у Серафимы Антоновны, всего вдосталь,— продолжал он.— При этом изобилии духовного и материального ей бы мужа поумнее. Мы все скорбим за нее. Диспенсироваться бы ей от товарища Уральского.

— Извините, я не знаю, что такое диспенсироваться,— сказал Павел Петрович.

— Это с латинского. Диспенсация — освобождение от грехов, так называемое отпущение. Вот бы ей и отпустить от себя грех военного времени.— Он нажал кнопку звонка.

Дверь отворил тот, о ком только что говорили,—Борис Владимирович. В новом костюме из темной материи в белую полоску, побритый, подстриженный, он выглядел еще свежее и бодрее, чем обычно.

— Прошу, прошу! — говорил он приветливо, принимая из рук гостей шапки и пальто.

Из глубины широкого коридора в переднюю вышла Серафима Антоновна. Перед Павлом Петровичем была не доктор технических наук товарищ Шувалова, а дама из свиты королевы средних веков. В высокой прическе, поднятой сзади узорчатым черепаховым гребнем, сверкали камни, будто капли росы под утренним солнцем. Длинное синее платье переливалось и вспыхивало голубым пламенем.

Серафима Антоновна подала руку так, будто несла ее к его губам.

— Здравствуйте, здравствуйте, — говорила она. — Рада вас видеть. Прошу за мной, все наше маленькое общество уже в сборе. — Она взяла под руки Павла Петровича и Белогрудова и ввела их в просторную гостиную, обставленную мягкой мебелью в голубой обивке.

— Мои друзья! Надеюсь, они будут и вашими друзьями.— Серафима Антоновна представила Павлу Петровичу одного за другим собравшихся у нее гостей: — Румянцев Григорий Ильич... Липатов Олег Николаевич... Красносельцев Кирилл Федорович...

Павел Петрович пожимал руки — жесткие, мягкие, энергичные, вялые, холодные, горячие, сухие, липкие —и запоминал их, эти руки, а не фамилии, не имена и отчества. Было несколько удивительно и странно, почему тут собрались все мужчины и среди них только одна женщина, имени которой Серафима Антоновна не назвала, поэтому та сама сказала: «Румянцева Людмила Васильевна». Ей было лет тридцать, она была полная, среднего роста, с веселыми карими глазами.

— А с Александром Львовичем вы уже знакомы.— Серафима Антоновна повернулась к Белогрудову.— Теперь, чтобы не терять времени, пойдемте сразу к столу.— Она распахнула дверь в следующую комнату, где стоял длинный стол, покрытый сияющей белой скатертью, на которой в хрусталях и фарфорах цвели пестрые клумбы различных яств.

Павел Петрович был посажен между самой Серафимой Антоновной и громадным, как памятник, Красносель-

цевым. Красносельцев сидел прямо и не торопясь, методично отправлял в рот куски, старательно их прожевывал и запивал смирновской водой. Поворачиваясь к Павлу Петровичу, он неизменно улыбался, то есть оскаливал крупные зубы, глаза же его были скрыты за очками без оправы. Вид он имел при этом такой, будто говорил покровительственно: «Не теряйтесь, молодой человек, все идет хорошо». Работая ножом и вилкой, он тыкал в стороны тяжелыми локтями.

Павлу Петровичу было возле него тесно, душно, неудобно. Павел Петрович стремился подальше отодвинуться от соседа справа, то есть от Красносельцева, и, естественно, таким образом придвигался ближе к соседу слева, то есть к Серафиме Антоновне.

Серафима Антоновна была, что называется, в ударе. Она красовалась, она острила, она провозглашала тосты, она была душой стола.

Всем было весело, все смеялись, но Павел Петрович чувствовал себя очень неловко. Если бы он знал, что дело обернется этакой застолицей, он, конечно бы, не согласился пойти к Серафиме Антоновне. Он думал, будет иначе. Да и сама Серафима Антоновна говорила, что соберется несколько ее друзей — сотрудников института, можно будет посидеть за чашкой чая, познакомиться не в казенной служебной обстановке и откровенно поговорить о перспективах.

А тут ему наливают коньяку в громадную рюмку, кричат: «Пей до дна!»

Павел Петрович думал об Оле. Оля сегодня просила его: «Может быть, ты не пойдешь, папочка? Может быть, мы с тобой погуляем? Не ходи, папочка». Он готов был встать из-за стола и немедленно уйти из дома Серафимы Антоновны. Он не следил за разговорами. Внезапно его заставил прислушаться голос Красносельцева. Красносельцев говорил ровно, плавно и округло:

— Это глубоко ошибочная концепция. Подчинить науку исключительно интересам производства — значит, ее уничтожить. Наука тем и велика, что может существовать сама по себе. Пусть мне, пожалуйста, не говорят, что я устарел с этим утверждением. К этому мы вернемся, еще придется вспоминать великих теоретиков. Не производство диктует науке, а наука диктует производству. И когда мне все время твердят, что я оторвался от жизни, меня это злит! Знать свою науку — это знать жизнь.

— Искусство для искусства, наука для науки! — сказал с усмешкой Белогрудов.— Действительно, вы устарели, Кирилл Федорович. Старая песня!

— Это не песня,— спокойно возразил Красносельцев,— это требование жизни, той жизни, о которой вы так печетесь. Жизнь нуждается в мастерах своего дела, а можно ли стать настоящим мастером, если будешь разбрасываться и на то и на другое?

— Великие теоретики — я имею в виду истинно великих,— они всегда были и великими инженерами,— сказал Белогрудов. — Леонардо да Винчи, Архимед, Галилей... Они «разбрасывались» и на науку, и на производство, и на практику. Все зависит от вместительности мозга.

— Я бы просил хозяйку,—не меняя тона, заговорил Красносельцев,— оградить своих гостей от подобного остроумия.

— Товарищи, товарищи! — воскликнула Серафима Антоновна.—Что же это такое? Александр Львович! Кирилл Федорович! Я в отчаянии.

Павел Петрович заметил, что молодая жена Румянцева, Людмила Васильевна, перешла из-за стола на диван и сидит там, обмахиваясь пестрым веером. Он тоже за спинами спорящих скользнул к дивану.

— Правда, здесь прохладней? — сказала приветливо Людмила Васильевна.— Я так не люблю эти вечные споры, так не люблю ходить в пьяные компании, но у Гриши, прямо на мою беду, принцип: без меня никуда. Видите, здесь, кроме хозяйки, из женщин — одна я. Это уж Серафимы Антоновны принцип. Она женщин не любит. Своим принципом она поступилась только ради Гришиного принципа, иначе бы Гриша не пришел.

— Скажите,— спросил Павел Петрович, внимательно выслушав это,— а кто такой Красносельцев?

— Ваш сотрудник,— засмеялась Людмила Васильевна.— Как же вы не знаете свои кадры, товарищ директор? Он заведует металлографической лабораторией. Не знаю, как за пределами института, но в институте он знаменитый.

Павел Петрович с досадой припомнил, что только сегодня разговаривал со своим заместителем о Красносельцеве; говорили о том, что Красносельцев израсходовал на свои темы средств в прошлом году в полтора раза больше, чем планировалось; сделал это он за счет других тем; а отчета нет и по сей день.

К Павлу Петровичу с Людмилой Васильевной подошел и сел в кресло Белогрудов. Он тяжело отдувался.

— Совершенно немыслимый человек,— заговорил он.—Один он прав. Остальные... так... мелочь. Он и трезвый невыносим, а уж если выпьет рюмку для контенанса...

Павел Петрович достал карандаш из кармана и на пачке папирос «Беломорканал», которую вертел в руках, записал: «Контенанс».

— Что вы там пишете? — спросил Белогрудов.

— Так, машинально,— ответил Павел Петрович.— Вы, конечно, насчет мозга-то сказали грубовато,— добавил он. — Товарищ Красносельцев вправе был обидеться.

— А!..—Белогрудов махнул рукой.— На меня все в обиде, мною всегда недовольны. Я к этому привык. Кстати... — он собрал лоб гармошкой, и в глазах у него стало весело.— Вам, кстати, не известна моя теория о доминанте? Нет? Ну тогда минутку внимания. У каждого человека существует его доминанта, то есть то главное, чем определяется все течение его жизни. У одних, например, доминирует удача. Что бы такой человек ни делал, что бы ни затевал, ему всегда везет. У других доминирует неудача. Успехи или неуспехи могут быть у одних в работе, у других в любви и так далее. Она, эта доминанта, существует независимо от желания или нежелания человека. Это, так сказать, теория, закон. Как же этой теорией воспользоваться на практике? Надо прежде всего определить, выяснить свою доминанту, а затем никогда о ней не забывать, вот и все, и жить вам станет значительно легче, проще, свободней. Например, если вы установили, что ваша доминанта — всегда и во всем удача, вы спокойно можете приходить к железнодорожной кассе за пять минут до отхода поезда: билет вам будет наверняка. Вы можете, не готовясь, идти делать доклад, и доклад ваш будет признан отличным. Ничего не поделаешь, доминанта! Поскольку вы знаете о ее существовании, то у вас и характер складывается своеобразно: вы становитесь уверенным, спокойным, всемогущим, вы — оптимист. А вот что получается, когда наоборот, когда доминанта ваша — неудача. Вы приходите к железнодорожной кассе с утра, а билета вам все равно не хватает, последний билет берет человек, стоящий перед вами. Доклад, сколько бы вы к нему ни готовились, все равно, как напишут в газетах, не удовлетворит собравшихся. Вы поедете на

юг и, чтобы начать отдых еще в дороге, купите архидорогой билет в международный вагон первой категории, и там, в вашем купе, непременно окажется молодая кормящая мамаша, которая будет вас просить то подать бутылочку с молочком, то подержать ночной горшочек.

— До чего же это верно! — громко воскликнула Людмила Васильевна.— У меня есть одна подруга, которой всегда везет, а мне вот всегда не везет...

— Извините, Людмила Васильевна, я закончу, — попросил Белогрудов. — Ну и что же? — продолжал он. — У неудачника характер портится, неудачник не верит в себя, во всем сомневается. Он пессимист. А если бы он знал свою доминанту? Ему было бы значительно легче. Он бы заранее знал, что билет достанет не на сегодня, а на завтра, что без детишек ему в дороге не обойтись. Он бы к этому привык, он бы из-за этого не раздражался и не пессимистом был, а оптимистом. Вот я. Моя доминанта недовольство мною. Что́ бы я ни делал, как бы ни старался сделать доброе людям, мною всегда недовольны. Прежде, когда я еще не открыл закон доминанты, такое положение меня очень огорчало, расстраивало, угнетало. Теперь, вы видите, я жизнерадостный человек, потому что знаю: все равно мной будут недовольны, и виноват в этом совсем не я, а она, она, доминанта.

— Ох, теоретик, вот теоретик Саша у нас!

Павел Петрович поднял голову; возле него, улыбаясь во все свое добродушное лицо, стоял Румянцев, муж Людмилы Васильевны.

— Ну что, товарищ директор? — заговорил он.— Видишь, как получается. Теоретики, теоретизируем. Говорим много, делаем мало. Может, в картишки перекинемся?

— Не играю в карты,— ответил Павел Петрович.— Не умею.

Румянцев увел с собой в гостиную Белогрудова, собрал там пять или шесть игроков, у них началась игра, слышались возгласы: «две», «ни одной», «три», «пас».

В столовой возле Павла Петровича остались Красносельцев, Людмила Васильевна и Липатов. Липатов начал декламировать из Брюсова.

Павлу Петровичу было скучно. Он снова думал об Оле.

Видимо, и Людмиле Васильевне декламация Липатова не доставляла удовольствия; она зевнула в ладонь

и предложила лучше спеть что-нибудь. Липатов запел: «Быстры, как волны, все дни нашей жизни», — его поддержала было Людмила Васильевна: «Что час, то короче к могиле наш путь». Но дальше никто не знал слов, и петь перестали. Тут Красносельцев сказал:

— Если вы хотите добиться успеха в своем руководстве, товарищ Колосов, дайте людям спокойно заниматься наукой. Люди будут вам благодарны и воздадут сторицею.

В гостиной кто-то заиграл на пианино. Под мотив фокстрота Румянцев тенорком повторял: «Возьмем четыре взятки, обгоним остальных... Возьмем четыре взятки, обгоним остальных...» Павел Петрович подумал, что пора уходить. К нему подошла Серафима Антоновна.

— Вас бросили! — воскликнула она.— Пойдемте тоже туда, в гостиную, тут накроют к чаю.

Павлу Петровичу не хотелось идти в гостиную, но он пошел, и получилось как-то так, что Серафима Антоновна звала туда Красносельцева, Людмилу Васильевну, Липатова лишь затем, чтобы оставить их там, а его она провела в следующую дверь, потом куда-то через коридор еще в одну дверь, и они очутились в небольшой комнатке с притемненным светом. В комнатке были старинное бюро красного дерева, низкая синяя тахта, несколько полок с книгами и мягкий ковер на полу.

— Это мой рабочий кабинет,— сказала Серафима Антоновна и пригласила Павла Петровича на тахту.

Он сел и тут же потерял равновесие: тахта была такая податливая, что сама опрокидывала на спину.

— Нате вам подушку, отдыхайте,— говорила Серафима Антоновна.— Вы у друзей, чувствуйте себя как дома.

Павел Петрович почувствовал страшную усталость, и физическую и нравственную. Он закрыл глаза и уснул.

2

В ту тяжелую ночь Оля не ложилась. Она ходила по комнатам, включив все лампы; она всматривалась в ночную темень за окнами, прислушивалась к шумам на лестнице; она говорила себе: вот еще час, и надо будет звонить в милицию; она вспомнила тревожные слова Вареньки о рассеянности отца, она винила себя в том, что не сумела удержать его дома. Ей было страшно и очень холодно в пустой квартире.

С какими чувствами, с каким волнением бросилась она в переднюю, когда уже утром заслышала щелканье замка! И что она увидела? Какого отца? В измятом костюме, заспанного, с опухшими глазами, некрасивого и какого-то даже чужого. Он был злой, на Олю не смотрел, сказал, чтобы она сварила ему черного кофе, и принялся мыться и переодеваться.

Столько пережить, так переволноваться, думать бог знает что — и вот тебе, в результате на тебя еще и не хотят смотреть. Оле было очень обидно и горько.

— Перестань вздыхать! — услышала она окрик, когда накрывала на стол.

— Я не вздыхаю, папочка,— сказала она подергивающимися губами.

— Вздыхаешь! И нечего! Мне, может быть, хуже, чем тебе, в сто раз, а вот молчу.

Вечером, когда он в двух-трех словах рассказал о том, что́ было у Серафимы Антоновны и как он себя там чувствовал, Оля поняла его утреннее состояние. Он злился на то, что пошел в такую компанию и не сумел вовремя ее покинуть. Оля это понимала, но все равно была отцом очень недовольна, и не только потому, что все так произошло, а и потому еще, что рассказывал он ей об этом именно в двух-трех словах, так небрежно и коротко, неохотно, будто она по-прежнему девчонка, не способная понимать что-либо, относящееся к трудной прозе человеческой жизни. Ведь вот маме-то он как подробно рассказал бы об этом вечере, и, конечно, не удивительно, что мама могла бы не только вздыхать в ответ, мама могла бы и разобраться во всем этом и посоветовать что-нибудь. А что посоветует она, Оля, когда отец буркнул коротко: «Ну что, что случилось? Сама понимаешь — люди незнакомые, сидишь скованный. А тут этот коньяк, будь он проклят! Худо стало, уснул. Поняла, надеюсь?»

Когда-то Оля сказала себе, что это теперь ее обязанность — заботиться об отце, как заботилась о нем мама. Но ей не удавалось выполнять свое намерение. Для этого просто не было времени. Они виделись с отцом только рано утром и поздно вечером. Утром Оля варила неизменный кофе, его пили с черствыми булками, потому что Оля не успевала приготовить что-нибудь другое, и очень удивлялась, как это маме удавалось успевать. Вечером были тоже на скорую руку приготовленные закуски. А обеды... Оба обедали у себя в институтах. Что же касалось уборки

в квартире, то ведь и так довольно чисто. Ну, подметешь немножко вокруг стола в столовой, сотрешь кое-где тряпкой пыль, и — чисто. Павлу Петровичу было не до этого, а Оля совершенно искренне не замечала, как с ходом времени тускнеют паркеты в комнатах, как из белых становятся серыми гардины на окнах, как мебель приходит в такое состояние, когда на ней можно расписываться пальцем, и как незаметно, но с неотступным упорством в квартиру внедряется застойный запах нежилого помещения.

Да, заботиться об отце оказалось куда труднее, чем принимать твердое решение об этом...

Двумя днями позже, выходя из городской библиотеки, где она занималась по вечерам, Оля встретила Тамару Савушкину.

— Олечка! — воскликнула Тамара.— Милая моя! Как я тебе рада! — У Тамары был вид счастливейшего в мире человека.— Извини, дорогая,— продолжала она,—что я тебя не навестила. Я же не умею притворяться, ты знаешь. И моя глупая сияющая морда была бы отвратительна в такие дни для тебя. Ну, ты меня прости. Ну, пожалуйста.

Прямо на улице, среди удивленных прохожих, она горячо целовала Олю.

— Может быть, мы отойдем в сторонку? — предложила Оля.

— Нет, мы сейчас куда-нибудь зайдем и посидим. Вот что: мы пойдем в кафе! — сказала Тамара решительно.

Было девять вечера. Оля знала, что Павел Петрович еще в институте, и согласилась.

— Я теперь не Савушкина,— говорила по дороге Тамара,— понимаешь? Я теперь Никитич! — Она даже слегка взвизгнула, так, видимо, ей нравилось то, что она уже не Савушкина, а Никитич.

В кафе они вошли не сразу, потому что в дверях происходил какой-то скандал, кого-то не то не пускали, не то уже изгоняли из зала. Лохматый маленький человек грозил швейцару страшными карами. Швейцар стоял величественно перед ним и повторял со спокойствием памятника:

— Выпили, гражданин, и хватит. Надо меру знать. Идите домой.

Уже сидя за столиком, подруги узнали от официантки, что этот лохматый человек — местный поэт, он пишет

поэмы, но его поэмы не печатают, и вот он с горя гуляет по ресторанам.

— Ну что ж,— сказала Тамара серьезно,— я виню не его. Это действительно горе, когда работаешь, работаешь, и все без толку. Я виню жену. Значит, такая у него жена: не может создать дома уют, сделать так, чтобы мужу не хотелось уходить из дому. Ах, Оленька, ты не знаешь, как это приятно — окружать любимого человека уютом и заботами! Мой Миша, он такой способный, подающий надежды, он открыл неслыханный способ борьбы с сельскохозяйственными сорняками. Это делается так...

Тамара с увлечением принялась рассказывать о том, как с самолета разбрызгивают над полями изобретенную ее Мишенькой жидкость. Потом она говорила об экспедиции, в которую собирается Мишенька, и что он ее непременно возьмет с собой.

Оля спросила:

— А что же будет с аспирантурой? Что ты думаешь делать дальше?

— Дальше? — удивилась Тамара.— Но ведь я же, помоему, объяснила...

— Домашняя хозяйка?

— Ну ведь это как рассматривать, Оленька. Домашняя хозяйка... Некоторые, наверно, так и будут думать: домашняя хозяйка. А я смотрю иначе: подруга, помощница ученого. Он приносит громадную пользу народу, стране, а я ему в этом буду помогать. Я создам ему всё-всё, все условия. И что ж ты думаешь, в случае неудачи — неудачи ведь у кого угодно могут случиться, бог тоже не все удачно создал, если хочешь знать,— ну так вот, в случае неудачи, он, Мишенька, разве пойдет тут со швейцарами спорить? Он придет домой, ко мне, к своему другу.

— А твоя диссертация, Тамара?

— Ах, эта диссертация! Теперь, когда я ушла из аспирантуры, с меня как бы спали чугунные цепи, поверишь? Диссертация... Она мучила меня, я во сне ее видела. Мне так надоело рыться в книгах! Такая тоска и скука. Ты помнишь мою тему, да? «История производства художественного стекла в России». Когда я рассказала о ней Мише, он сначала из вежливости сказал, что это очень интересно, а потом, уж когда мы поженились, стал расспрашивать, как, мол, я думаю, кому эта стеклянная история нужна, какую она принесет пользу науке или

народному хозяйству. А я и не знаю, Оленька, какую. Ведь, откровенно говоря, ка́к было дело. Мой папа был категорически против того, чтобы я куда-нибудь уезжала из дому, он говорил: единственная дочка, не отпущу в Сибирь или на Камчатку. Он мне сказал: на пятом курсе нажми так, чтобы одни блестящие знания, одни пятерки. Я нажала. Помнишь, какие были восторги по поводу меня? Ну и вот. Валериан Николаевич предложил: оставайтесь, Тамара, в аспирантуре. Мне безразлично, папа рад. Осталась. А тема? Тему Валериан Николаевич выдумал. Мне тоже казалось: скука, мол, книжное дело. А папа считал: не все ли равно, какая тема, главное — в Сибирь не пошлют, по крайней мере, еще три года. А я, знаешь, с удовольствием поеду в Сибирь, на Камчатку — куда угодно, лишь бы с Мишенькой.

— И ты ведешь все домашнее хозяйство, готовишь обеды, убираешь квартиру? — спросила Оля.

— А как же! Все-все. Правда, квартира у нас невелика, одна комната в шестнадцать метров. Но все равно дел очень много. Раньше, у себя дома, я ничего не хотела делать. Мама кричит: лентяйка, хоть бы посуду вымыла или пол подмела! Ну ничего не хотела делать. А сейчас землю бы рыла... Это, Оленька, от любви, наверно. Как ты думаешь?

Оля отпила с ложечки кофе со сливками, который очень любила; на этот раз кофе почему-то не имел вкуса: Олины мысли были заняты иным. У нее в плане был такой пункт: вызвать Тамару в институт или самой съездить к ней и поговорить серьезно о том, что нельзя бросать аспирантуру, нельзя легкомысленно относиться к своему будущему, к народным средствам, которые на нее затрачивались почти целый год,— подействовать на Тамарину комсомольскую совесть. Теперь все переменилось. Нет, Оля не вызовет Тамару и не поедет к ней домой. До чего же это странно —все вокруг твердят человеку: твое счастье вот в чем, вот в чем, а он находит свое счастье совсем в другом. И до чего же было бы глупо начать сейчас уверять Тамару, что она несчастна, что ее счастье совсем не в ее Мишеньке, а в истории художественного стекла.

— Что ж, Тамарочка, очень за тебя рада, — сказала Оля.

— Правда, Оленька? — Тамара чуть столик не опрокинула, так она рванулась к Оле от радости. — А мне,

знаешь, сказали, что ты собираешься меня прорабатывать.

Они расплатились и вышли из кафе. Тамара увидела освещенный циферблат на башне райсовета, воскликнула:

— Уже одиннадцать! До свиданья, Оленька! Заходи, заезжай, посмотришь, как я живу,— и почти бегом пустилась к остановке троллейбуса.

На Октябрьском проспекте было тесно, густая толпа текла по широкому тротуару, Тамаре пришлось лавировать в этом потоке. Толкая встречных, она выбегала на мостовую, чтобы их обогнать, Оля смотрела ей вслед и думала: как хорошо, видимо, там, куда так спешит человек. Сама она, Оля, никуда не спешила. Она медленно брела среди людей, слышала неразборчивый говор, смех, выкрики, шорох и шарканье подошв. Ей показалось, что кто-то из идущих впереди нее заговорил очень знакомым голосом. Она насторожилась.

— Нет, отец,— говорил знакомый голос,— ты этого никогда не поймешь. В наше время преступно жить с человеком, в котором ошибся. Это значит сознательно закапывать в землю свои способности.

Оля узнала голос Георгия Липатова. Так этот модник в широкополой шляпе, сдвинутой на один глаз, с тросточкой в руках — это отец Георгия? Оля решила было отстать от Липатовых, но ей захотелось послушать, о чем так горячо философствует Георгий.

— Но ведь она же у тебя беременна,— сказал Липатов-отец.

Оля поняла, что это сказано о Люсе, и, сама не зная почему, покраснела. Она почувствовала, что покраснела, потому что лицу ее, шее, ушам стало жарко, как перед раскрытой печкой.

— Что ж такого,— ответил Георгий.— С каждой рано или поздно это случается.

— Рано или поздно, — пробурчал Липатов-старший.— Не хочешь ли ты, чтобы мы с матерью платили за тебя алименты? Тебе еще добрых два года пребывать в твоей аспирантуре и получать — сколько там? — пять, шесть бумажек?..

— Это ничего не значит, я пойду преподавать в техникум, мне предлагали. Сам сумею платить, что надо.

Они некоторое время шли молча. Потом старший сказал как бы с сожалением:

— Такая милая девушка...

— Ты ее не знаешь, вот она тебе и милая.

— Родители...

— Про родителей можешь не говорить,— перебил Георгий.— Если хочешь знать, ты у них называешься не иначе как «наш пьяница».

— Это я знаю.

— И тебе приятно?

— Нет, неприятно.— Липатов-старший помолчал и добавил:—В общем-то твое дело, тебе виднее, мама всегда будет рада видеть тебя снова дома.

Он, кажется, даже зевнул, сказав эти равнодушные слова, и Оля поняла, что участь Люси Иванченко решена. Она кинулась вперед и с такой силой схватила за рукав Липатова-младшего, с такой силой рванула его, что он оказался перед нею лицом к лицу.

— Георгий! — крикнула она.— Георгий, ты подлец! — Оля понимала, что произносит не те слова, которые бы нужны, но никакие иные не находились.—И мы поступим с тобой так,— продолжала она,— как ты заслуживаешь. Ты не комсомолец, ты...

Она с ужасом видела, что вокруг уже собирается толпа, уже ухмыляются какие-то парни и девицы; может быть, они думают про нее, что она устраивает тут сцену ревности или еще что-нибудь такое.

Она бросилась бежать, как недавно бежала Тамара Савушкина, но совсем не потому, что ее манило домой, а потому, что чувствовала: еще минута — и она надает по щекам и Георгию, и его равнодушному папаше.

Она остановилась только на набережной Лады, недалеко от моста. Лед на реке лежал темный, от него несло полыньями, по нему уже не ходили. И ветер вдоль Лады летел сырой, весенний, из низких туч даже капало что-то вроде дождя, но еще не дождь, — от этого только леденели тротуары и делалось невыносимо скользко. Оля прислонилась к бетонному парапету и склонила голову так, как недавно склонял свою отец, когда старичок в обрезанных валенках сказал ему, какой марки сталь испортили заводские сталевары. Но там была сталь, сталь, ее можно переварить и исправить. А кто же исправит Люсину жизнь?

Перед Олей возникли Нина и Маруся, которых она не сумела помирить, только еще более озлобила, за ними встала Тамара, которая так и ускользнула из института. Вот теперь Люся, которую Оля не умеет защитить от

пошлого, дрянного, мерзкого человечка. Все они вместе совершили в Олином мозгу какой-то странный круг, еще повернулись, еще... Ломая ногти, Оля едва удержалась руками за парапет и, чтобы противостоять страшной силе, которая тянула ее упасть навзничь — затылком о ледяные, скользкие камни, шатнулась вперед, налегла на холодный бетон грудью.

— Ишь, — услышала она за спиной старушечий голос, — напоили-то сердешную. Беспутная ты, беспутная. Поднять юбчонку да выдать тебе по первое число.

Старушка постояла-постояла и побрела дальше, шаркая подошвами.

3

У Павла Петровича не было того дара, с помощью которого счастливцы, таким даром обладающие, не теряются ни в какой обстановке, ни при каких обстоятельствах, — дара всегда быть уверенным в своем превосходстве над окружающими. Обладатель такого бесценного качества вдруг на крыльях этого своего превосходства, внушенного ему или еще папашей с мамашей, или уже взращенного им самим, а то и неосмотрительными его начальниками, возносится до весьма и весьма крупных постов. Нередко, совсем нередко случается, что высокие руководящие организации растрачивают свою коллективную мысль и энергию на то, как же, мол, быть с директором такого-то завода, с человеком, возглавляющим такой-то театр, а иной раз продвинувшимся и гораздо выше. Вот, дескать, был человек как человек, неплохо работал в свое время на своем месте, а что сталось? Назначили директором завода или театра, поначалу, год-два, все шло будто бы и ничего, — теперь завод или театр в бедственном положении.

Всем кажется, что человек за год-два испортился, ищут причины его порчи, непременно находят их, наказывают человека за то, что он этим причинам не противостоял,— и снимают с поста.

А он вовсе и не портился, он спустя год-два работал так же, как и в первый день, может быть, и лучше, потому что приобрел какой-то навык; но дело все в том, что его самоуверенность, вскормленная чувством превосходства над окружающими, обманула и его самого, и тех, кто его взялся выдвигать. Чтó бы, когда его вызывают в вы-

сокую организацию и говорят: так, мол, и так, дорогой товарищ, надо возглавить то-то и то-то, — что́ бы ему взять тут да и отказаться со всей откровенностью: пожалейте, товарищи, тех, кого вы хотите поставить под мое руководство, — с культурой у меня неважно, учился плохо; а если и культуры достаточно, то организаторских способностей никаких; дома, со своими ребятишками, и то не справляюсь, жены боюсь; а если и жены не боюсь, то в душе-то у меня не было и нет размахов, своей сверхосторожностью, страстью к перестраховке, трусостью буду мешать людям истинно творить; мне бы, отслужив до шести вечера, домой на диванчик или в огород грядки копать, я ведь по натуре дачник. Вот бы что сказать. Так нет же, говорит, скромно потупясь: раз надо, постараюсь, приложу все силы. Я трудностей не боюсь.

Ну и начинается. Поскольку его отыскали где-то в низах, да в верхи вызвали, да отметили доверием, ему уж кажется, что он персона избранная и для подчиненных достаточно присутствия среди них самой его персоны, чтобы они старались изо всех сил и чтобы дело у них шло неслыханными темпами.

Оно вначале и идет по инерции: мало-помалу инерция угасает, а там, глядишь, начинается и та толчея, посозерцав которую вышестоящие организации задумываются: был человек как человек, неплохо работал в свое время на своем месте, а что сталось?

А ничего не сталось. Так и было. Обманулись его речами с общегородских трибун, его умением никогда не выражать ни сомнений, ни колебаний, его зазубренной формулой: «Раз надо, постараюсь, приложу все силы. Я трудностей не боюсь», — приняли это наносное за истинное, за силу, в то время когда это слабость.

Нет, Павел Петрович никогда себя не переоценивал, никаких таких чувств превосходства у него развиться не могло уже по одному тому, что никогда ему ничто не давалось легко, все в его жизни было добыто кропотливым и незаметным и, если так можно выразиться, неэффектным трудом. Нет, Павел Петрович не считал, что достаточно присутствия его персоны где-либо для того, чтобы дело там шло само собой. Он знал, что только большой, самозабвенный труд способен сдвигать дело с места, — так было в его бытность слесарем, а затем студентом; еще больше труда понадобилось, когда под его начальство перешел громадный цех. А должность главного

металлурга — она поглощала человека всего целиком, даже для семьи мало что оставалось, не то что для произрастания самомнения или каких-то неведомых чувств превосходства над теми, кто окружал Павла Петровича.

Но это отнюдь не значило, что Павлу Петровичу недоставало характера. Он умел достойно держаться и в мирные времена, и в годы сражений. И его не могло, конечно, не тревожить состояние, в котором он оказался с первых дней пребывания в институте,— состояние пассивного выслушивания разноречивых мнений и различных проектов. Наутро после отвратительного вечера у Шуваловой, от которого осталось чувство стыда и мрачного раздражения, Павел Петрович ехал в институт, переполненный решимостью изменить положение.

В подъезде главного здания он нагнал Белогрудова. Белогрудов уступил дорогу, на лице его была улыбка, которая показалась Павлу Петровичу улыбкой сообщника; и еще Павлу Петровичу показалось, что Белогрудов даже как-то панибратски подмигнул.

— Аве, Цезарь! — воскликнул вчерашний сотрапезник, подымая кулак для салюта.

Павла Петровича подмывало ответить на подобное приветствие какой-нибудь резкостью. Но он не нашел должных слов для ответа и молча прошел в дверь, оставив Белогрудова пожимать удивленно плечами.

Часы били девять, когда Павел Петрович входил в свою приемную.

— Вы точны, как граф Монте-Кристо, — сказала Лиля Борисовна. — К вам товарищ Харитонов.

Харитонов встал с дивана, уголки его губ улыбчиво загибались кверху, он был до блеска побрит, аккуратненький, чистенький, хорошо осмотренный перед выходом из дому. Все, что на нем было надето, могло именоваться только с применением суффиксов «чок», «чик», «очк», «ечк». На нем был не пиджак, а пиджачок, не брюки, а брючки, не рубашка, а рубашечка, не галстук, а галстучек, и ботинки не ботинки — ботиночки; были еще носочки, брючный поясочек, часики на руке. Он огорошил Павла Петровича вопросом:

— Ну как она, жизнь-то, товарищ директор? Вхóдите в курс?

Это был вопрос столь глупый и задан он был таким развязным тоном, что Павел Петрович физически почувствовал, как в лицо ему ударила кровь.

— Чем могу быть полезен? — спросил он, сдерживаясь.

— Да поговорить надо. Разные вопросы. Вот третий день собираюсь...

— Вам придется растянуть сборы еще дня на два, на три. Я занят.— Сказав это, Павел Петрович прошел к себе в кабинет.

— Павел Петрович,— заговорила Лиля Борисовна, входя следом за ним, — это недоразумение! Это я виновата, не предупредила вас. Валентин Петрович... вам, наверно, показалось, что он... ну как бы это...

— Нахал?

— Нет, он не нахал... Он... ну так сложилось все. Видите ли, он у нас в институте со дня организации. Он тут перезанимал все должности за двадцать лет.

— И директором был?

— Был. Был секретарем партийной организации, профсоюз возглавлял, заместителем директора был по научной части, разными отделами и лабораториями заведовал. Директором, говорю, тоже был. И. о.— исполняющим обязанности.

— И считает, что он всем кум и сват, — так, что ли?

— Ну, а как же, Павел Петрович! Посудите сами. Как только трудность с кадрами, как только кого-нибудь снимут или не утвердят — кто спасает положение? Товарищ Харитонов.

— Все умеет, все знает?

— Не в этом дело, Павел Петрович. Но его биографические данные...

— Хорошо, Лидия Борисовна, у нас, видимо, еще будет время для собеседования по вопросам биографических данных товарища Харитонова. А пока я бы попросил вас...— Павел Петрович взглянул на часы.— Оповестите членов ученого совета. Скажите, что я приглашаю их ровно к двенадцати. У вас есть список?

— Зачем список! Я знаю всех без всяких списков.— Лиля Борисовна даже обиделась.

До двенадцати Павел Петрович успел поговорить по поводу предстоящего совета с Архиповым и с Мелентьевым.

Разговор с Мелентьевым был довольно короткий.

— Товарищ Мелентьев, — сказал Павел Петрович, — вы мне обещали помощь, советовали не теряться. Где же помощь? Вы даже зайти ко мне не хотите.

Мелентьев посмотрел неподвижными глазами, кашлянул и удивился:

— Извини, товарищ Колосов, претензия твоя неосновательная. Чего же я примусь к тебе ходить? Ты — единоначальник. У нас, знаешь, руководителю мешать не принято. Помочь — да. Какая тебе нужна помощь? Приди, скажи, подумаем вместе.

— Собрания у тебя не предвидится на ближайшее время? Я бы проинформировал партийную организацию о тех впечатлениях, какие сложились у меня при знакомстве с планом научно-исследовательской работы на этот год.

— Не понравился план?

— Почему — не понравился? Но поправки бы внести следовало. И принципиальные поправки.

— Нехорошо получится, товарищ Колосов. Мы ведь план уже обсуждали на общем собрании в конце года, вынесли рекомендации. Что же, теперь свое же решение ревизовать? В общем, если считаешь нужным, давай обсудим твои предложения сначала на бюро. Если бюро согласится, вынесем и на собрание.

До двенадцати еще было добрых полчаса. Павел Петрович остался в своем неприятном ему, мрачном кабинете. Принял сразу две таблетки пирамидона: очень болела голова после вчерашнего. Он досадовал на то, что все эти дни держался в институте как мокрая курица. Естественно, что ему уже панибратски подмигивают, говорят: «Ну как она, жизнь-то», вот-вот примутся хлопать по плечу, и тогда он повалится, так и не успев подняться. Странно, ведь на заводе он знал и умел, что́ и как сказать, что́ и как сделать, он не стеснялся резать правду в глаза, мог употребить крепкое словцо, все мог, а тут... тут растерялся. Если разобраться, не он один виноват в этом. И в министерстве, и в обкоме, и в райкоме — всюду ему твердили одно: специфика научно-исследовательской работы, многообразие биографических и творческих индивидуальностей в коллективе института, необходимость их сплотить, спаять, необходимость быть исключительно чутким, внимательно прислушиваться к малейшему гулу этого трудового улья и немедленно принимать меры, если возникнет хоть какое-либо нарушение в его рабочем ритме.

Его ошибка, думалось Павлу Петровичу, состояла в том, что он не начал действовать с первого дня. И ученый совет надо было собрать в первый день, и партийное

собрание созвать назавтра же, и с главным инженером решить немедленно... Но разве он не поступил бы именно так, если бы все это случилось хотя бы месяц назад, когда еще была с ним его Елена? Разве бы его запугали все эти специфики, разве таким растерянным и вялым предстал бы он перед учеными?

Дверь распахнулась, вошел высокий крупный мужчина с белой прядкой надо лбом, с красивым спокойным лицом и умными глазами.

Павел Петрович вышел из-за стола, поздоровался. Вошедший, пожимая ему руку, сказал:

— Бакланов Алексей Андреевич.

— Очень приятно, — ответил Павел Петрович. — Мы, кажется, встречались. О ваших работах по жаропрочным сталям я, во всяком случае, знаю.

— Ну и мне ваши работы, Павел Петрович, известны, — отбросив со лба седую прядь, сказал Бакланов.

Вслед за Баклановым входили другие члены ученого совета. Павел Петрович встречал их близ дверей, приглашал к столу, крытому зеленым. Не без удовольствия отмечал он в уме то, что из людей, которых ему упорно на протяжении почти целой недели называли то Шувалова, то Мелентьев и из которых состояло вчерашнее общество Шуваловой, тут оказались только подвижный Белогрудов, толстяк Румянцев да монументальный, медлительный и важный Красносельцев.

Последней вошла Серафима Антоновна. Как всегда свежая, подтянутая. Она села в кресло возле окна.

— Товарищи! — сказал Павел Петрович, когда слева от него за отдельным столиком устроилась Лиля Борисовна, готовая вести протокол. — Я пригласил вас для того, чтобы наконец состоялось наше обоюдное знакомство. Правильнее было бы это сделать в первый день моего прихода в институт. Ну, коли произошла ошибка, давайте ее исправим. Будем знакомы. Я думаю, мы сегодня должны подвергнуть критике все, что только мешает работе института, высказать все претензии, быть абсолютно откровенными. Это даст нам возможность выработать и позитивную нашу программу. Как вы считаете?

— Совершенно верно, — отозвался немедленно Красносельцев.— Мы должны быть сегодня абсолютно откровенными. Но мне хотелось бы, чтобы уважаемый товарищ директор подал пример к этому и абсолютно откро-

венно высказал свое мнение о нашем тематическом плане. Почему я так говорю? Потому что были прецеденты: придет новый директор, вначале все тишь да гладь, а потом начинается ломка плана. Вот и хочется знать, будет ломка на этот раз или нет.

— Не вижу нужды не быть откровенным,— заговорил Павел Петрович.— Пожалуйста, товарищ Красносельцев. О плане...— Он полистал страницы отпечатанного на гектографе тематического плана.— Вот, например, ваша тема... Как бы остроумно вы ее ни называли, что это, в конце-то концов? Поиски тех критических температур нагревания стали, которые найдены еще в прошлом веке и известны всем сталеварам под названием точек Чернова, нашего выдающегося соотечественника Дмитрия Константиновича Чернова.

— Позвольте! — Невозмутимый Красносельцев взволновался.— Нельзя так примитивно...

— Ну, конечно, у вас это выглядит как будто бы и вполне современно,— продолжал Павел Петрович спокойно.— Но суть-то, суть — точки Чернова, а? И этим вы заняты, товарищ Красносельцев, более чем десять долгих лет, из года в год. Начали еще до войны... Так что как тут не заняться пересмотром плана, я просто не знаю. Надо к нему отнестись очень внимательно, очень. Он — основа нашей работы.

Павел Петрович говорил минут тридцать. Закончил он так:

— Если товарищу Красносельцеву угодно называть это словом «ломка», то да — ломка, видимо, будет. Она необходима.

— Позвольте, не могу молчать! — Красносельцев вскочил с места. Он окончательно утратил величественное спокойствие. Суть его речи заключалась в том, что от высказывания нового директора пахнет махаевщиной, оно противоречит установкам XVIII съезда партии в отношении интеллигенции, что, возможно, он, Красносельцев, оттолкнулся от работ Чернова, но что же в этом удивительного? Чернов — отец металлографии. Предположим, в общем, что он, Красносельцев, взял отправными точками точки Чернова, но разве он топчется на месте, разве в печати, в широкой печати, не отражен его громадный труд? Из года в год увеличивается в объеме его капитальное исследование, выдержавшее уже четыре издания. Научную работу нельзя ограничивать формальными рамка-

ми, это творчество, а творчество нельзя планировать, как производство примусов.

Дождавшись паузы, Павел Петрович сказал:

— Товарищ Красносельцев, но ведь ваш этот печатный труд подвергся серьезной критике в центральной печати.

— Знаете,— помолчав, ответил Красносельцев.— Критика!.. Еще Бальзак говорил: «Критика — это щетка, которая не годится для тонких материй, она бы стерла всю ткань».

Бакланов спокойно сказал:

— Во-первых, это говорил не сам Бальзак, а один из его героев. А во-вторых, ни о какой тонкой материи речи нет. Я позволю напомнить заглавие статьи, которую имеет в виду товарищ Колосов. Статья называлась: «Толстая, но пустая книга». Толстая!

Некоторые из членов совета засмеялись. Был слышен тенорок Румянцева: «Вот теоретик, ну и теоретик!»

— Мне очень приятно,— продолжал Бакланов,— что завязывается такой откровенный разговор. Это у нас не часто случается.

— Неправда! — крикнула Серафима Антоновна.— Зачем же говорить неправду, Алексей Андреевич? Мы всегда откровенны.

— В известных пределах, до известных граней, в известных случаях,— ответил Бакланов.— Итак, повторяю, сегодняшняя откровенность очень приятна.

Он заговорил о тех неполадках, из-за которых лихорадило институт, о случайности многих тем, о их весьма относительной ценности и для науки, и для практики. Красносельцев отнюдь не одинок, устаревшими проблемами заняты и еще некоторые. Кандидат технических наук Мукосеев вообще несколько лет подряд ухитряется оставаться без темы, и что́ делает, чем занимается, одному господу богу известно.

Попросил слова доктор технических наук Малютин. Павел Петрович уже знал биографию этого старика и с большим уважением смотрел на человека, которому довелось слышать и видеть Ленина и Сталина, Свердлова и Дзержинского, слышать гром пушек революции и участвовать в создании советской власти.

Малютин не встал, остался сидеть в кресле и заговорил тихо, глядя в окно, поглаживая ладонью белые усы, как бы вслух размышляя:

— Товарищ Шувалова заявила тут, что Алексей Андреевич Бакланов не прав. Она настаивает на том, что мы всегда откровенны. Нет, нет. Не всегда мы откровенны. Мы частенько кривим душой там, где надо быть прямыми. Часто, очень часто прямота нам изменяет, особенно когда надо дать оценку работе товарища. Разве все наши работы хороши? Нет же. Но разве всегда мы говорим о них то, чего они заслуживают? Разве не жив еще среди нас принцип «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»? Наш институт сильно оторван от производства, от жизни. Это констатируют и в партийных органах, и в министерстве, и сами мы это сознаем в конце-то концов. Почему же могла получиться такая оторванность? Потому что наши крупнейшие авторитеты вроде Кирилла Федоровича Красносельцева слишком затеоретизировались, позабыв о нуждах производства, под всякими соусами стали внушать коллективу идею служения чистой науке. Авторитеты есть авторитеты. К ним прислушиваются. Это одна причина. Вторая причина в том, о чем я уже сказал: мы не откровенны в оценке работы товарища. У нас принято думать, что если критикуешь работу товарища, то это значит — выступаешь и против личности самого товарища, хочешь ему зла, ты ему враг. Мы боимся резкости, мы требуем реверансов и к каждому слову критики требуем длинных предисловий о талантах и заслугах критикуемого. В итоге действенная горечь критики растворяется в приторной патоке славословия.

— Вы бы хотели выстроить нас всех по ранжиру,— перебил Красносельцев,— да и распекать одного за другим перед строем. А ты, мол, нишкни, руки по швам. Так, что ли?

— Вас еще никто никогда и нигде не выстраивал и не распекал,— ответил Малютин все тем же спокойным тоном.— Скорее вы распечете, Кирилл Федорович, чем вас распекут. И вот,— продолжал он,— в такой обстановке мы пришли к застою. Я тут недавно высказывал сомнение: надо ли нам руководителя со стороны, разве не можем мы выдвинуть его из нашего коллектива? Товарищ Колосов рассеял мои сомнения. Он прямой человек, и это очень важно для той ситуации, в какой сейчас оказался институт. С предыдущим директором было как? Он заигрывал с сотрудниками, завоевывал дешевый авторитет,

старался быть хорошим для всех, призывал к какой-то беспринципной консолидации во имя тиши, глади да божьей благодати. И вот у него ничего не вышло. Беритесь, товарищ Колосов, за дело энергичней! Прежде всего дайте свободу критике. Мы вас поддержим.

— Совершенно точно! — сказал Бакланов.

— Когда закладывается фундамент, то, если в это время спросить обывателя, что делают строители, обыватель ответит: ничего, забивают какие-то бревна, укладывают в землю камни, а строения никакого не видно,— заговорил Красносельцев.— Так рассуждают и обыватели при науке, когда ученые разрабатывают проблемы дальних перспектив, теории различных процессов, физико-химические константы. А ведь это фундаменты наук! Вы развернете критику, разрушите все созданное нами, сокрушите фундамент и займетесь прикладными чердаками и мансардами. Чудовищно!

— Это действительно было бы чудовищно, если бы товарищ Красносельцев был прав. Но, к счастью, он совершенно неправ, — ответил Бакланов. — За разговорами о фундаментах науки у нас частенько скрывается рутина, нежелание искать и открывать новое. Именно так живете и работаете и вы, уважаемый Кирилл Федорович.

— Стыдно вам, доктору технических наук, интеллигентному человеку, мыслить столь примитивно, столь ходяче, столь мелко, Алексей Андреевич! — ответил Красносельцев.

Когда заседание было закрыто, он подошел к Павлу Петровичу и, поблескивая очками, сказал:

— Значит, поход против меня объявляете, товарищ директор? Не ожидал, не ожидал.

Павел Петрович не успел ответить,— Красносельцев вышел из кабинета; всей спиной своей, выпрямившейся более обычного, он демонстрировал обиду.

Бакланов, уходя, пожал руку и сказал:

— Очень, очень рад был с вами познакомиться.

Дольше всех задержалась Серафима Антоновна. В ее глазах Павел Петрович увидел выражение некоторого изумления. Она сказала:

— Мне не хотелось сегодня говорить. Во многом правы были и вы, милый Павел Петрович. Но была правда и у них, у ваших оппонентов. Нам бы надо встретиться. Ну, как вы себя чувствуете?

Павел Петрович понял, что она имеет в виду вчерашнее.

— Хорошо,— ответил он.— Голова болела, да прошла.

Она коснулась его руки:

— Вы сегодня нервничали, не надо нервничать. Надо себя беречь. На каждый чих не наздравствуешься. У нас народ трудный. Этот Бакланов... Он, конечно, талантлив, но Сталинская премия ему вскружила голову. Надо быть очень крепким человеком, чтобы почести тебя не погубили. Вот у нас есть еще Ведерников...

— Да, да, я все хочу спросить о нем. Он, кажется, трижды лауреат, но его нигде не слышно и не видно, в совете он не участвует почему-то.

— Как «почему-то», Павел Петрович! В свое время он был в совете. Вы, я вижу, ничего не знаете. Это же невозможный человек! — Серафима Антоновна поднялась на носки и зашептала в самое ухо Павлу Петровичу так, что он ощущал прикосновение ее губ: — Он пьяница. Он последнюю рубашку с себя пропивает.

— Да что вы?

— Спросите кого угодно. Кстати, Павел Петрович... Милый, только, пожалуйста, не отказывайтесь, я вас умоляю, слышите? Борис Владимирович... мой муж... сегодня уходит по своим редакционным делам. А у меня два билета... Ну будьте так добры, пойдемте. Приезжает московская знаменитость. «Раймонда». Мой любимый балет. Не отказывайтесь...

— Нет, нет! — решительно отказался Павел Петрович.— Не могу. И... не хочу,— неожиданно добавил он. Слишком свежо было в памяти впечатление от вчерашнего вечера, проведенного в доме Серафимы Антоновны, слишком тяжелым и неприятным было это впечатление.

4

Только тот, кто вернулся бы в эти места после перерыва лет в восемнадцать — двадцать, сумел бы в полной мере оценить изменения, какие произошли в институте со времени его возникновения. Были когда-то в парке два домика да кирпичный сарай, в котором размещалась мастерская, было человек двадцать научных сотрудников, большинство которых работало тут по совместительству, было столько же рабочих — слесарей, литейщиков и под-

собников, стояли в бревенчатой конюшне две лошади — гнедой высокий мерин да рыженькая с белой гривой и таким же хвостом кобылка. Мерина, поскольку он был красивей и сильней, запрягали в рессорную пролетку, на которой ездил директор; кобылкина судьба сложилась менее удачно: кобылка была главной тягловой силой при мастерской, таскала телегу с железными тяжестями, ходила в приводе, когда не хватало электрического тока и останавливались моторы, возила кирпичи, песок, бревна.

Куда они подевались, эти резвые институтские кони, никто, пожалуй, теперь и не припомнит. На смену гнедому мерину незаметно пришла вороная «эмка», а рыжую кобылку вытеснил зеленый грузовичок «ГАЗ». Вскоре к этому грузовичку прибавился грузовик Ярославского завода, его называли «язь», а потом пришли сразу два больших московских грузовика. Тогда же и один из очередных директоров пересел с «эмки» на казавшийся в ту пору красавцем, при легкости форм необыкновенной, огненно-красный длинный автомобиль.

Парк вытаптывался, в нем появились глубокие котлованы, вокруг котлованов росли груды камня, клетки кирпича, штабеля досок и бревен, пакеты кровельного железа. Все это постепенно превращалось в фундаменты, в стены, в перекрытия, в крыши — в новые здания. Территорию пришлось обнести бесконечным забором; народу стало так много, что понадобились табельщицы, понадобились бюро пропусков и проходная контора — тот домик, которым представлен сейчас институт со стороны улицы.

С начала войны институт вообще было прекратил свою деятельность, но в первой половине тысяча девятьсот сорок второго года вновь ожил в Сибири. В его прежних помещениях стояли воинские части — то чьи-то автобаты, то подразделения реактивных минометов, попросту «катюш», то вдруг въехали сюда склады военторга. Парк окончательно изуродовали — ископали вдоль и поперек под блиндажи и противоосколочные щели, завалили банками из-под консервов и старой рухлядью, из которой лезли ржавые пружины и пыльная труха, называемая морской травой.

Когда институт вернулся на Ладу, для сотрудников настала пора сплошных субботников и воскресников, происходивших в любые дни недели. Об этой поре сотрудники вспоминают и по сей день не без удовольствия. Это

была пора волнующего взлета чувств, знаменовавшего собой переход от войны к мирному труду. Изящные дамы, надев мужские сапоги и подпоясавшись веревками, охотно таскали носилки с кирпичами, мнительные мужчины, которые в обычные времена, указывая пальцем на грудь в районе сердца, говаривали «шалит», тут безропотно орудовали лопатами, чтобы поскорее заровнять уродливые щели и ямы в парке.

Потом правительство отпустило громаднейшую сумму денег для восстановления и реконструкции института. Развернулось строительство, начались работы по переустройству и оснащению лабораторий, перепланировали территорию, привели в порядок парк, посадив множество новых деревьев и кустов.

Перед Павлом Петровичем институт предстал уже в виде крупного научно-исследовательского учреждения, которое располагало всеми средствами для всеобъемлющего изучения природы и обработки металлов на всех этапах, начиная от выплавки из руды и кончая самыми совершенными методами электроискрового или анодно-механического резания.

Обходя институт, на третьем этаже главного здания в одном из боковых коридоров Павел Петрович увидел дверь с табличкой: «И. И. Ведерников». Он уже давно, несколько лет тому назад, слыхал о работах Ведерникова, читал о нем в газетах, знал, что этот человек трижды получал Сталинскую премию. Несколько дней назад он, правда, услышал от Серафимы Антоновны еще и иной отзыв о Ведерникове. Павел Петрович вошел в большую неуютную комнату, в которой были стол, три стула и несгораемый шкаф. У окна, глядя в парк, стоял седой высокий человек в синем халате. Он медленно обернулся на скрип двери и сказал:

— Если вы директор, то можно уже и не стучать?

— Прошу извинить.— Павел Петрович искренне смутился.— Как-то так получилось, задумался.

— Что ж, будем знакомы. Ведерников Иван Иванович.

Павел Петрович пожал руку и тоже назвался.

— Ну, давайте присядем,— предложил Ведерников, придвигая к столу второй стул.— Пить могу в любом положении, об этом вас, наверно, уже информировали мои друзья, думаю обычно стоя, а вот разговаривать люблю сидя. Присаживайтесь.

В остром, сухом его лице, похожем, насколько Павел Петрович помнил иллюстрации к рассказам Конан Дойла, на лицо Шерлока Холмса, в серых пристальных глазах все время держалась усмешка тонкого, проницательного и желчного человека. Павлу Петровичу трудно было начинать с ним разговор. Ведерников, видимо, догадался о его затруднениях.

— Знаете,— сказал он в раздумье,— ответьте прямо, вы ханжа или не ханжа?

Павел Петрович даже растерялся, так неожидан был этот вопрос.

— Видите ли, к чему я это спрашиваю, — объяснил Ведерников. — Если вы ханжа, мы обменяемся взаимными пустопорожними учтивостями и разойдемся, так друг друга и не узнав. Ну, вы что-то такое спросите, что, мол, мне мешает, чего недостает. Я что-то такое придумаю в ответ, скажу, мол, спасибо за внимание и буду думать о вас что бог на душу положит, а вы будете думать обо мне — что там вам наговорят мои друзья и доброжелатели. Так ханжа вы или не ханжа?

— До сих пор меня в этом не обвиняли, — ответил Павел Петрович, заинтересованный Ведерниковым.

— Прекрасно,— сказал тот и пошел к несгораемому шкафу, с грохотом отомкнул дверцу, потом, подумав, пошел к двери, защелкнул ее на замок, вернулся к шкафу, достал из него химическую бутыль без этикетки и две градуированные мензурки, поставил их на стол перед удивленным Павлом Петровичем. Еще достал из шкафа большую луковицу, соль в маленьком кулечке, кусок черного хлеба; на листе бумаги порезал луковицу кружочками, утер глаза и только тогда заговорил снова: — Да, я пью. Да, мне без этого трудно. И если вы, новый директор, хотите знать меня таким, каков я есть, снизойдите и до моих слабостей. Наливаю?..— Он поднял бутыль и задержал ее над мензурками, ожидая ответа Павла Петровича.

Павел Петрович в одно мгновение испытал сложный комплекс переживаний. Он не находил никакого сколько-нибудь удовлетворительного объяснения для такой странной гульбы двух совершенно незнакомых людей — нового директора института и старого его сотрудника — в рабочем кабинете, в рабочее время, под корку хлеба и луковицу — по-извозчичьи. Объяснений и оправданий не было, но возникал какой-то азартный интерес к Ведерникову,

и Павел Петрович сказал с той отчаянной смелостью, с какой первые купальщики бросаются в ледяную весеннюю воду:

— Наливайте!

Они чокнулись, выпили: оказалось, что в бутыли был разведенный спирт; Павел Петрович с удовольствием ел лук и черный хлеб, посыпанный солью, что смутно напоминало ему далекие времена, юные годы, новостройки и длинные переезды в товарных вагонах.

— Я ни о ком не говорю худо за глаза,— сказал Ведерников, снова наливая в мензурки.— Поэтому не пытайтесь информироваться у меня о моих коллегах.

— Вот вы свое мнение о них уже и обнародовали,— сказал Павел Петрович, удерживая руку Ведерникова, когда мензурка была налита до половины.

Ведерников усмехнулся:

— С вами ухо держи востро. В общем, леший с ними, с моими коллегами. Поговорим о другом. Вы как намерены руководить институтом? Будете медленно входить в курс дел, неторопливо осваиваться с обстановкой или начнете с перестройки? Видите, в чем штука. Если вы изберете первый путь — медленное вхождение и ознакомление,— поверьте мне, вас постигнет полнейший неуспех. Почему? Вот почему. Вы сейчас влетели в эту научную цитадель, как раскаленное ядро, стены цитадели от такого удара расселись, связь между кирпичами ослабла — такое сооружение можно как угодно ломать, рассыпать, перекладывать его компоненты в любых комбинациях, перестраивать. Сопротивление будет минимальным. А если упустить время, все, подождав, станет на место, трещины закроются, связи вновь окрепнут, и вы будете замурованы, вам будет не шевельнуть ни рукой, ни ногой. Поначалу вы приметесь биться в своей клетке, с запозданием пытаясь ее сломать. А потом привыкнете к неволе, сживетесь с ней. И конченый вы руководитель. Надежд тех, кто вас сюда послал, вы не оправдаете. Ломайте всё! — почти крикнул Ведерников и поднял мензурку.— Не теряйте времени! Ваше здоровье!

Потом он еще сказал:

— Во мне, правда, вы большой опоры не найдете. Для общественной жизни я малозначительная величина. Я — туманность. Меня называют иной раз изобретателем. А я не изобретатель. Я ничего не изобрел. Я даю только идею, идею! Конструкции создают другие. Что мне остается?

Сидеть и думать. И меньше всего — бушевать. Ну как, налить еще? Не хотите. Ладно, понимаю: директор, время рабочее и так далее.

Павлу Петровичу очень хотелось поподробнее расспросить Ведерникова о его семейной жизни, о причинах, из-за которых он пьет,— не без причин же,— но Павел Петрович не решился трогать эти темы с первого дня знакомства. Ведерников тем временем сказал:

— Ну как вам наш народ? Кто-нибудь вызвал интерес, понравился?

— Да как же, много прекрасных людей,— ответил Павел Петрович автоматически.— Вот, например, Шувалова или Бакланов.

— Шу-ва-ло-ва.— Подняв голову кверху, Ведерников как бы прочел эту фамилию по слогам на потолке. Да... — И неясно было, что́ же он хотел сказать этим. — Бакланов? — продолжал Ведерников.— Он бы так не выпил со мной тут под луковицу. Не-ет. Но я его люблю. Умный.

В дверь громко постучали. Ведерников не торопясь убрал в сейф бутыль, мензурки, остатки лука и хлеба, отворил дверь. За нею, блестя очками, стоял Красносельцев.

— Можно? — сказал Красносельцев, входя.— Прошу прощения, если помешал,— добавил он, увидев Павла Петровича.— Ну как, Иван Иванович, твое сердце?

— Не знаю,— глядя в окно, ответил Ведерников.— Меня не вскрывали.

— Видишь, ты какой! — Красносельцев улыбнулся, обнажив крупные желтые зубы.— Лежал ведь три дня.— Он понял, что оказался тут совсем некстати, и сказал: Я, пожалуй, зайду позже.

— Зайди,— так и не обернувшись к нему, ответил Ведерников. А когда Красносельцев вышел, он сказал Павлу Петровичу: — Наверно, за поддержкой шел. Блокироваться со мной. Я ведь тоже, по его мнению, служитель чистой науки.

— А что у вас с сердцем? — спросил Павел Петрович.

— Так что-то в клапанах. Ерунда.

В этот вечер, выйдя из машины, Павел Петрович увидел во всех окнах своей квартиры свет. Так давно не бывало. Обычно в последнее время окна стояли темные, потому что и Оля возвращалась домой поздно, или бывал

свет в кабинете, где Оля сидела с ногами в кресле. А тут вдруг везде огни.

Павел Петрович быстро поднялся по лестнице, послушал у дверей: в квартире раздавались голоса, что-то громыхало, будто по полу катали тяжелое, шлепали шаги. Он позвонил. Не открывали так долго, что Павел Петрович подумал, уж не воры ли, похозяйничав, удирают черной лестницей во двор. Наконец открыли. Перед Павлом Петровичем стояла Оля, растрепанная, босая, на лице пятна, будто ее обрызгал проезжий грузовик. По полу в передней плыли потоки именно такой дорожной мутной воды, которую так любят разбрызгивать грузовики на прохожих.

— Что такое? — сказал Павел Петрович.— Что у нас происходит?

— У нас происходит генеральная уборка, папочка! Мы заросли с тобой грязью. Это выяснилось только сегодня, когда пришла Варя.

Павел Петрович увидел Варю. Она стояла в распахнутых дверях столовой, тоже босая, в подоткнутой юбке, с мокрой тряпкой в руках, которая висела до полу.

— Узнаю,— сказал Павел Петрович,— узнаю инициатора этих преобразований. По почерку видно — работы развернуты всем фронтом. Что ж, здравствуйте, Варя!

— Здравствуйте, Павел Петрович! — крикнула Варя радостно.

— Она совсем пришла,— быстро шепнула Оля.— Мы уже и вещи перетащили. Машину у тебя просить не стали, все равно не дашь. На трамвае.

— А вот дал бы машину! — с неожиданным задором ответил Павел Петрович.— Что ты из меня какого-то старого черта строишь!

5

Из кабинета Павла Петровича только что вышел Бакланов. Разговор с ним был долгий и трудный. Бакланов пришел просить помощи.

— Если так может работать Красносельцев, то так работать не могу я,— сказал он решительно.— Мне не нужны ни личная слава, ни почести, ни златой телец в завышенных дозах. Я готов делить это все с кем угодно, если оно вообще будет. Я требую, чтобы по жаропрочным

сплавам была создана специальная группа. Я не могу год за годом в одиночку тянуть эту важнейшую работу со столь мизерным успехом, какой имеется сейчас. Это не государственно, это не по-хозяйски.

— А что надо, чтобы такая группа появилась? — спросил Павел Петрович.

— Ваша решимость отстоять ее перед министерством — это раз, и люди — это два.

— Предположим, что я полон решимости бороться за вашу группу, Алексей Андреевич. Поговорим о втором — о людях. Какие вам нужны люди?

— Ну, во-первых, надо, чтобы в группе непременно был крупный специалист по химии металлических сплавов. Например, Румянцев.

— Румянцев?

— Да, да, именно Румянцев, Григорий Ильич. Хватит ему пустяками заниматься... Он когда-то работал с хромом, ниобием, молибденом... Я не химик, я не могу заставить взаимодействовать между собой семьдесят элементов периодической системы Менделеева, относящихся к металлам. Это может сделать он, Румянцев.

— Хорошо, — сказал Павел Петрович. — Допустим, мы сумеем договориться с Григорием Ильичом. Дальше кто?

Бакланов называл фамилии работников, подробно объяснял, почему он выбирает именно этих товарищей. Павел Петрович отметил для себя, что Бакланов совсем не руководствуется личными симпатиями или антипатиями, главным для него, очевидно, были деловые качества людей, с которыми он хотел работать.

Вдвоем они составили список, вдвоем они набросали приблизительный план работы группы, наметили, какое ей понадобится оборудование, какие материалы, подумали о помещении в институте, о заводах, на которых работу можно было бы повторить и проверить в производственных условиях.

— Удовлетворен,— говорил Бакланов каждый раз, когда они решали очередной вопрос.— Удовлетворен вполне.

Когда нерешенных вопросов уже не осталось, Павел Петрович спросил:

— А почему раньше вы не могли собрать необходимую вам группу? Народу в институте даже больше, чем надо, не то что недостаток.

— Во-первых, мешало многотемие. У каждого сотрудника непременно своя тема. Он за нее обеими руками держится. Есть у него тема,— следовательно, и он самостоятельная величина. Работает над темой в группе,— значит, плох, несамостоятелен. Мне, например, два предыдущих директора твердили одно и то же: зачем, мол, вам, уважаемый Алексей Андреевич, растворяться в группе. Сделайте работу самостоятельно, снова представим вас к Сталинской премии. И тому, знаете ли, подобное. Все это очень мешало. Ну, а во-вторых, какая помеха? Во-вторых, надо полагать, помеха в той сумме денег, какая требуется на группу. Финансирующие организации там, в нашем министерстве, а может быть, даже и в Министерстве финансов, пугаются этой суммы. Они готовы на каждого из нас по отдельности, но зато в три, в четыре, в пять лет израсходовать гораздо больше денег. А вот сразу отпустить значительную сумму на ударную разработку темы — жмутся. Это, Павел Петрович, если хотите знать, тоже не по-хозяйски и тоже не по-государственному.

Павел Петрович встал из-за стола, прошелся по кабинету. Это уже был другой кабинет, не тот мрачный и длинный, который действовал ему на нервы. Вопреки уговорам Лили Борисовны, он все-таки переехал в эту значительно меньшую по размерам, зато более светлую и уютную комнату; притом потребовал, чтобы хозяйственники приобрели новую мебель,— он не захотел тех громоздких чернильных приборов и темных штор на окнах, которые его так удручали. Никакие протесты Лили Борисовны не помогли. Кстати, в приемной Павла Петровича уже не было и самой Лили Борисовны. Он предложил Лиле Борисовне выбрать себе другое место,— ему неприятно было работать с этой женщиной, которая пережила двенадцать начальников и дождалась тринадцатого, которая знала все и вся в институте до малейшей сплетни. Лиля Борисовна, кажется, даже и не обиделась на подобное предложение; во всяком случае, и словами, и всем своим видом, и поведением она продемонстрировала радость, и ее назначили секретарем заместителя директора по хозяйственной части. Теперь на звонок Павла Петровича в кабинет входила строгая, исполнительная Вера Михайловна Донда.

— Алексей Андреевич,— сказал Павел Петрович, останавливаясь перед Баклановым, который сидел в глу-

боком кресле,— вы очень остро видите недостатки в работе института, вы очень метко отзываетесь о прежних руководителях. И у меня уже давно появилась мысль — а что, если бы вы приняли участие в руководстве институтом?

— То есть? — Бакланов насторожился.

— То есть вам надо стать главным инженером и, следовательно, заместителем директора по научной части.

— Мне? — Бакланов взволнованно поднялся из кресла.— Заниматься администрированием? Да что вы, Павел Петрович? Это шутка, конечно.

— Это не шутка. Это очень серьезно. Архипов подал уже два заявления. Он не хочет работать, да и, говоря откровенно, не может. Он работник другого плана. А вы... У вас широкий взгляд, у вас нет предвзятого отношения к людям, вы умеете анализировать, обобщать...

— Спасибо за комплименты,— перебил Бакланов, убеждаясь в том, что Павел Петрович действительно не шутит.— Я благодарен вам за столь лестное мнение обо мне. Но я никогда не соглашусь бросить работу по своей теме.

— А вы ее не бросайте, Алексей Андреевич. Группа у вас будет, даю вам слово. Я добьюсь, чтобы она была. Отличную создадим группу. Сегодня же оформим все необходимые документы, и, если это понадобится, я сам отправлюсь с ними в Москву к министру. Вы будете руководить и группой, и всей научной работой в институте. Неужели вы трусите?

— Не говорите так, Павел Петрович. Это мальчишеский прием — поддразнивать. Дело не в трусости, а в трезвой оценке положения. Не справлюсь.

Павел Петрович посмотрел на взволнованного Бакланова долгим, внимательным взглядом.

— Дорогой Алексей Андреевич, — сказал он негромко, — неужели вы и в самом деле думаете, что одни из нас не имеют этого права — не справляться, а другие его имеют.

Павел Петрович, то расхаживая по кабинету, то останавливаясь против Бакланова, который вновь опустился в кресло, то садясь рядом с ним, долго рассказывал о том, как поручали ему руководство участком в цехе, потом — как поручили руководство всем цехом, как сделали

главным металлургом завода, как, наконец, прислали сюда, в институт.

— Мне всегда говорили, что это надо, очень надо. И, видимо, это действительно надо. Особенно страшно было идти сюда к вам. Страшно, что не справишься. Но разве допустимо — не справиться? Нельзя, Алексей Андреевич, не справиться. Надо справиться, во что бы то ни стало, но справиться. И я вас очень-очень прошу помочь мне в этом.

Наверно, речь Павла Петровича была такой взволнованной, наверно, говорил Павел Петрович так горячо, что Бакланов больше не протестовал и не отказывался. Уходя, он обещал подумать.

Павел Петрович был доволен. Он радовался тому, что разговор с Баклановым состоялся. Он уже несколько дней назад послал в министерство просьбу назначить Алексея Андреевича заместителем по научной части, но не находил удобного случая сказать ему об этом. Получилось все очень удачно. Отлично получилось. Подумает и, конечно, согласится.

В кабинет вошла Вера Михайловна и сказала Павлу Петровичу, что к нему просится Нонна Анатольевна Самаркина.

— Пусть заходит,— сказал Павел Петрович. Он был в хорошем настроении и встретил Самаркину приветливо: — Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Чем могу быть полезен?

Самаркиной его настроение не передалось. Она села перед столом, мрачная, хмурая, заговорила раздраженно и зло:

— Этот мальчишка Ратников не имеет степени кандидата наук, но занимает должность, которая полагается кандидату. А я имею степень кандидата наук, по должности, какая полагается кандидату, мне не дают.

— Вы недовольны работой? — спросил Павел Петрович, все еще не теряя доброго расположения духа.

— Дело не в работе. Что́ мне поручают, то я всегда выполняю честно и добросовестно. Дело в том, что мне не платят той ставки, какая полагается кандидату наук.

— Так вы чего же хотите?

— Я хочу,— чеканила Самаркина,— чтобы Ратникова перевели на другую должность, а меня назначили на его место, на котором полагается ставка кандидата наук.

— Он плохой работник, этот Ратников?

В данном случае не имеет значения, какой он работник. У него нет ученой степени, вот что главное в данном случае.

Павел Петрович невольно вспомнил чьи-то слова о том, что в институте Самаркина была известна как незаменимый оратор на любых собраниях. На партийных, на профсоюзных, на производственных, на банкетах по поводу чествования кого-либо и даже на панихидах, когда раздавался вопрос: «Кто хочет взять слово?» — первой стремительно подымала руку Самаркина и зычным голосом выкрикивала: «Дайте мне!» Это ее качество чрезвычайно ценил секретарь партбюро. Самаркина выручала его на тех собраниях, где никто не хотел выступать первым.

— Я выясню обстоятельства вашего дела,— сказал Павел Петрович, скрывая возникающую неприязнь к Самаркиной,— но прошу вас учесть, что в любом случае прежде всего значение имеет способность работника работать, а не его диплом. Дипломы — второстепенное.

— Но у вас-то, например, диплом ведь есть! — воинственно выкрикнула Самаркина.

— О нем никто никогда не вспоминает. В том числе и я.

— Вы что же, отрицаете роль документов, определяющих квалификацию специалиста?

— Ничего я не отрицаю.— Павел Петрович чувствовал, что раздражается все больше и что скрывать это ему становится все труднее.— Но далеко не всё эти документы определяют. Они не определяют главного: того, что человек получил от своей мамы, многоуважаемая Нонна Анатольевна.

— Если я поняла вас правильно, товарищ Колосов, если вы говорите о наследственности, то это же типичный идеализм! Вы отрицаете значение воспитания, влияние среды!

— Короче,— сказал Павел Петрович, подымаясь, чтобы дать понять Самаркиной, что разговор окончен,— я разберусь в этом деле: вы — или Ратников, Ратников — или вы. До свидания.

После ухода Самаркиной Павел Петрович попросил Веру Михайловну Донду вызвать неизвестного ему Ратникова.

Пришел молодой человек лет двадцати шести — двадцати семи, с очень белым лицом и очень светлыми

длинными волосами, сероглазый и, как Павлу Петровичу с первого взгляда показалось, какой-то девочкообразный — слишком скромный, слишком смущающийся и краснеющий. Павел Петрович с трудом уговорил его сесть в кресло. Ратников раз десять сказал: «Ничего. Я постою», — прежде чем в конце концов сел. У Павла Петровича невольно возникла мысль о том, что Самаркина, по-видимому, права: свою должность беленький молодой человек занимает преждевременно. Он спросил Ратникова, в каком отделе тот работает и какой темой занимается.

— Вообще-то,— ответил Ратников тихим, срывающимся голосом,— моя тема — оборудование мартеновских печей. Мы работаем вместе с товарищем Харитоновым. Но, извините, товарищ Колосов, я в последнее время увлекся поисками способов, с помощью которых можно было бы увеличить производство стали в действующих печах. Основную свою тему немножко запустил, на меня вот жалуются, говорят, что я даром деньги получаю.

— Это кто же так говорит?

— Ну, и товарищ Харитонов, и товарищ Самаркина. Они меня на партбюро вызывали. Я кандидат в члены партии. Мне там очень попало. И я понимаю, что и вы...— Он замолчал.

— Что — что и я? — спросил Павел Петрович.

— Ну, что и вы мною недовольны.

В Ратникове Павел Петрович увидел подкупающую искренность, ту ясность и прямоту, которые свойственны молодости. Он вспомнил себя в такие же годы. Он начинал ощущать чувство симпатии к этому человеку.

— Так чем же вы увлеклись в последнее время, расскажите! — попросил Павел Петрович.— И что же вам удалось отыскать?

— Видите ли, товарищ Колосов,— заговорил Ратников своим тихим голосом.— Стране надо очень много стали, надо очень быстро увеличить ее производство. Это сделать можно совсем не обязательно только за счет нового строительства. Это можно ведь сделать за счет повышения емкости мартеновских печей. Нужна только их частичная реконструкция.

— Правильно, можно и так увеличить выпуск стали. Кто же вам возражает?

— Мне не то чтобы возражают, но говорят, что это совсем не научная тема, а чисто производственное дело

и пусть я иду на производство. Что ж, я не против, я пойду на завод. Но и там буду заниматься этим делом. Я в институт не просился, меня так распределили. Правда, мне тут нравится, не скрою от вас. Тут у меня шире горизонт. Вот я, например, обследовал два больших уральских завода. Металлургических. И что же? Там можно добиться такого положения, при котором заводы будут получать дополнительно десятки тысяч тонн стали. Я докладывал об этом в группе, товарищ Харитонов посмеялся: куда ты, говорит, лезешь, ты только вчера со школьной скамьи. А я, товарищ Колосов, не вчера окончил институт, а четыре года назад. Товарищ Архипов — заместитель по научной части — тоже моим докладом не заинтересовался. Какие-то критические замечания о нем высказала товарищ Шувалова. Ну, а к слову Серафимы Антоновны все знаете как прислушиваются.

Он смотрел на Павла Петровича ожидающими, встревоженными глазами. Павлу Петровичу хотелось встать, погладить его по этим светлым волосам, сказать: «Ну чего же ты, дружок, испугался? Если ты уверен в правоте своего дела, то дерись за него изо всех сил, грызись зубами, бейся, как львенок». Но он сказал:

— Что же, по-вашему, надо на тех заводах сделать, чтобы получить дополнительные десятки тысяч тонн стали?

— Видите ли, товарищ Колосов, реконструировать действующие мартеновские печи, чтобы повысить их емкость,— это дело нетрудное. Правда ведь?

— Правда.

— Но ведь одновременно понадобится увеличить грузоподъемность разливочных ковшей.

— Тоже верно.

— А раз увеличится грузоподъемность ковшей, то увеличится и нагрузка на подъемные краны, на каркас здания.

— Вы рассуждаете абсолютно правильно, товарищ Ратников.

— Да, это, конечно, для вас азбучные истины,— совсем тихо сказал Ратников.— Но вот азбучные, а эффект дают громадный. Чтобы частично реконструировать печи, чтобы частично усилить краны и конструкции зданий, совсем не надо останавливать производственный процесс в цехе. Это тоже очень важное преимущество. А второе ведь то, что и затраты невелики. Я назвал вам эти два

завода на Урале. Емкость печей там можно увеличить не меньше чем на треть, а для усиления конструкций потребуется всего лишь тонн по двадцать пять стали на блок здания, обслуживающий одну печь.

— И это обеспечит дополнительно выплавку в десятки тысяч тонн ежегодно? — спросил Павел Петрович.

— Да. А чтобы создать новые мощности для выплавки того же количества стали, потребовалось бы затратить шесть миллионов рублей и около тысячи восьмисот тонн стальных конструкций.

— У вас интересные наблюдения и интересные мысли, товарищ Ратников. Где ваш доклад? Пожалуйста, принесите.

Ратников вскочил.

— Вот спасибо, товарищ Колосов! Вот спасибо! Вы почитаете, сами увидите.— Голос его был уже не такой тихий, как в начале разговора, и лицо порозовело. Радости своей он не скрывал.

— Несите, несите доклад! Потом подумаем вместе, что-нибудь да и решим. Как вы считаете?

— Так же считаю. Это очень важное дело. Его надо решить. Но, товарищ директор, скажите мне прямо, я не побоюсь услышать правду,— неужели это верно, что я не научно мыслю? Неужели это только производственный вопрос?

— Мне кажется, товарищ Ратников, что правда на вашей стороне. Если каждый завод, реконструированный так, как вы предлагаете, даст стране лишние десятки тысяч тонн стали, то все заводы вместе дадут миллионы тонн. Значит, наука, которой вы себя посвятили, сделает величайшее государственное дело. Вы же, конечно, понимаете, что металл для нас — дело государственное. Иной обыватель рассуждает так: какая нам радость от того, что, скажем, за пятилетку производство чугуна на душу населения возрастет в полтора раза? Какая радость лично мне от дополнительных пудов чугуна на мою душу? Из чугуна котлет не сделаешь и штаны не сошьешь. Обывателю невдомек, что ведь именно он, чугун, и выплавляемая из него сталь решают судьбу нашего машиностроения, а следовательно, и производительности труда на фабриках, механизации сельского хозяйства, а в итоге и котлет и штанов. Без чугуна ни котлет, ни штанов не будет. Так ведь?

Ратников утвердительно кивнул. Светлые его волосы упали на лоб. Он не заметил этого.

— Вы мыслите научно, не сомневайтесь в этом,— продолжал Павел Петрович.— Не давайте сбить себя с правильных позиций. Итак, я жду вашего доклада.

Ратников почти бегом покинул кабинет. Павел Петрович улыбнулся ему вслед. Молодой энтузиаст положительно нравился Павлу Петровичу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Утро было ясное и тихое. По Ладе, заполнив ее всю от берега до берега, медленно, с тугим скрипом шел с верховьев лед. Под откосом набережной, полого облицованной гранитными плитами, возле самой воды, где лежала дорожка песку и камней, собралась ватага мальчишек. Какие-то очень серьезные дела заботили ребят; сумки и портфели их были так небрежно брошены грудой в песок, зимние истрепанные шапки так лихо сдвинуты к затылкам, а лица отражали такое бремя суровых раздумий, что Макаров посчитал нужным окликнуть:

— Эй, вы там! Орлы! Что затеяли?

Мальчишки молча оглянулись на дядьку в черном пальто с барашковым воротником, к которому не совсем ладно шла широкополая светлая шляпа, нехотя разобрали свои портфелишки и побрели вдоль берега.

Макаров остановился и смотрел вслед озабоченной ватажке. Он вспомнил себя, вот такого же курносого, веснушчатого, с отраставшими к апрелю нечесаными вихрами.

Давно это было, давно... Не мчались в ту пору вместительные автобусы по набережной, не пролетали легкие «победы», не смотрели в Ладу окна шестиэтажных зданий с балконами,— изредка по булыжникам катились гремучие тряские повозки, тощие кони вялой рысцой бежали мимо кирпичных и деревянных халуп, черных от едкой заводской копоти, которую не могли смыть ни осенние ливни, ни талые вешние снега, хотя заводы над Ладой, породившие эту копоть, не дымили уже с зимы тысяча

девятьсот восемнадцатого. Заводы второй, а может быть, и третий год стояли холодные, полумертвые; сколько хочешь шатайся по цехам, по дворам — никто не остановит; набивай карманы гайками, болтами, кусками меди, шариками от подшипников — никто не отнимет.

Жизнь не умирала только в тех цехах, на тех участках, где ремонтировали пушки против Деникина и Юденича, паровозы, где из броневой стали склепывали артиллерийские пулеметные площадки для летучих железнодорожных отрядов, где изготавливали санитарные двуколки и на расшатанных станках точили корпуса трехдюймовых снарядов.

Мальчишкам было раздолье в ту пору. Отцы ими не занимались. Отцы или ушли на фронт, или пропадали на митингах, в комитетах, в ячейках, на субботниках. Матери копали грядки на пустырях вокруг заводов и тоже ходили на какие-то собрания.

Вспоминая отца, на щеке у которого багрово лежал шрам от сабли австрийского драгуна, мать в красном платочке делегатки женотдела, себя и своих тогдашних друзей, Макаров долго следил рассеянным взглядом за мальчишками, которые всё еще брели вдоль берега; они размахивали сумками — значит, спорили меж собой. А может быть, ругали его, дядьку в черном пальто и светлой шляпе, который ни с того ни с сего вмешался в их дела.

Неспроста пришло на память далекое, мальчишеское: и день такой же голубой, апрельский, и ледоход, и драные школьные шапки на затылках. Ясно помнилось, как стояли тут же вот, у воды, впятером и размышляли: то ли на лед бросить стащенную в заводе пироксилиновую шашку, то ли в берег врыть, то ли подложить под днище баржи, вылезшей на камни?

Иные, конечно, нынче времена. И мальчишки иные...

Макаров сказал себе об этом удовлетворенно; но вместе с чувством удовлетворения оттого, что мальчишки стали иными, в сердце вползло совершенно неожиданное, незваное, неуместное чувство, до странности похожее на сожаление. «Да, — думал он, — да, те пятеро мальчишек грохнули тут весной тысяча девятьсот двадцатого года пироксилиновой шашкой, развалили на дрова прогнившую баржу, и, может быть, их тогда надо было драть нещадно...» Но драть-то драть, а вот ведь один из них сегодня известный инженер-сталеплавильщик, руководит научным институтом, второй где-то на Дальнем Востоке

возглавляет крупнейшее строительство, третий — учитель, четвертый — геройски погиб под Варшавой, командуя авиационным полком, пятый — он сам, Федор Иванович Макаров, секретарь районного комитета партии, идет сейчас по свежему утреннему воздуху к себе в райком начинать новый день трудовой жизни.

Он не облекал эту мысль в определенные слова и не слишком отчетливо признавался в ней даже самому себе,— мысль возникла помимо его воли и, весьма туманно, в форме вопроса, выражала примерно следующее: так ли уж хорошо, когда у нынешних мальчишек, если послушать заведующего районным отделом народного образования, и всех забот-то стало, что заботы о четверках да пятерках?

Макаров не ответил на вопрос. Он шагал дальше по сухому весеннему асфальту, навстречу восточному неласковому ветерку, под ударами которого дым из заводских труб выбрасывало быстрыми тугими клубами.

По этой дороге ходили его дед и отец. Это была дорога Макаровых. Она вела к заводу, который встал над берегом Лады громадой цехов и тесной толпой труб, длинных и тонких, как стволы орудий дальнего боя.

Знакомая дорога, с нее не собьешься, даже если тебе завяжут глаза. Сколько опорок, сапог, ботинок, калош износил Макаров на этой дороге! Ему казалось, что другой дороги у него никогда уже не будет. Но вот третий месяц он не доходит до ее конца, до того места, где знакомая дорога упирается в заводские ворота, в узкие калиточки проходной.

Макаров переждал, пока пройдет колонна тяжелых, сотрясающих улицу автосамосвалов, еще подождал, пока ветер разнесет дизельный запах, и пошел к зданию районного комитета партии. Он уже подымался по каменным ступеням, когда на Ладе негромко, но отчетливо ударил взрыв. Возле берега стал в лучах солнца фонтан пенной воды и разбитого зеленого льда...

Мальчишки! Вот черти!

У себя в просторном кабинете Макаров снова произнес тем же восхищенным тоном: «Ну и черти!» Но, набрав номер телефона начальника отделения милиции, он сказал строго: «Что у вас там за пальба, товарищ Петухов?.. Дело не в этом... Надо посмотреть, не покалечили бы друг друга... Палец... глаза... Вот, вот, товарищ Петухов. Пожалуйста».

Рабочий день секретаря районного комитета партии начался. Каждый из этих дней проходил для него по-своему и очень трудно. Макаров все еще никак не мог привыкнуть к новому и неожиданному для него положению. Правда, минуло уже почти три года с того дня, когда его впервые избрали секретарем партийного комитета машиностроительного завода. Но, будучи во главе коммунистов завода, он душой и мыслями продолжал оставаться инженером, вникая во все производственные и технические дела, даже участвуя в работе группы технологов цеха, в которой начинал свою трудовую деятельность более двадцати лет назад. Этой зимой все переменилось. Избрали первым секретарем райкома.

Проходят дни, недели. Макаров более или менее разобрался в райкомовских аппаратных делах, для него наступила пора, которую он сам называет началом видения всего района в целом, со всеми теми учреждениями, заводами и институтами, в специфику которых не вникнешь, думалось, никогда; он убедился в том, что и знаний у него не так уж мало, как ему казалось, и вникать в специфику он умеет. Но было еще нечто иное в его новом положении. Нежданно-негаданно он перестал быть просто Федором Ивановичем Макаровым, перестало существовать мнение просто Федора Ивановича Макарова, не стало и слова просто Федора Ивановича Макарова, и поступка, и действия, и решения. Сказал было о ком-то в случайном разговоре: «Ну, это известный лодырь!» — как сразу же разнеслось: мы не можем пройти мимо мнения райкома, мы обязаны сделать выводы и так далее и тому подобное. Отозвался о другом: «Хороший работник», — сразу же заговорили о выдвижении того работника, о повышении его в должности. И по поводу первого случая пришлось объясняться, что его, дескать, неправильно поняли, и по поводу второго. А еще и третий был случай, и четвертый...

Федор Иванович Макаров мог говорить что угодно и делать что угодно — это было его личным мнением и его личным делом. Всякое слово и действие секретаря райкома Макарова рассматривалось и расценивалось как слово и действие руководителя партийной организации, которая его на эти слово и действие уполномочила.

Вот к такой стороне своего нового положения Макаров никак привыкнуть еще не мог: нет-нет да и собьется, нет-нет да и забудет о том, что он уже не просто Макаров.

В партийном комитете завода этого не было, отнюдь не каждое слово Федора Ивановича рассматривалось там как элемент руководящего указания. Там можно было оставаться просто инженером. В райкоме приходилось взвешивать каждое слово,— легких, поспешных, необдуманных слов новая должность Макарова не терпела.

Макаров начал день с того, что провел короткое совещание заведующих отделами. Заканчивая совещание, он вдруг, как это все еще с ним случалось, забыл о своем должностном положении и весело рассказал об утреннем событии на реке. Радостно-изумленный тон, каким секретарь райкома говорил: «Вот черти!», удивил заведующего отделом пропаганды и агитации товарища Иванова. «Хулиганье,— сказал товарищ Иванов.— Школа кивает на родителей, родители — на школу. Так и получается». Макаров с виноватым видом погладил затылок ладонью и отпустил заведующих.

Потом пришел председатель исполкома райсовета, принес показать перспективный план застройки огромного пустыря, который обезображивал самый центр района. Потом набежало множество текущих дел, о которых люди, непосредственно в них не заинтересованные, и не знают даже — существуют ли на свете такие дела.

Когда пробило три, Макаров распахнул дверь кабинета в приемную, чтобы посмотреть, много ли там желающих повидаться с секретарем райкома партии и поговорить с ним о своих заботах, нуждах, горестях и недоумениях. Во время таких приемов иной раз удавалось узнать о явлениях, не ведомых ни одному из инструкторов райкома.

На стуле возле двери, демонстрируя этим, что она заняла первое место в очереди и никому его не уступит, сидела бабушка в плюшевом вытертом пальто и в толстом, как клетчатое одеяло, платке, повязанном за спиной крест-накрест.

Макаров провел ее под руку в кабинет, усадил в кресло. Она молча смотрела на него глазами цвета поблекшего неба; ее белые сухие веки часто мигали, руки, положенные на колени, мелко тряслись.

— Чего ты, бабушка, хочешь? — спросил Макаров, придвинув стул почти вплотную к ее креслу.— Пожаловаться на кого пришла или помощь нужна?

— Помощь, сынок, помощь. — Бабка утвердительно кивнула. — Вот внук у меня, слышь-ка, непутевый стал.

Должно быть, у нее запершило в горле, она принялась кашлять. Макаров подал ей воды в стакане.

— Ну вот, — продолжала она, — непутевый, говорю. Доченька моя, его мать-то, Нюра, того, глупая, не понимает, что так негоже парня бросать, живи как знаешь. Отец-то, зять-то мой, и того глупее рассуждает: меня, говорит, никто за ручку в пенсионы не водил, а вот, вишька, кто я? Я самый, говорит, знаменитый маляр во всем городе.

Макаров умел быть хорошим слушателем, он вовремя, где надо, поддакивал, выражал удивление или посмеивался — ему любили рассказывать.

— Что ж,— продолжала бабка, немножко отдохнув,— от таких родителей доброго не дождешься. Женился парень в девятнадцать лет, да ладно бы женился, я сама, милый, в шестнадцать лет замуж выскочила,— не та беда, а другая: что женился-то плохо. Плохо, говорю. Науку нигде не кончил, с половины десятого класса ушел. Чернорабочим, слышь-ка, молодой парень работает, а вот пьет, пьет, глядеть — душе больно. Говорю отцу его: Вася, говорю матери, дочке своей: Нюра, да что вы, господи боже мой, куда смотрите, дите ведь родное? А что мы, говорят, сапогом по морде его учить будем, что ли? Отреклись. А я, сынок, не могу так от родной крови отрекаться. Хожу вот, хожу по людям, правды ищу.

— Где же ты была, бабушка, у кого? — спросил Макаров.

— К батюшке в церкву сходила, обещал помолиться. Давно это было, еще по осени. Ну и еще тут ходила, к мадаме одной. Хвалили больно, помогает, слышь-ка.

— Что за мадама такая?

— Вам, знаю, молодым, смешно, вы неверующие...— Бабка помолчала, пожевала ввалившимися губами. — На Новой улице живет, в доме таком красивом, возле самой дворницкой. Ученая мадама. Обману у нее, говорят, нету. Травки разные, коренья, родниковая вода...

— Колдунья, что ли? — Макаров слушал с еще большим вниманием.

— Чего ж ты так: бух-трах — колдунья! Колдунья одно, а ворожея — другое, сынок. К ней народу тыщи ходят. Кто от чего. У одного болезнь — доктора не могут вылечить. Они, доктора-то, грубые стали, шумливые. Пришла раз в полуклинику, все на меня кричат: давай-давай, бабка, скорейча, не копайся, чего тебе надобно, где

болит, говори, некогда с тобой, вишь-ка, очередь. И эта, что записывает, и няньки всякие, и сестры — все только и торопят: давай, давай. А я, милый, не на лошадиные бега пришла, не нормы сдавать по физкультуре. Мне с доктором по душам поговорить надобно, совета спросить, слово услышать такое, от которого и болезнь вроде потише станет.

— Это я запишу, бабушка,— сказал Макаров, раскрывая блокнот на столе.— Об этом мы тут поговорим, как улучшить медицинское обслуживание. Нам, знаешь, партия и правительство все время наказывают: заботьтесь о людях, люди у нас самое дорогое, самое главное.

— Вот не выполняете! — Бабка устремила свой сухой палец в лицо Макарову.— Влетит вам от партии-правительства.

— Придется ответ держать,— засмеялся Макаров.— Ну дальше-то что? К ворожее, значит, пошла...

— Пошла. Та сразу смикитила: женщина, говорит, в этом деле замешана. Ну, как в воду, поверишь ли, глядела! Верно, женщина. А как, скажу тебе, было-то оно. Так оно было. В квартире, где мы живем, народу много, жильцов пять семейств. И живет там у нас смазливая такая бабеночка-девчоночка Маруся, пивом-водами торгует, богатая, самостоятельная. Ленька наш, это внучек-то, гулял было с ней маленько. Она к нему, вишь-ка, в полное расположение пришла, увидит его и тает, что сахар. Ну, думали, поженятся, хотя, конечно, и старше она Леньки на три года. И что ты, сынок, скажешь?..— Бабка откинулась в кресле, выпрямилась, посмотрела на Макарова строгим взором. — Женился, подлец, на другой девке! — Тут она стукнула кулаком по своему колену. Видимо, не рассчитала, ушибла его, потому что повторила: «Да, на другой», — уже совсем иным голосом, прежним своим, немощным и старушечьим.

У нее опять пересохло в горле, снова она отпила водички из стакана.

— Вот встретила, слышь-ка, Маруся-то красавица его после свадьбы в кухне, возле умывальника, и говорит: «Поздравляю вас, Леонид Васильевич, со вступлением в законный брак. Только, раз обманули вы мое любящее сердце, не будет вам счастья в жизни». И пошло, сынок, с того часа все кверху дном. Запил парень, пьет год, пьет второй... Пропащий человек получается. Положила дурной глаз на него Маруся.

— Ну, а ворожея-то, ворожея что? Помогла?

— Коли помогла бы, что ж мне ваши тут пороги обивать? К тебе к последнему пришла. Куда и идти дальше, не знаю.

— Хорошо, бабушка, попробуем что-нибудь сделать. Хотя дело трудное, очень трудное.

— Сама, милый, знаю: трудное. Как не трудное!

— Ну, рассказывай, а я запишу: где твой внучек работает, где вы живете? В комсомоле-то он состоит? Не знаешь? Как же так! А отец партийный? Беспартийный. Жилплощадь у вас какая? Две комнаты. Тридцать восемь метров. Ну это еще ничего, бывает теснее. Все записал. Иди пока домой, бабуся. Осторожней иди, у нас тут лестница, как ты говоришь, непутевая, непременно каблуками за ступеньки цепляешься.

Макаров принял и остальных, занявших очередь в приемной. Кто просил устроить на работу, кто жаловался на управхоза — не чинит крышу, течет с потолка; один возмущался тем, что зажимают его рационализаторское предложение; еще один пришел с чертежами придуманного им устройства для улавливания дыма заводских труб.

Часов в семь, когда поток посетителей иссяк и Макаров хотел было уже вызвать машину, чтобы побыстрее добраться до дому и пообедать, технический секретарь доложил:

— Федор Иванович! Пришел еще один товарищ. Говорит, вы — его бывший ученик, до завтра он ждать не будет, скажите, мол...— секретарь заглянул в раскрытый блокнот,— скажите, Еремеев Семен Никанорович.

— Семен Никанорович! — Макаров поспешил к двери и распахнул ее перед стариком с живыми хитрыми глазами.— Входи, входи, Семен Никанорович! Здравствуй! Как дела, здоровье? — Он не спрашивал, зачем пришел Еремеев, он искренне обрадовался, увидев «дядю Сему». Дядя Сема и в самом деле был когда-то его учителем. Очень скоро после того, как пятеро мальчишек взорвали гнилую баржу на Ладе, дядя Сема принялся учить Федю Макарова владеть ножовкой, драчевыми пилами, притирками, плашками и метчиками.

— Не забыл, гляжу, не забыл! — сказал Еремеев, видя, как рад ему секретарь райкома.— Вот пришел тебя проведать, Федор Иванович, да проверить, не зазнался ли ты, дорогой мой.

Он сел на кожаный диван в глубине кабинета, вынул кисет и принялся свертывать цигарку. Делал он это молча, бросая на Макарова быстрые взгляды из-под бровей то с усмешкой, то серьезно-испытующе. Макаров сел возле него и тоже молчал; улыбался, ожидая, когда Еремеев закурит. Думал о нем, о той поре, когда был слесаренком под его началом, о тех днях, когда дядя Сема и его, Федора Ивановича, покойный отец с субботы на воскресенье отправлялись то по уткам, то за лисицами и зайцами, то по грибы. Брали они с собой и молодого слесаренка, который сквозь дрему где-нибудь в лесном шалаше или в стогу сена слушал их нескончаемые разговоры о годах гражданской войны, о генералах Юдениче и Родзянко, которые «пузом перли на Питер», о неизменно поминаемых неведомом храбреце Ваське Таратайкине и комиссаре Коровине, о какой-то девке-белогвардейке, из-за которой чуть было не погиб дядя Сема. «За каждой юбкой бегать,— говаривал отец Еремееву при этих воспоминаниях,— так до беды и добегаешься. Это уж факт». Комсомолец Федя давал себе страшное слово за юбками никогда не бегать, с девчонками никогда не водиться, не проверив прежде — а не белогвардейки ли они.

В кабинете, напоминая о фронтовой жизни, о трудовых военных делах, запахло махоркой. Выпустив густой клуб лилового дыма, Еремеев сказал:

— Давно, Феденька, не видались, давно. Время бежит... Когда я ушел с вашего завода? В сорок седьмом будто бы?..

— Не стыдно, Семен Никанорович,— «с вашего»? Ты же на нем тридцать лет проработал!

— Ты меня не укоряй — тридцать лет! — Еремеев сделал длинную затяжку.— Верно, тридцать.— Дым повалил у него изо рта, из носа, казалось, даже — из ушей. — Верно, был мне родной завод.— Он помолчал и вдруг почти крикнул: — Как со мной поступили? Ошельмовали всего! Кто за меня слово сказал? Даже твой папаша, дружок вроде, не хотел бы память его ворошить, и тот на собрании клеймил и позорил: бракодел Еремеев, на пятьдесят тысяч драгоценного металлу перепортил. Вот как со мной поступили на вашем заводе!

Макаров знал историю, о которой напомнил его бывший учитель. Действительно, было такое дело: обрабатывали турбинные лопатки из дорогой, как золото, стали. Еремеев допустил неслыханный процент брака. Специально

созданная тогда комиссия из рабочих и инженеров установила, что виной всему — упрямство Еремеева. Желая не отстать в выработке от известного на заводе слесаря-новатора, Еремеев не пошел к нему поучиться методам скоростной обработки кривых плоскостей, а придумал какой-то свой метод, ошибочный, технически неграмотный. Когда об этом было сказано, когда Еремеева покритиковали в цехе да в заводской газете, он обиделся и ушел на другой завод.

— Ты мне, Феденька, про то не вспоминай,— сказал Еремеев зло. Он встал с дивана и, раздавив в пепельнице на столе Макарова остатки одной цигарки, вернулся на место, чтобы начать свертывать вторую.— Наклепать на человека нетрудно. Отклепываться от наклепов — это потруднее.— Он помолчал, посопел носом.— Ну хорошо, что ты здесь. Вот пришел к тебе, Федя.— Он снова помолчал.— Помогай, брат. Я тебе помогал подниматься на ноги, и ты помогай. Накрути им хвост. Чтоб неповадно было, слышь?

— Да объясни толком, дядя Сема,— сказал Макаров, чувствуя в себе горячее желание помочь обидчивому мастеру.

— Толком, Федя, будет так. Опутали, окрутили, возвели на меня черт-те что. И вот, понимаешь, вчера на парткоме выговор записали... Так ты уж — сюда-то к тебе придет это дело — отмени ихнюю бодягу. Ударь по рукам.

— Выговор? Не понимаю.— Макаров погладил ладонью затылок.— За что же?

— Это только захоти, всегда найдешь за что. Клеветник, говорят. Клеветник! Это я-то клеветник? Да я белую контру собственными руками душил! Я завод из хламу подымал. Я на коллективизацию ездил, в меня ночью вилами кулачье запустило. Я в Отечественную на самой передовой, под снайперами, минометы да пушки ремонтировал! Я...

— Успокойся, дядя Сема! На-ка воды! — Макаров поднес ему стакан. Еремеев оттолкнул его руку; вода тяжело плеснулась на ковер.

— Вот живут еще такие недобитки! — продолжал он выкрикивать.— Тюрьма по ним скучает. Ты возьмись за них, пока не поздно. А не то и самому глотку перегрызут!

— Да кто это там, кто?

— Кто? А все! И секретарь парткома, и директор, и разные другие. Из-за Бабкина расшумелись. Есть у них

один любимчик. Парень так лет в тридцать пять. Занесся, занесся, будто уж профессор! Работы с него — еще как сказать, а деньги гребет лопатой. Костюмчики, шляпки... машину, «москвича», купил. Полный барин! За это мы боролись, Федя? За барство?

— Тут ты перегнул, пожалуй,— возразил Макаров.— Какое же барство — костюм да автомобиль? Кто что заработал, тот то и получает. Социалистический принцип. Заработай хоть десять тысяч — тебе их с почтением на рушнике, как, бывало, хлеб-соль, поднесут. Человеческий труд на пользу народа,— кто же смеет его не уважать!

— А если он хапуга, рвач?.. Если ему администрация потакает? Если... Да что там говорить! Тьфу.

Макаров пересел к себе за стол и позвонил секретарю партийного комитета завода, где теперь работал Еремеев. Секретарь парткома долго рассказывал ему суть дела Еремеева. Макаров сначала горячился, возражал, потом умолк, стал хмуриться, пожимал плечами, кивал и качал головой. Потом медленно положил трубку на рычаг аппарата, сказал после долгой паузы:

— Семен Никанорович! А ведь нехорошо получается.— Трудно дались Макарову эти слова, тяжко было говорить в таком тоне с тем, кто был его первым учителем после отца.— Нехорошо, Семен Никанорович,— повторил Макаров, глядя на чернильницу, в гранях которой весело отражались опаловые окна залитого вечерним солнцем кабинета.— Зачем же вы так?

— Вижу, все он тебе объяснил.— Еремеев усмехнулся.— Объясняльщики, Федя, всегда найдутся. А ты подумай: всякие ли нам объяснения нужны? На кой эти объяснения, когда наших людей порочат? Хорошо, ладно, допустим, я про этого Бабкина, чтоб не больно заносился, сказал, что его женка спит с начальником цеха. Вот тот и взвился...

— Перестань! — резко сказал Макаров, подымаясь из-за стола. Он не знал ни слесаря Бабкина, ни его жену, но он представил на миг то страшное, как яд, горе, какое принесла мужу и жене грязная сплетня, только что повторенная Еремеевым.— Стыдно слушать! — добавил он.— Стыдно, Семен Никанорович! Как ты можешь?

— А в меня вилами могли? А во мне три пули по сей день сидят! А у меня сын подо Ржевом зарытый. Да все вы еще под стол пешком ходили, а я уже в партии был!

Он еще что-то выкрикивал в большом, гулком кабинете. Макаров не слушал. На душе было так, будто у него что-то украли, какую-то светлую страницу жизни — те свежие, росные ночи в шалашах и душистых копнах, возле костров с золотыми углями...

— Так как же, Федя? — прервал его думу Еремеев.— Ведь я тебе почти что второй отец. Не отстоишь, а? Не отшибешь руки?

— Зачем ты это сделал? — спросил Макаров вместо ответа.

— Зачем, зачем! — Еремеев снова взорвался.— Пусть знает свое место! Лезут всякие из-под локтей. Так и норовят вперед тебя выскочить. А мы что — рыжие? Нас что — уже и нету? Всё себе загрести думают — деньги, славу, почет. Они еще, как оно говорится, от горшка были на три вершка, а мы уже в президиумах сидели! Ты не про то говори... Выручишь меня или нет? Поправишь этих чудилов или нет? Вот какой ответ мне нужен.

По-прежнему стоя за столом, Макаров тихо ответил:

— Постараюсь, Семен Никанорович, поправить. В этом кабинете, когда дело твое дойдет сюда, на бюро, я буду голосовать не просто за выговор, а за строгий выговор. И с предупреждением.

Еремеев посидел с полминуты, крутя в пальцах очередную цигарку, потом швырнул ее на ковер, сказал: «Спасибочка вам, товарищ Макаров», поклонился в пояс и ушел, громко стуча сапогами.

Макаров встал возле окна. Солнце опускалось на кровли завода. Под солнцем, в золотой дали, за городскими окраинами виднелись высоты. По дороге к ним то здесь, то там торчали журавлиные шеи строительных кранов и красные коробки будущих зданий: город рос, выбрасывая через пустынные равнины стремительные лучи своих прямых улиц. Макаров любил наблюдать за этим медленным неотступным движением города. Но в этот вечер он как бы и не видел величественной красоты, открывшейся в окнах. Все его мысли занял человек, только что сидевший здесь, в кабинете, на этом вот диване, — «дядя Сема».

Никогда не задумывался Макаров над однажды сказанными отцом словами, а теперь задумался. Отец после ухода Еремеева с завода сказал: «Родному заводу изменил! Нет у меня больше в него веры». И правда, больше не дружил, не встречался отец с Еремеевым. Так и умер, не повидавшись.

Машину Макаров вызывать не стал. Пошел пешком, снова по набережной. И все думал, думал, следя за ровным скрипучим ходом хрупких речных льдин. Зависть, зависть, думал он, до чего же ты доводишь человека! Человек теряет голову из-за тебя; зараженный тобою, он готов топтать другого, душить его, калечить ему жизнь. Незаметно для себя он сам опускается на ступени первобытного существования, с той лишь разницей, что сегодня он владеет не суковатой дубиной, а пером; но берется за перо не для того, чтобы воспевать человека, его красоту и величие, а чтобы клеветать на него, иной раз прячась за чужое, вымышленное имя, потому что и сам если не понимает, то, во всяком случае, чувствует мерзость своего поступка и степень своего ничтожества.

Под набережной, у воды, там же, где и утром, Макаров увидел знакомых мальчишек. Они что-то рассматривали на песке.

— Ребята! — окликнул он.— Ну-ка, живо ко мне!

Двое из них взобрались на камни, подошли.

— Ребята, я вас прошу не врать, сказать правду. Это вы тут взрывы устраиваете? Только, пожалуйста, не врите.

— А чего нам врать? — сказал один, измазанный фиолетовыми чернилами. — Мы. Берем бутылку, кладем в нее негашеную известь... потом воды...

— Быстро пробку! — добавил второй, тоже не очень утруждавший себя заботами о чистоте лица и рук.— И вот: бац!

— Вы разве, дядя, так никогда не делали?

— Вы, наверное, тогда еще химии не знали?

— Я вам вот что скажу, ребята,— Макаров, так же как и ребятишки, сдвинул шляпу на затылок.— Лучше уж вы рвите свои бутылки, только будьте настоящими людьми. Смелыми, честными, благородными. Это очень важно. И химию изучайте. Вам много работы предстоит в жизни. Трудной работы. Мы, ваши батьки... и наши батьки... не все еще сделали. Вы меня понимаете, ребята?

Вокруг Макарова уже собралась вся ватажка. Ребята молчали, внимательно рассматривая человека, который говорил с ними, как со взрослыми. Он им нравился.

— Не понимаете сейчас — поймете позже.— Макаров подал им руку. Мальчишки пожали ее по очереди.— Будьте здоровы! — попрощался он и двинулся своей дорогой по набережной.

Но едва он отошел на несколько шагов, самый измазанный из ребят окликнул его:

— Дяденька, а вы кто?

— Я?..— Макаров не находил нужного слова.— Я?..— повторил он. И вдруг ответ пришел сам собой. — Я бывший мальчишка,— сказал он совершенно серьезно.

2

Впервые после зимы открыли окна, и апрельский воздух, переливаясь из комнаты в комнату, заполнил собой квартиру до самых дальних и скрытых ее закоулков. Все оживало под его теплым дыханием. Плавно, будто крылья больших белых птиц, подымались гардины, качал дырчатыми листьями старый филодендрон в зеленой кадушке; казалось, он рассказывал о своих старческих недугах ровеснику олеандру. На столе Павла Петровича один за другим справа налево быстро перебрасывались листки календаря; промелькнули май, июнь, июль; когда начался август, Варя остановила рукой этот бег времени и, возвратив время опять к апрелю, придавила листки бронзовым ножом для бумаги.

В доме было тихо, потому что Оля ушла гладить платье на кухню, а Павел Петрович брился в ванной. Шум долетал только с улицы. Это был шум иной, чем в будни,— воскресный. Молчали грузовики, оставшиеся отдыхать в гаражах, зато кричали мальчишки и девчонки, играя в суетливую игру с беганием и прятанием по дворам; намывая стекла, из окна в окно громко переговаривались женщины; с утра напившийся сорокалетний весельчак требовал ответа от воображаемой Саши, помнит ли она их встречи в приморском парке на берегу. Уличному певцу подсобляли многочисленные, ближние и дальние, радиолы, выставленные любителями шума на подоконники и повернутые в сторону улицы. Радиолы тоже кричали про Саш, забывших прибрежные встречи, про Маш, которым надо бросить сердиться, про девушек, которые лучше всего почему-то весной, и про трактористов, уходящих в институт и своим уходом сильно снижающих качество колхозных хороводов.

Варя не слышала этих шумов и криков; не слышать их Варю приучили соседка по общежитию Ася и ее веселый моряк: они могли петь и бренчать на гитаре, могли

танцевать под звуки увертюры к фильму «Дети капитана Гранта», а Варя читала у себя за столиком и, несмотря ни на что, понимала прочитанное.

Переехав из общежития к Колосовым и получив тут в полное свое владение отдельную комнату, Варя даже растерялась, на первых порах чувствовала себя неловко одна за закрытой дверью,— это же была первая отдельная комната в ее двадцатисемилетней жизни. Но стоило пройти нескольким дням, как Варя поняла, ощутила все преимущества такой жизни, когда ты можешь оставаться один на один с самим собой, когда никто не прервет твою мысль, никто тебе не помешает думать, читать, мечтать. Она испытывала чувство глубокой благодарности к этим милым ей людям — к Оле и Павлу Петровичу. Нет, она в них не ошиблась, сблизившись с ними еще тогда, в первые дни своей жизни в городе, шесть лет назад. Варю заботило только одно: она считала, что как-то и чем-то обязана отблагодарить своих чутких друзей. Но вот как и чем? Незаметно для них она приняла на себя все заботы о поддержании порядка в квартире. Она возвращалась домой раньше Оли и тем более раньше Павла Петровича, мела, мыла, скребла, чистила. Привычку к чистоте она приобрела еще в отцовском доме, в Холынье, где неряшество почиталось одним из тягчайших человеческих пороков, из-за которого девушке наверняка грозило стародевство: на неряхе мог жениться по неразумению только какой-нибудь заезжий лектор или заготовитель.

С особой тщательностью Варя наводила порядок в кабинете Павла Петровича, причем делала она это так, чтобы Павел Петрович даже не заметил, что в его владениях хозяйничала посторонняя рука. Каждая вещь, каждый лист бумаги, карандаш, резинка после уборки возвращались на то самое место, где Павел Петрович любил или привык их видеть.

Кабинет Павла Петровича приобретал для Вари значение какого-то святилища. Именно здесь, в этом кабинете, зарождался Варин интерес к металлургии, Варя хорошо помнила один вечер. Вот тут, на диване, сидела Оля, рядом с нею Елена Сергеевна; она, Варя, сидела в кресле, а Павел Петрович расхаживал по этому ковру и говорил о том, что история, изучению которой посвятили себя Оля и Варя, если они хотят знать,— родная сестра металлургии. Да, да, так, потому что история человечества — это

история того, как человек учился, научился и учится добывать и обрабатывать металлы. Каменный век — не история, а доистория, предыстория, утверждал он. История начинается с того дня, когда была выплавлена бронза. А еще круче пошло историческое развитие человечества, когда нашли железо; же-ле-зо! Дело это давности примерно в четыре тысячи лет, дорогая Варенька. А еще сильнее размахнулся человек, получив сталь. Сталь — главный металл нашего века! Испанские и португальские авантюристы истребляли народы Южной Америки из-за золота, которое с древности ходило там в быту, как ходит сейчас в нашем быту эмалированная посуда. Янки душили мексиканцев, ворвавшись в Калифорнию тоже за золотом. За золотом, грызя друг другу глотки, ползли они по ледяным пространствам Клондайка. Во всех частях света лилась кровь людей, периодически заболевавших золотой лихорадкой. В золоте виделось людям счастье, потому что счастье начиналось только там, где кончалась бедность.

Велика и могущественна была сила золота. Золото владело судьбами людей. Но железо и сталь завладели судьбами целых народов и государств. Узлами кровавых противоречий легли на границах Франции и Германии Рурский и Саарский бассейны, богатые железной рудой и каменным углем. Сколько десятилетий подряд не дают покоя воинственным капиталистам наши Донбасс и Криворожье! Почти целое столетие не угасает пламя войн в Юго-Восточной Азии, где в недрах земли лежат редкие металлы, необходимые для выплавки драгоценных легированных сталей. Государства соревнуются в строительстве доменных печей, бессемеровских конвертеров, мартенов, печей, работающих на электрическом токе,— у кого больше чугуна и стали, у того и сила.

«Вот вам история, вот вам и металлургия!» — сказал в тот вечер Павел Петрович и достал из своего книжного шкафа длинный ящик, обитый черной тисненой кожей. В ящике, на малиновом бархате, лежали две искусно отделанные золотом и перламутром, слегка изогнутые сабли. Павел Петрович взял одну из них в правую руку, а левой рукой подкинул в воздух лоскут прозрачной шелковой ткани. Сабля сверкнула, свистнула, и лоскут на лету, в воздухе, был разрублен пополам. «Это,—сказал Павел Петрович,— древний азиатский клинок из так называемой булатной стали табан. Лет семьсот назад искусство приготовления табана было утеряно азиатскими ме-

таллургами. А вот,— Павел Петрович взял из ящика вторую саблю и повторил опыт с лоскутом шелка, который и на этот раз был разрублен так же чисто,— вот шестьсот лет спустя наш соотечественник и мой тезка Павел Петрович Аносов разгадал многовековую тайну булата и изготовил свой табан».

Варю взволновали скрытые в веках тайны металлургии, она принялась расспрашивать Павла Петровича о булатах. Он сказал тогда, что булаты устарели, что в наше время гораздо проще изготавливается сталь значительно более ценная и с гораздо более высокими качествами, чем булатная. То, что было когда-то искусством одиночек, стало делом массовым, промышленным. Но Варю булаты продолжали волновать; каждый раз, бывая у Колосовых, она все возвращалась к разговорам о них. Павел Петрович рассказал Варе о древней булатной стали вутц, которую полторы тысячи лет назад изготовили в Индии, о хорасанских клинках, о харалужных мечах. «Помните, в «Слове о полку Игореве»: «Яр туре Всеволоде...» Как там?.. «...гремите о шеломы мечи харалужными». Или если вы читали роман Вальтера Скотта «Ричард Львиное Сердце», — там ведь происходит нечто такое, что я вам уже демонстрировал. Там английский король и арабский султан Саладин соревнуются в рубке шелкового платка, подброшенного в воздух. Победил, как известно, султан, у которого сабля была из дамасской, то есть из знаменитой булатной стали, производившейся в Дамаске. Кстати, это производство прекратилось еще в четырнадцатом веке, когда Сирию покорил небезызвестный Тамерлан. Всех мастеров булата он увез из Дамаска в Самарканд».

Варя бегала по библиотекам, ей казалось, что, роясь в книгах, в которых рассказывалось о производстве металлов в старину, она продолжает изучать историю, на самом же деле она незаметно для себя увлеклась металлургией.

Да, вот здесь, в кабинете Павла Петровича, началось это ее увлечение.

Апрельский ветерок по-прежнему вздувал гардины, шелестел бумагами на столе. Варя стояла на ковре посреди кабинета, ей было грустно и жаль прошедшего. Она жалела Павла Петровича в его одиночестве, она прекрасно понимала, что ее и Олино общество, как бы они ни старались, не может заменить ему Елену Сергеевну.

Часто, когда Павел Петрович сидит вот тут в кресле за столом и, подперев щеку рукой, долго-долго смотрит в окно, Варе хочется подойти к нему, обнять его голову, прижать ее к груди, но только молча, совершенно молча, без единого слова,— от слов может все испортиться. Да, хотелось бы. А нельзя. Нет, нет, нельзя. Он, наверно, очень рассердится, Павел Петрович.

Варя услышала тихий звенящий шорох. На подоконник опустились два голубя. Они напомнили Варе ее родные места. Бывая в Новгороде, куда отец ездил иногда по своим колхозным делам, Варя видела на базаре, среди возов и под возами, множество этих красивых птиц, слышала этот звон их крыльев, когда они взлетали из-под ног, и любила наблюдать за ними, бросать им крошки.

Она стояла, боясь шевельнуться; голуби, быстро переставляя красные лапки, сновали на подоконнике, с любопытством заглядывали в комнату; потом голубь надулся, поднял на шее радужный воротник и, сердито воркуя, принялся ходить вокруг голубки. Он на нее за что-то сердился.

С пронзительным писком мимо окна пронеслась ласточка, голуби поднялись и улетели. А Варя все вспоминала Новгород, реку Волхов, озеро Ильмень, Мсту, на берегу которой стоит село Холынья, синие окрестные леса, зеленые луга, густые утренние туманы, плоты бревен с огоньками на них, вечерние песни девушек... Встал перед ней и учитель Иван Степанович, которого она очень любила. И ей снова стало жаль, что в ее жизни уже так много миновало хорошего. И она никак не могла понять, почему в такой светлый, теплый, солнечный день в ее душе столько беспокойства и почему там грусть вместо радости, хотя причин для грусти нет никаких.

В это время Оля, разглаживая складки шелкового платья, которое она хотела надеть впервые после надоевших за зиму кусачих шерстяных, думала все о том же: о неполадках в ее комсомольской организации,— им не было конца. Ни откровенные разговоры не удавались, ни какие-либо интересные начинания, с помощью которых можно было бы как-то теснее сплотить аспирантов. Единственно дружно собрались на экскурсию. Но куда? На городское кладбище, где похоронены знаменитости. И конечно, этот поход был достойно отмечен в стенной газете. Дескать, вот так придумали, вот так пошевелили мозга-

ми! Правда, секретарь райкома комсомола Коля Осипов постоянно утешает Олю и уговаривает не падать духом. Во-первых, говорит он, твои комсомольцы — это уже не студенты, и действительно, когда они собираются вместе один-два раза в неделю, с ними работать трудно. А во-вторых, посуди, Колосова, сама: ты среди них, кажется, самая молодая — двадцать три года. Есть ведь и такие, которым под тридцать, переросли. В партию пора. На самостоятельную дорогу.

Рассуждения правильные, но Олю они не утешали. Все равно она страдала оттого, что работа у нее шла значительно хуже, чем в студенческие годы. Студенческие годы — это были чудесные годы! Годы горячих споров, диспутов, поисков истины, годы искренних порывов, высоких идеалов и благородных побуждений. Все было горячо, принципиально, непримиримо. В аспирантуре многое, да, многое, слишком многое изменилось. Олю избрали тут комсоргом, под ее руководством оказались не сотни комсомольцев, а всего лишь два десятка, но как стало трудно с ними. Главное — не было коллектива. Каждый жил и действовал сам по себе, комсомольскую работу приходилось вести с каждым в отдельности. Комсомольцы и комсомолки выходили замуж, женились, даже дети уже растут; комсомольцы и комсомолки аспиранты, что называется, вили себе гнезда. Неужели так всегда знаменуется конец молодости? Неужели молодость на исходе, неужели она — короткий праздник в жизни человека, а дальше начинаются будни, без вспышек и взлетов, только витье гнезд, все поглощающее стремление к обеспеченному существованию, к достатку? А когда придет достаток, когда у тебя будут зеркальный шкаф для платья, раздвижной обеденный стол, хрустальные графины, ковер на стене и приемник с электропроигрывателем, когда на этом раздвижном столе два-три раза в неделю сможет появляться бутылка марочного вина, а под звуки электропроигрывателя несколько пар ваших друзей субботними вечерами на тесном пятачке меж шкафом, столом и книжной этажеркой будут крутиться в несложных танцах, — когда все это будет, так что́ же — это и есть высокая цель, во имя которой живет и всю свою молодость учится человек? Дальше-то, дальше что? Еще один или три шкафа? Кровать с вензелями? Автомобиль? Дача?

Оля вскрикнула, потому что обожгла утюгом палец.

— Что там такое? — послышался голос Павла Петровича из ванной.

— Утюг очень горячий, — ответила Оля.

— Горячий? А у нас на заводе есть парень, тот знаешь что умудряется делать? Он, когда из электропечи удаляют шлак, берет и ладонью голой руки перешибает струйку шлака. А в ней больше полутора тысяч градусов.

— Да что ты, папочка! Полторы тысячи градусов!

— Он еще уверяет, что когда-нибудь соберется с духом да и струю расплавленной стали перешибет этак. А в ней жару еще больше, чем в шлаке.

Павел Петрович был в хорошем настроении. Ему было приятно, что дома теперь все по-другому. Видимо, из-за Вари Стрельцовой. Она внесла в дом утраченные было уют, тепло и дух жилья. Она, с ее ровным характером, умела смягчать и утишать и Олины вспышки, и его раздражительность. И к тому же, как Павел Петрович и надеялся, давая Оле свое согласие на переезд Вари к ним, она почти каждый вечер рассказывала ему заводские новости.

Павел Петрович последний раз провел бритвой по подбородку и принялся мыть лицо и шею. В дверь ванной постучали, и Варин голос сказал:

— Вас спрашивают из гаража, Павел Петрович. Что ответить?

— Что? Пусть позвонит через часик. Хотя нет, постойте! Пусть прямо приезжает сюда.

Выйдя через несколько минут с полотенцем в руках, он сказал:

— Как ваше настроение, девицы-красавицы? Нет желания прокатиться по городу?

— А в связи с чем? — спросила Оля.

— В связи с тем, что министерство презентовало мне новый автомобиль. Мы с шофером решили сегодня начать обкатку и так сочетать полезное с приятным.

— Ой, как хорошо! — почти одновременно воскликнули Оля и Варя. Было в их радости нечто такое от далекого, детского, что Павел Петрович забыл об их возрасте, он видел перед собой двух девочек, которые еще могут играть в классы, прыгать через веревочку, петь девчоночью песенку: «Шли, шли, шли, пирожок нашли» — и радоваться тому, что их хотят покатать на автомобиле.

3

Все были уже одеты, когда позвонил телефон.

— Папочка,— сказала Оля,— давай не ответим? А то собьют тебя с толку, и пропало наше гулянье. Сегодня же воскресенье. Пусть тебе дадут отдохнуть спокойно.

— Что ты, что ты! — ответил Павел Петрович. — Раз мы дома, значит, нечего притворяться, что нас нет. Кто тебя учил таким фокусам?

Оля тем временем вбежала в кабинет и схватила телефонную трубку.

— Алло! — сказала она.— Павла Петровича? Его нет дома.— Павел Петрович кинулся к ней, попытался отнять трубку, но Оля успела проговорить: — Неизвестно когда. Поздно, наверно,— и прижала рычаг аппарата пальцем.

— Ты распускаешься! — воскликнул Павел Петрович.— Мало ли откуда звонят. Может быть, ответственный дежурный из института, может быть, из горкома, обкома, из министерства, наконец. Мало ли что могло случиться.

— Нигде ничего не случилось,— ответила Оля зло.— Это некая Серафима Антоновна... Симочка. Наверно, опять созывает великосветскую вечеринку.

— Ольга! — прикрикнул Павел Петрович, пораженный ее непривычной грубостью.— Получится так, что мы никуда не поедем.

Варя сказала:

— Павел Петрович, не сердитесь, пожалуйста. Оля, как тебе не стыдно?

— Ты ничего не знаешь! — огрызнулась Оля.— Ты не знаешь, какая это двуличная женщина.

— Ты же с ней почти не знакома! — снова воскликнул Павел Петрович.— Виделась, может быть, три или четыре раза...

— И вполне достаточно!

С тех пор как Павел Петрович вернулся домой лишь под утро, Оля, которой Серафима Антоновна прежде очень нравилась, круто изменила свое мнение о ней. Молодости свойственны такие повороты, молодость требовательна, категорична, она чаще ошибается, но в своей категорической прямоте — будем справедливы — она, как ни странно, не так уж и редко оказывается прозорливей, чем возраст, о котором принято говорить: зрелый. Слишком много напосного тащит на себе этот зрелый возраст,

неисчислимы условности и побочные соображения, которые сопровождают каждый его шаг, слишком прочен плен привычных представлений, которые складываются годами.

Оля еще не успела обрасти условностями так, чтобы они, подобно ракушкам на днище корабля, затрудняли бы ее плавание в жизнь, у нее еще не было того привычного в суждениях о людях, которое, как жироскоп на корабле, само собой стремится выравнивать отношения и сглаживать углы на всех, какие только могут быть, внезапных, резких и неожиданных кренах и поворотах. В одно утро, в один час Серафима Антоновна из красивой носительницы различных добродетелей превратилась для нее в безобразное средоточие всех и всяческих зол.

Павел Петрович смотрел на свою вдруг разволновавшуюся дочку и с удивлением думал о том, что, вместо того чтобы как следует отчитать эту злюку, он любуется ею. Он вспомнил Елену. У Елены тоже бывало именно так: какой-нибудь вчерашний кумир-профессор назавтра оказывался рутинером, старой перечницей, зажимщиком нового. А проходило время — старая перечница вновь превращалась в небожителя. Елена судила о людях по их отношению к ее работе, она увлекалась своей биологией, своей деятельностью в институте и требовала такого же увлечения от всех. Чуть что иначе — человек уже и плох. Как Павел Петрович ни воевал с нею, как ни доказывал, что требования ее чрезмерны и что мерить всех по своим меркам нельзя, на Елену это нисколько не действовало.

С Олей он воевать не стал.

— Глупая ты,— сказал он миролюбиво, отворяя дверь на лестницу.— Но это не безнадежно, поживешь — поумнеешь.

Машина, в которую они сели, зеленая, яркая, была просторней, удобней, красивей не только того «москвича», который возил Павла Петровича в бытность на заводе, но и того трофейного «БМВ», на котором Павел Петрович ездил еще вчера. Особенно восхищалась ею Варя.

— Если я хоть когда-нибудь накоплю столько денег, я непременно куплю себе такую,— сказала она.— Но только чтобы самой управлять. У нас в деревне я очень любила ездить на лошади. Так разгоню, что телега в воздух подскакивает. Земля из-под копыт бьет по рукам, по лицу... Ничего, терпишь, лишь бы мчаться дальше. Хоро-

шо! Но там была одна лошадиная сила. А здесь, кажется, пятьдесят. Так, товарищ шофер?

— Больше. Машина сильная, приемистая. Это сейчас мы тихо едем — обкатка, нельзя иначе. Потом, после тысячи километров, пойдет что лев!

Ехали вдоль длинных заборов, через гремучие мосты, мимо новостроек. Возле заборов зеленели первые побеги одуванчиков и крапивы, среди них тихо цвела мать-и-мачеха. Яркое солнце отражалось в лужах, вспышки его по временам ударяли в стекла машины, слепя и заставляя жмуриться, теплый ветер туго врывался в окна.

— Папочка,— сказала Оля,— но почему, почему все шоферы возят тебя по закоулкам и всяким пустырям? Когда бы и куда бы я с тобой ни ездила, всегда одни заборы и развалины?

Павел Петрович улыбнулся. Оля увидела это по морщинке на его щеке, которая только и была ей видна сзади.

— Хочешь знать? — сказал он.

— Хочу.

— Видишь ли, — заговорил Павел Петрович, — это для тебя тут заборы, а для меня вовсе и не заборы. Для меня в нашем городе два города. Один — тот, о котором наговорено всяческой всячины в старых путеводителях: город на Ладе, с памятниками, соборами, мостами и мостиками, историческими местами. Этот город как бы накрыт колпаком. Идут годы, ве́ка,— ну что в нем изменилось? Ничего. Те же дорожки в парках, что и двести лет назад, только деревья выросли и одряхлели, те же решетки, только позолота с них слезла да гранит цоколей почернел и порос лишайником, те же памятники, набережные... А я, как ты знаешь, не любитель музейных редкостей, я люблю живое.

— Заборы?

— То, что за ними.

— А что за ними?

— Умей видеть.

— Я, кажется, понимаю, о чем говорит Павел Петрович,— сказала Варя.— Об этом, да? — Она указала рукой на строительный кран, который высился над кирпичной коробкой будущего здания.

— Совершенно верно, — ответил Павел Петрович. — О втором, о новом городе в городе. Старинные решетки, мосты и набережные — они были до нас... Ну вот,

предположим... У меня вот есть один знакомый астроном, ты, Оленька, его не знаешь. Он читает небо, как книгу, ему известны тысячи звезд, он в них как рыба в воде, но... Вот «но» в том, что любит-то он среди них одну-единственную, какую-то, к слову сказать, паршивенькую, некую мусоринку в космосе, видимую чуть ли не раз в неделю, по субботам или пятницам, и то в самый мощный телескоп. Он сам ее открыл, вот в чем дело. Он! Сам!

— Странная аналогия, папочка! — сказала Оля.— Разве ты открыл новые Дома культуры, школы, жилые дома, заводы, разве ты пустил тут троллейбус, заасфальтировал улицы?

— А кто же? — Павел Петрович обернулся на переднем сиденье.

— Ну кто! Строители,— сказала Оля.

— Нет, я, мое поколение! Смотри! — Машина медленно катилась по мосту через впадающую в Ладу речку Журавлинку. За мостом открывалась западная окраина города, вся сплошь в заводских трубах и кровлях. — Смотри! — повторил Павел Петрович, когда они уже спустились с горбатого мостика на асфальт прямого и такого длинного проспекта, что он, казалось, уходил за горизонт.— Лет двадцать семь назад мы перебегали через Журавлинку по хлюпающим, прогибающимся доскам, месили грязь вот тут, где сейчас едем, добирались до паровозика с четырьмя вагончиками, он ждал нас вот там, где сейчас районный Дворец культуры, и ехали на свой завод в этих вагончиках, что селедки в бочке. Двадцать пять лет назад построили деревянный мост и пустили трамвай прямо из города к заводу. Тогда же заложили фундаменты Дворца культуры, вот того универмага, фабрики-кухни и, смотрите, всей этой перпендикулярной улицы. Странная улочка, не правда ли? Дома одинаковые, что близнецы, соединены меж собой какими-то никчемными арками. Сейчас над ними смеются, говорят: вернешься навеселе — и своего дома не найдешь, будешь во все двери стучаться, такие они однообразные. А в ту пору, когда они еще строились, мы часами простаивали возле этих домов. Мы радовались, глядя на них, мы спорили тут о будущем, о судьбах страны и мировой революции. Каждый камень, каждый кирпич, каждый вбитый гвоздь, хоть это гвоздь и кирпич, были для нас не гвоздем и не кирпичом, а ласточками будущего. Мы жили в общежитиях, ели всухомятку, у нас не было запасной пары белья, не говоря уж о костюмах

и всяческих галстуках, но думали мы не о них, благах жизни, радовались отнюдь не им, если они вдруг и появлялись, а вот этим кирпичам и гвоздям. Стоп! — сказал Павел Петрович шоферу.— Выйдемте, товарищи, на минутку.

Вышли возле огромного здания, как бы состоявшего из беспорядочного нагромождения уродливых кубов, частью бетонных, частью стеклянных.

— Первая школа, построенная в нашем городе после революции,— сказал Павел Петрович.— Тогда архитекторы увлекались вот такой чертовщиной.

— До чего же безобразно! — воскликнула Оля.

— Вот видишь, для тебя это безобразно, — сказал Павел Петрович. — А для меня... Ну чтó говорить! Здесь я когда-то впервые встретился с твоей мамой.

— Разве? Вот тут, в этом здании?

— Да, наш заводской комсомол устроил лекцию, как сейчас помню: «Есть ли жизнь на других планетах?» Мы сидели с твоей мамой рядом... Мы поглядывали друг на друга, но не сказали друг другу ни слова. Первое слово было сказано, лишь когда меня прислали ремонтировать бетономешалку, возле которой мама работала отметчицей.

Павел Петрович говорил «мама», но видел он худенькую белокурую девушку, почти девочку, которую очень волновал вопрос: есть ли жизнь на других планетах? Обсуждению этого вопроса было посвящено их первое свидание, точнее — не свидание, а первое совместное возвращение с завода в город. Шесть километров они шли пешком. В следующий раз они снова шли пешком, но планеты уже были возвращены туда, где им и надлежало быть,— в темные бездны вечного пространства. Говорили в тот раз о земной жизни. Для земных тем не хватило не только шести коротких километров, но и многих-многих лет совместного пути, еще многое так вот и осталось нерешенным, еще о многом надо было поговорить с Еленой, многое ей рассказать, о многом посоветоваться... Леночка, вот те камни, по которым ты ступала в своих первых туфельках на высоких каблуках. Их покупали в новом универмаге, ты там же, у прилавка, надела обнову, счастливая вышла на улицу, но в соседнем дворе туфельки пришлось снять, ноги в них ходить не хотели. Сколько было слез и отчаяния. Вот они, эти камни, бруски диабаза. Десятилетия их не тронули, только навели глянец...

Павел Петрович молча стоял посреди тротуара перед кубической школой, прохожие задевали его. Он не чувствовал толчков. Оля думала о маме и о нем: какие-то они были в ту пору, когда встретились? О чем говорили, о чем спорили, о чем мечтали?

Варя отошла в сторонку и посматривала на Павла Петровича. Она думала о той большой любви, которую продолжал он нести в себе, о его любви к Елене Сергеевне.

Весь день они провели в машине, выходя из нее и прогуливаясь все в таких же местах, где было много заборов, за которыми торчали строительные краны. Оля начинала понимать пристрастие отца к строительствам, к новым домам, фабричным и заводским зданиям. Для Павла Петровича они, по ее мнению, были чем-то вроде наглядного, физически ощутимого коэффициента полезного действия его поколения. «Я! — сказал он.— Мое поколение!» И он во всем и везде искал и видел созидательную силу своего поколения, принадлежностью к которому, видимо, очень гордился; он гордился всем, что создало и продолжает создавать его поколение. Показывая на парковую заросль, деревья в которой поднялись в четыре человеческих роста, он говорил: «Вот тут был пустырь»; проезжая мимо здания, занявшего целый квартал, пояснил: «На этом месте был Петровский рынок. Сборище всех темных сил нашего города. Играли в «три листика», торговали револьверами и контрабандой, заключали сделки на грабежи и убийства. Давно ли? В нэповские времена». И видно было, что перемены, происшедшие на месте гнилых пустырей и страшных рынков, радуют его так же, как радовали бы успехи в личных делах.

За несколько часов Оля и Варя узнали о городе, в котором они жили, больше, чем за все годы их жизни в нем. Перед ними овеществлялось то, о чем скупо и отвлеченно было сказано в книгах, перед ними вставали из прошлого кабаки с пугающими названиями: «Цап-царап», «Стоп-сигнал», «Отдай все, не греши», какие-то «дома свиданий», ночлежки, игорные притоны: «Бубновый король», «Монте-Карло», «Колесо счастья», вставали времена восстановления разрушенного двумя войнами, времена нэпа, времена отчаянной борьбы социалистического, кооперативного с частнособственническим, которое упорно отстаивало свое существование, времена первых пятилеток. Из книжной история становилась живой. Книжная — она

легко входила в сознание и так же легко из него уходила. А тут — нет.

— Было седьмое ноября,— говорил Павел Петрович, попросив остановиться на углу улиц Чернышевского и Новопроложенной.— Мы шли на демонстрацию. Знамена, плакаты, чемберлены, которых можно дергать за веревку, песни, музыка... И вот отсюда, с Чернышевской, наперерез нам еще какая-то колонна. Получился затор. Кто-то там, в той колонне, взобрался кому-то на плечи и, как с трибуны, давай закручивать речь. «Троцкист! — слышу, кричат наши. — Сукин сын! Сволочь!» Ну и пошло тут! Вот видите? — Павел Петрович поднял прядь волос над ухом, там был старый широкий шрам.— Железиной хватили. Кажется, гаечным ключом.

— Разве это тогда? — удивилась Оля.— Я думала — в деревне.

— А кто они были, кто? — спросила Варя.

— Ну кто! Такие же молодые парни, как и мы, только вот попавшиеся на троцкистскую удочку. Тогда было время другое, не так мы были сильны пониманием что́ к чему, многие путались.

Варе всегда думалось, что партия боролась со своими врагами, со всякого рода оппозицией как-то так — резолюциями, постановлениями, где-то на пленумах, съездах и конференциях. А тут вдруг — шрам!

Да, история оживала, захватывала, заставляла волноваться.

Когда день стал клониться к вечеру, встал вопрос: что же делать дальше? Весенний воздух в таком непривычном обилии разморил всех, делать ничего уже не хотелось, хотелось поесть и отдохнуть. Но дома никакой готовой еды не было, надо было или заниматься хозяйством, или идти в ресторан.

— Вот что,— сказал Павел Петрович.— Если вы не против, давайте заедем к Макарову.

— К Федору Ивановичу? — воскликнула Оля.— Какие пироги у них вкусные!

— Пироги я тоже люблю, — сказала Варя. — Но вдруг пирогов у них сегодня нету?

— Тогда придумаем еще что-нибудь.

На мысль заехать к Макарову Павла Петровича навело то обстоятельство, что он из окна машины увидел здание Первомайского райкома партии, где теперь работал Федор Иванович. Макаров и жил в этом же районе;

Павел Петрович хорошо знал его дом, потому что это был тот самый дом, куда он бегал к Феде еще мальчишкой и где в углу за старомодной кухонной русской печью они обсуждали различные мальчишеские проблемы.

— Ну, мы тут выйдем. Спасибо. До свидания,— сказал он шоферу, когда машина остановилась возле старого двухэтажного дома, какие в больших городах уже отживают свой век.— Дальше будем добираться своими средствами.

4

Дверь отворил сам Макаров. Он очень удивился, увидев таких редких гостей:

— Павел! Что случилось?

— С утра не евши,— ответил Павел Петрович.

— А мы только что пообедали. Вот беда!

— Ну, а пироги-то, пироги... Их тоже съели?

— Пироги... не знаю.

— Есть пироги, есть, вас дожидаются! — В переднюю вышла Алевтина Иосифовна.— Раздевайтесь, проходите. Где же вы так проголодались?

Павел Петрович представил Макаровым Варю, назвав ее Олиной подругой и своей бывшей боевой помощницей. Прошли в тесную комнатку, которую Федор Иванович называл курилкой и в которой была громадная тахта со множеством подушек. Разговор между Павлом Петровичем, Макаровым и его женой шел свободно, легко, как бывает только среди истинно старых друзей и знакомых. Изредка вставляла слово и Оля. Варя молчала, наблюдая за Федором Ивановичем и Алевтиной Иосифовной. Алевтина Иосифовна часто исчезала и возвращалась со словами: «Еще минуточку потерпите. Сейчас мы вас будем кормить». Это была крупная, полная женщина с приятным добрым голосом, но сердитыми глазами. Если на нее не смотреть, а только слушать — перед вами как бы один человек, а встретиться с ней взглядом — совсем другой. Павел Петрович еще на лестнице вкратце рассказал Варе историю семьи Макаровых, поэтому Варя уже знала, что Федор Иванович поженился с Алевтиной Иосифовной двумя годами позже женитьбы самого Павла Петровича на Елене Сергеевне, что встретились они в заводской поликлинике, куда Федор Иванович пришел потому, что под веко ему попала острая железная соринка. Он пугался

прикосновений к воспалившемуся глазу, вздрагивал, отстранял молоденькую сестричку, которая смотрела на него очень сердито и грозно и говорила ласковым-преласковым голоском.

Когда соринка была извлечена, обрадованный Федя Макаров вдруг ни с того ни с сего обнял сестричку и поцеловал. Она его ударила и оттолкнула. Но он сказал: «Слушай, ну что ты дерешься? Давай поженимся, а? Тебя как зовут?» — «Убирайтесь вон! — сказала сестричка.— Вы нахал, вот что!» Закрывая за ним дверь кабинета, она добавила: «Меня зовут Аля, если уж вам так надо это знать».

Федор Макаров стал ходить в поликлинику ежедневно. Только гудок прогудит конец рабочего дня, Федя уже тут как тут. То он отшиб себе палец ручником, то посадил ссадину на щеке, то ангину схватил, наевшись льду в заводском леднике. Но что́ бы у него ни случилось, что́ бы ни болело, ему нужны были не врачи, а сестра Аля Егозихина. Только она одна могла исцелять его многочисленные недуги. В первое время Аля страшно злилась на своего пациента, над ней потешалась вся поликлиника. «Алевтина, твой ухажер идет! — то и дело кричали ее молодые сослуживицы. — Готовь бинты, йод, примочки!» Но случился такой день, когда Аля гордо ответила: «Это не ухажер, а мой муж»,— и это был один из последних дней ее работы медицинской сестрой, потому что Федя Макаров оказался решительным мужем. Он заявил: «Давай-ка иди в медицинский. Что, я не знаю, какой из тебя доктор получится! Нам такие доктора нужны, спасу нет. У тебя талант, будто я не понимаю. Учись, говорят!»

Варе понравились они, Федор Иванович и Алевтина Иосифовна, они были простые, с ними не надо было беспокоиться о том, как себя держать,— держись как хочешь, как тебе удобней.

Вскоре гостей пригласили к столу. К пирогам Федор Иванович выставил для Павла Петровича кувшин пива, для девушек — домашний хлебный квас. Павел Петрович затеял целую тяжбу по тому поводу, что без хозяев он пива пить не будет, что это, мол, такое, будто дворнику на рождество или на пасху вынесли в царские времена с черной лестницы стакан: пей, гуляй, Павлуша, помни благодетелей. Федор Иванович особого сопротивления не оказал. «Чего ты кричишь-то?» — сказал он, доставая из

шкафа еще одну кружку. Но Алевтина Иосифовна отказалась наотрез. «Нет, нет, товарищи, сегодня в ночь мне дежурить». Она заведовала отделением в психиатрической лечебнице.

На столе оказались отнюдь не одни пироги, было тут множество всяческой вкусной снеди: проголодавшиеся гости ели, пили, чувствовали себя прекрасно. Павел Петрович рассказывал о только что совершенной поездке по городу, о том новом, что он увидел, о местах, давно не виденных, но памятных и дорогих ему и обоим Макаровым.

— Ну и черт ты, Павел! — сказал Федор Иванович.— Что бы и нас-то пригласить на экскурсию.

— А кто вас знает, чем вы тут заняты. Еще потревожишь не вовремя. Персоны значительные, без доклада не входи. Разве только, если записаться на прием к тому или другому.

— Ну, к другому, то есть к доктору Макаровой, лучше бы никому никогда не записываться. Вот ведь обманула меня жена: думал, будет свой врач в доме, а она по сумасшедшей линии пошла.

— Для нашего дома это самая необходимая линия, — ответила Федору Ивановичу Алевтина Иосифовна.— В таком безалаберном доме...

— Началось, началось!

— В таком безалаберном доме,— продолжала Алевтина Иосифовна,— даже врач-психиатр свихнется. Посудите, Павел Петрович, сами, какая у нас жизнь. Федор встает в девять, топчется тут часа полтора, в десять — в одиннадцать уезжает. Старшая наша встает в восемь — в половине девятого, кидается на всех, кричит: опять опоздала, без завтрака убегает в институт. Младший встает в одиннадцать, потому что он ходит во вторую смену, отец не может его устроить в такую школу, в которой не было бы этих ужасных вторых смен. Он, видите ли, партийный работник, ему, видите ли, стыдно устраивать свои личные дела. В результате у этих работников, которым стыдно заниматься своими личными делами, вырастают жуткие дети.

— Перестань, Аля! Кому это интересно? Если мы начнем друг другу вкалывать шпильки, я сейчас ударю по вашей медицине со страшной силой. Ко мне тут в райком бабушка одна приходила. Кричат, говорит, все медики на

меня: давай-давай, бабка, подгоняют, как на лошадиных бегах.

— Ну и что же? Может быть! У врачей работы по горло, особенно осенью да весной, когда вы, наши руководящие городские деятели, грипп в городе разводите.

— То есть как это мы разводим грипп?

— Очень просто. В помещениях холодище, сырость, а отопительный сезон, согласно решению горсовета, или еще не объявлен, или уже окончен. Люди зябнут во всяких конторах, в канцеляриях, учреждениях, управлениях. Хоть бы вы подумали: что дороже — уголь или те силы и средства, которые идут на ликвидацию гриппозных вспышек?

— Вот бы вы, врачи, и написали в горсовет.

— Писали. Там у вас председатель сидит, здоровяк такой, краснорожий, сам не болеет и больных не разумеет.

— Все равно, что́ бы ты ни говорила, бабушку гонять на рысях из кабинета в кабинет не дело, — перебил Федор Иванович Алевтину Иосифовну. — Ихний медицинский основоположник, древнегреческий доктор Гиппократ, что́, Павел, говорил, ты знаешь? Он им говорил: у врача три средства исцелять людские болезни — слово, травы и нож. Вдумайся: на первом месте — слово, то есть умение убеждать, внушать, проникать в душу человека. А они что? Они, брат, на первое место нож передвинули: режь, вскрывай, удаляй, колупай. Я, ты знаешь, человек не так чтобы слабый, а вот как-то раз, лет пять назад, пришел со своими гландами к горловику, ангины замучили. Как быть, что делать? Одно, говорит, есть средство: удалить ваши гланды. Я кручу, верчу: а как это — очень неприятно или не очень, больно или терпимо? А он, товарищ-то этот, рубит, что называется, правду-матку сплеча. А как же, говорит, больно, неприятно. У нас, говорит, теперь принцип: не скрывать от больного всех тех неприятностей, которые ожидают его во время операции. Он, понимаешь ли, не скрыл эти неприятности, я, понимаешь ли, перед лицом таковых решил: а ну вас к лешему с вашими принципами, и вот продолжаю болеть ангинами.

— Ах, мужчины, мужчины! — сказала со вздохом Алевтина Иосифовна.— Чувствую, идете вы к тому, что недалек день, когда не женщин, а вас будут называть слабой половиной человечества. Трусость, которая

пробирает вас даже перед самыми пустяковыми операциями, не поддается описанию.

Варя и Оля молчали. Обе они ничем серьезным еще никогда не болели, и разговор о болезнях мало-помалу становился для них скучным. Федор Иванович это заметил. Он сказал:

— Сейчас я, девушки, организую что-нибудь такое, созвучное вашему лирико-романтическому возрасту. Музыку любите?

— Очень,— сказала Варя.

— А песни?

— Смотря какие,— ответила Оля.

— Хорошие, конечно.— Федор Иванович засмеялся и пересел к пианино.

— Давай-ка, брат, про калитку,— сказал Павел Петрович, тоже пересаживаясь из-за стола в низкое удобное кресло.

— Старинный романс,— на ухо Варе шепнула Алевтина Иосифовна.

Федор Иванович запел. Голос у него был грубый, хриплый, и странно в таком исполнении звучали давнишние слова:

Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только звезды блеснут в небесах
И черемух серебряный иней
Уберет жемчугами роса,
Отвори потихоньку калитку
И войди в темный сад ты, как тень.
Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку надень.

Вначале мысли Вари и Оли были несколько схожи. Девушки думали о том, что слова «небеса», «серебряный иней», «темный сад», «кружева» когда-то и для кого-то были новыми, кого-то в ту пору волновали, но кому нужно подобное сентиментальное старье теперь, и почему и Павел Петрович и Алевтина Иосифовна слушают этот романс с таким явным удовольствием и такое теплое, мечтательное выражение на их лицах, и почему сам Федор Иванович поет с таким чувством?

У Оли дальше прилива легкой лирики, когда хочется беспредметно грустить, дело не пошло. Но Варю старинная песня мало-помалу захватила, и от строфы к строфе захватывала все больше. Перед нею возникала звездная весенняя ночь — тихая, пахнущая цветами, вставал таин-

ственный сад с узенькой калиточкой в глухом дощатом заборе. В эту калиточку надо проскользнуть так неслышно, чтобы никто тебя не заметил, потому что, если заметят, могут исчезнуть навсегда и тихая ночь, и сад, и какое-то большое счастье, какого не бывает.

Федор Иванович пел:

Там, где гуще сплетаются ветки,
Я тебя там один подожду
И на самом пороге беседки
С милых уст кружева отведу.

Варе хотелось, чтобы песня никогда не кончалась. Но песня кончилась. Федор Иванович вернулся к столу, вернулся и Павел Петрович, они заговорили о своих делах: Федор Иванович — о райкомовских, Павел Петрович — об институтских. Алевтина Иосифовна, убрав со стола, сказала, что ей пора собираться на дежурство, и ушла из столовой. Оля и Варя вынуждены были слушать сугубо деловой разговор. Но, как ни странно, разговор оказался интересным, потому что Павел Петрович рассказывал тут такое, чего никогда не рассказывал дома. Он рассказывал о том, как в первые дни ему было трудно на новом месте, какие он совершал ошибки, как пил спирт с физиком и математиком Ведерниковым.

— Жаль, что ваш институт в другом районе,— сказал Федор Иванович. — Ничем не могу тебе помочь, дружище. Одно скажу, поскольку я имею большой опыт работы с людьми. Скажу я тебе, Павел: всегда помни, что в институт тебя послала партия и она рассчитывает на то, что ты не наломаешь там дров, она рассчитывает на твое чутье, на твои знания. Мне, говоря откровенно, не очень нравится, что ты грубо ответил одному, прикрикнул на другого и так далее. Пойми,— Федор Иванович поднял указательный палец,— пойми, что, будучи руководителем, нельзя отдаваться на волю своим чувствам, симпатиям и антипатиям. Я тебе это так уверенно говорю потому, что сам еще частенько срываюсь, и это меня все время беспокоит.

— Значит, что́ — притворяться прикажешь?

— Не притворяться, а сдерживаться и не терять рассудок. Всегда помнить о том большом, для чего ты пришел в институт, чтобы не погрязнуть в мелочах, не дать мелочам оседлать тебя.

— Не выйдет из меня этакий руководитель-папаша, — сказал Павел Петрович.

— А ты папашу из себя и не строй. Тип папаши-руководителя, так называемого бати — устарелый тип. Будь прямым и ясным, но прямоту свою и ясность до глупости не доводи. А ведь бывает и так, не правда ли?

Алевтина Иосифовна давно попрощалась и ушла, в окнах уже было темно, а они всё спорили, всё приводили примеры и доказательства, старались убедить друг друга, и когда это ни тому, ни другому не удавалось, поднимали кружки с пивом, говорили: «За твое здоровье» — «За твое здоровье» — и чокались.

Варя и Оля тоже попивали из стаканов домашний квас, который оказался очень вкусным. Слушая разговор Макарова и Павла Петровича, обе они думали о своем. Все эти чужие примеры, доказательства и размышления они переносили на свое, потому что обе они, несмотря на молодость, уже познали бремя ответственности, уже столкнулись с жизнью, которая довольно сурово твердила им изо дня в день, что, если ты поставлен чем-то или кем-то руководить, учись это делать, задумывайся над тем, как это делать, не надейся на время, которое, дескать, само все сделает. Конечно, комсомольская организация аспирантов — это не партийная организация большого городского района, а заводская лаборатория — не научно-исследовательский институт, но разве не с таких же низших ступеней начинали свой путь по общественным лестницам Павел Петрович и Федор Иванович и разве уже ничего не осталось общего в восприятиях жизни у них, старших, и у Оли с Варей, разве разница в годах и в числе пройденных ступеней жизни уж так сильно отдалила старших от младших, что опыт одних пусть остается их достоянием, а другие пусть накапливают себе его заново? Нет, во многом, что, по словам Павла Петровича и Макарова, происходило в районе и в институте, Оля и Варя находили и видели общие черты и для аспирантуры, и для лаборатории. Это им не только было просто интересно, но еще и сближало их с директором научно-исследовательского института и секретарем райкома партии. И то ли от сознания своего, хотя еще и не очень большого, но уже вполне определенного значения в жизни общества, то ли еще от чего — обе пришли в легкое, веселое расположение духа, стали перешептываться, сме-

яться и вот, как часто в молодости случается, из серьезных руководительниц, только что стоявших рядом с директором института и секретарем райкома, с неслыханной быстротой превратились в смешливых девчонок.

— Ну, пора ехать,— сказал Павел Петрович.— Мои дамы спать хотят.

— Нисколько, папочка, — запротестовала Оля.

Но Павел Петрович встал, попрощался с Федором Ивановичем и пошел в переднюю, к вешалке. В передней еще долго прощались, говорили: «Не бойся гостя сидящего, а бойся гостя стоящего», смеялись, шутили.

Потом добрых полчаса все трое шли пешком вдоль Лады до первой стоянки такси. Оля взяла под руку Павла Петровича, а Павел Петрович Варю. К ночи весенний город не остыл, ночь наступала теплая. Варя даже распахнула жакет. Смешливое ее настроение исчезло, она притихла, ей вновь слышались слова: «Я тебя там один подожду и на самом пороге беседки с милых уст кружева отведу». Она повторяла про себя эту взволновавшую ее песню и в такси и на лестнице и с нею вошла в дом. Непонятно почему, но от песни этой было грустно и тревожно.

Едва вошли в дом, разделись, зажгли свет в комнатах, в передней зазвонил звонок.

— Странно,— сказал Павел Петрович.— Без двадцати двенадцать!

Отворить дверь пошла Варя. Перед нею стояла незнакомая женщина, уже не очень молодая, но красивая, статная, и — что самое поразительное — на плечах у нее была темно-серая накидка, а на голове те самые кружева, о которых только что мысленно пела Варя. Женщина была из песни.

— Павел Петрович дома? — спросила она, окинув быстрым взглядом стройную фигуру Вари, которая еще не сменила светлого, впервые в этот день надетого весеннего костюма.

— Дома,— ответила пораженная Варя.— Пожалуйста, проходите.

— Это вы! — воскликнул Павел Петрович, появляясь в передней.

— Да, я,— ответила красивая женщина, снимая с головы черные кружева.— Была здесь, у приятельницы, поблизости. Решила навестить. Не поздно?

— Что вы, что вы! Мы ложимся не раньше двух.

— Где же это вы пропадаете целый день? — говорила поздняя гостья, входя в столовую.— Я вам звонила утром, ваши юные хранительницы,— она вновь внимательно взглянула на Варю,— ответили: нет дома. Звонила несколько раз днем, вообще никто не ответил.

— Серафима! — зло шепнула Оля на ухо Варе и, хлопнув дверью, ушла в свою комнату.

Варя постояла с минуту в дверях столовой под изучающим взглядом Серафимы Антоновны, неожиданно для себя покраснела и тоже ушла.

Павел Петрович и Серафима Антоновна остались одни.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Заседание бюро райкома комсомола должно было начаться в двенадцать. Оля пришла минут на сорок раньше. Она походила в одиночестве по райкомовскому коридору и вернулась на улицу, села на скамейку в сквере посреди площади. Перед нею была большая круглая клумба, в которую старые и молодые садовницы высаживали из крошечных горшочков анютины глазки. Через площадь, мимо сквера, по брусчатой мостовой проносились с дребезгом троллейбусы, с тяжелым топотом шли грузовики, в их кузовах и на тележках, прицепленных за ними, возвышались части огромных машин, возле самых тротуаров жались велосипедисты, по тротуарам текла толпа пешеходов. Майское небо сверкало, слепило. За Олиной спиной цвел куст черемухи, с него на скамейку летели белые хлопья. Оля ловила их на ладонь и машинально прислушивалась к тому, о чем говорили садовницы. Они говорили о какой-то Нюрке Бойченко, которая в девичестве «не соблюла себя», а вот вышла теперь замуж, и получился у них через это полный разлад с мужем. Он так прямо и объявил ей наутро после свадьбы: «Ступай, милая, обратно к тому, от кого пришла, не только любить тебя — глядеть в глаза твои бесстыжие и то не желаю».

Женщины разделились на два лагеря — одни ругали Нюрку и стояли на стороне ее мужа, другие клеймили

позором Нюркиного мужа и отстаивали Нюрку, подкрепляя позицию единственным доводом: «А сам-то он до двадцати восьми лет монахом жил, что ли?»

Некоторые из садовниц называли всё своими именами и говорили до того откровенно и прямо, что Оля сидела красная от стыда; она вскочила бы и пустилась бежать, но ей казалось, что ее бегство тут же заметят и она будет осмеяна и осуждена, пожалуй, не менее жестоко, чем та любвеобильная Нюрка, которая «себя не соблюла».

На Олино счастье, в сквер пришел еще кто-то и сел на соседнюю скамью. Садовницы переменили разговор, они заговорили о получке, которая ожидается завтра, и о своих планах наиболее рационального расходования заработанных денег. Одна сказала, что у нее уже есть отложенные раньше, теперь она только добавит и купит платье из такого креп-марокену, что все закачаются. Другая сказала, что ей не до платьев, у нее мальчишка болен, надо покупать фрукты, а время нескладное — начало лета,— где их возьмешь. Третья объявила, что купит сыру, шпрот и «спотыкачу» — и ну вас всех к лешему с марокенами и мальчишками! — загуляет по высшей категории. Ей было лет тридцать пять, лицо у нее было в оспинах, и в глазах стояло злое, воинственное выражение.

— Верно я говорю? — крикнула она тому, кто сидел на скамейке, соседней с Олиной.

— Не знаю,— отозвался он несколько растерянно.

Садовницы засмеялись, а Оля поморщилась,— ответ показался ей ординарным, не находчивым. Только тут она разглядела своего соседа, которому было, наверно, столько же лет, сколько и ей: был он сероглазый, густобровый, плечистый. «Наверно, считает себя красавцем, — почему-то подумала Оля,— и слишком большое значение придает своей персоне». Еще она подумала о том, что при всех богатствах русского языка в нем нет хорошего слова, с которым можно было бы обратиться к этому сероглазому товарищу. Сказать: «молодой человек» — в этом есть нечто обывательское, глупое. Сказать: «юноша» — ну прямо-таки из сладенькой повести о жизни ремесленного училища, в которой всех мальчишек высокопарно называют юношами. Что же остается? Грубое «парень»? Нет, для молодых мужчин не нашли, не придумали такого поэтичного, красивого, нежного слова, которое хоть в слабой мере равнялось бы слову, найденному для молодых женщин.

Ветер тряхнул черемуховый лист, Олю всю осыпало белыми лепестками, ей стало весело от этого и еще от того, что для нее существует такое красивое слово. Вот тот юноша — парень — молодой человек — вздумает если обратиться с чем-либо к ней, он что скажет? Он скажет, конечно: «девушка». Оле очень захотелось, чтобы сосед обратился к ней, спросил бы ее о чем-нибудь.

Но он продолжал тихо сидеть на своей скамеечке и в Олину сторону даже не смотрел.

На башне райсовета часы показывали уже без десяти двенадцать, Оля поднялась и, не оглядываясь, быстро пошла из сквера.

В комнате, где обычно происходили заседания бюро райкома, она заняла всегдашнее свое место за длинным столом между Кирой Птичкиной — секретарем комсомольской организации троллейбусного парка — и Никитой Давыдовым — секретарем комсомольской организации завода, на котором работал Павел Петрович до перехода в институт.

— Мы сегодня именинники, — сказал Никита Давыдов и пододвинул к ней листок бумаги с повесткой дня.— С нашего завода восемь персональных дел. Всыплют нам так, что будь здоров!

Подбор дел был не случайным. Коля Осипов так и сказал об этом. Он сказал, что в комсомольских организациях ослабла борьба за трудовую дисциплину, что трудовая дисциплина — один из важнейших показателей сознательного отношения к труду, и там, где ее нет, там, значит, и комсомольская работа ведется никуда не годно.

— Я тебе говорил, всыплют нам,— склонясь к Оле, шепнул Давыдов.

Осипов продолжал свою речь о том, что не по числу заседаний, не по всяким там формальным признакам, а по самой что ни на есть существенной сути надо судить о боеспособности каждой комсомольской организации, по тому, как работают комсомольцы, по тому, как они учатся, по тому, какой пример подают остальной молодежи, по тому, как ведут себя в быту, носителями какой морали являются.

Он очень интересно говорил на этот раз, серьезный Коля Осипов. Никто из членов бюро не знал еще, что Колю за последний месяц раз пять вызывал к себе новый секретарь райкома партии Федор Иванович Макаров и каждый раз беседовал с ним по нескольку часов, беседо-

вал дружески, всеми силами стараясь помочь молодому человеку увидеть явления не с их поверхности, часто обманчивой и неверной, а из глубины, из сердцевины, где залегают и ветвятся скрытые корни этих явлений. Был даже такой день, точнее, вечер, когда на смену разговорам и собеседованиям пришло то, что Коля Осипов в шутку назвал практическими занятиями. Федор Иванович пригласил Колю пройтись пешочком по району. Они зашли в клуб прядильной фабрики, потом в молодежное общежитие одного из заводов. Нашли множество всяческих непорядков, составили план, как их исправить. Отправились по адресу, который Федору Ивановичу дала бабушка, жаловавшаяся на несчастную жизнь своего внука. Самого внука, Леньку, они дома не застали, были только его родители, бабушка да молоденькая жена. О родителях бабушка говорила сущую правду: ни тому, ни другому не было до сына никакого дела. Оба дружно заявили, что во всем виновата школа, которая за девять с половиной лет обучения не сумела пробудить в парне интереса к труду, и еще комсомол, который бух-трах, не разобравшись, отобрал у него комсомольский билет за неуплату взносов.

Молоденькая Ленькина жена, Шурочка, ничего рассказывать не стала, она только пожимала плечами да испуганно оглядывалась на дверь, когда в длинном коммунальном коридоре слышались шаги.

Почему она себя так вела, можно было понять, лишь поговорив с той самой Марусей-красавицей, которая, по словам бабушки, положила на Леньку дурной глаз.

Черноглазая полнеющая Маруся в самом деле была красавица. Маленькая комнатка ее была вся в бумажных цветах, в картинках из журналов, в фотографиях артистов, в стеклянных и каменных безделушках. Говоря о Шурочке, она называла ее не по имени, а так, что Макаров все время вынужден был останавливать: «Пожалуйста, поспокойней, поделикатней». Но самое деликатное у Маруси было для Шурочки «потаскуха». О своем бывшем женихе Маруся говорила: «Я его презираю, он ничтожество». Она старалась говорить это с видом гордого превосходства. Но Федора Ивановича не так-то легко было обмануть. В самый разгар излияния высоких Марусиных чувств он вдруг положил руку на ее растрепанную голову и сказал: «Ну, что ты, доченька, ну успокойся, ну заезжай завтра-послезавтра ко мне домой. Посоветуемся,

что-нибудь придумаем, у меня жена хорошая, дочка есть твоего возраста».

Маруся посмотрела на него черными, полными слез глазами, уткнулась ему в плечо лбом и заплакала.

Коля Осипов стоял у дверей, сбитый с толку, испуганный и, как он потом говорил себе, утративший принципы. Несколькими минутами раньше все было совершенно ясно. Несколькими минутами раньше получалось так, что хотя и смазливенькая, но отвратительная, морально разложившаяся торговка пивом и водами в кинотеатре «Север», вот эта самая Маруська, была виновницей всех бед молодой Ленькиной семьи. Из каких-то грязных побуждений она запугала Шурочку, она преследует самого Леньку, а Ленька... правильно его исключили из комсомола. Только надо было исключать не за то, что не уплатил взносы вовремя, а за неустойчивость в быту, за неумение противостоять темным элементам, за неумение построить прочную советскую семью.

И вот вдруг такое стройное здание повалилось: темный элемент плачет, уткнувшись лбом в плечо секретаря райкома партии, и тот рукавом плаща вытирает ей слезы.

Когда Маруся немножко успокоилась, Макаров указал на фотографию молодого парня, прикрепленную над постелью. Лицо у парня было широкоскулое, с добродушной улыбкой, приятное. «Он?» — спросил Макаров. Маруся утвердительно кивнула головой. «Это надо убрать, доченька,— сказал Макаров.— Отдай ему картинку обратно и не мучай себя, слышишь?» Маруся снова кивнула.

Самого Леньку удалось увидеть только через несколько дней. Макаров посоветовал Осипову вызвать его в райком комсомола, и Ленька пришел после смены. Осипов привел его к Макарову. Макаров беседовал с ним, и перед Колей Осиповым, руководителем комсомольцев района, развертывалась запутанная человеческая история. Не только Маруся любила Леньку, но и Ленька любил Марусю. У них произошла случайная размолвка. Леньке не нравилось то, что Маруся торгует пивом, сначала он уговаривал ее переменить профессию, а потом принялся высмеивать: торговка, спекулянтка, на пене зарабатываешь. Маруся обиделась и, чтобы уязвить Леньку, сделала вид, что увлеклась каким-то случайно подвернувшимся лейтенантом. Ленька сгоряча взял да и повел в загс Шурочку, с которой он учился в школе и которая ему тоже нравилась. А когда он женился, когда дело было

сделано, оба — и он и Маруся — ужаснулись: что же они натворили! Потом — странное дело — Ленька увидел, что Шурочка ему нравится, пожалуй, не меньше, чем Маруся. Но и чувство к Марусе не проходило. Он видел Марусю каждый день, Маруся встречала его в дверях квартиры, всегда ухитрялась выбежать раньше Шурочки. Она смотрела на него с укором, с любовью, с преданностью. Она и в самом деле, бабушка правильно передала это Макарову, говорила нечто вроде того, что счастья ему не будет, раз он ее обманул, что ее разбитое сердце ему этого никогда не простит.

А потом, когда Маруся оставалась наконец за дверью в коридоре, Леньку встречали укоризной глаза тихой Шурочки.

Все время он был меж двух огней. Он стал бояться приходить домой. С завода он шел к приятелям, на гулянки, на вечеринки, сидел в пивных до ночи, лишь бы держаться подальше от жизни, через которую у него одни несчастья и никакого счастья. «Так что же получается,— сказал Макаров,— ты их обеих любишь?» — «Ага»,— уныло ответил Ленька. «Нелепая штука. Нельзя, брат, так. Уж тогда давай к Марусе своей возвращайся, что ли. Не морочь голову Шуре».— «Нет, товарищ Макаров, не могу. Чего ж мне от одной к другой бегать. У Шуры ребеночек будет».— «Ну так на чем же порешим?» — «Не знаю».

Когда он ушел, все такой же унылый, растерянный, в двадцать лет замученный жизнью, Макаров сказал Осипову: «Вот что, дорогой мой комсомольский вожак! Перед вами задача помочь этим ребятам наладить жизнь. Это потруднее, чем организовать какой-нибудь районный слет счастливых молодоженов или еще что-нибудь в этом роде. Я бы начал с того, что взгрел бы тех, кто так поспешно исключал рабочего парня из комсомола, и восстановил бы его в правах. Во-вторых, я бы помог этой Марусе переехать на другую квартиру. Нельзя им находиться под одной крышей. А лучше бы не Марусе уехать, а Леньке с его Шурочкой. Пусть вступает в самостоятельную жизнь. Ребенок будет, будут свои заботы, деньжат понадобится больше, зарабатывать надо будет. Он и пить бросит, и квалификацию приобретет. Ведь хороший же мальчишка! Разве не видно? Не надо, дорогой товарищ Осипов, думать только такой мощной категорией: масса. Не надо строить свою работу только в расчете на массу —

всю сразу. Мы любим еще так поговорить: массы, массам, с массами, для масс. А массы состоят из отдельных личностей. Давай-ка бороться за этих отдельных личностей, любить не всех сразу, чохом, а каждого в отдельности, думать и заботиться о каждом в отдельности: это отучит нас от широковещательных деклараций, от общих фраз, это заставит нас действовать конкретно, предметно, ясно и определенно».

Коля Осипов в Ленькином деле попытался действовать предметно, ясно и определенно. Восстановить Леньку в комсомоле было делом нетрудным. Но с квартирным вопросом затерло: и в райсовете и директор того завода, где работал Ленька, только обещали учесть такое положение, поставить на очередь; если будет, то будет, а не будет, не взыщите. Вот тут и борись за каждого в отдельности! Осипов еще не говорил об этом осложнении с Макаровым, но он непременно поговорит, так не оставит.

Разговор о трудовой дисциплине тоже возник по инициативе секретаря райкома партии. «Если молодежь, то есть то поколение, которое одной ногой уже стоит в будущем, в завтрашнем, не будет показывать пример коммунистического труда, то у кого же еще нам брать такие примеры, товарищ Осипов? — так говорил на днях Федор Иванович.— Вот у вас в райкомовском коридоре висит плакат: «Любите Родину!» Прекрасные слова! Но скажите честно: задумывались ли вы сами, а как это делать — любить Родину? Из чего эта любовь складывается, в чем выражается? Прежде всего, мне, во всяком случае, так думается: она должна выражаться в коммунистическом отношении к труду. Ведь когда кого-нибудь любишь, то чего хочешь? Чтобы ему было хорошо, все готов сделать для его блага. Верно же? О себе не думаешь. Думаешь о нем, стараешься для него. А получается что? Чем лучше ему, тем и тебе самому лучше. Люби не оглядываясь, за любовь твою воздастся сторицею! Внушайте это молодежи».

После вступительной речи Осипова, которая очень понравилась Оле, начался разбор дел.

— Пригласите Кукушкину,— сказал Осипов.

Кто-то крикнул в коридор: «Кукушкина!» Вошла молоденькая крепкая девушка, стриженная по-мальчишески, в глазах у нее не было ни страха, ни волнения, ни раскаяния. Она держалась уверенно.

Один из инструкторов райкома стал рассказывать суть дела Кукушкиной.

— Товарищи,— сказал он,— Кукушкина работает крановщицей в сталелитейном цехе. Три недели назад, когда ей понадобилось перебраться с одного мостового крана на другой,— а это было в главном пролете, на одиннадцатиметровой высоте, — она, вместо того чтобы спуститься по лестнице на землю да потом подняться по другой лестнице, проделала такую штуку: подогнала один кран к другому и там, в воздухе, полезла из кабинки в кабинку.

— Цирковой аттракцион, — сказал кто-то за Олиной спиной.

— Под куполом цеха! — добавил Осипов.

— Ну и вот,— продолжал инструктор,— перелезая, задела ногой за пусковой рычаг. Кран пошел, она повисла в воздухе. Внизу... сами знаете, что́ там внизу, в сталелитейном цехе. Отливки, изложницы, ковши — словом, глыбы и глыбы металла.

— Упала? — спросила Кира Птичкина.

— Упала.

— Пусть сама расскажет, как было дело.

— А что рассказывать, — заговорила Кукушкина. — Я ж как упала? Дай бог каждому, пусть попробует. Я гляжу вниз: верно, упади — и в плюшку. Дотянула до кучи формовочной земли и спланировала в нее.

— В больнице три недели лежала!

— Ну и что ж, что лежала! Если бы до формовочной земли не дотянула, не в больнице бы, а на кладбище лежать пришлось.

— Об этом и разговор,— сказал Осипов.— Что там заводской комитет комсомола решил?— спросил он.

— Строгий выговор с предупреждением, — ответил инструктор.

— Как, товарищи? Думаю, согласимся с таким решением и запишем товарищу Кукушкиной в личное дело. К чему могло бы привести ее лихачество? Сама бы погибла глупо и ненужно и других бы под суд подвела: дескать, плохо налажена техника безопасности. Иди, Кукушкина, и, пожалуйста, больше не безобразничай.

— Постараюсь. Мне самой, знаешь, шею свертывать не очень интересно. До свидания.— Она вышла с высоко поднятой головой. Она явно гордилась тем, что в таком трудном положении, вися на ползущем под крышей

кране, не потеряла эту голову и поступила как мужчина, а не как девчонка.

В душе члены бюро райкома комсомола ее не осуждали, они посмотрели ей вслед с явной симпатией.

— Я бы для нее учредил медаль: «За находчивость»,— сказал секретарь комсомольской организации речного пароходства Игнатьев.— А не то что выговор.

Все засмеялись.

Дальше пошли дела менее интересные и уже отнюдь не привлекательные: один прогулял, другой заявился в цех пьяный, третий затеял драку. Веселое оживление, вызванное разбором дела Кукушкиной, прошло, возникало чувство неприязни к разгильдяям, лодырям, хулиганам, которые, как их ни учи, ни воспитывай, всё гнут в свою сторону.

— Ну, а это вовсе возмутительное дело,— сказал Осипов.— Я сам им занимался.— Он переложил бумаги на столе и попросил: — Позовите Журавлева.

Вошел тот парень, которого Оля видела в сквере. Вошел, осмотрелся и, как ему ни предлагали пройти дальше, сел на стул возле самой двери.

— Да, так вот, товарищи, дело в следующем, — говорил Осипов, листая бумаги.— Как вам известно, на Первомайском заводе одна из наших комсомольских бригад с позором провалилась в социалистическом соревновании сталеваров. Перед вами конкретный виновник этого провала. Товарищ Журавлев Виктор Михайлович. Первый подручный известного сталевара Анохина. Из подручных его уже вот-вот сватали на самостоятельное бригадирство.

Осипов обстоятельно рассказывал рабочую биографию Виктора Журавлева; видно было, что он хорошо знал и цех, в котором работал Виктор, и самого Виктора, и все обстоятельства его дела. Обстоятельства же были такие. Желая удивить товарищей лихостью и отвагой, Виктор Журавлев ребром ладони разрубил струю расплавленной стали в тот момент, когда второй подручный лил сталь из ложки в пробный стаканчик; разрубил, да и получил сильнейший ожог; так же, как крановщица Кукушкина, надолго вышел из строя. Замены ему в бригаде не было, бригада работала в ослабленном составе, показатели дала неважные, над ней в цехе смеялись: вот так образцовая комсомольско-молодежная! Словом, нарушено было все: и техника безопасности, и дисциплина труда, и товарищеская солидарность, и комсомольская дисциплина;

налицо было мальчишеское ухарство, скверный пример другим.

— Давай рассказывай,— попросили Журавлева.

— Я, конечно, виноват,—сказал он, встав все там же, возле дверей.— Я это понимаю: товарищей подвел, весь цех. Но виноват я совсем не в том смысле, как вы считаете. А по-другому. Я виноват, что плохо рассчитал угол удара, получилось нечисто, мало потренировался.

Все загудели, зашумели. Осипов принялся стучать карандашом по графину: «Тише, товарищи, дайте человеку сказать». Кира Птичкина попросила: «Товарищ Журавлев, а в чем все-таки ваш фокус заключался, расскажите, пожалуйста».

— Это вовсе и не фокус,— сказал Журавлев не без обиды.— Это точный расчет и решительность. У нас в цехе есть один старик, он рассказывал, как раньше делали старые плавильные мастера: сунет руку в расплавленный металл, вытащит — рука цела, даже холодная. Физический закон. Вокруг руки образуется воздушная подушка. Я тоже... я целый год рубил рукой расплавленный шлак, полторы тысячи градусов. Получалось.

Оля была уверена, что она уже где-то слышала эту историю, но где — вспомнить не могла. Она с интересом смотрела на Журавлева, ее неприязнь к нему сменялась изумлением, недоумением: как можно решиться рубить расплавленную сталь голой рукой? Перед нею встал сталелитейный цех, полыхающие пламенем печи, огненные струи в желобах, пышущие жаром ковши, к которым подойти и то страшно, не то что прикоснуться.

— Вы же сами нас учите, в газетах пишете: храбрость, отвага, мужество,— продолжал Журавлев.

— Так это же смотря где! — перебил его Осипов.— Ты будь храбрым в бою, в каком-нибудь решительном испытании, а не во вред производству. Что ж ты сравниваешь несравнимое!

— А чего тут несравнимого! — Журавлев не терялся.— А где же тогда учиться храбрости и мужеству, на чем и как их испытывать? Или только велите о них рассуждать на собраниях и теоретических собеседованиях? Вот пусть какой-нибудь ваш лектор по вопросам мужества и отваги придет да и попробует на практике...

— Глупости ты начинаешь говорить, товарищ Журавлев,— сказал Осипов.

— Может быть.— Журавлев пожал плечами.— Только еще раз говорю: виной своей считаю плохую подготовку к испытанию, неуклюжесть... поспешил.

— Вот мы и всыплем тебе строгача за такое непонимание своей вины.

— Пожалуйста, всыпайте. А все равно мужчина должен быть мужчиной.

Он стоял прямой, спокойный, убежденный в своей правоте, совсем не такой, каким вошел сюда пятнадцать минут назад.

— Кто, товарищи, за то, чтобы дать Журавлеву строгий выговор? — спросил Коля Осипов.

Оля вместе со всеми машинально подняла руку, и в этот момент ее глаза встретились с глазами Журавлева. Журавлев усмехнулся не то жалостливо, не то презрительно. У Оли зазвенело в голове, так смутил ее этот взгляд. Чтобы скрыть свое смущение, она сказала: «Безобразный поступок!» Голос ее прозвучал где-то далеко, был он чужой, она чувствовала, что говорить ничего не надо было, что говорит чепуху, от этого стыд усилился; в довершение оказалось, что все уже давно опустили руки, а она свою все еще держит поднятой.

Журавлев вышел. Оля посидела с полминуты и, не в силах сидеть дольше, тоже выскользнула в коридор. Она догнала его уже на лестнице.

— Журавлев, послушайте,— сказала она,— я вам сейчас все объясню.

Журавлев посмотрел на нее хмурым взглядом и, ничего не сказав, вышел на улицу. Бежать рядом с ним по улице и пытаться что-то на ходу объяснять было немыслимо. Да и что объяснять? Чтó она может объяснить? И вообще, зачем она вышла, что ее подняло и погнало вслед за этим чужим человеком? Оля осталась в вестибюле, медленно поднялась по лестнице. Заседание бюро продолжалось еще часа два. Оля этих часов уже не заметила,— она хотя и сидела на прежнем своем месте за столом, но занята была совсем не тем, о чем тут говорили. Ее мучил стыд за эту идиотскую фразу: «Безобразный поступок!» Она говорила себе: «Иди, иди, дура, попробуй сначала сама совершить такой поступок. А когда совершишь, тогда и рассуждай».

Домой она пришла поздно, потому что после райкома заехала в институт. Павлу Петровичу и Варе сказала, что у нее очень болит голова, есть ничего не стала, легла

в постель. Поднялась только тогда, когда Павел Петрович и Варя тоже легли, накинула халат и пришла в комнату Павла Петровича.

— Папочка, ты не спишь?

— Нет, доченька. А ты что маешься? Назаседалась сегодня?

— Папочка, сегодня мы дали строгий выговор одному комсомольцу, и вот я не знаю, правильно дали или неправильно.

Слышно было, как Павел Петрович повернулся в постели и щелкнул выключателем настенной лампочки. При вспыхнувшем свете Оля увидела добрые отцовские глаза.

— Садись сюда,— пригласил Павел Петрович,— и послушай меня. Года за три до того, как ты родилась, мы исключили из комсомола одну девочку. Были у нее такие круглые-круглые, синие, веселые глазки, две тонкие косички, а еще она красила губы и любила танцевать. Мы ее за это и исключили — за губы, за танцы и, кажется, за косички. Мы говорили грозные, страшные речи, мы сказали: «Вынь и положь на стол свой комсомольский билет». Руки у нее дрожали, когда она доставала из сумочки этот, наверно, очень дорогой для нее билет. Потом она бросила его на стол передо мной, крикнула: «Дураки, дураки!» — и выбежала.

Павел Петрович умолк, раздумывая.

— Ну и что? — спросила Оля.

— Ну вот до сих пор у меня в ушах эти «дураки».

Павел Петрович снова умолк. Оля видела, что он улыбается своим мыслям, вспоминает, может быть, о чем-то из своей юности. Она не стала расспрашивать, чему он улыбается и о чем думает. Ее волновала возникшая вдруг неприятная мысль. Неужели и ей всю жизнь суждено помнить этот хмурый, осуждающий взгляд, с которым ушел Журавлев?..

2

Областной комитет партии согласился с предложением Павла Петровича, не возразило и министерство, и Алексея Андреевича Бакланова назначили главным инженером института. Заняв новое для него место, Бакланов взялся за дело с такой энергией, которая удивила даже

Павла Петровича, хотя Павел-то Петрович больше, чем кто-либо, предполагал эту энергию в Бакланове.

Бакланов, подобно Павлу Петровичу, был человеком необыкновенно аккуратным и точным. Если они сговаривались с Павлом Петровичем встретиться где-либо в десять часов и двадцать три минуты, то они так и встречались — в десять часов двадцать три минуты. Когда это случилось в первый раз, Павел Петрович сказал, взглянув на часы: «Вы абсолютно точны, Алексей Андреевич. Очень и очень приятно». Бакланов ему ответил: «Не то Людовик Восемнадцатый, не то Карл Десятый говорил, что точность — вежливость королей. Для нас, некоролей, она гораздо большее, чем вежливость».

В тот день, когда в институте был объявлен приказ о назначении Бакланова заместителем Павла Петровича, они вдвоем просидели в директорском кабинете до часу ночи. Сторожиха тетя Настя шесть раз кипятила им чай. Они поговорили о многом, коснулись даже собственных биографий. Бакланов со вздохом сказал, что биография Павла Петровича гораздо интереснее его, баклановской. У него, у Бакланова, ничего примечательного в биографии нет. Родители: отец — провизор, мать профессии не имела. Он окончил среднюю школу, потом институт. Работал инженером на заводе, заведовал заводской лабораторией, за несколько лет до войны пришел сюда, в Институт металлов.

— И выходит,— сказал он, смеясь,— пожар, во время которого я чуть не сгорел в детстве, единственно примечательная страница в моем жизнеописании.

— Сомневаюсь,— возразил Павел Петрович.— А степень доктора технических наук, а премия, они разве не связаны с иными примечательными страницами? Мне, например, известны эти страницы. Мне известно, что в годы Отечественной войны под вашим, Алексей Андреевич, научным руководством сибирские сталевары ответственнейшую пушечную сталь плавили в мартеновских печах емкостью до трехсот пятидесяти тонн. Это было смелым шагом...

— Что было, то было,— ответил Бакланов.— Кстати, далось это нелегко. Приходилось преодолевать множество препятствий. Вы же сами, Павел Петрович, сталеплавильщик, и, конечно, вам известны довоенные работы некоторых авторитетов, в которых авторитеты доказывали, что мартены большой емкости не только для выплавки осо-

бых марок стали, но и вообще-то не годятся. Перед самой войной была опубликована специальная работа, автор которой задался целью доказать, что мартеновские цехи с печами емкостью более двухсот двадцати тонн строить нецелесообразно.

— Да, я знаю эту работу. Она многих из нас, практиков, запутала.

— Вот видите. И нам, научным работникам, в ту пору очень молодым, трудненько приходилось в борьбе с предельщиками.

О чем бы они ни вспоминали, о каких бы из любых своих прошлых работ ни заговаривали, оказывалось, что ни одна работа не протекала без борьбы. Непременно надо было доказывать свою правоту, непременно преодолевать сопротивление, непременно наступать, если ты хочешь победы.

— Жизнь! — философски сказал Бакланов, прихлебывая чай из очередного, поданного тетей Настей стакана.— Одно отживает, уходит в прошлое, другое нарождается, приходит ему на смену. Но отживающее не хочет уходить добровольно, оно сопротивляется, ему хочется существовать, оно цепляется за существование. Ужаснейшая бывает борьба. Ужаснейшие она принимает формы.

— Вот тут как раз о жизни и борьбе,— сказал Павел Петрович, извлекая из стола объемистую папку.— Нам придется, видимо, выдержать большую борьбу. Это тематический план. Мы говорили на ученом совете о том, что некоторые темы никуда не годятся, решили их пересмотреть, но ничего пока не сделали. Давайте, Алексей Андреевич, возьмемся. Одни темы надо вовсе ликвидировать и необходимость их ликвидации доказать перед министерством. Для решения других найти более эффективные формы.

В последующие дни директор института и его новый заместитель вместе с заведующими отделов и лабораторий занимались пересмотром тем. Тематический план сильно изменялся, изменялось его направление — он приобрел крен в сторону наибольшего, какое только возможно, разрешения вопросов, волнующих работников производства. При отчаянном сопротивлении Красносельцева, при странно молчаливом нейтралитете Серафимы Антоновны ученый совет одобрил изменения в планах научной работы и признал целесообразность всех практических мер, которые принимало руководство. На ученом совете

рассматривали заявки на новые темы. Обсудили и доклад Ратникова. Тему признали очень важной, но решили, что один Ратников с ней не справится и что надо создать группу по типу той группы, которая создается Баклановым для решения проблемы жаропрочной стали.

Новый тематический план, заявки на новые темы, решение ученого совета были посланы в Москву, в министерство. Сомнений в том, что все разумные меры будут и там одобрены и утверждены, не было. Поэтому, не ожидая ответа из Москвы, дирекция предупредила всех, кого это касалось, о том, что в их жизни и работе возможны изменения. Беседы с теми сотрудниками, которым предстояло свертывать свои работы как бесперспективные, как неправильно ведущиеся или просто устаревшие, вели то Павел Петрович, то Бакланов, а в особо сложных случаях и оба вместе.

Бакланову было очень трудно работать. Горячо берясь за руководство научной работой всего института, он одновременно вел и свою тему. Вокруг него уже создалось ядро будущей группы, которой предстояло работать над жаропрочной сталью.

В это время, горячее и для Павла Петровича, и для Бакланова, и для всего института, у Павла Петровича произошло столкновение с секретарем партбюро Мелентьевым. Случилось это из-за Ведерникова. Посоветовавшись с Баклановым, который сказал, что ни особого вреда, ни особой пользы он от этого не предвидит, но и мешать подобному эксперименту не считает нужным, Павел Петрович решил вновь ввести Ведерникова в ученый совет института, в котором Ведерников когда-то состоял.

Вокруг появления Ведерникова на ученом совете поднялась шумиха. Как, мол, так — неизлечимый алкоголик решает важнейшие вопросы жизни института! Поползли слухи о том, что он водит компанию с подозрительными личностями, что он не живет дома, ночует где попало и бьет жену. Слухи эти дошли до Павла Петровича. Павел Петрович не смог докопаться до их первоисточника; кого бы он ни спрашивал, все пожимали плечами, говорили: «Ну, сплетников-то у нас достаточно», а назвать по фамилии хотя бы одного сплетника никто не назвал.

В это самое время к нему и явился Мелентьев.

— В новый кабинетик перебрался, а на новоселье не пригласил,— сказал секретарь партийного бюро.— Да я шучу, шучу! Но если по правде-то говорить, обида

у меня на твое поведение: игнорируешь партийную организацию, не приходишь, не советуешься.

— Как же игнорирую? — удивился Павел Петрович.— В чем это проявляется?

— А в том, например, что не желаешь опираться на лучших наших коммунистов... Ведь я же тебе говорил о Харитонове, а ты что? Ты его холодной водой облил. Я тебе говорил о Самаркиной. А ты, как и прежние недальновидные директора, не даешь ей ходу. Если по правде говорить, ее бы надо назначить заведующей каким-нибудь отделом,— кандидат наук, активный товарищ! И в ученый совет не Ведерникова бы, а Самаркину... Мы должны ядро сколачивать, прочное, крепкое ядро.

Павел Петрович слушал и невольно сравнивал этот разговор с тем полуночным разговором, для которого недавно приходила к нему домой Серафима Антоновна. Она ему страстно,— говоря, что делает это как верный, искренний друг, — доказывала, что он приносит вред институту и себе, ставя под сомнение темы таких ведущих сотрудников, как Красносельцев. Она точно так же говорила, что надо сколачивать прочное, крепкое ядро, но называла иные фамилии, совсем не Харитонова и не Самаркину, а Белогрудова, Красносельцева, еще кого-то.

— Партия нам не простит нашей раздробленности, разобщенности, товарищ Колосов,— продолжал свое Мелентьев.— Партия...

— Послушай-ка, товарищ Мелентьев, — спросил вдруг, перебив его на полуслове, Павел Петрович, — а ты давно в партии?

— С тысяча девятьсот сорок третьего. Разве в данном случае это так важно?

— Для меня это во всех случаях важно. Особенно когда мне начинают объяснять, чего от меня требует партия, что она мне простит, чего не простит. Я, товарищ Мелентьев, в партии с тридцатого года. До того— на заводе был комсомольцем, а еще раньше — в школе пионером. Так что считаю себя коммунистом с первых дней своей сознательной жизни, готовил себя к вступлению в партию, еще когда носил красный галстук. Смена смене идет! Ты слыхал такой девиз? Это был наш пионерский девиз. Мы шли на смену комсомольцам, которые являются сменой коммунистам. Да, вот так: смена смене идет!

Мелентьев посидел, пораздумывал и сказал:

— Это, понимаешь, товарищ Колосов, романтика, воспоминания, так сказать, мемуары, а мы должны жить реальной жизнью. Реальная жизнь подсказывает, что ты неправильно ведешь себя по отношению к партийной организации. Почему ты не посоветовался со мной и так вот самолично решил: беспартийного пьяницу — в ученый совет?

— До меня уже дошли эти сплетни.

— Это не сплетни! — Мелентьев смотрел на Павла Петровича сурово и предостерегающе.— Это мнение партийного руководства института. Ошибку надо исправить.

— А я вот бы какую ошибку исправил, товарищ Мелентьев.— Павел Петрович сказал это не без запальчивости. — Я бы сделал так, чтобы Иван Иванович Ведерников, крупный ученый, перестал быть беспартийным.

— Я не знаю, какой он там — крупный или некрупный ученый, но что он мелкий критикан — это уже доподлинно известно. Он всем недоволен, он всех высмеивает. Передавали, например, что он сказал обо мне: партийный чиновник.

— Значит, так ведешь себя, товарищ Мелентьев!

Мелентьев, не произнеся больше ни слова, поджав тонкие белые губы, собрал бумаги, которые он разложил было на краю стола Павла Петровича, и вышел из кабинета. Павел Петрович нисколько не огорчился. Мало ли у него было всяческих стычек и перепалок и с секретарями заводских комитетов, и с секретарями райкомов! Разное говаривали друг другу, не очень-то приятное. Но что из того? Обходилось, утрясалось, в конце концов шло на пользу делу.

Он вышел из кабинета и коридорами, лестницами, черными ходами отправился к Ведерникову. Ведерников, как всегда, стоял возле окна и смотрел в парк.

— Вы здóрово кстати, товарищ директор,— сказал он.— У меня только что обрела некие формы одна очень интересная идейка.

— Минутку, Иван Иванович.— Павел Петрович сел на стул возле стола.— Вы могли бы мне ответить совершенно откровенно, почему вы, черт возьми, не в партии?

Вопрос, казалось, нисколько не удивил Ведерникова.

— А кто же меня примет в партию, Павел Петрович? — ответил он, снова устремив взгляд за окно, в парк.—Я морально неустойчив. Я пьяница.

— Но вы же не родились с этим недостатком! Это же не органический порок. Было же время...

— Было. И тогда я состоял в комсомоле. Это было давно, до тридцатых годов. А потом я перерос комсомольский возраст, подать заявление в партию не хватило решимости. Я в молодости был такой робкий, что не только на профсоюзных собраниях, но даже на лекциях по международному положению и то сидел где-нибудь за печкой, чтобы меня не увидели, да и не вызвали для ответа перед людьми. Вот так было дело. Интересно, почему вы меня об этом спросили?

— Потому что считаю, что вам надо быть в партии. Я, например, без колебаний дал бы вам рекомендацию.

Ведерников обернулся от окна, он сделал такое движение, будто собрался шагнуть в сторону Павла Петровича, но не шагнул, сказал:

— Большое спасибо. Но, поверьте, это будет единственная рекомендация. Не только третьей,— даже и второй для меня в нашем институте уже не найдется.

— А я вам ее все-таки дам! Делайте с ней, что хотите.

Павел Петрович ушел, так и позабыв спросить Ведерникова об осенившей его интересной идее. Ведерников тоже не напомнил.

В седьмом часу вечера, когда Павел Петрович собрался домой, новый его секретарь, строгая и аккуратная Вера Михайловна Донда, подала ему конверт с надписью: «Лично».

— Хорошо,— сказал Павел Петрович, думая, что в конверте очередное заявление или просьба; надел шляпу, взял в руки плащ и вышел к подъезду. Там его встретила Серафима Антоновна.

— Я жду вас, Павел Петрович,— сказала она.— Я приглашаю вас прогуляться. Смотрите, какой вечер!

Над городом стояло вечернее небо, теплое и яркое, как расплавленное золото. Расчерчивая его вдоль и поперек, вкось и вкривь, высоко носились черные стрижи, розовыми точками вспыхивали среди них кувыркающиеся белые голуби. Деревья в парке стояли как на параде, руки по швам, без малейшего шевеления и звука; от них шел густой запах коры, листьев, почек. В прудах кричали лягушки, в воде чвакало, булькало, хлюпало — там шла жизнь.

— Да, вечер замечательный,— ответил Павел Петрович, с тоской глядя на поджидавшую его машину. Ему

хотелось домой, к Оле, к Варе, с их запальчивыми разговорами об идеалах, о жизни, о будущем.— Ну что же,— сказал он шоферу,— можете быть свободны. А мы... Мы что, пройдемся пешочком?

— Конечно, — ответила Серафима Антоновна, беря его под руку.— Дышать бензином в такую погоду — преступно. Это варварство.

Павел Петрович, пока они шли по институтским тенистым дворам к проходной, посматривал на Серафиму Антоновну с любопытством. Какая-то она была иная, чем всегда, в ней что-то сильно изменилось. Она помолодела, и настолько, будто ей было не под пятьдесят, а каких-нибудь тридцать, тридцать два, ну, может быть, тридцать пять, не больше. Павел Петрович понял, конечно, почему получалось такое впечатление. На Серафиме Антоновне не было ничего из обычных ее старомодных одежд и украшений; был светлый костюм с короткой юбкой, была простенькая блузка брусничного цвета, были на ногах тончайшие чулки и красивые туфли, была простая легкая прическа. На нее было приятно смотреть, и прохожие на нее смотрели. А Павел Петрович смотрел на Серафиму Антоновну так внимательно еще и потому, что в ее новом виде она ему напоминала кого-то очень-очень знакомого.

Они шли к тому месту города, которое носило название Островки. Это и в самом деле были островки, находившиеся в устье Лады, при впадении ее в залив. Их было четыре, первый из них носил название Березовый, другой — Лысый, третий — Каменный, четвертый — Козий. Почему они так назывались, никто бы, пожалуй, не объяснил, потому что на Березовом росли одни сосны и ели, на Козьем не было никаких коз, Лысый густо оброс можжевельником и ракитой, и только на Каменном со стороны моря громоздилось несколько гранитных валунов.

Павел Петрович с Шуваловой перешли по мосту на Каменный остров. На нем росли высокие, стройные пихты, под ними было сухо и мягко, ноги ступали неслышно, будто по ковру. Разговор шел какой-то странный. Павел Петрович уже привык разговаривать с Шуваловой о сотрудниках института, о Красносельцеве, Липатове, Белогрудове, какие они талантливые, о темах сегодняшних и завтрашних, привык к тому, что надо спорить, что-то доказывать или опровергать. А тут получалось совсем иное. Серафима Антоновна тихо шла с ним об руку

и рассказывала о себе, о своей жизни в молодости, о своих былых мечтах. Ничего, правда, необыкновенного в ее истории не было, разве лишь то, что она в двадцать лет вышла замуж за пятидесятилетнего человека, который потом семь лет мучил ее ревностью, следил за каждым ее шагом, не выпускал ни на час одну из дому.

— Давайте пробежим,— вдруг сказала Серафима Антоновна, когда они оказались на небольшой горке. Она схватила Павла Петровича за руку и потащила за собой вниз; Павел Петрович нехотя, сопротивляясь, сделал бегом несколько шагов и остановился.

— Не могу,— сказал он,— не могу. Стар.

— А я вот могу! — Серафима Антоновна нагнулась, сорвала лиловый колокольчик и вдела его в петлицу пиджака Павла Петровича.

Павел Петрович потихоньку вытащил цветок и выбросил. Ему казались нелепыми и этот бег под горку, и эти цветочки в петлицах, и все поведение Серафимы Антоновны, старавшейся изображать из себя девочку. «Зачем это, почему? — недоумевал он.— Откуда взялось? Раньше же ничего подобного не было».

Когда дошли до каменистого берега, Серафима Антоновна предложила присесть на полуистлевшую скамеечку под густым шатром из молодых кленов и полюбоваться тем, как солнце опускается в залив. Павел Петрович сел и увидел возле себя на гнилой доске скамьи давным-давно вырезанное ножом: «Оля+Шурик=?» Он даже не поверил своим глазам, потрогал буквы пальцами — да, те же, именно те же арифметические знаки, что и на клеенке, которой обита дверь его квартиры. Оленька, неужели тут были когда-то и ты, и тот озорной мальчик? Или тебя повторила или предвосхитила другая девочка Оленька?

Павел Петрович вздохнул и с удивлением услышал, что Серафима Антоновна говорит о счастье, о душевной гармонии, без которой нет счастья. Видимо, он пропустил какую-то часть ее рассказа.

— У Шуваловой много завистников,— говорила Серафима Антоновна горячо. — А чему завистники завидуют? Да, Шувалова доктор технических наук. Да, Шувалова имеет немало высоких наград. Но она ведь женщина! Вот что надо понять. А женщина, не задумываясь, отдаст все реальное за одну лишь надежду на возможное душевное счастье. Женщина отличается от вас, мужчин, тем, что вы умеете находить счастье там, где она не уме-

ст, тем, что вы умеете быть счастливы своим трудом, общественным положением, всем, что дает вам это положение. А для женщины все это ничто без личного счастья, и все это приобретает для нее значение только тогда, когда и в сердце ее входит счастье. Вы меня понимаете или нет, Павел Петрович? Почему вы молчите?

Слушая слова Серафимы Антоновны, Павел Петрович вспомнил некую Анну Марковну. Было это очень давно, в одном из южных домов отдыха, куда его посылал завод. Был Павел Петрович почти мальчишкой, а москвичке Анне Марковне было около тридцати. Чем он ей понравился, что ее в нем привлекло? .Только взяла она над ним нечто вроде шефства и делала так, что без нее он не мог шагнуть шагу. И вот однажды, тоже на скамеечке, тоже вечером, она говорила что-то такое, вроде того, что говорит сейчас Серафима Антоновна, она на что-то или на кого-то жаловалась, говорила о чувствах, о женском счастье. Говорила очень долго. А он сидел и из вежливости старался внимательно слушать, поддакивал, кивал головой. Вдруг Анна Марковна, как ему тогда казалось, ни с того ни с сего почти крикнула: «Да целуй же ты меня, дурак! Обними!»

— Дорогая Серафима Антоновна,— заговорил он, чтобы хоть как-то предотвратить возможную беду.— Вопросы, о которых вы говорите, вечно решаются и вечно остаются нерешенными. Думаю, что и мы их тут, на ходу, не решим. Не кажется ли вам, что уже прохладно и что пора домой? Меня, например, мои девушки, наверно, заждались.

Серафима Антоновна посмотрела на него не то снизу вверх, не то сверху вниз — со стороны, из-под ресниц, резко поднялась со скамьи, сказала: «Пойдемте» — и легкой походкой зашагала по мягкой земле под пихтами.

Потом они взяли такси, Павел Петрович довез Серафиму Антоновну до ее дома; никаких тревожных разговоров она больше не затевала, и он, довольный этим, попрощавшись с нею, ехал один по городу. Над городом стояла ночь, почти такая же светлая, как белые ленинградские ночи. На площадях и в скверах цвела сирень, она была как лохматые клубы лилово-белого дыма. Несмотря на поздний час, скверы были полны народу. Павел Петрович вспомнил: «Ведь сегодня суббота, ведь девчонки куда-то собирались меня вести, то ли в театр, то ли в кино».

Дверь квартиры он отворял, стараясь поворачивать ключ как можно тише, но, войдя в переднюю, тут же

увидел их обеих. Обе стояли одетые, причесанные, с сумочками в руках.

— Мы ждем тебя, папочка. Мы готовы,—сказала Оля так спокойно, что Павел Петрович понял, каких усилий стоило ей это спокойствие.— Вот билеты,— продолжала она, доставая билеты из сумочки.— Тут написано: начало ровно в восемь.

Павел Петрович взглянул на часы: был второй час.

— Ну простите, ну так случилось,— заговорил он, стараясь превратить все в шутку.— У меня на плечах такое хозяйство. Вот станете директорами, сами поймете, чтó это такое.

— Папочка, не продолжай,— прервала его Оля.— Ты станешь сейчас что-нибудь придумывать, а тебе очень не идет, когда ты что-нибудь придумываешь. Мы знаем всё-всё. Мы очень беспокоились о тебе, мы звонили в институт, в гараж, твоей секретарше и поняли всё-всё.

— Ничего ты не знаешь,— сказал Павел Петрович резко и, оставив Олю и Варю в передней, ушел в кабинет.

Он постоял посреди кабинета, засунув руки в карманы пиджака. В одном из карманов он нащупал какую-то бумагу. Это было письмо с пометкой: «Лично». Павел Петрович присел к столу, вскрыл конверт. Письмо было от Ведерникова. «Многоуважаемый Павел Петрович! — писал Ведерников.— Вы меня так взволновали сегодняшним разговором, что я не смог вам толком рассказать о моей идее, о которой я только упомянул. Дело касается создания металлорезательного станка с использованием токов высокой частоты, но совершенно нового типа, на новых принципах». Дальше шли формулы и расчеты. Насколько Павел Петрович разобрался в них, станок сулил быть производительности и экономичности гораздо большей, чем все известные станки, в которых тоже использовался соответственным образом преобразованный электрический ток.

Павел Петрович схватился было за трубку телефона, чтобы немедленно позвонить Ведерникову, сказать, что будет его всячески поддерживать, что завтра же пригласит Николая Николаевича Малютина и поручит конструкторскому бюро взяться за конструктивное воплощение замечательной идеи. Но в записной книжке Павла Петровича номера телефона Ведерникова не было. Павел Петрович позвонил в справочное. Ответили, что в списках абонентов Ведерников не значится. Тогда позвонил дежур-

ному по институту. Дежурный долго рылся в каких-то книгах и наконец сказал, что Иван Иванович живет в пригородной слободе Трухляевке, где не только телефонов — тротуаров и тех нету, осенью и зимой люди в грязи тонут.

Павел Петрович вышел в переднюю, Оля и Варя все еще стояли там, смешные в своей обиде и очень трогательные. Ему захотелось, чтобы не было этой ссоры, чтобы они не дулись на него. Он сказал:

— Ну что ж, пойдемте. Я тоже готов.

Взгляд его задержался на стройной Вариной фигуре. Павел Петрович даже выронил шляпу из рук. Вот, значит, кого он при виде Серафимы Антоновны весь вечер силился вспомнить, да так и не вспомнил. Ее, Вареньку Стрельцову, Олину подругу, свою недавнюю помощницу. Такой же серый костюм с короткой юбкой, такая же блузка брусничного цвета, такие же тонкие чулки и красивые туфли. Сходство в одежде было настолько поразительным, что Павел Петрович только и смог сказать:

— Какие-то странности происходят вокруг меня. Ничего не понимаю. Может, и в самом деле выйти нам погулять на улицу, а?

— Нет уж,— грустно ответила Оля.— Поздно. Мы пошутили, идти никуда не надо. Пойдем лучше, покушай, папочка. Мы тебе ужин приготовили. Все вкусное-вкусное, как ты любишь. Пойдем.

3

Однажды утром Варя проснулась с ощущением тяжкой усталости во всем теле, будто бы накануне она прошла сорок километров пешком, как бывало в ту пору, когда холынская школа устраивала туристские походы вокруг озера Ильмень. Болела голова, болели ноги. Глаза не хотели раскрываться, а если и раскрывались, то все в них струилось, плыло, теряло привычные формы.

Варя все же решила встать. Но лишь только она откинула одеяло и спустила ноги с кровати, ее тотчас охватил озноб; пришлось вновь прятаться в постель, сворачиваться клубочком и, щелкая зубами, звать Олю, чтобы та принесла ей шубу или пальто — накрыться поверх одеяла.

Вслед за Олей в комнату Вари пришел и Павел Петрович. Он положил прохладную ладонь на Варин лоб,

тыльной стороной руки потрогал ее щеки, сказал: «Жар, надо измерить температуру». Когда Оля принесла ему градусник, он стряхнул его, проверил, хорошо ли стряхнулось, и подал Варе: «Держите как следует, а то измерите температуру рубашки». Варя держала как следует. Оказалось, что у нее тридцать восемь и девять.

Павел Петрович позвонил на завод, сказал кому-то из своих знакомых, пусть, мол, передадут в лабораторию, что Стрельцова сегодня не может прийти на работу. Оля позвонила в поликлинику и вызвала врача. Павел Петрович сказал, что Оле придется пока посидеть дома, нельзя, чтобы Варя сама ходила отворять врачу, неизвестно, чем она больна и какая понадобится ей помощь, может быть, сразу же надо будет бежать в аптеку.

Варя и Оля остались вдвоем. В комнате Вари от спущенных штор, которые Варя попросила не подымать, потому что от яркого света больно глазам, стоял теплый сумрак. Было очень тихо, только далеко, в кабинете Павла Петровича, слышался отчетливый ход часов. Варе хотелось лежать и молчать, ей дремалось, грезилось.

На Олю сумрак этот действовал иначе, ее тянуло поговорить. Так бывает в купе вагона, когда погасят свет. Собеседники не видят друг друга, перед ними мрак, они говорят во мраке, и тем откровеннее становятся их слова, чем гуще мрак.

— Ты понимаешь,— говорила Оля, взобравшись с ногами в низкое мягкое кресло,— я давно хочу сказать тебе об этом, меня это мучает. Он посмотрел на меня не то что с презрением, а еще хуже... Как на пустое место.

— Кто, Оленька, так на тебя посмотрел? — через силу спросила Варя, натягивая одеяло почти до глаз.

— Да, ты ведь ничего не знаешь!—спохватилась Оля. И она стала подробно рассказывать о том, что произошло с ней на бюро райкома комсомола.

Варя не поняла всей сложности ее переживаний, она даже не увидела никаких причин для этих переживаний.

— Ну и что же тут особенного?— спросила она.

— Как что особенного! — воскликнула Оля.— Ведь ты пойми... Ну, допустим, этот Журавлев нарушил дисциплину, технику безопасности, еще что-нибудь такое. Допустим. Но, Варя, скажи, кто из наших с тобой знакомых способен сделать то, что сделал он? У кого хватит смелости подержать руку хотя бы над зажженной спичкой?

— Ты все еще девчонка,— сказала Варя.

— Нет, я далеко уже не девчонка. А просто я умею ценить мужество.

— Это не мужество, а мальчишество.

— Ты сухарь! — почти крикнула Оля.— Сухарь без чувств, без фантазии. Тебе бы учительницей арифметики быть. Ты, значит, плохо разбираешься в людях. Я уверена, что именно такие, как Виктор Журавлев, бросались на вражеские пулеметы, таранили чужие бомбардировщики, проникали в штабы противника. Они были героями! А я... я чувствую себя глупо. Ну как так!.. Все люди сидят, понимают: взыскание давать тебе, товарищ Журавлев, даем, дисциплина требует, но и не восхищаться твоей смелостью мы не можем. Сами бы рады быть такими, да характера не хватает. И в это время вылезает какая-то дура и кричит, как идиотка: «Безобразный поступок!» Что он думает теперь обо мне?

— Если он такой, каким ты его расписываешь, то он о тебе уже и забыл.

Забыл? Подобная мысль не приходила Оле в голову. В самом деле, с чего бы ему помнить выкрик какой-то уж слишком строгой девицы? Взял да и забыл и этот выкрик, и эту девицу. Мало ли у него своих забот?

Оля думала уже не о своем нелепом выкрике и не о взгляде Журавлева, а о том, что неужели он действительно ее успел забыть. До чего же это странно и неправильно.

— Как, ты говоришь, его фамилия? — спросила вдруг Варя.

— Журавлев. Виктор. Виктор Журавлев.

— Я его знаю. Он на третьем мартене у нас работает.

— Правда?! — воскликнула Оля.— Ты с ним знакома?

— Ну как знакома? Просто знаю, что есть такой. И все.

Оля вышла из Вариной комнаты и отправилась в кабинет. Затворив плотно дверь кабинета, она позвонила в институт Павлу Петровичу.

— Папочка,— сказала она,— помнишь, ты мне рассказывал о сталеваре, который рубит рукой расплавленный шлак. Скажи, пожалуйста, как его фамилия?

Павел Петрович сказал то, что Оля и ожидала: Журавлев,—и спросил, зачем ей это надо знать.

— Просто надо, вот надо и надо,— ответила Оля.— Ты его хорошо знаешь? А как ты его считаешь? Какой он?

— Обыкновенный, Оленька, — сказал Павел Петрович.— Парень как парень. Не хуже и не лучше других. Парни ведь все в общем-то одинаковы. Различие в натурах и характерах, особенно у мужчин, начинает проявляться где-то возле тридцати и после тридцати. А до тридцати — все мы гении, ни в чем не уступающие один другому.

Олин разговор с Павлом Петровичем был прерван звонком в передней. Пришел врач. Он сказал, что у Вари грипп, самый что ни на есть натуральный грипп. Где только она ухитрилась его подцепить в такую теплую пору,— не работает ли она на сквозняках? Варя подтвердила: да, на сквозняках. Врач приказал Варе полежать несколько дней в постели, чтобы избежать осложнений, которые, не дай бог, такую молодую женщину могут превратить в старуху: всякие, знаете, почки, печени и прочее,— выписал больничный лист и рецепты.

Вскоре после его ухода ушла в свой институт и Оля, сказав, что зайдет в аптеку, закажет лекарство, а вечером на обратном пути получит.

Варя осталась одна. Ей было уютно под одеялом и шубой, ей казалось, что она плывет в горячих волнах, то плавно подымаясь, то падая вместе с ними. Ей никто не мешал думать о чем угодно и чувствовать что угодно. Она чувствовала руку Павла Петровича на лбу, на щеках, от руки было прохладно, она как бы овевала Варино лицо ветерком.

Потом Варя заснула. А когда проснулась, почувствовала, что ей немного лучше. Надела халат и решила, что походит по пустым комнатам. В комнатах было не убрано, никто не успел в этот день ни к чему прикоснуться. Варя попыталась навести хоть какой-нибудь порядок. Она убрала постель Павла Петровича, который после смерти Елены Сергеевны спал на тахте в столовой. Она застелила постель Оли, подмела немножко в коридоре, устала и решила, что пойдет снова ляжет. Проходя к себе мимо бывшей спальни Елены Сергеевны, Варя, как всегда, не удержалась, приоткрыла дверь в эту таинственную комнату. Таинственной она была потому, что в ней оставалось все так, как было при жизни Елены Сергеевны, в нее никто попусту не входил, здесь только раз или два раза в неделю вытирали пыль с мебели и мели пол.

Варя вошла в эту комнату. От ходьбы, от движения жар у нее снова увеличился, снова она плыла в горячих

волнах, и поэтому комната Елены Сергеевны была для нее в эти минуты еще более таинственна, чем обычно, и в каждом предмете обнаруживалось еще большее значение, чем всегда. Варя трогала хрустальные флаконы на туалетном столике, ножнички и щипчики для маникюра. Она взяла было в руки большую золотистую расческу, но тотчас положила ее на место и отступила от столика в замешательстве: меж зубьями расчески она увидела несколько длинных каштановых волосков.

Потом она подошла к широкому зеркальному шкафу. Повернула ключ, отворила дверцу. В шкафу печально висели на плечиках разноцветные платья, зимние и летние пальто, обернутые простынями, внизу под платьями стояли туфли. От платьев шел знакомый Варе запах духов Елены Сергеевны. Одежды еще хранили и берегли запах своей хозяйки. Может быть, только они единственные и ждали ее возвращения в этот мир, может быть, только они единственные не знали того, что она больше никогда не вернется.

Варя вышла из этой комнаты на цыпочках, тихо притворила за собой дверь, прямо в коридоре села на старый плюшевый стул и спросила себя: что она делает в чужой квартире, что ей здесь надо, зачем она сюда попала? Здесь чужая жизнь, чужой мир, в который ее никто не просил вторгаться. Ей стало очень тоскливо, когда она сказала: «Чужой мир, чужая жизнь». Все существо ее сопротивлялось мысли, что Оля и Павел Петрович, милый, родной Павел Петрович,— это чужой мир.

Нет, она решительно не могла оставаться на месте в этот день. Она встала с пыльного стула и пошла в кабинет. Там ей будет лучше. Там булатные сабли в черном футляре, там книги Павла Петровича, там его любимые вещи, там всюду только он, Павел Петрович, там никто ей не скажет: чужой мир. Мир Павла Петровича — это и ее мир, иного мира для нее не существует.

Но в кабинете Варю встретил удивленный и осуждающий взгляд Елены Сергеевны. Елена Сергеевна смотрела на Варю со стены и задавала ей тот же вопрос, с которым Варя только что обращалась к самой себе: «Как ты сюда попала, зачем, что ты тут делаешь?» — «Не знаю,— движением головы ответила Варя, чувствуя, что у нее нет никаких сил сопротивляться чему-либо.— Ничего я не знаю и, наверно, уйду отсюда».

Когда вечером вернулась Оля с лекарствами, она нашла Варю лежащей на диване. Оля подумала, что Варя спит, накрыла ее одеялом и подсунула под голову подушку.

Павел Петрович, пришедший позже, оказался опытнее в вопросах медицины. Он нащупал Варин пульс и сказал:

— Кажется, она без сознания. У нас есть в доме нашатырный спирт?

Едва Варя пришла в себя, она схватила руку Павла Петровича и прижалась к ней лбом. Павлу Петровичу показалось, что она сказала: «Я никуда от вас не уйду, что хотите, то и делайте». Он осторожно высвободил руку и шепнул Оле:

— Бредит. Давай-ка еще разок измерим температуру, да надо перенести ее в постель. На диване ей неудобно. Как она, кстати, очутилась в кабинете?

— Не знаю, папочка.

Два дня Варе было очень плохо, потому что ее грипп оказался не таким уж обыкновенным, его называли вирусным. В течение двух дней Варя находилась в полубессознательном состоянии, реальное у нее мешалось с галлюцинациями; над нею склонялись то Оля, то Павел Петрович, то грозила пальцем Елена Сергеевна, то, раскрыв широкие объятия, ее звал к себе отец: иди сюда, донюшка моя, иди, голубка, кто обижает-то тебя, скажи, мы ему... В такие минуты встреч с отцом Варе сладко плакалось, было легко, как бывает только в детстве, когда, осеняя и охраняя тебя от невзгод, над тобой распахнуты орлиные крылья твоих родителей.

На третий день ей стало лучше, и в этот день возле нее, в кресле, долго сидел Павел Петрович.

— Вы знаете, Варя, я не могу понять, откуда появилась эта идея, но такая идея у нас появилась: взять вас к нам в институт научным сотрудником. Как вы на это смотрите?

— Не знаю, Павел Петрович,— ответила Варя неуверенно. Слишком неожиданно было для нее это предложение. — Не знаю. А все-таки почему так решили, кто решил?

— Да вот, говорят, что кто-то из наших сотрудников составил очень высокое мнение о вашей работе в заводской лаборатории. Надо, говорят, брать на научную работу лучшие кадры с производства. И в самом деле, я сам часто думаю: что такое заводская лаборатория? Нечто чисто прикладное? Отнюдь. Я считаю, что это передовая

линия науки, проходящая непосредственно через производство. Это звено, связывающее производство с наукой. Убежден, что заводские лаборатории могут решать многие задачи, связанные с усовершенствованием технологических процессов, они могут выдвигать самую злободневную, самую насущную тематику для совместной разработки с научно-исследовательскими учреждениями. Ну и конечно, раз так, они могут стать и школой, где будут выращиваться кадры для научных институтов.

Варя, не отрываясь, рассматривала лицо Павла Петровича. Он был перед нею молодым, полным энергии, умным и очень красивым. У любви особые глаза, так же как и у ненависти. Любовь видит только лучшее в человеке, красивое; ненависть — только худшее, безобразное. Не было для Вари Стрельцовой в Павле Петровиче Колосове ни малейшего недостатка.

— Если правду говорить, — сказала Варя, не отрывая взгляда от лица Павла Петровича, — мне бы, наверно, было очень интересно работать в институте. Оборудование там гораздо богаче, чем в заводской лаборатории. Есть кого послушать, у кого поучиться. Но и на заводе я столкнулась с новым и очень интересным. В последнее время я много читаю, Павел Петрович, и в одном журнале прочла о возможности применения в металлургии расщепленных атомов. В статье, которую я читала, говорится о возможности контроля за доменной печью с помощью радиоактивных изотопов. Вот я и подумала: а нельзя ли изотопы использовать в нашем мартеновском цехе? Но нет, нет, нет...— Она замахала рукой.— Об этом говорить слишком рано. Потом, потом...

Как Павел Петрович ни расспрашивал, Варя так ничего больше и не сказала.

Павел Петрович ушел, и Варя стала припоминать всё то, что происходило с нею в минувшие дни. Ее очень взволновала возможность перехода в институт: наверно, это было бы замечательно. Вместе с тем ее не покидала тревожная мысль: а не натворила ли она чего-нибудь такого во время своей болезни, от чего будешь потом краснеть всю жизнь? Она вспоминала, что заходила в комнату Елены Сергеевны, что, потеряв силы, осталась лежать в кабинете, даже что прижималась лбом к руке Павла Петровича. Одного она не вспомнила: рассуждений о том, что тут чужой для нее мир; она просто не захотела об этом вспоминать, ей не нужны были такие воспоминания.

4

Павла Петровича с Баклановым вызвали в Москву, в министерство. Пришлось делать длиннейшие объяснения к изменениям в тематическом плане. Изменения утвердили. Утвердили тему, предложенную Ратниковым. Министр сказал, что мысль очень интересная, это правильно, что создается группа, надо поставить работу так, чтобы в конце концов были подготовлены рекомендации для всех металлургических заводов.

С группой по теме Бакланова произошло осложнение. Павлу Петровичу и Бакланову было сказано, чтобы они побыли в Москве еще денька два-три. Лицо министра приняло при этом совершенно непроницаемое выражение. «Погуляйте, погуляйте. Вот так»,— сказал он.

Директор института и его заместитель, конечно, не гуляли. В Москву попадешь — дела тебе там найдется столько, что к вечеру ноги гудят, валишься на постель в гостиничном номере, даже шевельнуться трудно. В эти дни составили и согласовали в министерстве список крупнейших заводов страны, с которыми предстояло заключить долголетние договоры на совместную разработку наиболее важных, актуальных тем; Павел Петрович это особо подчеркивал в тексте договора, который они составили с Баклановым: именно долголетние, именно совместная разработка и непременное включение в рабочую группу инженерно-технических работников из заводских цехов и лабораторий. В эти же дни побывали в институте Академии наук, который занимается проблемами металлургии, ознакомились с новыми работами. Бакланов исписал там довольно толстую тетрадь в коленкоровом переплете. Павел Петрович поразился скорости его письма. «Это стенография, Павел Петрович, — объяснил Бакланов.— Изучал на досуге. С одной стороны, очень удобно. Но есть и крупнейший недостаток. Если сразу не расшифровать, потом ничего не понимаешь. А далеко не всегда захочется сразу сесть за эту крючкопись. К счастью, расшифровкой моих записей занимается жена».

На четвертый день ожидания их снова пригласили к министру, и министр не без торжественности объявил им, что один из заводов страны по заданию правительства разрабатывает конструкцию мощнейшей паровой турбины, которая будет рассчитана на давление пара до двух-

сот атмосфер, на температуру более чем в шестьсот градусов по Цельсию, то есть на такую температуру, когда металл уже светится. Строителей этой турбины надо обеспечить сталью большой жаропрочности. Сделать это должны они, коллектив научных работников Института металлов.

— Работа над жаропрочной сталью утверждена правительством,— сказал министр, вставая из-за стола.— Это для вас правительственное задание. Поздравляю, товарищ Колосов и товарищ Бакланов!

Из кабинета министра вышли возбужденные. В коридоре Павел Петрович сказал, что, собственно говоря, поздравлять надо прежде всего Бакланова, и он это делает с особым удовольствием. Вот как замечательно получилось: тема, которая была в институте чуть ли не второстепенной, выросла в государственно важное дело.

— Жизнь! — сказал он весело, вспомнив их недавний разговор о диалектике борьбы нового со старым.

Оба засмеялись.

На радостях Павел Петрович поставил перед министерством еще один очень важный для института вопрос: он попросил, чтобы вот так, среди года, институту отпустили несколько миллионов рублей на достройку начатого еще до войны жилого дома для научных сотрудников. Дом перед войной был доведен до второго этажа и заброшен. Ни один из руководителей института им впоследствии не интересовался, все считали, что проект его устарел, фундамент ослаб, кирпичная кладка размокла. Оказалось иначе. Оказалось, что проект требует самой незначительной переработки, и то касающейся внутренних помещений, что фундамент сложен отлично и выстоит сотни лет, что кладка тоже достаточно прочна, надо лишь убрать несколько верхних рядов кирпича, действительно пострадавших от дождей и морозов.

Недели две назад Павел Петрович собственными руками ощупывал эти кирпичи и стучал молотком по бетонным массивам фундаментов, своими глазами, вместе с инженерами и архитекторами, рассматривал чертежи и планы дома.

На мысль взяться за достройку этого дома навел Павла Петровича случай с Ведерниковым. После того как выяснилось, что Ведерников живет в Трухляевке, где ни телефонов, ни водопровода, ни тротуаров, Павел Петро-

вич решил навестить Ведерникова и разобраться, почему тот живет в таких условиях.

Он сказал тогда о своем намерении Ведерникову, но Ведерников ответил, что ездить никуда не надо, ничего интересного у него нет, что живет он чуть ли не за русской печкой, как сверчок, в комнате, которую снимает у одной вдовой старушки. Павел Петрович стал допытываться, почему так получилось, и Ведерников в своей лаконической манере изложил: «Три года назад нам с женой дали отличную квартиру в центре города. Теперь в ней живут две старухи: моя мать и мать жены. А мы с женой... Старухи рассорили нас. Жена живет в одной комнате, тоже за городом. Я вот — в другой. Быт. Проклятье».— «А если переселить ваших старух?» — «Не уйдут. Они уже заявили: только через их трупы. Это была наша ошибка. Их сразу надо было селить отдельно. Так нет же, обрадовались: великолепная квартира, создадим условия старушкам. Создали. Какой-то большой негодяй сказал: бойся первого движения души, оно обычно бывает благородным. Кажется, Талейран».

Павел Петрович улыбнулся, услышав такое высказывание. Он уже давно заметил, что Ведерникову доставляло удовольствие казаться хуже, чем он был на самом деле.

О нескладной бытовой истории Ведерникова Павел Петрович рассказал при встрече Федору Ивановичу Макарову. Тот ответил: «Дружище Павел! Да у меня таких историй сотни! Быт, быт— проклятье, как говорит твой ученый. У меня есть один парень, у которого из-за этого быта жизнь в двадцать лет разваливается. С женой и с бывшей невестой под одной крышей вынужден жить. Страшное дело, вдумайся только в него. А куда денешься? Мы вдвоем с комсомольским секретарем никак не можем решить проблему. Дома надо строить, печь их как блины, расселять, расселять людей! Каждая семья должна жить отдельно. Сколько нервов сохранится, здоровья, моральная сторона жизни подымется. Кухонные дрязги, очереди к уборным и прочие красоты коммунальных квартир унижают человека, портят его, развращают». — «Не совсем ясно, Федя, — сказал Павел Петрович, внимательно выслушав длинную тираду. — А вот ведь нас в свое время это все как-то не очень унижало и развращало. И не скажу, чтобы слишком испортило». Макаров засмеялся. «Я заметил, ты все меришь на

свой аршин,— ответил он.— Время, дорогой друг, было иное. Мы иной жизни тогда и не знали, не видели. Всем жилось туго, тесно, в общежитиях, в углах, где попало. Мы так и считали: разрушили старый мир, на его развалинах строим новый, живем среди обломков во имя того, чтобы со временем, все вынеся и перестрадав, войти в созданные собственными руками дворцы. Вот и настала пора, когда дворцов охота».— «Ну ка́к так иной жизни не видели! — возразил Павел Петрович.— Видели мы ее вокруг. Видели нэпманов, видели представителей старой интеллигенции...» — «Нэпманы! — снова засмеялся Макаров.— Сказал тоже, Павел! Это же были недобитки. Ты что, согласился бы в ту пору жить как нэпман?» Засмеялся и Павел Петрович: «Да, верно, первый раз, помню, галстук надел — и то шел по улице, озирался по сторонам: не показывают ли на меня пальцем».

После этого разговора с Макаровым Павел Петрович и решил во что бы то ни стало достроить дом для сотрудников института.

У Павла Петровича совершенно отсутствовали какие-либо дипломатические способности в их житейском понимании. Он не умел ни хитрить, ни ходить окольными путями, ни говорить одно, а думать другое. Елена Сергеевна, случалось прежде, укоряла его: «Павлик, ну разве можно так вот все сплеча, открыто, в глаза, что вздумается? С людьми надо мягче, осторожнсй, с ними надо уметь ладить. Посмотри на Сергея Леонтьевича...» На Сергея Леонтьевича, нашумевшего металлурга, который «умел ладить с людьми» и поэтому преуспевал, Павел Петрович не смотрел. И все равно, хотя и с бо́льшими трудами и значительно медленнее, чем у Сергея Леонтьевича, у Павла Петровича образовался свой вес в металлургии, свой авторитет. Елена Сергеевна махнула рукой на его «неумение ладить с людьми» и больше не пыталась перевоспитывать, — напротив того, к ней самой перешли от него прямота и откровенность.

Так вот, не обладая никакими дипломатическими способностями, Павел Петрович вновь появился перед начальником главка, затем перед министром. Просто, как за домашним столом, излагал он им свои доводы и соображения, в полной уверенности, что его понимают, что с ним одинаково мыслят и разделяют его убеждения. И так как все требования его были трезвы и действи-

тельно продиктованы необходимостью, то и в самом деле его понимали и ему не отказывали.

Словом, Павел Петрович и Бакланов за эту поездку в Москву сумели добиться для института столько, сколько не добились прежние руководители за много лет.

На Ладу они возвратились переполненные впечатлениями, планами, замыслами. Павел Петрович тотчас пригласил к себе Мелентьева, сказал, что надо бы подготовить партийное собрание, на котором руководство института доложит об изменениях в плане, о правительственном задании, обо всем новом, происшедшем в институте за последнее время. Бакланов с удвоенной энергией принялся комплектовать группу, в которую должны были войти несколько десятков сотрудников.

Теплым летним днем сидели в кабинете Павла Петровича при распахнутых окнах, в парке радостно пели птицы, смеялись какие-то девушки, наверно, молоденькие лаборантки. Шелестели под легким ветерком старые липы, солнце пробивалось сквозь их листву в кабинет, и от этого на хорошо натертом паркете было будто на реке в солнечную погоду.

Одно из кресел перед столом занимал Бакланов, другое — напротив — Румянцев.

— Придется вам, Григорий Ильич, поработать рука об руку с Алексеем Андреевичем,— говорил Павел Петрович, крутя в пальцах цветной карандаш. — В группе вы будете заместителем Алексея Андреевича. Трудно придется. Ведь Алексей Андреевич должен действовать на два фронта: и группой руководить, и обо всей научной работе института не забывать. Так что, если говорить начистоту, основная тяжесть в группе ляжет на ваши плечи.

— Робею,— ответил Румянцев, разводя руками.

— Ну, если дело только в робости, это еще не страшно, это полбеды. Робость преодолима.

Павел Петрович смотрел на Румянцева, и вспоминалась ему злосчастная вечеринка у Шуваловой. Ведь это же он, именно Румянцев, затеял там карточную игру, напевал какую-то чепуху: «Возьмем четыре взятки, обгоним остальных», бренчал на пианино. Ведь это же он, Румянцев, молчит на ученом совете, уклоняется от обсуждения острых вопросов; ведь это же о Румянцеве говорят, что он стал обывателем, дачником, ушел от общественной жизни института. Понятно, почему Бакланов требует его к себе

в группу: Румянцев, как специалист в области химии металлических сплавов,— большая сила. Но почему Алексею Андреевичу пришла в голову фантазия сделать Румянцева своим заместителем, это Павел Петрович представлял себе не совсем ясно. Действительно же, товарищ излишне робок. Больше тянется к преподавательской деятельности, чем к исследовательской.

— Любой из нас робеет, принимаясь за новое дело,— добавил Павел Петрович, разглядывая большое, добродушное лицо Румянцева.

— Все понимаю, а вот робею, Павел Петрович. Робею, да и только,— повторил Румянцев.

— Будем твою робость, Григорий Ильич, преодолевать вместе,— сказал Бакланов.— Помнится мне такое время, когда ты был смелее.

— Укатали сивку крутые горки!— Румянцев, опустив голову, обеими руками погладил себя по коленям.

— Словом, за работу! — завершил разговор Павел Петрович.

Румянцев вышел. Едва закрылась за ним дверь, тотчас вошла Вера Михайловна Донда.

— Павел Петрович, — сказала она, — приехали два товарища с Верхне-Озерского завода.

— Просите. — Павел Петрович встал из-за стола, пошел навстречу приезжим.

Оказалось, что один из них — главный металлург Верхне-Озерского завода Лосев, а второй — инженер заводской лаборатории Калинкин. Фамилию Лосев Павел Петрович слышал неоднократно. Он пригласил гостей сесть в кресла. Бакланов хотел было уйти из кабинета, Павел Петрович попросил его остаться и представил гостям.

— Принимаете вы нас, товарищи, как дорогих гостей,— сказал Лосев без улыбки.—А ведь мы к вам ругаться приехали, и крепко ругаться. Вот будьте любезны ознакомиться с этими документами.— Он принялся извлекать из портфеля листы желтоватой бумаги. Павел Петрович узнал бумагу, на которой писались все работы в институте. Потом Лосев достал из своего объемистого портфеля синюю папку.— Начните с нее,— добавил он.— Будем следовать по хронологической линии.

Павел Петрович раскрыл папку. Лосев и Калинкин вынули из карманов трубки (видимо, у них на заводе завелась такая мода — курить трубки), принялись их на-

бивать и раскуривать. Бакланов подсел к Павлу Петровичу, и они вдвоем листали бумаги, подшитые в папке.

Минут пятнадцать — двадцать спустя Павел Петрович сказал:

— Из-за чего же мы будем ругаться? Насколько я понял, вы на заводе разработали и применили очень интересный, оригинальный, экономически эффективный, новый, свой собственный метод разливки стали. Можно вас только поздравить. Думаю, что и мы, наш институт, заинтересуемся вашей работой.

Лосев выслушал его не перебивая, затем затянулся, выпустил густое облако дыма и ответил:

— Уже заинтересовались. Об этом и разговор. Вот, пожалуйста! — Он разложил перед Павлом Петровичем желтые листы институтской бумаги.

На восьмидесяти страницах тут шло несколько иначе изложенное, снабженное таблицами и графиками, множеством цифровых выкладок, фотографиями и рисунками описание этого же, разработанного на заводе, метода разливки стали. Но последняя страница в синей папке была подписана Лосевым и Калинкиным, а последний желтый лист заканчивался так: «Работа проведена доктором технических наук профессором С. А. Шуваловой. Институт металлов».

— Шувалова? — Павел Петрович посмотрел на Бакланова.— Что это значит, Алексей Андреевич?

Бакланов пожал плечами. А Лосев сказал:

— Вот и мы хотим знать, что это значит? Взяли нашу работу, выдали ее за свою, прислали нам обратно и еще в довершение ко всему...— вот вам счета, полюбуйтесь!..—требуете с нас за какое-то внедрение сто восемьдесят тысяч рублей. Это же неслыханно!

История оказалась действительно неслыханной.

— Что же делать? Как быть? — спросил Павел Петрович, когда представители Верхне-Озерского завода ушли.

— Не знаю,— ответил Бакланов.—Затрудняюсь... Беспрецедентно. Никогда не сталкивался ни с чем подобным. Думаю, что надо прежде всего спросить у самой Серафимы Антоновны, как это получилось. А впрочем, не знаю, не знаю. Может быть, еще с Мелентьевым посоветоваться?

Пригласили Мелентьева. Заводскую папку, желтые листы, подписанные Шуваловой, счета института разло-

жили перед ним, рассказали о разговоре с Лосевым и Калинкиным. Мелентьев посмотрел в бумаги ясными голубыми глазами, сказал:

— Во-первых, почему мы должны верить представителям завода и не верить своему ведущему работнику?

— Так ведь вот документы...— сказал Бакланов.

— Во-вторых,— не обратив внимания на его слова, продолжал Мелентьев,— даже если товарищ Шувалова и опиралась на опыт завода, не вижу в этом ничего предосудительного.

— Она его выдала за свой,—снова вставил Бакланов.

— В-третьих,— продолжал Мелентьев невозмутимо,— если и случился такой грех: выдала за свой,— то можем ли мы допустить, чтобы кто-то из-за случайной ошибки шельмовал ученую. Это будет на руку нашим врагам, дорогие товарищи. Это будет свидетельствовать о нашей политической незрелости.

— Вы меня извините, товарищ Мелентьев, но это же совершеннейшая чепуха! — перебил его Павел Петрович.— Наши критика и самокритика, умение видеть и признавать ошибки никогда не были на руку врагам, поскольку они нас не ослабляют, а укрепляют. На руку врагам— замазывание наших недостатков, делание вида, что их нет. Вот это действительно на руку врагу, поскольку это нас ослабляет, мешает нам расти и крепнуть.

— Критика критике рознь. Одного надо критиковать, а другой и сам понимает свои ошибки, — заговорил Мелентьев.— Я был бы не против, так сказать, по-дружески, по-отечески поговорить с товарищем Шуваловой, если она действительно виновата. Но так, чтобы никуда это не выносить, ни на какое широкое суждение. Вот так, между собой... Но ведь шила в мешке не утаишь, пойдет болтовня по округе. Мы с вами в этом не заинтересованы. Ведь ка́к могут сказать о нас, когда это дойдет до верхов — до горкома, до обкома? Не обеспечили, скажут, воспитательную работу в коллективе, не сплотили коллектив. Выйдет, что мы сами по себе же и ударим.

— Не согласен я с этой политикой! — твердо сказал Павел Петрович.— Мы создадим комиссию, она расследует обстоятельства дела, и тот, кто виноват, тот и будет отвечать. Независимо от прежних заслуг и от рангов.

— Совершенно правильно! — решительно поддержал его Бакланов.— Заниматься мелким маневрированием нам не к лицу.

Мелентьев ушел, сказав, что он совершенно не согласен с новым руководством, которое берет курс не на консолидацию сил в институте, а путем наскоков на отдельных работников, путем их дискредитации по мелочам разобщает, дробит эти силы.

Павел Петрович и Бакланов долго еще совещались, как, где, когда и кто из них должен будет разговаривать с Шуваловой. Решили, что все-таки побеседовать с ней должен сам директор, Павел Петрович, и лучше всего с глазу на глаз, без свидетелей.

Весь этот вечер Павел Петрович чувствовал себя скверно. Документы, привезенные Лосевым и Калинкиным, не вызывали никакого сомнения; с убийственной документальной ясностью они свидетельствовали о том, что Серафима Антоновна, да, действительно, из каких-то побуждений выдала чужой труд за свой и что разговор с ней надо вести отнюдь не о том, правда это или неправда, а только о побуждениях, толкнувших ее на такой путь. Как он, Павел Петрович, будет вести этот тягостный разговор? Серафима Антоновна — его первый наставник в науке. Серафима Антоновна — человек, искренне ему сочувствующий в личной его беде, человек, предложивший дружбу, чуткий, деликатный. Вправе ли он, Павел Петрович, укорять и уличать ее в чем-либо? Что дает ему такое право?

Когда Павел Петрович задал себе этот вопрос: что́ дает ему такое право,— стало несколько легче. Он думал о состоянии тех людей, заводских инженеров, у которых похитили результаты их большого труда, и, когда назавтра к нему в кабинет вошла Серафима Антоновна, он, помня о людях, с которыми так несправедливо поступила она, принял ее без обычной улыбки, очень официально. Попросил сесть в кресло.

Серафима Антоновна выслушала его довольно спокойно, не меняясь в лице, только мелко дрожали ее пальцы, которые не давали покоя медальону на груди.

— Чего же вы от меня хотите, Павел Петрович? — растягивая слова, спросила она, когда Павел Петрович умолк.

— Я хочу знать ваше мнение, Серафима Антоновна, о том, что произошло. Я хочу вашего совета, как же быть дальше.

— Как быть дальше, я не знаю, Павел Петрович. Это ваше дело, как вам быть дальше. А что касается моего

мнения о претензиях заводских товарищей, то ведь их претензии — это обычные претензии производственников. Производственникам всегда кажется, что только они делают нечто важное и необходимое, а люди науки паразитируют на их труде.

— Но в данном случае, вы же сами этого не отрицаете, новый способ разливки нашли именно производственники.

— Они набрели на него вслепую. Это был, так сказать, чисто эмпирический путь. В таком виде он остался бы навсегда достоянием одного цеха. Я подвела под него теоретическую основу. Теперь он может стать достоянием всей отечественной металлургии. Разве это не ясно?

Пальцы Серафимы Антоновны уже не дрожали. Она говорила веско, доказательно.

Расстались они каждый при своем мнении. Павел Петрович был обескуражен. Его ободрил Бакланов, который сказал:

— Ничего, ничего, Павел Петрович. Создадим комиссию. Она разберется. Факты всегда сильнее словесных перепалок.

Комиссия работала несколько дней и подготовила заключение: доктор технических наук профессор Шувалова присвоила труд металлургов Верхне-Озерского завода. Павел Петрович и Бакланов решили, что о заключении комиссии сообщат на партийном собрании. Согласиться с Мелентьевым в том, что об этой истории надо умолчать, они не могли.

На партийном собрании с докладом об изменениях в тематическом плане выступил Бакланов. Он обстоятельно разбирал каждую тему и, находя недостатки в их постановке, напоминал о том, что ведь тему-то однажды рассматривали на партийном собрании, как же случилось, что этих недостатков никто не заметил, не сказал о них вовремя, не встревожился по поводу них. Не общей ли вялостью общественной жизни института объясняется такое положение, не тем ли, что партбюро слишком много уделяет внимания мелочам, разборам дрязг и сплетен и слишком редко ставит на обсуждение крупные, коренные вопросы.

Павел Петрович, избранный в президиум собрания, смотрел в зал, на лица людей, и старался по выражению лиц читать, кого поддерживают эти люди: передовых или

отсталых. И здесь, как всегда и как везде, как было, еще когда Павел Петрович работал слесарем, когда учился, когда выступал на колхозных собраниях, когда жил жизнью родного завода, люди в массе своей были на стороне передового, а не отсталого. Но видел он лица и такие, на которых не было одобрения тезисам Бакланова. Были кривые усмешечки, шепотки на ухо скептически щурившемуся соседу, пожимания плечами.

Павел Петрович увидел в рядах женское лицо, устремленное в сторону докладчика. Женщина была молодая, с веселыми глазами. Доклад ей явно нравился. Заметив, что Павел Петрович смотрит на нее, она ему улыбнулась. Павел Петрович с трудом вспомнил, кто это. Это была жена Румянцева, Людмила Васильевна, с которой он познакомился на памятном вечере у Шуваловой.

Павел Петрович не заметил, как в зале установилась напряженная тишина.

— Товарищи,— говорил в это время Бакланов,— в нашей борьбе за то, чтобы наука верно служила народному хозяйству, чтобы она была мощным рычагом движения вперед, чтобы как можно скорее воплотилась в жизнь ленинская научная формула коммунизма: советская власть плюс электрификация всей страны, для чего понадобится невиданное количество машин, а следовательно, металла, металла, металла, — мы с вами должны быть непримиримыми даже к малейшим своим недостаткам, мы должны быть самокритичны, мы не должны щадить мелкое самолюбие, лишь бы не страдало наше общее дело.

После такой длинной фразы он перевел дыхание.

— Товарищи,— продолжал он,— всем нам известна наша уважаемая именитая сотрудница, дважды лауреат Сталинской премии и орденоносец Серафима Антоновна Шувалова. За много лет работы в институте, точнее — за пятнадцать лет, я не слышал ни одного критического замечания в адрес Серафимы Антоновны. А разве так уж безупречна ее работа?

Зал загудел, и трудно было понять, что́ означал этот гул: одобрение словам Бакланова или протест. Видимо, тут столкнулось и то и другое.

— У нас недавно произошел пренеприятнейший случай,— продолжал Бакланов, утерев лицо платком.— Если бы его не было, мы и сейчас бы, наверно, промолчали. Но

он произошел, и мы с товарищем Колосовым решили его обнародовать перед коммунистами. Случай такой,— говорил Бакланов.— На основе официального отчета товарища Шуваловой и соответствующим образом оформленных документов, патентов и прочего одному из заводов мы представили счет за внедрение оригинальной, экономически эффективной, совершенно новой технологии разливки стали. А что же оказалось? Оказалось, что сотрудники из группы товарища Шуваловой, изучив технологию разливки, примененную на этом заводе по инициативе заводских инженерно-технических работников, изложив ее на бумаге, выдали за свое достижение. Причем даже и эти сотрудники оказались за бортом. Работа пошла за подписью одной товарища Шуваловой. Разве так мыслится нами связь науки и производства?

— А может, это вранье, весь ваш протест заводских товарищей? — крикнули в зале.

Павел Петрович заметил, что кричал Харитонов.

— Мы производили расследование, была создана совместная комиссия из представителей нашего института и завода,— ответил на реплику Бакланов.

— А при чем же здесь Шувалова? — теперь крикнул Липатов.

— Как то есть при чем? Присвоив чужой труд,— продолжал Бакланов,— она его даже запатентовала, чего не догадались сделать заводские товарищи. Она считает, что победителей не судят. Но в данном случае победители-то, однако, не из группы товарища Шуваловой, а заводские товарищи.

В зале шумели, говорили, кричали. Председательствующий Мелентьев стучал толстым карандашом о графин — не помогало. Это было неслыханно, что кто-то осмелился критиковать «саму» Шувалову, и ка́к критиковать, в какой форме, какими словами! Покачнулись все основы институтской иерархии, священные табу теряли свою силу.

Мелентьев вскочил и крикнул:

— Тише! Тише!

Порядок кое-как установился. Во второй части своего доклада Бакланов говорил о правительственном задании. О том, какая ответственность возлагается этим заданием на институт и на каждого сотрудника. Но говорить ему было трудно: в зале все время возникал шум.

Едва доклад был закончен и не успел еще Мелентьев спросить, кто хочет слова, как прогремело зычное Самаркиной:

— Дайте мне!

Самаркина гневно заговорила о том, что она впервые на таком безобразном собрании, где позволяют выливать на лучших людей института ушаты грязи, что полезнее было бы заниматься не копанием в старых отчетах, а задуматься над тем, чтобы люди, имеющие дипломы кандидатов наук, занимали в институте соответствующие их званию должности и получали бы соответствующую зарплату.

— Об этом, о должности и зарплате для себя, она говорит на любых собраниях, — сказал Павлу Петровичу Бакланов.

— У нас на заводе тоже такой был, помощник мастера,— ответил шепотом Павел Петрович.— Идет, предположим, производственное совещание, он выйдет, огладит усы и скажет: «А вот в нашем цехе стружку не убирают». Идет отчетно-выборное профсоюзное собрание — он опять свое: стружку в цехе не убирают. Даже как-то на митинге по поводу выпуска нового займа заговорил о стружке.

— Так сказать, мастер одной песни,— сказал Бакланов.— И, наверно, слыл бесстрашным критиком начальства?

— А как же! Корреспонденты первым делом к нему шли. И в газетах эта стружка фигурировала. Рупор масс!

Самаркина исчезла с трибуны незаметно. После нее сразу возник Липатов, который тоже долго чем-то возмущался. Потом вышел молодой сотрудник Игольников из группы Шуваловой и откровенно рассказал все, как было.

— Да, — говорил он, — получилось ужасно плохо. Мы-то думали, что обобщаем опыт производственников, мы же не знали, что... что... Серафима Антоновна,— он с великим трудом выдавил из себя это имя, — что Серафима Антоновна так воспользуется достижениями завода. Я прошу не думать... Мы всеми силами...

Прения длились до двенадцати часов ночи, были они бурные, противоречивые. Большинство речей ограничивалось историей с Шуваловой, и только немногие говорили о работе института в целом, о правительственном задании. В заключение выступил Павел Петрович и рассказал о том, ка́к он мыслит себе принципы, на которых должна

строиться работа института. Он говорил, что партия зовет работников науки решать важнейшие народнохозяйственные проблемы на основе обобщения передового опыта, так, чтобы научные исследования непременно доводились до широкого практического применения. А исследования работников науки должны быть направлены как на разработку теоретических проблем, без чего невозможно успешное развитие самой науки, так и на укрепление связи науки с производством, без чего наука не может содействовать техническому прогрессу и росту производства.

— Некоторые думают, — говорил он, — я слышал такие разговоры в институте, что укреплять связь науки с производством — это всего-навсего усиливать научную помощь производству. Однобокое понимание вопроса! Практика показывает, что от союза науки и производства выигрывают обе стороны. Промышленность — пусть это учтут товарищи вроде товарища Красносельцева, который, как мне известно, держится других взглядов,— повторяю, промышленность давно уже оказывает огромное влияние на развитие науки. Целые разделы науки создавались и развивались с помощью техников, которые решали свои производственные задачи. Таков путь создания гидродинамики, аэродинамики, механической теории теплоты... Практика ежедневно рождает множество новых фактов, и когда ученые устанавливают прочные связи с производством, они тем самым получают доступ к этим новым фактам, получают опору для дальнейшего движения вперед в своей научной деятельности. Так рождается творческий союз науки и производства — крупнейший фактор прогресса и самой науки, и производства, которому наука служит.

Павла Петровича слушали очень внимательно. Это ободряло его, и он продолжал говорить о том, что решение всякой научно-технической задачи должно распадаться на несколько этапов: чисто теоретические исследования, закладывающие основы новой технологии, лабораторные исследования, которые должны подтвердить или уточнить теоретические выводы, и, наконец, полупромышленные или промышленные опыты, с помощью которых решается вопрос о технической целесообразности промышленного внедрения. Теоретические и лабораторные исследования в области техники, оторванные от практической работы, не могут быть эффективными.

Многие проблемные вопросы техники требуют так много сил и творческой энергии, что быстрые и значительные достижения возможны лишь при содружестве науки и производства. Недопустимо топтание на месте. Или надо немедленно прекращать заводские опыты, если результаты их представляются бесперспективными, или быстро переходить от этапа к этапу, сосредоточивая крупные силы и средства на решении важных проблем. Всякий другой подход к этому делу приводит лишь к потере значительных средств и, что еще хуже, тормозит технический прогресс.

— Вместе с тем, вместе с необходимостью быстро давать рекомендации производству, мы, товарищи, должны заглядывать и в будущее, и не только в ближнее, но и в довольно далекое. Хотя наш институт и отраслевой, а не институт Академии наук, где, как недавно сказал один наш товарищ, закладываются фундаменты науки, все же и мы не должны далеко стоять от решения фундаментальных научных проблем. Мы обязаны в них участвовать. Хочется только сказать вот о чем. Есть такие товарищи, которые очень любят работать в области исследования различных физических явлений с соответствующей математической обработкой различных закономерностей. Это все, конечно, хорошо, это понятно. Нельзя не считаться со складом ума каждого из нас. Но вся беда заключается в том, что творческая мысль этих товарищей не идет дальше, не развивается в направлении расчета, конструирования, создания новых машин и аппаратов на новых принципах и новых основах. Между тем известно, что все крупные ученые — физики, электротехники — были не только теоретиками, но и инженерами-расчетчиками, инженерами-конструкторами. И все они были тесно связаны с промышленностью, с производством. От этого, приближенно говоря, сильно увеличивалась производительность их научного труда. Для чего я это говорю? Для того, что не только на заводах, в цехах, в колхозах надо думать о производительности труда, но и в науке, в научных учреждениях.

Уже когда собрание было закрыто, к Павлу Петровичу подходили люди, которых он даже и в лицо еще не знал, пожимали ему руку и говорили: «Спасибо, Павел Петрович!», «Спасибо, товарищ Колосов!» Он не знал, к чему относить эти благодарности.

— За перспективу,— как бы догадавшись, что это надо объяснить, сказал Румянцев и сделал округлый жест руками.— А то теоретиков у нас много, одни теоретики, да толку в смысле ясности мало. Бродим, что называется, в научном тумане.

Рядом с ним стояла его жена, Людмила Васильевна, и улыбалась.

— А я и не знал, что вы у нас работаете,— сказал ей Павел Петрович.

— Я же говорила вам, что мне всегда и во всем не везет,— ответила она.— Меня даже не замечают нигде, не то что... Обо мне ничего не знают, обо мне никогда и не вспоминают. Гриша, хоть бы ты в гости Павла Петровича позвал. Ну что ты, ей-богу, Гриша, какой!

— Верно, Павел Петрович! А что́ вдруг на днях да бац к нам в гости? На дачу. Мы уже выехали. Славно там. Речка. Рыбка.

— Что ж, спасибо, учту.

— Ну, это значит — наверняка ничего не выйдет,— сказала Людмила Васильевна.— Договоритесь точно, точно, слышите? Ну, Гриша, ну что ты молчишь? На субботу, например, договоритесь.

— Как, если в субботу? — повторил Румянцев.

— Не в эту, а в ту или, еще вернее, через ту, — сказал Павел Петрович.— Эта уже послезавтра, не успеть спланировать дела.

— Надеетесь, что забудем? Не выйдет, не выйдет! — воскликнула Людмила Васильевна.— Если вы забудете, если Гриша забудет, я-то вспомню, можете во мне не сомневаться.

Среди ночи Павел Петрович медленно шел один по городу. На востоке небо уже светлело, близилась заря. Павлу Петровичу вспомнились былые зорьки, с удочками, с поплавками, когда сидишь на берегу в полушубке и в валенках, только коленки голые, они зябнут, их едят комары. Он подумал, что, пожалуй, надо будет как-нибудь на дачу съездить, не к Румянцевым, так к кому другому, подышать загородным воздухом, может быть, и рыбки половить. У них с Еленой дачи никогда не было. «Ну, зачем нам дача,— говорила Елена,— зачем? Мы же еще молодые. Как можно сиднем сидеть все лето на одном месте! Поездим лучше по стране, людей посмотрим, себя покажем». И они каждое лето ездили то в Крым, то на Кавказ, то на Украину или на Урал.

В сердце защемило от воспоминаний. Было нестерпимо думать, что вот он придет домой, возбужденный, взволнованный собранием, а там не будет ее, Елены, которая бы его выслушала, поняла, сказала бы какие-то простые и для других, может быть, ничего не значащие слова, но для него, Павла Петровича, необходимые, значительные и важные. Он не спешил идти домой. Зачем?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

— Если хочешь видеть своего Виктора,— сказала однажды Варя, возвратясь с завода и зайдя в Олину комнату,— то пожалуйста. Приходи в наш заводской Дом культуры и увидишь.

— Почему это — своего? — ответила Оля, настораживаясь. Но поскольку Варя промолчала, она через некоторое время спросила: — А откуда ты знаешь, что он будет, и вообще что́ там у вас?

— Я была в цехе и видела, как он получал билет. А что там будет? Будет молодежный вечер. Артисты приезжают, самодеятельность, танцы, ну как всегда. Билет, между прочим, он брал один, — многозначительно добавила Варя.

— Не понимаю твоих намеков,— рассердилась Оля.— Неужели ты думаешь?.. Как ты могла подумать! Если я призналась, что поступила неправильно, это совсем не значит, что я дала право говорить обо мне что угодно. Я, кажется...

— Разошлась, разошлась,— миролюбиво сказала Варя.— Да я ничего и не говорю. Я так просто. Не хочешь — не ходи. Мне-то что! — Она ушла к себе.

Оля хмуро и вяло копалась в книгах, перелистывала журналы и тетрадки с конспектами. В голову ей ничто не шло. Надо прекратить эти глупые мучения, думала она. Надо пойти и сказать этому парню, что она вовсе так о его поступке не думает, что она даже и не знает, как это с ее стороны получилось, и все, инцидент будет исчерпан!

Оля думала так взволнованно и нервно еще и потому, что побывала в этот день у Липатовых.

Люся и Георгий жили у Люсиных родителей. Люсин отец был военным врачом. Оля не застала его дома, она видела только его фотографии, которые ей показывала Люсина мать. На фотографиях это был крупный, с короткой стрижкой, седой человек, крепкий, с энергичным умным взглядом; семнадцатилетним мальчишкой он участвовал в гражданской войне, боролся против белых, поэтому на одной из групповых фотографий он был изображен с винтовкой в руках и за ремнем у него были две гранаты. Люсина мать прошла с ним рука об руку долгую жизнь: она была когда-то комсомольским работником, теперь в райкоме партии заведовала отделом; Оля не стала расспрашивать каким. Она застала пожилую женщину дома случайно, потому что у той болели ноги, из-за чего ей пришлось взять больничный лист.

Кроме Люси, у ее родителей было еще двое сыновей, оба погибли на фронте. Люся осталась единственной дочкой, ее берегли, над нею тряслись, ее любили. Когда она вышла замуж, ее категорически отказались отпустить из дому. «Никогда и никуда, только после моей смерти»,— заявил отец. Молодоженам отвели одну из четырех комнат просторной квартиры, отдали им лучшую мебель. Георгий Липатов уехал от своих родителей. Родители Георгия не понравились родителям Люси, главным образом ее отцу, — мать еще готова была видеть в них какие-то хорошие черты, но отец прямо сказал: «Пустые люди с пустыми сердцами. Мне не о чем с ними говорить». И в самом деле, ему не о чем было с ними говорить. Липатов-отец по окончании института на производство не пошел, остался при институтской кафедре; потом, когда в городе создавался Научно-исследовательский институт металлов, его взяли туда научным сотрудником, но он и от науки остался в стороне: в новом институте его привлек так называемый издательский сектор, который ведал изданием «Ученых записок». Липатов-отец превратился в редактора. Он редактировал статьи, брошюры, «Ученые записки», книги. И с каждым годом делал это все хуже, так как с каждым годом все больше отставал от живой науки и от жизни. Утратив перспективы, он стал запивать. Со временем и хмель действовал совсем не так, как хотелось. Выпьет Липатов, раскиснет и тут же уснет.

О жене Липатова-старшего Люсина мать сказала, махнув рукой: «Замучилась, видимо, с ним и рада, когда он спит, никого не беспокоит. Что́ бы бороться против его пьянства, — так нет, наоборот, чуть он очнется, протрезвеет, она снова в графинчик ему наливает. Странная семейка. Вот и сына так воспитали. С нами он вежливый, льстивый, образцовый зять. А Люсенька от него в слезах ходит».

Оля давно не виделась с Люсей и теперь увидела ее несчастную, с большим животом, с лицом в желтых пятнах. Была такая розовая, хорошенькая, стала такая зеленая, некрасивая.

— Бедная ты моя! — сказала Оля, оставшись с ней наедине. — Что́ бы для тебя сделать? Чем тебе помочь?

— Я вовсе не бедная,— ответила Люся с улыбкой.— Откуда ты взяла, что мне надо помогать?

— Но ведь Георгий... он тебя мучает.

— Просто чепуха какая-то! — сказала Люся, краснея.— Никто меня не мучает. Совершеннейшая ересь! Это мамины выдумки. Я очень люблю Георгия, он очень хороший. Его мои родители не любят. Но не им же с Георгием жить, и их любовь или нелюбовь тут особого значения не имеет.

Люся или в самом деле верила в своего Георгия, или притворялась, что верит, и говорила она о нем так, будто для нее нет на свете человека дороже и любимее, чем он. Оля не решилась передать ей его разговоры о том, что он загубил свою жизнь, женившись на Люсе, что ему нужна другая женщина, что он намерен покинуть Люсю, чтобы развязать себе руки, уйти из аспирантуры, стать преподавателем в техникуме и зажить свободной содержательной жизнью творческого человека, а не мужа мещанки.

Оля ушла, снова и снова не умея разобраться в узле тяжких жизненных противоречий. Но почему, почему у людей так устроено? Почему они не могут жить счастливо? Что им мешает, почему непременно должны быть препятствия к счастью? А тут еще Варя тронула свежую рану, напомнив о Викторе Журавлеве.

Оля не умела, как Варя, переживать свои огорчения, сомнения, неприятности в одиночестве. Оле непременно нужен был собеседник, советчик, человек, который бы понял ее, помог ей. Ну кто у нее есть такой? Отец? Он целиком ушел в институтские дела; к тому же вокруг него, как противная надоедливая муха, жужжит Серафима

Антоновна. Его никогда не дождешься домой. Дядя Вася? Дядя Вася тоже вечно занят. Пойди найди его. Варя? На Варю Оля сердилась. Действительно, что это за глупые намеки: «своего Виктора»! Оля вспомнила про Федора Ивановича Макарова, поколебалась не больше полминуты и побежала к телефону. Дома его не оказалось. Оля позвонила в райком.

— Федор Иванович, извините, пожалуйста,— быстро заговорила она, когда он ответил.— Пожалуйста, извините. Но мне бы очень надо с вами поговорить. Мне посоветоваться надо, Федор Иванович. О чем? Ну как же я это по телефону? Вы все шутите. Вовсе не по вопросу женихов. Ладно, я сейчас же приеду, сейчас же. Если удачно попаду на автобус, то минут через двадцать буду у вас.

Варя не успела спросить, куда она собралась, Оли уже не было дома.

Через полчаса дежурный милиционер в вестибюле Первомайского райкома партии проверял ее комсомольский билет. «Второй этаж, направо, комната шесть»,— объяснил он.

Федор Иванович был в кабинете один.

— Тихо как у вас везде,— сказала Оля, когда он усадил ее напротив себя в кресло.

— Да, по вечерам тихо, не подумаешь даже, какое тут кипение днем. Днем все вертится, вертится, не успеешь кончить с одним, уж другое подоспело, третье...

Оля шла к Федору Ивановичу с множеством вопросов, сомнений, всяческих неразрешимых проблем. Но вот, оказавшись с Федором Ивановичем лицом к лицу, она вдруг почувствовала растерянность, не знала, что́ и сказать; так ли уж все это существенно, так ли важно, чтобы чуть ли не ночью врываться в кабинет к секретарю райкома?

Несколько минут шел совершенно незначительный разговор, Федор Иванович спрашивал, как идут у нее учебные дела, как поживает Павел Петрович, нет ли известий от Кости с границы. Оля, в свою очередь, спросила о здоровье Алевтины Иосифовны. И, увидав, что ей уже ничего не остается — или начинать важнейший для нее разговор, или попрощаться и уйти,— она с отчаянием воскликнула:

— Федор Иванович! Почему все так получается? Вы же старый коммунист, вы многое видели, многое знаете! Почему, почему все так в жизни? — Она торопливо стала рассказывать о Тамаре Савушкиной, о Люсе с Георгием,

о каких-то, по ее мнению, хитрых действиях Шуваловой вокруг ее отца.— Почему люди не могут жить счастливо, что им мешает? — воскликнула она.— Я замучилась с этими вопросами. Где же учиться тому, как решать их, как разбираться в них?

Макаров слушал и думал: а где учился он тому, как решать вопросы жизни? Кто учил его этому? Не сама ли жизнь, в которой он тоже совершил немало, да, немало всяких и всяческих ошибок?

— Оленька,— сказал он,— потому так труден путь к счастью и потому у людей так много помех на пути к нему, что всего лишь треть века отделяет нас от того времени, когда и в нашей стране господствовал страшный принцип: человек человеку волк. Только треть века! А принцип жил долгие века, въедался в сознание, в кровь и плоть людей... Если ты думаешь, что я говорю тебе слова из газетных передовиц и прописные истины...

— Что вы, Федор Иванович, вовсе я так не думаю! Я вас понимаю, вы хотите сказать о пережитках капитализма в сознании людей. Но, Федор Иванович, мы-то, молодые, мы не жили при капитализме, откуда у нас пережитки?

— От нас, от ваших родителей, — спокойно ответил Макаров.— Думаю, что дальше, Оленька, пойдет так: чем у отцов останется меньше пережитков, тем меньше их будет и у детей, а чем меньше будет у детей, тем меньше, в свою очередь, у внуков, у правнуков...

— А пока что же?

— А пока?.. Пока... Мы с тобой, я коммунист, ты комсомолка, всеми своими силами должны пока бороться против этих пережитков. Это, знаешь, в общем-то и есть то, для чего мы с тобой вступали — я в партию, ты в комсомол. Понимаешь?

— Я это понимаю, Федор Иванович,— сказала Оля, прижимая руки к груди.— Но что же вот делать с ними, с Георгием и Люсей Липатовыми? Так оставить... ждать...

Макаров задумался, глядя в темное окно.

— Надо все-таки подождать,— ответил он — Видишь ли, Оленька, когда люди рано женятся, то первое время их союз держится... ну как бы тебе сказать?.. — на новизне, что ли, на остроте чувств и ощущений. В этот момент нет того, что называют разницей в характерах, которыми потом «не сошлись». И вот, Оленька, если в эту пору чувствований не начнет складываться меж людьми

дружба — дело пропало. Характерами они вскорости не сойдутся. Нужна дружба, дружба такая, чтобы люди не могли потом один без другого. Тогда брак получится прочный, за него можно не опасаться. А у твоих Липатовых дружбы еще не получилось. Но спешить куда же? Подождите, может, еще получится.

— Не знаю, Федор Иванович, не знаю, худо они живут,—сказала Оля в раздумье.

— А все-таки подождите, не мешайте им. Если он, молодец этот, легкомысленно ведет себя в отношении других девушек, тут вы по комсомольской линии можете прикрикнуть на него, и должны прикрикнуть. А там... внутрисемейное... подождите, говорю, полгода, годик. Если и тогда ничего не получится — пусть разойдутся, не мучают друг друга. Как ты считаешь?

«Разойдутся?...» — снова задумалась Оля. Ей почему-то стало очень жаль и Люсю и Георгия. Она вспомнила, как дружно они сидели, бывало, на лекциях, как танцевали на студенческих вечерах, как всюду бывали вдвоем и вдвоем. Вспомнила их свадьбу, пирушку, вылетевшую в потолок пробку от шампанского. Тогда и вино все вылетело на абажур, совсем немного в бутылке осталось. Люся и Георгий сидели глупые, смешные, счастливые, им кричали «горько», и они послушно целовались. И вот вдруг они разойдутся. Неужели это все так просто в жизни: встретились, пожили вместе, привыкли один к другому — и до свидания, расходимся? Даже страшно.

— Что вы, Федор Иванович! — сказала Оля.— Лучше бы не надо им расходиться.

— «Лучше бы не надо»! — Макаров усмехнулся.— Что же, лучше жить, не любя, и мучиться? А представь себе, какая будет у них жизнь, если, допустим, молодец этот, оставаясь якобы в семье, будет искать себе временных подруг, приятных его сердцу? Допустим, юная его жена это узнает, это же не жизнь будет им обоим, а худший вид каторги. А допустим, она не узнает, тоже, знаешь, не лучше,— на лжи будет основана семейная жизнь. А ложь — скверный цемент для такого здания.

Еще долго беседовали Федор Иванович и Оля. Одно цеплялось за другое, и все было важное, жизненное, обо всем надо было поговорить обстоятельно, во всем разобраться.

Для Федора Ивановича эта беседа имела особое значение. Несколько часов назад он почти поссорился с товари-

щем Ивановым, заведующим отделом пропаганды и агитации райкома. Товарищ Иванов утверждал, что в последние годы пошла никуда не годная молодежь, что она почти ни над чем не задумывается, что для нее все ясно: надо получать такую специальность, которая лучше всего оплачивается, надо зарабатывать как можно больше денег и вовсю пользоваться благами жизни, теми самыми, которыми эта молодежь уже привыкла пользоваться под родительским крылышком; молодежь-де не знает трудностей, следовательно — не закаляется, ее идейные мускулы дрябнут, и что же будет с нашим обществом через десять — двадцать лет, когда на смену нам придут они, эти изнеженные, залелеянные и захоленные. Товарищ Иванов привел множество фактов, главным образом из газет, из фельетонов, из статей, судебных отчетов. Везде и всюду говорилось о детях обеспеченных или высокопоставленных родителей, о детях, которые позорили своих родителей.

Федор Иванович вовремя не нашел, что ответить товарищу Иванову. Он только сказал: «У меня много друзей и знакомых. Есть несколько директоров крупнейших заводов. Есть академики. Есть секретари обкомов партии, министры. И ни у кого из них дети не выросли негодяями. А что касается закалки — это верно, надо молодежь закалять, ну и давайте думать, как это делать».

Разговаривая с Олей, он думал: «Факты есть факты. Возражать против них нужды нет. Но обобщил их товарищ Иванов по-обывательски, и особенно по-обывательски он поставил вопрос: что ж, мол, будет через десять — двадцать лет? Не так, по-обывательски, надо рассуждать, а надо задумываться над тем, как избежать этих фактов. Товарищ Иванов прав в одном: надо отбросить самоуспокоенность, надо волноваться и действовать. Ведь вот Оля, дочь коммуниста с двадцатилетним стажем, но даже и по ней, по ее рассуждениям, по ее вопросам видно, что очень и очень многое в жизни для нее туманно и неясно».

Федор Иванович не мог не видеть вместе с тем и того, что его собеседница отнюдь не принадлежит к категории молодых девиц, о которых говорил товарищ Иванов. Она отнюдь не собирается выходить замуж за человека любого возраста, лишь бы обеспеченного, имеющего персональный автомобиль, получающего хорошие деньги, который с первых же дней женитьбы мог бы создать жене «красивую жизнь», напротив того, Оля горячо говорит об идеалах,

о чистоте чувств и взаимоотношений, о многом таком, чем в свое время волновалось и его, Федора Ивановича, поколение.

Нет, неверны, неверны обобщения товарища Иванова. Они ведут не к действию, а к критиканству и бездействию.

На прощание Федор Иванович просил Олю заходить к нему почаще, побольше рассказывать обо всех молодежных делах, обещал помогать советом, а если понадобится, то и делом, и проводил ее до вестибюля райкомовского здания.

— Папаше привет! — сказал он, помахав рукой со ступенек лестницы.

В эту ночь Федор Иванович долго не ложился. «Если мы при нашей жизни не успеем обводнить Кара-Кумы и повернуть течение сибирских рек с севера на юго-запад, — думал он, расхаживая по кабинету, — это еще ничего, за это нас судить не будут, но если мы плохо воспитаем молодежь, вот этого история нам не простит, вот за это мы будем сурово наказаны».

2

Субботним утром Оля позвонила в комсомольский комитет завода имени Первого мая, который про себя продолжала называть «папин завод», и попросила, чтобы ей, как члену бюро райкома, оставили один билет на молодежный вечер. Она упомянула члена бюро райкома, потому что боялась, как бы ей не отказали. Никиты Давыдова на месте не было, девушка, технический секретарь, обещала все сделать, сказала, что билет непременно будет и пусть товарищ Колосова не беспокоится.

Вечером товарищ Колосова была встречена у входа в фойе Дома культуры Никитой Давыдовым, который вручил ей билет и проводил в зал. Олино место оказалось рядом с местом Никиты. Оно было даже не в первом, а в каком-то литерном ряду, перед самой сценой. Оля очень огорчилась этим: ей надо было увидеть Виктора Журавлева, а как его отсюда увидишь? Придется крутить головой, на тебя будут шикать, еще подумают, что ненормальная.

С Никитой была его жена, медлительная молодая женщина в голубом шелковом платье, которое шуршало. Ни-

кита познакомил с ней Олю, сказал: «Оля. Нина». Нина принялась расспрашивать о чем-то, Оля не сразу даже поняла, что ее расспрашивают об условиях приема в аспирантуру. Оля все оглядывалась по сторонам. Зал был громадный, народу в нем было, как сказал Никита, не менее восьмисот человек, и среди бесчисленного числа парней и девчат отыскать Виктора Журавлева оказалось делом совершенно безнадежным. Если бы, конечно, можно было уйти от Нины, да походить одной по всем фойе и гостиным, да еще в курилки заглянуть, то, может быть, он бы и нашелся. Но как тут уйдешь?

Варя была права: выступали артисты, показывала себя заводская самодеятельность, все было как всегда на молодежных вечерах в клубах, и, как всегда, после концерта начались танцы. Оля даже на танцы осталась, лишь бы увидеть Журавлева. Но его не было, и она ушла расстроенная. Шла по улице и думала: как все это глупо, как нелепо и противно! Получается ведь так, будто она бегает за этим парнем. Отвратительная история, мерзкая. Надо увидеть его и покончить, покончить со всей этой чепухой.

Воскресенье Оля провела не выходя из своей комнаты, была злая, раздражительная. Отец и Варя сидели вдвоем в столовой; отец принялся что-то играть на пианино одним пальцем. Оля узнала мелодию песни про калитку. Потом Варя и отец ушли гулять. Оля все сидела и смотрела в окно и с удивлением ловила себя на том, что в голове у нее нет ни одной сколько-нибудь определенной мысли, всё какие-то обрывки, да и те заслонены чем-то серым, нудным, бесконечным. Это серое, нудное, бесконечное было ожиданием понедельника.

В понедельник чуть свет Оля, вместо того чтобы ехать к себе в институт, вслед за Варей отправилась на завод.

— Что-то ты к нам зачастила! — удивился Никита Давыдов, когда она пришла к нему с просьбой заказать ей пропуск.

— Ничего не зачастила,— ответила Оля бодро.— Просто мне надо срочно увидеть Стрельцову. Знаешь, из лаборатории? Это моя подруга...

— Ничего не понимаю,— сказал Никита.— Она мне говорила, что живет у вас...

— Ну, конечно, у нас,— перебила Оля.— Но она уже ушла, когда выяснилось... Ну, в общем, выяснилось обстоятельство, о котором я непременно должна ей сообщить.

— Кто-то из вас что-то путает,— сказал Никита, удивляясь все больше.— Или ты, или она. Ничего не понимаю. Она же в субботу была на заводе в последний раз, приходила в партийный комитет сниматься с учета, зашла ко мне, попрощалась, сказала, что с понедельника выходит на работу в Институт металлов, что твой отец взял ее туда...

Оля сидела красная, она понимала, что поймана на вранье; что же делать, надо врать дальше.

— Мы с ней в ссоре,— сказала она.— Три дня не разговаривали. Я, конечно, слышала, что ее хотят взять в институт. Но что уже взяли, от тебя первого слышу. Что ж, придется ехать в институт.— Оля встала, стараясь изобразить на лице хотя бы нечто похожее на улыбку, и ушла.

На улице она впала в полнейшее отчаяние. Ну зачем ей понадобилось это глупое вранье? Сказала бы: надо повидать Журавлева — и вот давно бы уже с ним разговаривала возле его третьего мартена. Сколько раз давала себе слово не врать, быть такой, как отец, который везде и всюду говорит правду, и от этого ему гораздо легче жить, чем ей. Как же быть теперь, неужели нет никакого выхода из нелепого положения?

Оля пошла в райком комсомола, и там, в карточке, ей нашли домашний адрес Журавлева. Она сказала, что Журавлев ей очень нужен, потому что его хотят пригласить в институт, чтобы он рассказал студентам о производстве стали.

— Уж лучше бы пригласили твоего отца, это известный сталевар,— сказала заведующая сектором учета.— А то придумали тоже! Что Журавлев понимает? Закрыть заслонку, подбросить чего-нибудь, подать кочергу. Смешно!

— Отец само собой... Может быть, и отец приедет. Но нужен еще и хороший производственник. Полнее будет впечатление.

Первая смена на заводе кончила работу в пять часов. Оля приехала к дому, где жил Журавлев, ровно в пять. Это был новый дом на бульваре Железнякова, недалеко от старого городского пруда, через который вел мост. Рядом с домом Журавлева стоял старинный дом, широкий балкон его поддерживали черные мраморные карпатиды. Оля села на скамью бульвара, в тени деревьев, раскрыла книжку, но смотрела не в нее, а в ту сторону, откуда

с трамвая или с троллейбуса должен был идти к своему дому Журавлев. Она еще не знала, что́ сделает, когда Журавлев появится перед нею: подойдет ли к нему, окликнет его, — там будет видно, главное — надо его не прозевать.

Оля просидела на скамье до семи часов; до половины девятого она прошагала по тротуару перед домом; в половине девятого поднялась на третий этаж и решительно нажала кнопку звонка в квартиру номер двенадцать.

— Виктор Журавлев здесь живет? — спросила она, когда ей отворила пожилая женщина в кофте из пестрой фланели.

— Здесь, милая, здесь.

— Можно его видеть?

— Так он же на заводе. Во вторую смену он. Ночью вернется. Всю неделю так будет, во вторую смену. Да вы заходите к нам, посидите, отдохнете.

— Нет, спасибо. Я в другой раз. Сейчас я спешу. До свидания! — Оля побежала вниз по лестнице.

— Может, что передать ему? Как сказать-то? — услышала она голос женщины, о которой подумала, что это мать Виктора.

— Ничего. Я еще раз приду.

Оля стремительно бежала вниз по лестнице, она уже выскочила было на улицу. Но на улице, прямо перед подъездом, на тротуаре стояли ее отец и Серафима Антоновна. Оля резко повернула назад и встала за дверью. Ни отец, ни Серафима Антоновна ее не заметили, так они были заняты разговором.

— Запомните, Павел Петрович,— говорила Серафима Антоновна непривычным для Оли голосом: резким, с визглинкой и дрожью.—Я этого вам никогда не прощу! Отныне я буду кусаться. Я умею кусаться. Я не позволю, чтобы меня шельмовали. Вы не захотели быть со мной. Я вам это предлагала. Вы пошли своей дорогой, неверной дорогой, ошибочной.

— Ну что же в этом страшного, Серафима Антоновна?— говорил отец.— Ведь всех нас, когда мы ошибаемся, критикуют, и это нам на пользу.

— Я такой пользы не желаю, не нуждаюсь в ней! Нет, меня не так-то легко уничтожить, нет! — Серафима Антоновна волновалась все больше.

— Невозможно слушать,— сказал отец, тоже волнуясь.— Кто вас хочет уничтожить?

Они пошли дальше, и Оля не расслышала, что ответила Серафима Антоновна. Оля выглянула из-за двери. Она увидела, как Серафима Антоновна вошла в подъезд дома с черными кариатидами. Отец постоял с минуту, перешел через дорогу на бульвар и медленно зашагал среди гуляющих.

Оля тоже брела среди гуляющих на бульваре, ее злила, бесила, вгоняла в слезы невозможность увидеть Журавлева. Все время цепь неувязок и неожиданностей. Как нарочно кто-то подстраивает.

Дома она окончательно не сдержала себя и, не скрывая своего настроения, накричала на Варю, почему та делает все тайно, даже не сказала, что перешла с завода в институт.

— Ты же со мной сама не захотела разговаривать в субботу,— ответила Варя спокойно.— А я как раз обо всем этом хотела тебе рассказать, хотела с тобой посоветоваться...

— Со мной не о чем советоваться! —закричала Оля.—Ищи других советчиков!

Она убежала к себе, упала на постель и не могла понять, что́ с ней происходит, почему она перестала владеть собой, почему у нее такая путаница в голове и в сердце. Варя стучалась к ней, но Оля не ответила, Оля плакала и звала маму: «Миленькая моя, родная, хорошая, ты одна бы меня поняла, ты одна бы помогла мне, одна приласкала».

Назавтра она снова отправилась на завод, но уже во время второй смены, и за пропуском пошла не в комитет комсомола, а в партийный комитет, сказала там, что ей нужен Журавлев, которого студенты института хотят пригласить к себе. «Пожалуйста»,— сказали ей и позвонили в бюро пропусков.

Оля оказалась в том же самом сталелитейном цехе, где была зимой. Полыхали огни над ковшами, ревело пламя в мартенах, гудели электрические дуги в электропечах, звонили краны, и шипел паровоз. Оля пробиралась между горячими изложницами, между формами, отливками, потом среди железного хлама, спрессованного в четырехгранные пакеты, она искала третью мартеновскую печь. Это оказалась та самая печь, в которой когда-то испортили сорок тонн ценной стали. Оля запомнила, что на ее рабочей площадке тогда стоял отец и с кем-то сильно ругался. Оля тоже поднялась на рабочую площадку. Шла завалка печи; завалочная машина, похожая

на муравьеда, каталась по площадке и подавала в окно печи ящики с обломками металла. Оля знала, что эти ящики называются мульдами. В печи опрокидывались одна мульда за другой, сталевары подправляли завалку длинными шомполами, двигались так быстро, как пожарники на пожаре,— нельзя было давать печи остыть.

Оля смотрела на сталеваров и никак не могла узнать, кто из них Виктор Журавлев. Все в истрепанных, съеденных расплавленным металлом спецовках, все в войлочных шляпах, все измазанные. Она стояла так в сторонке, пока печь не загудела, пока внутри ее не заплескалось пламя. Тогда один из сталеваров снял шляпу и сказал:

— Не узнаёте?

— Здравствуйте! — сказала Оля радостно, увидев, что перед ней Журавлев.— Сразу узнала!

— Вы что к нам? — расспрашивал Журавлев.

— Да так, райком прислал.

Оля не могла сказать об истинной цели своего прихода. Разговор шел вяло, ни он, ни она о происшедшем на бюро райкома не помянули. Журавлева то и дело отзывали, он ходил отворять заслонку, подавал бригадиру шомпола, бруски алюминия, известь на лопате, марганец, снова возвращался к Оле, уже позабыв, о чем только что шел разговор. Оля чувствовала, что она так и уйдет, не сказав Журавлеву того, о чем столько дней собиралась с ним говорить, — да, уйдет, и уже больше никогда они не встретятся.

Но она с детства не страдала нерешительностью и не любила, как некоторые, предоставлять все времени, пускать дело по воле волн. Она сказала:

— Мне бы с вами надо было поговорить, Журавлев. А здесь обстановка для этого никуда не годится.

— Можно в комитет комсомола,— предложил Журавлев. Он стоял перед Олей крепкий, сильный, на черном лице, когда он улыбался, белели ровные зубы, в глазах, отражаясь, вспыхивало мартеновское пламя — быстро и жарко. Из-под шляпы, которую он снова надел, выбились на лоб влажные пряди светлых волос, обожженных у печи.

— А еще где можно? — спросила Оля.

— В конторке, — сказал он. — Там никогда никого нет.

Он ее не понимал, не хотел понимать. Дальше Оля идти уже не могла, она не могла сказать ему, что хочет поговорить с ним спокойно, не на ходу, поспорить о природе смелости и героизма, поговорить о многом другом,

о чем угодно, даже о том, о чем говорили когда-то ее отец и мать: о жизни на других планетах,— ну обо всем, обо всем, что только ему интересно. Неужели ему ничто не интересно?

Оля пошла с Виктором в конторку, но не успели они там сесть за стол мастера, как за Виктором прибежали. Оля тоже вернулась на рабочую площадку. Там шла суета, произносили тревожные слова: «свод упал». Оля поняла, что в печи что-то не так. В печь бросали лопатой кокс и какой-то порошок. Виктор орудовал длинным металлическим шомполом, ворочал им в расплавленном металле, из окна печи вырывалось пламя. Озаренный пламенем, Виктор казался человеком из бронзы.

Не могла Оля уйти отсюда навсегда и так, чтобы никогда больше его не увидеть. Она отважилась на крайнюю меру. Она потихоньку вынула из своей сумочки-портфельчика паспорт и комсомольский билет, а все остальное там оставила: институтское удостоверение, записную книжку, деньги, письма, на конвертах которых был ее адрес, — и положила портфельчик на том месте площадки, где они разговаривали с Виктором несколько минут назад. Потом отправилась к начальнику цеха, отметила пропуск и ушла с завода.

Времени еще было много. Не зная, куда его девать, Оля решила съездить к Тамаре Савушкиной, которая сообщила ей по телефону, что на днях уезжает со своим мужем в экспедицию. И в самом деле, Оля застала Тамару в сборах. Тамара познакомила Олю с довольно-таки лысоватым, толстеньким молодым человеком лет тридцати, который все время говорил: «Это надо выкинуть, этого брать не надо, это лишнее».

— Понимаешь,— сказала Тамара,— его послушать — там все ходят голые.

— Лучше ходить голому, — сказал Тамарин муж, — чем таскаться по пустыням с чемоданами. Чемодан — враг исследователя природы. Его друг — рюкзак. Вот и планируй, дорогая, так, чтобы все твои пожитки вошли в рюкзачок и составили бы такой вес, чтобы рюкзачок этот ты сама носила, а не взваливала на меня.

Они шутили, смеялись, им было хорошо. Оля думала о том, что, значит, не обязательно быть красивым, любят, оказывается, и некрасивых, потому что Тамара явно любила своего лысенького толстячка.

— Не жалеешь? — шепнула Оля.

Тамара поняла, что́ интересует Олю.

— Нисколечко,— ответила она.— Мучилась бы сейчас со своими цветными стеклами и их историей. А так видишь, что получается? Едем в пустыню. Интересно. Сначала он отговаривал: трудно, мол, не езди. А теперь сам сказал, чтобы собиралась. Не может без меня. С тоски, говорит, умрет.

Оля увидела, что она при этих сборах не очень-то нужна, попрощалась, пожелала счастливого пути, сказала Тамаре: «Пиши, не забывай»—и снова оказалась на улице.

Она ходила по улицам грустная, все размышляла и размышляла и на одном из углов столкнулась с Георгием Липатовым.

— Оля! — сказал он мрачно. — Здравствуй. Куда идешь?

— Так просто.

— Можно, и я с тобой?

— Как хочешь.

— Видишь ли,— заговорил он, шагая рядом с ней.— Все считают меня негодяем и подлецом. Вот вы там, по комсомольской линии, грозитесь вышибить меня из комсомола. Но, Ольга, пойми, ей-богу, не могу я с ней. Как взгляну на весь ее вид, на эти пятна по лицу, худо становится. Не веришь? Тошнота. Ну что же я сделаю? Природа. Не переборю себя. А рад бы перебороть.

— Не стыдно тебе! — сказала Оля. Ничего иного сказать она не могла. В этой области жизни человека у нее не было никакого опыта, были только умозрительные, общие, книжные представления, которые и подсказали ей эти слова: «Не стыдно тебе!»

— Эх, разве в стыде дело! — Липатов махнул рукой.— Ничего ты, я вижу, не понимаешь, а еще умная.— Он вытащил папиросу и закурил.— Она вялая какая-то, неповоротливая, нет в ней живости, огня нет.

— Слушай,— сказала Оля, вспоминая слова Федора Ивановича,— а у вас дружба с Люсей есть или нету? Вы же дружили когда-то, очень дружили.

— При чем тут дружба! — воскликнул Георгий.— Я говорю: меня тошнит от ее вида, а ты о дружбе. Странная какая! — Он швырнул папиросу на мостовую, схватил Олину руку, пожал ее и скрылся за углом.

Оля постояла, постояла, повела недоуменно плечом и пошла дальше. Она все еще была там, на рабочей площадке мартеновской печи. Поднял ли кто-нибудь ее портфельчик или нет? И кто поднял? И что с ним будет? И что с нею, с Олей, самой будет? И что принесет ей завтрашний день.

3

В Первомайском райкоме оказалось немало недовольных деятельностью первого секретаря. Федор Иванович Макаров создавал вокруг себя беспокойство, причем беспокойство особого рода, непривычное. Прежний секретарь тоже, — а может быть, и в большей степени, чем он, — держал райкомовский аппарат в непрерывном напряжении. Но чего прежний секретарь хотел и как добивался этого? Он хотел, чтобы в аппарате всегда, в любой час и любую минуту, были любые, всеобъемлющие и всеисчерпывающие сведения о районе: о его предприятиях, учреждениях, коммунальном хозяйстве — о чем угодно, во всех, какие только возможны, «разрезах» и вариантах. Аппарат сочинял всякого рода анкеты и вопросники, рассылал их в партийные организации, требовал немедленных ответов; на местах, в партийных комитетах, ходили по цехам, по отделам, по участкам, собирали сведения, потом щелкали счетами, крутили арифмометры; потом счеты щелкали уже в райкоме. Так и шло: вечный сбор сведений. Кроме того, прежний секретарь любил, чтобы аппарат, что называется, бодрствовал. Он сам сидел в райкоме до часу, до двух часов ночи, и аппарат сидел. Он, конечно, никому прямо не говорил: сиди, товарищ такой-то, до тех пор, пока я не уеду... А просто вдруг нажимал кнопку звонка и вошедшей секретарше приказывал: позвать такого-то. Ну и не дай бог, если такого-то в райкоме не оказывалось. Назавтра будет разговор: легкой жизни захотелось, на Островки прогуляться, в гости к теще, и так далее и тому подобное. В следующий раз товарищ такой-то уж не уйдет к теще в гости, не посмотрев, погас или еще горит свет в кабинете первого секретаря. Среди ночи, да и в вечерние-то часы ничего полезного никто, понятно, не делал; некоторые что-нибудь читали; товарищ Иванов, например, заведующий отделом пропаганды и агитации, любил книги толстые, многостранич-

ные, такие, чтобы хватило чтения на неделю; другие, кто учился заочно или в вечерних институтах, конспектировали вычитанное из учебников, писали домашние работы; были и такие, что, запершись на ключ, играли в шахматы. И лишь весьма небольшое число особо ревностных служак продолжало щелкать счетами или графить бумагу, сочиняя новую форму сбора сведений.

И когда Федор Иванович увидел это все, когда разобрался во всем этом, он начал исподволь проводить реорганизацию в работе аппарата. Первое столкновение, которое у него произошло в райкоме, было столкновение с товарищем Ивановым. Товарищ Иванов, сухой, педантичный товарищ, никогда не улыбающийся и не признающий шуток, принес ему проект решения, подготовленного для заседания ближайшего бюро. Дело заключалось в том, что отдел пропаганды и агитации обследовал постановку партийной учебы на текстильной фабрике «Восход», нашел там множество недостатков; в проекте решения, которое должно было быть принято на бюро райкома после обсуждения доклада секретаря партийного комитета фабрики, все эти недостатки были тщательно и многословно расписаны, после их описания шла сугубо назидательная часть: осудить, решительно изменить, усилить, поднять, добиться перелома, мобилизовать внимание... Занимало это двенадцать страничек плотного машинописного текста.

Сначала Федор Иванович, испуганный размерами решения, взял в руку перо и попытался произвести хоть некоторые сокращения. Почеркал, почеркал, да и бросил.

— Вот я помню, товарищ Иванов,— заговорил он,— мы тоже... у нас в заводском партийном комитете... получали из райкома такие бумаженции. Вы думаете, они нам помогали?

— Не понимаю постановки вопроса.

— Мы их подшивали к делу. На том и ограничивались. Интересно, вы не подсчитывали, сколько человеко-часов ушло на составление этой бумаги?

— Нет, не подсчитывал.

— Давайте-ка попробуем!

Федор Иванович снова взялся за перо, стал прикидывать, сколько времени два инструктора райкома и три коммуниста с различных предприятий района, входившие в комиссию по обследованию партийной учебы на фабрике «Восход», потратили на то, чтобы написать свои выводы и предложения. Они просидели над этим два вечера по

четыре часа, итого, значит, четыре на пять да на два, получается сорок человеко-часов. Затем эти два инструктора шесть дней занимались отделкой бумаги, в эти дни ни на какие иные дела их не трогали; получилось, значит, шесть на восемь да на два, итого — девяносто шесть человеко-часов. Кроме того, восемь часов изучал проект решения заместитель товарища Иванова да столько же сам товарищ Иванов. Уже набралось сто пятьдесят два часа, или, если разделить на восемь, девятнадцать рабочих дней.

— Вот видите, девятнадцать рабочих дней, две трети месяца, а польза от этого какая? Разве мы с вами не знаем, что в партийном комитете фабрики «Восход» всего лишь трое освобожденных работников, включая технического секретаря? И вот они получат нашу грозную бумагу. Ну и что? И ничего. Иначе надо решить это дело, товарищ Иванов. Надо назвать, конечно, недостатки, вскрыть их причины, проанализировать, все это верно. Но вместо всех этих громких слов: «осудить», «добиться», «усилить» — послать туда одного или двух ваших инструкторов, и пусть помогают товарищам устранять недостатки — живым, практическим делом. Ведь этому же нас учит Центральный Комитет. Ведь обком и горком выносили решения о сокращении канцелярщины.

— Да вот у нас тут пробовали выполнять эти решения,— ответил товарищ Иванов,— не вышло. Без бумаги нельзя.

— Плохо, значит, выполняли.

Когда подготовленный товарищем Ивановым вопрос вынесли на бюро райкома, члены бюро поддержали предложение Федора Ивановича. Товарищ Иванов пожал плечами.

После этого Федор Иванович созвал совещание аппарата и сказал о том, что пора объявить крестовый поход против бумаги и канцелярщины и начать борьбу за живое руководство, за живое общение с людьми.

— Мы ведь погрязли в бумагах,— говорил он,— в непроизводительных, непродуктивных действиях. Смотрите, что получается. Только для того, чтобы составить квартальный отчет сети партийного просвещения, наш отдел пропаганды и агитации должен произвести более восьми тысяч арифметических действий на бумаге. Это ежеквартально занимает десять дней жизни отдела, или сорок дней в году. Это чудовищно! Мы же не бухгалте-

рия, а партийный штаб района, черт возьми! Товарищи заведующие и товарищи инструкторы! У нас есть специальные люди, которые занимаются статистикой, пусть они ею и занимаются. А инструктор должен инструктировать, быть с людьми, на предприятии, на производстве.

— Так что же, в райкоме отсиживать до ночи не надо? — спросил один из инструкторов.

— На предприятиях надо быть, я же объяснил довольно понятно.

— Ну, а если горком или обком потребует сведений, а сведений-то у нас нету, тогда что? — спросил другой инструктор.

— С вышестоящими организациями как-нибудь поладим, — ответил Федор Иванович, сам еще не зная, что может получиться в таком случае.— Главное — у себя тут разобраться с делом как следует.

Товарищ Иванов опять пожал плечами. А через несколько дней Федора Ивановича вызвал к себе секретарь горкома Савватеев.

— Разваливаешь, пишут, работу,— заговорил Савватеев и стал излагать Федору Ивановичу содержание письма, которое лежало перед ним на столе. В письме подробно описывалась суть новшеств, введенных Федором Ивановичем, но освещались эти новшества тенденциозно, расценивались как самодурство первого секретаря, как его неумение работать, как противопоставление себя аппарату райкома.

— Мерзавец тот, кто это пишет! — сказал Федор Иванович.— Ты мне его фамилию лучше не объявляй. А то найду и надаю подлецу по морде! — Федор Иванович начал сам рассказывать о тех улучшениях, которые он счел нужным внести в работу райкомовского аппарата.

Савватеев слушал внимательно, по временам записывал. Он сказал потом:

— Все это очень интересно. Но не перегнуть бы. Не зря же еще до нас с тобой установлены определенные формы и методы работы. Они проверены, испытаны. Гляди, попадешь в историю. Я тебя пока что не осуждаю, но и особенно-то поддерживать не решусь. Эксперимент, и не безопасный. Гляди, товарищ Макаров!

— Но ведь есть же решения против канцелярщины,— сказал Федор Иванович.

— Есть-то есть. Но и без бумаги нельзя.

Федор Иванович удивился: Савватеев сказал это теми же словами, что и товарищ Иванов.

С течением времени Федор Иванович убеждался в том, что его новшества идут на пользу делу. Дела решались проще и оперативнее, в отделах не составляли длиннейших решений, по месяцу, по два не ждали дня вынесения их на бюро, как бывало. Инструкторы почти все дни недели проводили на предприятиях, знание жизни предприятий у них складывалось не по бумагам, а по собственным наблюдениям и впечатлениям. Поэтому, в случае неполадок где-либо, туда немедленно выезжали инструкторы, а то и заведующий отделом. Разбирались на месте обстоятельно, основательно.

Федор Иванович и другие секретари тоже почти каждый день бывали на предприятиях. «В кого мы превратились? — говорил мрачно товарищ Иванов. — В Гарун-аль-Рашидов. Бродим среди народа и слушаем, что говорит он, вместо того чтобы самим давать указания». Главным Гарун-аль-Рашидом товарищ Иванов называл Федора Ивановича.

Федор Иванович действительно любил бывать в народе и с народом. Бывшего заводского слесаря тянуло на заводы. Но он не бродил там молчаливым подслушивающим повелителем Багдада, он любил и сам поговорить, рассказать, что̀ он думает, как думает, к чему стремится. Начав с того памятного разговора с бабкой Леньки, он много занимался постановкой лечебного дела в районе, и когда у него накопился обширный материал, появились мысли и предложения, Федор Иванович созвал медицинский актив района. Открылось такое множество недостатков, что даже перечень их, составленный Федором Ивановичем, оказался далеко не полным. Многие из этих недостатков можно было исправить и устранить своими силами, тут же в районе. Например, никаких правительственных решений не требовалось для того, чтобы медицинский персонал относился к больным более чутко, внимательно, заботливо, чтобы в лечебных помещениях всегда было хорошо натоплено. Но некоторые вопросы — вопросы повышения заработной платы, уменьшения нагрузки на каждого врача амбулатории — требовали того, чтобы горком или обком обратились с ними в правительство. Федор Иванович написал об этом в горком.

Федору Ивановичу хотелось видеть все своими глазами, обо всем знать, во всем участвовать. Прослышав

о том, что по большим праздникам в церковь Николы Морского собирается много народу, в том числе и молодежи, он однажды вечером сам отправился к Николе Морскому. Была троица, в церкви шло богослужение, пробиться туда было невозможно. Церковь окружали толпы богомольцев. Федор Иванович потолкался среди них, стараясь понять, кто они, эти люди, все еще верующие в бога. Ну что ж, были это в подавляющем большинстве старички и старушки. Они стояли на открытом воздухе, в общем-то, видимо, безразличные к тому, что происходило в церкви; привела их сюда, думал Федор Иванович, сила привычки, сила инерции, которую мы же, мы не сумели нарушить за долгие годы. Может быть, окажись в районе клуб, где было бы в этот день что-нибудь интересное для стариков, они пошли бы не сюда, а туда, в клуб. Но кто и когда пытался изучать, чем старики интересуются, что может их привлечь? На танцы они не пойдут, на лекцию о диалектическом материализме — тоже, в кино им трудно сидеть полтора-два часа, задрав головы,— спина болит, да и шее плохо. Вот и прибрели сюда. Тут, конечно, тоже не больно весело, но зато привычно. А привычка, если о ней говорят, что она вторая натура, для стариков не вторая даже, а самая что ни на есть первая. Старческая натура вся целиком состоит из привычек.

Увидел Федор Иванович в толпе и молодежь. Под тополями в церковной ограде стояла группа разряженных юнцов и девиц. Федор Иванович подошел ближе, прислонился к тополю плечом, слушал. Юнцы по очереди рассказывали анекдоты, девицы смеялись, зажимая ладонями рты, чтобы на них не зашикали.

— В бога веруете? — спросил тихо Федор Иванович.— Помолиться пришли?

Юнцы внимательно на него посмотрели, один ответил:

— Давай, давай, гражданин, уматывай отсюда, не лезь, куда не просят.

Федор Иванович послушался совета, не стал ввязываться в бесполезный разговор и ушел. Назавтра он имел продолжительную беседу с Колей Осиповым, секретарем райкома комсомола.

— Я же говорю,— повторял он,— не массами нам с тобой надо думать, а отдельными людьми. Кто они, эти типы? Возьмитесь за них, ведь нам с ними в коммунизм идти. Придумывайте, что знаете. Комсомольцы же вы. Огня надо больше, жару, искр, пламени!

Сходил секретарь райкома и по тому адресу, который ему назвала когда-то Ленькина бабушка,— к знаменитой всеисцеляющей мадаме. Мадама оказалась сухонькой женщиной лет пятидесяти, с настороженным, хмурым взглядом. Она не поверила, когда Федор Иванович сказал, будто бы надо зуб заговорить, — ничего лучшего он не придумал.

— Вы это бросьте! — ответила знахарка.— Думаете, я не знаю: вы проверщик. Поймать меня хотите. А меня ловить не на чем. Ничего худого я не делаю. Если люди верят — их дело. Очень даже плохо, я считаю, если они врачам не верят. Значит, врачи попадаются такие пикудышные.

— Ладно, врачи — другое дело,— перебил ее Федор Иванович.— А вот колдовство всякое, привороты да отвороты, это что?

— Тоже человеку утешение. Человек любит, когда его утешают. Ему без утешения никак. Вы ведь не больно там, в верхах, любите утешать человека. Вы ему все больше: выговор, да на вид, да предупреждение. А я ему наговорю о том о сем, что ему предстоит, какие неприятности будут, а после них какие хорошие известия получатся, да потом чем сердце успокоится, — человеку-то и легче на душе. Вот и все мое колдовство: сказать человеку доброе слово, пусть надеется и не отчаивается.

Они разговаривали больше двух часов — секретарь райкома партии и районная колдунья. Была она, оказалось, по образованию учительницей. Но вышла в молодости замуж и бросила школу. Муж ее был заведующим сберкассой, погиб на фронте во время войны. Вдова его, позабывшая свое учительское дело, осталась без специальности, без умения что-либо делать и зарабатывать на хлеб. Она зато умела здорово раскладывать пасьянсы и знала их несколько десятков. К ней ходили знакомые женщины загадать на картах: выйдет или не выйдет. Потом стали ходить и незнакомые. Мало-помалу раскладывание пасьянсов превратилось в гадание с приговорами, с присказками.

— Ну, а если вам пойти на курсы да вернуть учительскую специальность? — спросил Федор Иванович.

— Как теперь пойдешь! Все равно узнают, чем я занималась. Нет уж, завязла я тут.

Федор Иванович видел, что женщине нелегко сознавать свое падение, что она жалеет о прошлом, что она рада бы вырваться из этой затхлой жизни, но не знает,

как это сделать. И правда, как? Упасть легко. Одно неловкое движение — и ты уже внизу. А подниматься?.. Подниматься ой как трудно! Сколько надо сил для этого, воли, энергии.

Ни на чем они не порешили. Но Федор Иванович ушел, отметив в своей памяти, что этот адрес так оставить нельзя, что надо к нему еще раз вернуться.

Сложна была жизнь в районе. Увиденная в натуре, она сильно отличалась от той, которую пытались отразить сводки, ведомости и отчеты, даже если для их составления уходило бы не восемь тысяч арифметических действий, а полных сто или двести тысяч или даже миллион. Жизнь арифметики не признавала.

4

Павла Петровича на институтском дворе поймал Мукосеев, тот самый научный сотрудник, о котором говорили, что он вот уже три года ухитряется ничего не делать.

— Здравствуй, директор! — сказал Мукосеев тихо и мрачно.— Мне надо с тобой поговорить. В кабинеты ходить не люблю. На глазах у начальства тереться — тоже. Давай присядем где-нибудь.

Павел Петрович сказал, что ему некогда,что его ждут. Но от Мукосеева не так-то просто было отделаться. Неповоротливый и толстый, почти квадратный человек загораживал дорогу; в глазах у него было то страшное, отвратительное, чего люди боятся и что они ненавидят,— было в них предательство.

Трудно объяснить, что это значит — предательство в глазах — и как оно выглядит. Трудно потому, что каждый определяет его по-своему, у каждого есть на то свои приметы. Для Павла Петровича такой приметой была фальшивая доверительность, с которой Мукосеев обращался к нему.

— Мы с тобой не первый год в партии. Ты сколько? Двадцать лет? Ну и я почти тридцать. Поговорим как большевик с большевиком. Партия с нас обоих спросит в случае чего, не с одного тебя. Мы, старые коммунисты, друг за друга в ответе.

Он отвел Павла Петровича под липы к пруду. Там стояла решетчатая скамейка с удобно изогнутой спинкой, и они сели.

— Правильно ты начал кампанию против Шуваловой.— Мукосеев тронул Павла Петровича за колено.— Таких надо гнать из науки!

— Никакой кампании никто не начинал,— возразил Павел Петрович.— Обыкновенную деловую критику нельзя превращать в кампанию. Я бы просил вас, товарищ Мукосеев, не сгущать краски и не выдумывать лишнего.

— Ты брось, брось эту официальщину! Ты говори со мной попросту. Я же тебя вижу: свой человек. Мы должны друг друга поддерживать. Я, правда, не из рабочих, как ты. Я, понимаешь... ты, наверно, уже смотрел мое личное дело?

— Признаться, нет.

— Нет так нет. Ну, значит, говорю, я не из рабочих, как ты. Я архангельский рыбак. Англо-американских интервентов громил. Сколько мне тогда было? Восемнадцать. Я же тебя лет на шесть, на семь старше. Вот, значит, мы с тобой на одном деле стоим, одной веревочкой связаны, держаться друг друга должны. Таких, как мы, здесь, в институте, не больно много.

Полгода тому назад подобные речи, может быть, и сбили бы Павла Петровича с толку,— в ту пору, когда он очень и очень нуждался в поддержке, когда все окружающие были для него одинаково незнакомы и непонятны, когда первое впечатление о коллективе института складывалось по разговорам и столкновениям с Харитоновым, Красносельцевым, Самаркиной, обладавшими свойством везде и всюду вылезать вперед. Но теперь, когда Павел Петрович знал десятки научных сотрудников, когда он мог судить о них по их работам, по их участию в общественной жизни, когда он со многими уже познакомился лично, — на что ему были эти заговорщицкие намеки и лозунги Мукосеева, которого в институте не любили и очень многие даже боялись?

Правда, были такие, которые старались водить с ним дружбу, заискивали перед ним,— это были окончательные трусы.

Чем же Мукосеев запугивал слабонервных? Всем, чем мог. Он ничем не брезговал. О методах, употребляемых Мукосеевым, Павлу Петровичу много раз рассказывал Бакланов. Любимым из этих методов и наиболее действенным было использование фактов биографии. В институте со дня его организации работал большой знаток

истории металлургии в России профессор Кедров. В гражданскую войну Кедров, сын банковского служащего, был сначала красноармейцем, потом командиром, возглавлял продотряд; по молодости лет увлекся, превысил власть и без суда и следствия расстрелял двух кулаков, оказавших вооруженное сопротивление при реквизиции спрятанного зерна. За это он был приговорен ревтрибуналом к расстрелу. Но его помиловали, дали возможность в боях за советскую власть смыть кровью свою вину. После этого он служил в разных советских и профсоюзных учреждениях, работал на заводах, был рабфаковцем, учился в институте, стал профессором и, куда бы ни поступал, никогда, заполняя анкеты, по честности своей, не забывал написать о том, что приговаривался к расстрелу.

Все шло гладко в его жизни до тех пор, пока он публично не раскритиковал одну наспех выполненную работу Мукосеева. Тут архангельский рыбак на всех и всяческих собраниях принялся возводить на принципиальную высоту прошлое профессора Кедрова, называя его темным, мутным и даже черным. Он требовал изгнания из института человека, по его словам не заслуживающего политического доверия, ущербного, такого, который в любую минуту может натворить черт знает каких безобразий и еще бог весть что. Речи Мукосеева были грозные, обличительные, подкреплялись различными цитатами, призывали к бдительности. Кедрова отстояли от Мукосеева, но не без труда, несмотря на то, что никаких иных грехов, кроме того злополучного давнишнего самоуправства, за ним не было.

Второй удар Мукосеев нанес Румянцеву, который тоже осмелился его критиковать, задав однажды одному из очередных директоров института вопрос: чем в институте занимается Мукосеев, кто его уполномочил быть неким верховным комиссаром по вопросам бдительности, почему с него не спрашивают годовых отчетов, а если и спрашивают, то на их явную недоброкачественность смотрят сквозь пальцы?

Румянцева долго трепали после этого, потому что Румянцев был сыном мельника; вступая в комсомол в институте, он скрыл это обстоятельство и написал в анкете об отце: «ремесленник». Позже, уже будучи в партии, он понес за это наказание — получил строгий выговор. Но старое наказание бледнело перед тем, какое ему преподнес

Мукосеев. По мукосеевским заявлениям Румянцева вызывали в райком, в горком, в обком, в областное управление Министерства госбезопасности, даже в уголовный розыск. Полтора года Румянцев не знал ни покоя, ни сна, он измучился, похудел, поседел, начал лысеть. Он уже стал было смиряться с тем, что его выгонят из института, исключат из партии, лишат кафедры, может быть, даже посадят в тюрьму. Зато не смирилась его жена. Она тоже прошла через все инстанции, добралась до Центрального Комитета партии и отбила атаки Мукосеева. Румянцев был вырван из его когтей, но уже сильно измятый и израненный. Когда-то активный общественник, он стал ныне пассивным, лишнего слова не говорил, держался в сторонке и начал считать, что лучше выпить чарочку, сыграть в картишки, погулять, чем тратить жизнь и здоровье на борьбу со всякого рода Мукосеевыми.

Многих выбил так из общественного седла и на долгие годы травмировал Мукосеев; причем он не был грубым, вульгарным клеветником, он не выдумывал факты, он, как правило, находил их в анкетах. У одного из сотрудников он взял, например, да и сличил две анкеты: одну семнадцатилетней давности, вторую только что заполненную — и нашел, что в первой анкете этот сотрудник указывал один год окончания средней школы, во второй анкете — другой год. Как бедняга ни старался объяснить это слабостью памяти, давностью окончания школы, не помогло. Мукосеев добился того, что ему дали выговор за путаницу в документах. Мукосеев не пропускал случая проявить свою бдительность,— так он укреплял себя в институте и, следовательно, возле науки. Других средств для этого он не имел. У него не было ни таланта, ни даже способностей к научной работе. Была хватка, мертвая, бульдожья хватка. Он и хватал. Когда же его самого кто-нибудь из особо отчаянных пытался прижать к стенке, он шел в обком партии, проникал к секретарю, и непременно к первому. Бил там себя в грудь кулаком, хрипел, кликушествовал, изображал инвалида гражданской войны: за что боролись? Раскладывал документы, подтверждавшие его правоту. Секретари обкома, занятые значительно более серьезными делами, поручали кому-нибудь разобраться в деле товарища Мукосеева, товарищ Мукосеев старательно это дело запутывал, дело повисало в воздухе, и товарищ Мукосеев выходил из воды сухим.

Нет, никакие хитроумные ходы Мукосеева теперь не могли запутать Павла Петровича, тем более что Павел Петрович, в отличие от некоторых других, никакого страха перед этим человеком с предательством в глазах не испытывал.

— Так вот, нельзя нам быть врозь,— говорил свое Мукосеев.— Мы должны держаться один за одного.

— За правду мы должны держаться, за линию партии,— сказал Павел Петрович.— Ну, мне некогда, я пойду.— Он встал.

Мукосеев поймал его за рукав и снова посадил возле себя.

— Я слышал, — заговорил он, — Бакланов против меня затевает что-то. Но я не из слабеньких, товарищ директор. Учти это.

— Я не знаю, что́ вы там слышали,— сказал Павел Петрович.— О вас особых разговоров не было. Просто мы будем более строго требовать отчета от всех сотрудников. В том числе и от вас. Вы, например, два года не отчитывались. Удивляюсь, как вам это удается?

— Кто там так сочиняет? Ты мне их, этих клеветников, назови, я им глотку перерву!

Одутловатое лицо Мукосеева стало медленно наливаться кровью, даже белки глаз покраснели, он набычился, и Павел Петрович подумал, что для некоторых этот тип и в самом деле страшен. Он засмеялся:

— В таком случае нет уж, не назову! Зачем же их подвергать опасности?

Павел Петрович снова встал. Поднялся и Мукосеев.

— Не хочешь быть со мной? — сказал он предостерегающе.— Смотри, директор! Пожалеешь.

Павел Петрович, не ответив, зашагал по дорожке к главному зданию. Его смешили эти детские угрозы. Через минуту он уже забыл о них, его больше смущало то, что критику в адрес Серафимы Антоновны Мукосеев назвал кампанией против нее. Если и другие воспримут это как некую кампанию, будет очень неприятно. И так-то уже беда: Серафима Антоновна обиделась, заявила, что будет кусаться, что Павел Петрович теряет в ней друга, что, если травля ее не будет прекращена, разговор пойдет совсем не о дружбе, а об открытой войне. Удивительно, как остро воспринимается и как криво истолковывается в ученой среде критика. На заводе было проще, значительно проще. Почему бы это? Возможно, потому, что

в науке, так же как в литературе и искусстве, есть люди, неправильно понимающие значение критики. Если на заводе критикуют рабочего, инженера, мастера, то всем ясно, что делается это для того, чтобы рабочий, инженер, мастер улучшили свою работу, и никакие иные соображения за этой критикой не скрываются. В науке же, в искусстве, в литературе часто бывает и по-другому. «Ах, вот как! — рассуждают иные директора институтов, издатели, работники управления по делам искусств. — Такого-то критикуют? Надо, следовательно, от него избавиться, его не печатать, пьес его не ставить и вообще гнать его подальше». Критика на производстве идет на пользу работнику, под воздействием критики он работает лучше, больше зарабатывает, и так укрепляется его благополучие. В науке и искусстве некоторые деляги повернули дело так, что критика ухудшает благосостояние человека, и поэтому человек боится ее и так болезненно на нее реагирует. Не боится ли Серафима Антоновна, что критика подорвет ее общественное и материальное благополучие? Если это так, то какая же это глупость! Какие силы смогут подорвать благополучие известной ученой? Ей-то о чем беспокоиться, ей, знаменитой Шуваловой! Ну ошиблась, недостаточно продумала свои действия. Ошибку можно в дальнейшем не повторять.

Павел Петрович уже сидел у себя в кабинете, когда строгая Вера Михайловна Донда доложила ему, что сегодня его три раза спрашивала Людмила Васильевна Румянцева и что она снова в приемной и просит принять ее на тридцать секунд. Павел Петрович вышел навстречу Людмиле Васильевне. Она, как всегда, радостно улыбалась, и от нее исходило что-то такое, от чего и тебе становилось радостно и тоже хотелось улыбаться.

— Я сейчас же уйду,— сказала она, заходя в кабинет и отказываясь присесть.— Я только пришла напомнить, что вот сегодня пятница, завтра суббота, а послезавтра воскресенье.

— Это очень мило с вашей стороны, — в тон ей ответил Павел Петрович весело.— Я вам очень благодарен за вашу заботу о моей памяти. А то и верно — забываешь, не только какой сегодня день, но даже какой месяц идет. Но я не совсем понимаю...

— Вы что же, забыли?! — воскликнула Людмила Васильевна.— И начнете снова отговариваться тем, что за

один день вам не успеть спланировать какие-то дела? Ведь это уже в третий раз!

— Ах, вот что! — воскликнул и Павел Петрович.

— Ну да же, ну да! — подхватила Людмила Васильевна. — Мы зовем вас послезавтра к нам на дачу. Надо ехать, Павел Петрович. Нельзя не ехать. Я обижусь.

— Да, — согласился Павел Петрович, пораздумав, — нельзя не ехать. Вы совершенно правы. Нет, отговариваться я больше не буду.

Людмила Васильевна ушла, оставив на его столе бумажку с адресом. Павел Петрович подумал: интересно, кем она у нас тут работает, эта приятная женщина? Он вызвал Веру Михайловну.

— Извините, — сказал он ей. — Пятый раз разговариваю с женой профессора Румянцева, а не знаю, кем она у нас работает. Спросить как-то неудобно: вот так директор, подумают, своих сотрудников не знает.

— Старший техник-лаборант,— ответила Вера Михайловна.— В сорок седьмом году, поскольку у нас сильно не хватало младшего и среднего персонала, институт организовал шестимесячные курсы техников-лаборантов. Людмила Васильевна их и окончила.

Павлу Петровичу еще хотелось бы узнать, почему жена профессора удовлетворилась таким образованием, как шестимесячные курсы, и почему выбрала такую профессию, но он постеснялся продолжать расспросы о делах семьи Румянцевых и поблагодарил Веру Михайловну.

Дома он сказал Оле, что в воскресенье едет на дачу; если и она хочет ехать, то пусть имеет это в виду. Он ожидал, что Оля обрадуется возможности выехать за город. Но та никакой радости не выразила.

— Может быть,—сказала она уклончиво.— А лучше пусть Варя едет.

— Варенька само собой,— сказал Павел Петрович.

Но Варя даже и «может быть» говорить не стала.

— Нет, нет! — воскликнула она. — Если Оля не поедет, я тоже не поеду, Павел Петрович.

— Что за странности, не пойму? — Павел Петрович поразглядывал девушек и ушел в кабинет.

Понять что-либо в делах Оли и Вари ему действительно было трудно. Оля все дни ходила раздраженная, хмурая, мрачная, с Варей она не делилась и огрызалась на нее. Она все ждала, что ее хитрость удастся, что Журавлев принесет ей сумку-портфельчик. Дни тем временем

шли, а никакого Журавлева не было. Не идти же снова на завод, не бежать же к нему домой! Сколько можно навязываться, сколько можно самой делать шагов ему навстречу? Наверно, она уж и так перешла все границы. Зная, что Журавлев эту неделю работает в вечернюю смену, Оля все дни сидела дома: а вдруг придет, вдруг придет? Это было мучительное чувство: ждать, ждать, ждать. Ни о чем ином больше невозможно было думать — все об этом, об этом. Даже голова уставала. В четверг ей надо было идти на бюро райкома, она не пошла, позвонила Коле Осипову, чтобы сказать, что у нее болит голова. А когда сказала это, то поняла, что все больше и больше завирается, и заплакала. В эти минуты она думала о том, что давным-давно ей пора было выйти замуж и не было бы ей теперь так одиноко, был бы возлее нее муж... Он бы...

Что «он бы» — она не знала, и муж представлялся ей отнюдь не в материальном виде, он не был похож на кого-либо из ее знакомых, это не был ни Володя, ни Анатолий, ни Игорь, ни Саша, ни Миша, в разное время, а то и одновременно ухаживавшие за ней, нет, это был кто-то совсем незнакомый, абстрактный, бесплотный, так сказать, муж — дух святой. «Может быть, я ненормальная? — подумала Оля, поглядев на себя в зеркало.— Почти все, с кем я кончила когда-то десятый класс, повыходили замуж. А я? Почему?» И вместе с тем ей стало тяжко-тяжко на душе от мысли, что ведь наконец может статься так, что возле нее будет вечно, изо дня в день, из года в год, кто-нибудь из тех мальчиков, которые за ней ухаживали, или вот этот муж — дух святой. Нет, это все чертовщина, и все оттого, что она не смогла объясниться с Журавлевым, не смогла рассказать ему все, и вот таскает в себе эту тяжесть.

Варино состояние тоже было не из радостных. Варя уже давно поняла природу своих чувств к Павлу Петровичу. Прежде ей очень хорошо было с ним, она тянулась к нему, любила бывать там, где был он. Теперь все переменилось. Варе казалось, что окружающие видят ее отношение к Павлу Петровичу, все, кроме самого Павла Петровича, но вот-вот и Павел Петрович увидит, и что будет тогда, что из этого получится? Страшно подумать! Варя носила свое чувство в себе, она скрывала его и отдавалась ему, только оставаясь одна. Запрется в комнате, влезет в кресло с ногами, как это любит делать Оля, достанет из

сумки фотографию Павла Петровича, держит ее перед собой, смотрит на нее и думает такую чепуху, что даже самой стыдно в ней признаться.

Еще хорошо, что одной-то ей теперь приходилось оставаться не часто. С переходом в институт работы значительно прибавилось. И совсем не потому, что так полагалось по новой Вариной должности в металлографической лаборатории, нет, просто Варя увлеклась тем новым для нее делом, о котором она начала было рассказывать Павлу Петровичу во время болезни. Варю увлекла возможность применения атомной энергии для контроля за ходом мартеновского процесса плавления стали. Если это возможно в домне, то почему невозможно в сталеплавильной печи? На заводе она могла только теоретизировать вокруг подобного вопроса. В институте, при его отличном оборудовании, можно было попробовать проверить интересное предположение на практике.

Вскоре после перехода в институт Варя пришла в кабинет к своему начальнику, заведующему металлографической лабораторией профессору Красносельцеву, и, по обыкновению краснея, смущаясь, рассказала о своих замыслах.

— Если бы вы знали, Кирилл Федорович, — говорила она горячо,— как трудно сейчас вести контроль за плавкой. Ведь при каждой плавке приходится брать до двадцати, а иногда и больше проб. Каждую пробу надо тут же, немедленно расшифровать. Сколько на это уходит ценнейших реактивов!..

Красносельцев, откинувшись в кресле за столом, в упор рассматривал ее сквозь стекла очков.

— Хотелось бы получить от вас некоторые сведения о вашем возрасте,—сказал он неожиданно.

— Мне скоро двадцать семь лет,— ответила Варя, сбитая с толку этим вопросом.

— Странно.— Красносельцев снял очки, протер их лоскутком замши.— По виду вы моложе. Но двадцать семь лет —это еще не тот возраст, когда читают популярные лекции людям, прожившим большую жизнь и кое-чего достигшим в науке.

Он сидел против маленькой сероглазой сотрудницы своей лаборатории, могучий, неподвижный, будто памятник из гранита. Варя застыла под его тяжелым взглядом, замаскированным очками. Она молчала. Умолк и Красносельцев.

Когда Варя хотела уже было встать и уйти, он наконец спросил:

— Ну, и чего же вы хотите?

— Я хотела бы провести несколько опытов, если это можно. Вот, например, для определения наличия серы...

— Я люблю, чтобы мои сотрудники делали то, для чего они приглашены в институт,— перебил ее Красносельцев.— Вы металловед, не так ли?

— Да, но это ведь тоже...

— Желаю вам успеха,— снова, еще более бесцеремонно, прервал Варю Красносельцев.— Вам еще надо много учиться. Учитесь у старших товарищей, перенимайте их опыт. И меньше всего фантазируйте.

Варя вышла от Красносельцева совершенно расстроенная. Не так она представляла себе этот разговор с профессором Красносельцевым, не такой рассчитывала встретить прием. Еще нигде не относились к ней так равнодушно и с такой бесцеремонностью. Зачем же тогда он пригласил ее на работу в институт? Она остановилась в коридоре возле окна, смотрела в парк, но ничего там не видела. Из глаз сами собой потекли слезы.

— Что с вами, Варвара Игнатьевна?

Варя быстро обернулась. Перед ней стояла сотрудница из лаборатории, лаборантка, которую звали, кажется, Людмилой Васильевной. У Людмилы Васильевны было приятное лицо, добрые, веселые, всегда смеющиеся глаза. Сейчас Варя видела в них тревогу, сочувствие, готовность прийти на помощь.

— Не хочется даже и говорить,— сказала Варя, быстро смахивая слезы с глаз.

Людмила Васильевна обняла ее за талию и повела по коридору. Они вошли в маленькую комнатушку, в которой никого не было.

— Здесь занимается мой муж, — сказала она. — Как видите, его тут нет. У них с Алексеем Андреевичем горячее время. Оба чуть ли не по двенадцать часов в день проводят возле электропечи. Посидимте на этом диванчике. — Усадив Варю, она села рядом с ней и повторила вопрос: — Так что же все-таки с вами случилось?

Людмила Васильевна вызывала такую симпатию и так к себе располагала, что Варя, сама удивляясь своей откровенности, подробно рассказала ей о разговоре с Красносельцевым.

— Ах, зачем вы к нему пошли! — воскликнула Людмила Васильевна.— Надо было идти к Алексею Андреевичу. К Бакланову. Этот Красносельцев никого, никогда и ни в чем не поддерживал, не поддерживает и не будет поддерживать. Для него на всем белом свете существует он один. И если хотите знать, работает в лаборатории не он, а его заместитель, Волков Антон Антонович. Нашу лабораторию фактически тащит на себе именно Антон Антонович. Красносельцев — только для имени. А сейчас он тем более злой и свирепый. Его тему-то закрыли, с какими-то точками Чернова. Он держался на них лет пятнадцать. Пойдемте к Антону Антоновичу.

В комнату в это время вошел Румянцев.

— Гриша, познакомься с Варварой Игнатьевной,— сказала Людмила Васильевна.

— Очень рад, очень рад! — На добродушном лице Румянцева Варя и в самом деле увидела радость.

Людмила Васильевна принялась быстро рассказывать ему о том, что случилось с Варей в кабинете Красносельцева.

— Теоретик! — махнул рукой Румянцев. — Правильно. К Антону Антоновичу надо идти. Алексея Андреевича лучше не беспокоить. Вот сейчас и пойдем вместе к Антону Антоновичу. А между прочим, Варвара Игнатьевна, это вы здорово придумали с изотопами-то. Очень здорово. Значит, что же у вас получится? — Он присел к столу, взял в руки карандаш, принялся черкать на листе бумаги.— Допустим, если мы хотим определить содержание серы в ванне расплавленного металла... Берем, значит, вы говорите, радиоактивную серу, добавляем в ванну. Если хотим определить фосфор, то добавляем соответствующий изотоп — радиоактивный фосфор. Затем — что же? Затем выясняем, сколько в пробе металла осталось от нашего, введенного нами элемента. Затем... Что же затем?

— Думаю, что это количество надо вычесть из внесенного изотопа, и тогда мы определим, какой процент серы переходит в сталь, — сказала Варя не совсем уверенно.

— Правильно, правильно! И получается решение простой арифметической задачи, а вовсе не кропотливый, сложный анализ! Замечательно! Пошли к Антону Антоновичу.

Антон Антонович Волков, седенький маленький старичок, таких восторгов, как Румянцев, не проявил. Он сказал:

— Ну что же, все, что вам надобно, товарищ Стрельцова, к вашим услугам. У нас тут не храм науки, а мастерская науки. Мастерите! Посмотрим, что у вас получится. Теоретически-то это ловко получается! Ищите практическое решение. Вот только нелегко будет эти изотопы раздобывать. Попробуем у физиков...

И вот Варя стала ежедневно задерживаться в институте на несколько часов. За ее работой следили и Антон Антонович, и Румянцев, и даже Бакланов находил время забежать в лабораторию, где Варя в миниатюрной печи плавила сталь. Результаты пока что получались неустойчивые. Ошибки при определении содержания серы и фосфора были недопустимо велики.

Но Варя не отчаивалась. Она умела переносить всякого рода неудачи в жизни. Она, конечно, перенесет и безразличие к ней Павла Петровича.

Варя твердо знала, что никогда о своих чувствах Павлу Петровичу не скажет, никогда не сделает так, чтобы он догадался о них. Пусть они вечно будут с ней и с ней вместе умрут.

В воскресенье рано утром Павел Петрович снова спросил обеих, не надумали ли они. Обе отрицательно и мрачно покачали головами. Павел Петрович сказал:

— Тоже мне молодежь пошла! Их за город зовут, на автомобиле прокатиться, они предпочитают сидеть дома да мух считать. Эх, еще, может, придет время, за пяльцы сядете!

— Может быть,— ответила Оля рассеянно, думая о другом.

Павел Петрович посмотрел на нее удивленно и уехал.

5

— Ты такая злая стала в последнее время, Оленька,— сказала Варя грустно после его отъезда,— что я уж думаю, не уйти ли мне от вас. Может быть, я мешаю...

— Глупости какие! — ответила Оля.— При чем тут ты! Просто не может человек быть всегда в одном настроении. Разное бывает настроение. Ты тоже не такая уж веселенькая. Но я к тебе не пристаю, верно же? И вооб-

ще, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп, сказал Маяковский.

— До чего же легко стать умным! — так же грустно заметила Варя. — Сто́ит надуться на всех окружающих, и ты — гений.

— Ты напрасно...— Тут Оля услышала коротенький звоночек в передней, прислушалась— не повторится ли; звонок не повторился, и она пошла отворять.

За дверью стоял Виктор Журавлев с пакетом в руках.

— Заходите, пожалуйста, заходите! — захлопотала Оля, краснея оттого, что еще не причесана и одета кое-как. Она быстро провела Виктора в кабинет отца, хотя Павел Петрович строжайше запретил ей водить к нему в кабинет ее приятельниц и приятелей, сказала: — Пожалуйста, посидите тут минутку. Я сейчас, сейчас! — и исчезла.

У себя в комнате, торопясь, она яростно, так, что треск стоял, драла волосы гребенкой, швырялась платьями, юбками, выхватывая их из шкафа; смешно сказать, но она боялась, как бы Журавлев не ушел, пока она возится с нарядами.

Не прошло и десяти минут, как она уже предстала перед своим гостем, который при ее появлении спокойно перелистывал технический журнал Павла Петровича.

— Ну, еще раз здравствуйте! — сказала Оля и подала руку.— Интересно, как вы меня нашли, кто вам дал адрес?

— Да в вашей сумке...

— В какой сумке? — Оля разыгрывала удивление.

— Вы что же, ничего не знаете? — удивился и Журавлев.— Сумку-то вы теряли или нет?

— Сумку? Ах да, сумку! Потеряла, потеряла, но совершенно не помню где. Может быть, в трамвае или в книжном магазине. У меня есть такая привычка: когда я роюсь в книжном магазине, положить ее на прилавок и забыть.

— Да нет же! — сказал Журавлев, развертывая свой пакет.— Вот она! Вы ее у нас в мартене забыли. Вы уж извините, пришлось открыть — адрес искал... Нашел на конверте.

Он подал сумку Оле, она поблагодарила, сказала, что очень, очень о ней беспокоилась, потому что в сумке тетради с выписками из редких книг, и отложила ее в сторону.

Оля обратила внимание на то, как одет Журавлев. Он был одет в серый, спортивный, хорошо сшитый костюм. Костюм был новый, но Журавлев не выглядел в нем тем манекеном из магазинных витрин, на который часто бывают похожи молодые люди в первые дни после приобретения обновки. Журавлев держался свободно, одежда его не сковывала. Заметила Оля и то, что на Журавлева обстановка кабинета Павла Петровича как будто и не произвела никакого впечатления. Обычно Олины знакомые, впервые попадая в этот кабинет, восхищались, удивлялись, ахали и охали, потому что в кабинете Павла Петровича было много всяческих интересных вещей: старинные часы — одни в углу, в дубовом футляре, другие на столе, бронзовые, с фарфоровым расписным циферблатом; возле книжного шкафа, в пирамидке, стояли охотничьи ружья; одно тут было арабское, со стволом из дамасской стали и ложем, отделанным серебром и перламутром. Были на полках и на столе действующие модели различных машин, цветы из тончайшей стали и множество иных предметов, собранных Павлом Петровичем еще до войны.

Журавлев не глядел на эти редкости, и Оля была этому рада, потому что ей хотелось, чтобы его внимание занимала только она.

— Я прочитал у вас на дверях: «Павел Петрович Колосов», — сказал Журавлев. — Не наш ли бывший главный металлург ваш отец?

— Совершенно верно, он теперь работает в Институте металлов.

— Значит, и вы в нашем деле понимаете?

— А как же! — Оля стала рассказывать о том, что̀ она знает из металлургии: как берут пробы, какие вещества добавляют в расплавленный металл, чтобы сталь получилась той или иной марки, помянула и запомнившиеся ей флокены, из-за которых сталь становится ломкой.

Журавлев слушал ее со снисходительной улыбкой, с какой истинные мастера выслушивают замечания дилетантов.

— Ну, а у вас какая специальность? Или вы еще учитесь? — спросил он.

— Так вот — тоже металлург.— Оля решила его разыграть.

— Ну нет! — Он засмеялся.— Вы думаете, разных словечек от папы набрались да кое-что в цеху повидали,

и уже этим меня можно обмануть? Вы, наверно, по искусству что-нибудь или по литературе.

— По истории,— сказала Оля серьезно.— Я в аспирантуре.

— Ученой, значит, будете?

Оле показалось, что в тоне, каким Журавлев сказал эти слова, прозвучало сожаление. О чем же он сожалеет? — подумала она. Может быть, о том, что, став ученой, она вознесется в такую далекую высь, в которой с площадки мартена ее и видно не будет.

— Это еще неизвестно,— быстро ответила она.— По истории работать, конечно, буду. Например, преподавать в вузе. А ученой?.. Это не так просто. Далеко не все, кто защитит диссертацию, становятся учеными.

Оля все время боялась, что Журавлев встанет, попрощается и уйдет. Он принес сумку, сделал свое дело, и у него нет больше причин терять с нею время. Поэтому она, не переставая, что-то рассказывала, о чем-то говорила, задавала ему вопросы, заставляя говорить его, слушала с подчеркнутым вниманием. При этом она думала, что поступает, наверно, очень неправильно и плохо, что не так надо себя вести, не этому ее учит вековая женская премудрость, надо же делать вид, что тебе — ха-ха! — безразлично, есть тут какой-то Журавлев или его вовсе и на свете-то не существует, надо же быть равнодушной, снисходительной и ни в коем случае не быть заинтересованной. Все это Оля знала и понимала, с другими она именно так себя и вела, как учит премудрость. Но тут что-то испортилось в вековых правилах. Она не могла им следовать, не получалось так, все заслонял страх: вдруг уйдет. А так хотелось, чтобы не уходил, чтобы сидел тут, курил папиросы, смотрел на нее серыми внимательными глазами и отбрасывал со лба длинную прядь волос,— наверно мягкую, шелковистую, она так легко падает и шевелится от ветра, проникающего в комнату через окно.

— Знаете что,— сказал вдруг Журавлев,— как планируется у вас сегодня время?

Оля изо всех сил старалась сказать, что сегодня она очень занята, но кто-то другой, только не она, ответил за нее. Оля даже не успела опомниться, как это случилось, ее язык уже произнес:

— Совершенно никак. Я над этим еще и не думала.

— Может быть, если вы согласны и у вас есть свободный час, мы выйдем на улицу? Погода, знаете, сегодня

просто выдающаяся. В девять утра смотрел на градусник, уже было девятнадцать. А сейчас,— он взглянул на свои часы, — сейчас половина двенадцатого.

Единственное, что смогла сделать Оля, это хотя бы принять такой вид, будто она раздумывает, а не воскликнуть сразу, тут же, немедленно: «Пойдемте, у меня не час, а весь день свободен, все лето, вся жизнь!»

Оля быстро собралась и, пройдя мимо столовой, мельком заглянула туда. Варя все еще сидела возле стола, подперев щеку кулаком. Оля поспешила прошмыгнуть дальше.

Шел день, один из чудеснейших в Олиной жизни. Они с Виктором катались по Ладе на шлюпке. Они не пошли на лодочную станцию в Парк культуры и отдыха, не взяли лодку, перевидевшую все на свете, истертую каблуками, штанами и юбками, безликую, ничем не отличимую от сотен ей подобных. Нет, на пароходной пристани знакомый матрос дал Виктору легонькую шлюпочку, маленькую, уютную, на двоих. Такой на всей Ладе, куда ни взгляни вокруг, больше не было.

Виктор снял пиджак. Оля взяла этот пиджак, положила себе на колени. Смешно, но ей было приятно оттого, что его пиджак лежит у нее на коленях. Она всегда потешалась над теми девицами, которые напяливают на себя бушлаты или морские фуражки своих кавалеров. Кепку Виктора она, конечно, наверно бы, пожалуй, не стала надевать на себя, но вот пиджак его лежит у нее на коленях, и ей приятно. Ей было радостно оттого, что лодка от сильных рывков летит по воде, оттого, что руки Виктора, рукава рубашки на которых закатаны выше локтей, при каждом движении весел как бы переливаются мускулами.

Они и в лодке не умолкали ни на минуту. Виктор рассказал, как он обнаружил Олину сумку, как хотел бежать следом за Олей, но уже было поздно. Он потом все время беспокоился — может быть, сумка ей нужна.

— Почему же вы не пришли раньше, среди недели? — спросила Оля.

— Зачеты сдавал. Горячая неделька была.

— Какие зачеты, где, куда?

— А в техникуме, за третий курс. Я же в вечернем техникуме учусь. Он, конечно, только так называется — вечерний. А там и днем занятия бывают. В зависимости от того, в какую смену работаешь. Удобно.

— В техникуме? — повторила Оля полувопросительно.— Ну и, интересно, кем же вы будете?

— Может быть, мастером. А вернее всего, останусь возле мартена бригадиром. Очень люблю я это дело. Вы знаете, заложим в печь разного хламу, поварим его, кое-что добавим, и получается такой металл, что по цене он стоит чуть ли не как золото, а нужда в нем всегда большая, чем в золоте.

— Да, я слышала от папы о высоколегированных сталях. Папа свое дело тоже любит, сталеварение. Только он все больше об электропечах говорит.

— Это понятно. Самый ценный металл в электропечах получается. Там температура выше.

Оля засмеялась.

— А вы смогли бы сталь из электропечи рукой рубить?

Журавлев взглянул на нее серьезно и пытливо.

— Безобразный, значит, поступок? — спросил он.

Вот он, тот момент, которого так ждала Оля!

— Вы меня простите, пожалуйста, — заговорила она. — Я не смогу вам объяснить, почему тогда так странно сказала. Я ведь не думаю, что это безобразный поступок.

— А какой же он?— спросил Журавлев, настораживаясь.

— А он такой, который мне нравится.

— Ну, тогда и вы меня простите,— сказал Журавлев,— за то, что не захотел разговаривать.

— Помиримся! — сказала Оля и протянула руку.

Журавлев отложил весла, потянулся к ней, легонькая лодочка резко качнулась. Оля вскрикнула, схватилась за борт, и пиджак Журавлева полетел в воду.

— Что я натворила!— Оля попыталась поймать пиджак, от этого лодка качнулась еще сильнее, черпнула бортом, под ноги Оле хлынула вода.

Журавлев схватил Олины руки, сказал: «Спокойно, спокойно, все в полном порядке. Сидите, пожалуйста, и не двигайтесь!» Он повернул лодку вслед за пиджаком, который, набухая и погружаясь, медленно плыл по течению, нагнал его, вытащил и бросил на нос лодки.

— Теперь примемся за воду,— сказал он.

Воды в лодке было много, почти на треть. Из-под решетчатых мостков, прибитых на дне, выплывали дохлые

рыбешки, пробки, корки хлеба. Журавлев стал черпать воду кепкой.

— Ой, что вы делаете? — сказала Оля. — Жалко же!

— Чепуха,— ответил он.

Потом, когда вода оставалась только под мостками, откуда ее кепкой извлечь уже было невозможно, он отбросил кепку, выжал пиджак и отвороты брюк.

— Весь костюм испортили! — сказала Оля.

— Важно, чтобы из-за таких мелочей настроение не портилось. Вот что важно.

Солнце палило. Пиджак, разложенный па носу лодки, начал дымиться. Просыхая, дымились скамейки, борта, мостки лодки. На воде было жарко, река, если взглянуть против солнца, сверкала так, будто смотришь в окно мартеновской печи. Оля помнила это ощущение и сказала о нем Журавлеву.

— А вдруг и верно из вас получится сталевар! — ответил он.— У вас и сравнения пошли металлургические.

Оля и Виктор Журавлев катались на лодке до тех пор, пока одежда Журавлева совсем не высохла. Тогда причалили к пристани, вернули лодку матросу, и в это время подошел пароходик — речной трамвай. Он ходил вверх по Ладе, к порогам, на которых собирались строить электростанцию.

— Прокатимся, а? — предложил Виктор.— Еще рано, трех нет.

Плыли на пароходе, сидя на палубе, на теплом ветру, почти час. Оля снова испытывала необыкновенно радостное чувство, ей было радостно оттого, что на них с Виктором смотрят, оглядываются. Она даже услышала, как одна девушка сказала своей подруге, указывая кивком головы на Виктора: «Интересный какой парень, верно?» — «Ничего»,— ответила другая равнодушно, а сама долго-долго разглядывала этого парня. Оля рассердилась на нее, спачала за то, что она так равнодушно сказала свое «ничего», и за это глупое слово «ничего», а потом за то, что она так долго рассматривала Виктора. Оля даже пересела, чтобы загородить его собой.

Сошли на пристани, которая называлась Масленица. Над пристанью возвышался крутой песчаный берег, на который вели полусгнившие деревянные ступени, наверху был лес с полянками, и через него во все стороны бежало множество тропинок. На полянках, среди обгоревших пней, буйствовали густые заросли лесной малины, малина

поспела, и потому было тут всюду множество народу. Одни и в самом деле съехались за малиной. Они с лукошками в руках добросовестно трудились среди зарослей, подставляя солнцу обнаженные спины; вечером, дома, они будут стонать от боли, терпеливые бабушки примутся смазывать им обожженные лопатки коровьим маслом, медом, вазелином, прикладывать спитой чай и листья подорожника. Но это будет вечером, а пока они были уверены, что закаляют свои организмы и вместе с малиной набирают силы.

Для других малина была только поводом для достижения более увлекательных целей. Эти раскинули в кустах и под деревьями одеяла, платки, полотенца, разложили на них яства, расставили пития. Тут были шуряки, девери, свояки, снохи, невестки, зятья, а следовательно, еще и тестья с тещами, разная родственная мелкота, вроде племянников и младших братовей. Все это гуляло, расположившись на лоне природы, сидя по-восточному или просто лежа, и пело всяческие песни.

Оля и Виктор тоже посидели на травке под деревьями. Оля спросила:

— А почему вы учитесь в техникуме, а не в институте и почему так поздно? Вам сколько лет?

— Скоро двадцать четыре, — ответил Журавлев, — уже взрослый. А почему так поздно и вообще... У меня мать старенькая...

— Я ее видела, — вдруг неожиданно для себя сказала Оля, испугалась и покраснела.

— Видели? — повторил Журавлев.— Так это не вы ли приходили к нам дней семь-восемь назад?

Врать было невозможно.

— Я,— сказала Оля.— Мне было стыдно за мое поведение на бюро, и мне очень хотелось вам все объяснить.— Говоря это, она не смотрела на Виктора, и зря, потому что, взгляни она на него, она бы увидела такой его взгляд, который ее бы очень обрадовал.

— Спасибо,— почему-то сказал Журавлев.—Вот я и говорю: мама у меня старенькая. А отец и брат на войне погибли, остались две старших сестры, одна на Дальнем Востоке, замужем, другая — в Ленинграде, тоже замужем. Они, конечно, маме помогали. Ну уж не настолько, чтобы мы вдвоем за их счет могли жить. Я и пошел работать после седьмого класса. Работаю. Помните, на райкоме говорилось: на самостоятельное бригадирство

Журавлева сватали. Это ничего, посердятся, посердятся, да и поставят бригадиром. Мое преступление не такое, чтобы мне дорогу закрывать. Да... — Он улыбнулся, что-то припомнив. — Прихожу домой, а мама мне и говорит: девушка тебя тут спрашивала, симпатичная такая, славненькая. Значит, это вы были?

Оля снова густо покраснела. Но Журавлев этого не заметил: под вечерним солнцем все были красные.

Потом они бродили по лесу. На одной из полянок раздался оклик:

— Журавлев! Витя! Привет! Двигайте к нам!

Окликали из компании, расположившейся под старым дубом.

— Это наши, заводские. Ребята и девушки, — сказал Виктор Оле.— Как вы считаете, подойти или не стоит?

— Почему же,— ответила Оля.— Может быть, если не подойти, будет невежливо.

Пока они так совещались, двое из заводской компании сами подошли к ним.

— Семенов,— сказал Виктор, представляя их Оле,— и Грачев.

Те, в свою очередь, тоже представились, пожимая Олину руку: «Вася», «Константин».

Оле еще пришлось ответить на десяток рукопожатий, услышать еще много «Коль», «Шуриков», «Тась», «Тось», «Наташ», «Володей». И сама она каждому говорила: «Оля», «Оля», «Оля», хотя в другой обстановке, знакомясь, она называла себя только по фамилии: «Колосова». Тут, где ей все улыбаются и почему-то очень рады, фамилия прозвучала бы слишком официально и, чего доброго, могла бы обидеть этих славных парней и девушек.

Все шумели, шутили, говорили; на траве играл патефон, под него желающие танцевали, наступая на тарелки и на бутерброды. Оля тоже потанцевала с Константином Грачевым. Она не любила танцевать, но на открытом воздухе это было совсем иное, чем в душном помещении, где жарко, тесно, где все друг друга толкают, где от смешения духов кружится голова. Ей бы хотелось, конечно, танцевать с Виктором. Но Виктор не приглашал. Приглашали другие, и, пока Оля танцевала с другими, она видела, как высокая девушка, круглолицая, большеглазая, с большой толстой черной косой, все говорила и говорила о чем-то Виктору. Говорила серьезно, даже сердито,

а Виктор только улыбался и, как Оле показалось, улыбался виновато.

Оле не захотелось больше танцевать, она села рядом с Виктором, Виктор заговорил с ней, отвернувшись от чернокосой девушки. Он сказал, что уже вечереет, может быть, ей прохладно, тогда пусть она накинет на плечи его пиджак. Оле нисколько не было прохладно, но она сказала: да, ей прохладно. Виктор сам накинул на ее плечи пиджак, который все еще был немножко влажный, поправил его, чтобы плечи были ровно. Оля сидела в этом пиджаке, гордая, краем глаза поглядывала на чернокосую девушку, но та больше ни на Виктора, ни тем более на Олю не смотрела.

Когда ехали обратно на пароходике, всю дорогу пели. Песня разносилась далеко над водой, в прибрежных деревнях люди выходили из своих домов, со дворов, огородов и долго стояли на берегу, глядя вслед веселому пароходу. Оля пела со всеми, она никогда еще не певала так самозабвенно, с таким увлечением. Называли ее тут, в этой компании, запросто — Ольга, даже Оленька, все девушки и некоторые парни обращались к ней уже на «ты», и она им говорила «ты».

Да, чудеснейший был день.

В городе вся компания собралась было провожать Олю до дому. Но одна из девушек — Оля заметила это — кого дернула за рукав, кого щипнула за локоть, что-то шепнула третьему, и провожать Олю отправился один Виктор. Оля с благодарностью и почти с нежностью подумала о своих новых знакомых: какие же они хорошие!

Возле Олиного дома стояли еще долго, наверно, больше часу; солнце уже было совсем низко. Оля никак не могла сказать: «До свидания. Я пойду»; не могла, потому что еще не было сказано, когда же они встретятся снова и вообще будет ли это когда-нибудь. Она ждала, чтобы об этом заговорил Виктор. А он заговорил об этом так, будто о деле, давно решенном:

— С завтрашнего дня всю неделю я буду в утреннюю смену, вечера свободные, вот только во вторник и в пятницу еще зачеты, последние. А у вас как вечера?

— И у меня свободные! — радостно сказала Оля.— Даже вторник и пятница свободные. А что?

— Ну так я приду за вами завтра,— сказал Виктор.— Куда-нибудь отправимся.

Теперь Оля с легким сердцем могла сказать ему «до свидания» и побежала по лестнице, мимо надписей про Любку — козьи ножки, мимо плюсов и минусов, относящихся уже не к Любке, а к ней, Оле.

Варя сидела в своей комнате и что-то писала за столом. Взглянув на нее, Оля подумала: «Бедная, как тебя жалко!» Но жалости у нее в сердце не было. Там была только радость. Эта радость могла быть еще больше и полнее, если бы по временам не набегало воспоминание о чернокосой девушке. Почему она так строго разговаривала с Виктором и что ей давало право на такую строгость?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Дача Румянцевых находилась километрах в двадцати от города, в сухой, песчаной местности, поросшей соснами. Весь этот район называется Ивановкой, а железнодорожный полустанок, к которому прилегала Ивановка, носил название Иваново. Среди сосен было разбросано множество дач, десятка два или три из которых принадлежало сотрудникам Института металлов. Построить дачи металловедам помог строительный кооператив, который организовался еще до войны и возобновил свою деятельность сразу же, как только война окончилась. Павлу Петровичу было известно, что стройка все еще продолжалась, что некоторые сотрудники все еще вносили средства в кооператив и тот добывал материалы, нанимал строительных рабочих, приглашал техников и архитекторов. Было это удобно, менее хлопотно и значительно дешевле, чем строить индивидуально. Но Павел Петрович знал и другое: в институте было несколько сотрудников, которые отказались от услуг кооператива, утверждая, что в нем сидят жулики, только и помышляющие о том, как бы погреть руки за счет ближнего. К таким не верящим в добро и бескорыстие застройщикам относились Харитонов и его жена. Они строили дачу сами, строили четвертый год, летом жили возле своей стройки в дощатом продувном сараюшке, простуживались, простуживали детей, болели, но не

сдавались и не шли в страшные для них кооперативные тенета.

В Ивановку надо было ехать по асфальтированной дороге, проложенной через живописные холмы, через быстрые реки с каменистыми руслами и стеклянно-прозрачной водой; весь путь, включая остановки перед железнодорожными шлагбаумами, замедленный ход в дачных поселках и деревнях, занимал минут сорок езды на машине.

Лишь только выехали за город, за окраины, лишь только впереди открылись зеленые лесные просторы и в машину ворвался запах лугов, Павел Петрович почувствовал, как куда-то в далекое, в необязательное сами собой уходят заботы и треволнения, одолевавшие его в последние дни.

Да, в последнее время этих забот и треволнений стало что-то прибавляться. Особенно донимал секретарь партийного комитета Мелентьев. Два дня назад произошел просто отвратительный случай. На очередном партийном собрании разбирали персональное дело одного из младших научных сотрудников. Павел Петрович не согласился с решением партийного бюро вынести этому сотруднику выговор, потому что не увидел за ним никакого проступка — просто товарищ откровенно поговорил с секретарем партбюро и обвинил Мелентьева в том, что тот дает партийные поручения коммунистам, нисколько не считаясь с их склонностями, формально. Мелентьев увидел в этом протесте нарушение партийной дисциплины и раздул дело.

Когда Павел Петрович заявил, что он с решением партбюро не согласен, Мелентьев сказал:

— На партбюро, товарищ Колосов, тоже были несогласные со мной, но это ничего не значит. Большевистский принцип вам известен: меньшинство подчиняется большинству. А большинство было за мое предложение. Вы удовлетворены?

— Хотелось бы знать, какое большинство, на сколько голосов? — продолжал настаивать Павел Петрович.

— Не помню,— небрежно ответил Мелентьев.

— На два голоса! — крикнули из зала.

— Не помню, не помню,— повторил Мелентьев.

Короче говоря, партийное собрание не поддержало Мелентьева, и решение партбюро не прошло. За это решение голосовали лишь сам Мелентьев и двое из членов партбюро, в том числе Самаркина.

После собрания Мелентьев сказал:

— Так, так, товарищ Колосов. Противопоставляешь массу коммунистов партийному бюро. Ну что ж, посмотрим, чья возьмет.

Павлу Петровичу передавали, что назавтра Мелентьева уже изо всех сил поддерживал Мукосеев. Каждому встречному и поперечному он говорил одно и то же: «Хорош гусь наш директор. Ничего, повыщиплем перья! Не таких обламывали. Не будет хвост распускать. Мы не позволим ему свою личность противопоставлять коллективу, диктатора из себя корчить. Партия не любит зазнаек».

По мере того как машина отдалялась от города, Мелентьев и иже с ним отходили в сознании Павла Петровича все дальше и дальше. Природа и пространство благотворно влияют на мысли человека. Выехал из города некто, обремененный заботами и треволнениями, а к Ивановке подъезжал оптимист, видящий все в самых радужных колерах.

Институтский шофер знал адрес Румянцевых. Он подвез Павла Петровича к воротам в зеленом решетчатом заборчике с надписью: «Во дворе злая собака». У ворот гостя встретили хозяин и хозяйка. Павел Петрович сказал шоферу, что тот может уезжать домой, что он возвратится в город на поезде. Машина развернулась и уехала. Павел Петрович вслед за хозяевами с опаской вошел в ворота.

— Вы не бойтесь, дорогой мой,— сказал Румянцев, заметив его взгляды по сторонам.— Собака у нас чисто теоретическая. Нет у нас никакой собаки, ну ее к свиньям, укусит еще кого, отвечай тогда. Только надпись культивируем. Ну это ладно. А вот интересно — вы перехватили чего на дорожку, Павел Петрович, или не очень?

— Ничего не перехватывал. Голодный.

— Вот и хорошо! Мы тоже.

Стол уже был накрыт на веранде с цветными стеклами, отчего сахар в сахарнице был зеленый, огурцы красные, хлеб пожелтел; никакие силы не могли только затмить естественного великолепия крупной, как яблоки, садовой земляники «виктория», которой было наполнено огромное фаянсовое блюдо.

— Вы это любите? — сказала довольная Людмила Васильевна, указывая на землянику.— Со сливками, а? Сама собирала. Встала в шесть часов.

— Сколько я вам хлопот доставил! — сказал Павел Петрович.

— А дачная жизнь из чего же и состоит? — ответил Румянцев.— Из одних хлопот.

— Между прочим, это правда,— подтвердила Людмила Васильевна.— Отдыха тут никакого. Утром встанешь чуть свет, едешь в город, в институт. Вечером приезжаешь поздно.

— А в воскресенье как грянут родственники, знакомые, друзья!

— Ну что̀ ты городишь, Гриша, ей-богу! Не слушайте вы его, Павел Петрович. Вот странный, пригласит в гости, а сам начнет околесицу.

Распахнули окна, запах сосен вступил на веранду. В загородной прохладе все елось с таким удовольствием и аппетитом, как никогда не естся в городе. За окнами, в кустах, возились, кричали, пели птицы. Румянцев оборачивался по временам к окну, поджимал губы и издавал свист, очень похожий на птичий. Птицы откликались, прилетали на подоконник и с любопытством смотрели внутрь веранды.

Что-то задело Павла Петровича под столом. Он невольно дернул ногой и заглянул под край скатерти.

— Это ежик, наш Тришка,— сказала Людмила Васильевна. Ежик побегал по веранде и отправился во двор.

— Он у нас вместо кошки,— добавил Румянцев.— Здорово мышей ловит. Это Людочка называет его Тришкой. Я зову Теоретиком. Откликается, понимает.

За завтраком шел разговор обо всем понемножку, о серьезном не говорили. Но когда взялись за папиросы и устроились во дворе в шезлонгах, без пиджаков и галстуков, Румянцев принялся говорить об институтских делах. Говорил он, правда, очень осторожно. Павел Петрович, однако, отлично понимал все его иносказания и недомолвки. Румянцева многое не устраивало в институте. И безделышчество некоторых сотрудников, и раздутость иных авторитетов, и завистничество, приводящее к подсиживаниям, и топтание на месте при разработке важных тем, и отрыв от производства.

— Не понимаю,— сказал Павел Петрович.— Почему же вы не боролись за то, чтобы было иначе? Одна дирекция с делом не справится. Надо, чтобы весь коллектив участвовал в улучшении положения в институте. А вы, например, Григорий Ильич, всегда и всюду молчите.

— Ничего-то вы, Павел Петрович, вижу, не знаете. Было время, не молчал, говорил...

— Знаю, знаю, — перебил Павел Петрович. — Всю вашу эпопею с Мукосеевым знаю. Но ведь победили вы, почему же эта история закрыла вам рот?

— Победил? — сказал с усмешкой Румянцев.— А какой ценой, спросите! Каким напряжением нервов и сил! Вот они все и вышли, силы. И нервы истрепались. Не полезу я больше ни в какую драку. Я хочу жить спокойно, спокойно работать, готовить молодые кадры. Вот к чему я стремлюсь, и ни к чему больше.

Убрав посуду после завтрака, вышла на веранду и Людмила Васильевна с третьим шезлонгом. Она уселась поудобней, оправила платье на коленях, спросила:

— Я не помешаю вашему разговору?

— А чего там, разговор чисто теоретический,— ответил Румянцев.— Вот, говорю, не ты бы, не хватило у меня силенок, сдался бы перед супостатами моими, и неизвестно, что бы из меня сейчас получилось.

— Ну до чего он любит преувеличивать! — заметила Людмила Васильевна.

— Не преувеличиваю я, Павел Петрович. Это моя спасительница, обратите внимание. Дважды спасла меня. Первый раз на фронте, раненого. Второй раз вот тут, значит, в нашей внутриинститутской потасовке.

— На фронте? — переспросил Павел Петрович.— Вы были на фронте, Людмила Васильевна? Неужели? Сколько же вам лет? Мне казалось, что нет и тридцати.

— Их и нет, Павел Петрович,— ответила не без кокетства Людмила Васильевна.— Еще далеко до них. Целых три месяца.

Павел Петрович принялся расспрашивать, потому что Людмила Васильевна была ему очень симпатична и все, что касалось ее, было ему интересно. Людмила Васильевна поломалась немножко, говоря, что в ее биографии ничего интересного нет, но потом принялась рассказывать так подробно, что рассказывала добрых два часа.

Родилась она в Ленинграде и весной тысяча девятьсот сорок первого года окончила девятый класс, ей тогда еще не исполнилось и семнадцати. Когда началась война, ее отец, агроном, работавший в пригородном совхозе, ушел в ополчение и вскоре погиб на реке Луге. Остались они с матерью. В декабре мать умерла от голода. Людмила Васильевна, голодная, истощавшая, качающаяся на тон-

ких, как вязальные спицы, ногах, дотащила на саночках покойницу до кладбища, до братской могилы и оставила там.

Что же было делать дальше, как быть, как жить? Она решила, что непременно должна пойти на фронт и отомстить за своих родителей. Она пришла в райвоенкомат. Никто ее никуда брать не хотел. Никому такой воин не был нужен. Все смотрели на нее и думали: вот сейчас повалится на пол и умрет. Какой-то солдат в драной шинелишке пожалел ее, дал половину брикетика так называемого пшенного концентрата. Людмила Васильевна тут же на его глазах с невиданной быстротой сгрызла эту окаменевшую штуковину.

С упорством ненормальной Людмила Васильевна ходила в военкомат каждый день. Однажды она услышала в одной из комнат разговор: «Нет у меня никаких машинисток,— говорил работник военкомата.— Откуда я их возьму?» — «А я что, сам сяду за машинку, что ли? — отвечал ему злой майор, которого Людмила Васильевна увидела, заглянув в приоткрытую дверь.— Раз формируете новую часть, обязаны дать весь штат!» Людмила Васильевна вошла в эту дверь без спроса. «Возьмите меня, — сказала она. — Я машинистка, я очень хорошая машинистка, я хорошо печатаю». Ее появлению обрадовались и работник военкомата, и майор, как потом выяснилось, только что назначенный начальником штаба вновь формировавшейся инженерной части. Быстренько оформили документы, тотчас же красноармейца Людмилу Вишнякову мобилизовали в армию, злой майор Семиразов повез ее на полуторке за город по дороге к Ладожскому озеру.

Она ехала и дрожала: что же будет дальше, как с ней поступят, какое дадут наказание? Полугорячечное состояние, в каком Людмила Васильевна доказывала, что она очень хорошая машинистка, прошло, и остался один девчоночий страх: что-то будет?

Приехали в лес, зашли в землянку, майор Семиразов показал ей машинку «ундервуд». Людмила Васильевна тронула ее пальцем, заревела и во всем призналась. Майор ругался так яростно и зло, что она думала, он ее убьет. Но он не убил, а сказал: «Паршивая ты баба, ты меня подвела, всю часть подвела, такая ты, перетакая. Ну, ты у меня наплачешься за эту твою подлость». Он вызвал

какого-то сержанта и приказал: «Поставить ее караулить помойку, черт побери!»

Да, красноармеец Вишнякова, прогнать которую из армии майор Семиразов был не волен, с того дня — и так полтора месяца — стерегла помойку за кухней. Помойку надо было стеречь потому, что на нее ходили голодные люди из блокированного врагом Ленинграда, рылись в отбросах и заболевали. Красноармеец Вишнякова стояла там с утра до ночи с тяжелой винтовкой, которой она очень боялась и от которой руки у нее были в кровавых мозолях.

Красноармеец Вишнякова в зиму с тысяча девятьсот сорок первого года на сорок второй была, пожалуй, самым незадачливым красноармейцем во всей Красной Армии. То она заснет на посту, то потеряет затвор от винтовки, то винтовка у нее заржавеет. Злой майор Семиразов повторял: «Будешь знать, как людей обманывать. Второй раз не станешь проситься в армию». Произошел однажды и такой конфуз: красноармеец Вишнякова, когда среди ночи объявили учебную тревогу, выбежала из казармы в одних мужских кальсонах. Ватные брюки она спросонья позабыла надеть. Видимо, гимнастерка показалась ей платьем, она одернула ее и встала в строй. Надо сказать, что хохотали над ней лишь майор Семиразов да его сподвижник — старшина. Другие офицеры и солдаты ее жалели.

Потом, к весне сорок второго года, инженерная часть с берегов Ладожского озера перешла на Пулковские высоты. Людмилу Васильевну в теплый апрельский день здесь ранило осколком снаряда, и наконец-то она вырвалась из-под власти проклятого майора Семиразова. Из госпиталя ее уже не отправили обратно к нему, она осталась при госпитале, училась на курсах, стала медицинской сестрой.

После этого началась новая пора ее военной жизни. Во время наступления, уже зимой сорок четвертого года, где-то под Псковом медицинская сестра Вишнякова сопровождала транспорты раненых с передовой. Однажды она везла две полуторки раненых, налетели фашистские самолеты, принялись обстреливать и бомбить мелкими бомбами. Обе машины вышли из строя, шоферов ранило, некоторых раненых снова ранило, троих убило. Она одна оказалась здоровой среди двадцати пяти стонущих, ожидающих ее помощи, надеющихся только на нее. Она перевязала тех, кому это требовалось, и стала ожидать на

дороге попутного транспорта. Из леса вылетела машина. Людмила Васильевна пыталась ее остановить, но шофер промчался мимо, чуть было не раздавив отчаянную медицинскую сестру. Тогда она взяла у одного из офицеров наган и встала посреди дороги с наганом. Очередная машина остановилась под револьверным стволом.

Началась перебранка. Машина принадлежала гражданской организации, которая шла вслед за войсками и налаживала жизнь на освобожденных территориях. Шофер был подвыпивший. Вечерело, он не желал на ночь глядя связываться с опасной поездкой неизвестно куда, говорил, что не знает дороги, что сзади идут еще машины. «Застрелю!» — сказала Людмила Васильевна и почувствовала, что она действительно способна застрелить этого человека. Она подозвала офицера, которому принадлежал наган; офицер подошел, прыгая на одной ноге, потому что вторая была перебита; сказала ему, чтобы он в случае чего стрелял в шофера, а сама с помощью трех раненых, которые еще могли передвигаться, принялась перетаскивать остальных из разбитых машин в кузов гражданской машины.

Вскоре подошла еще одна машина, Людмила Васильевна остановила и ее.

— Поверите,— говорила она, обращаясь к Павлу Петровичу,— я в тот вечер и в ту ночь ругалась так, как, наверное, способна ругаться только целая сотня мужчин.

— Вот за что я ее и полюбил,— сказал со смехом Румянцев.— Я аккурат был тот офицер с наганом, я слушал эту ее... ну как бы сказать?.. ну эту, что ли... речь... вдохновенную такую, обращенную к шоферам-саботажникам, и думал: вот это будет жена! С такой не пропадешь. И не пропал, Павел Петрович. Не дала пропасть.

— Я сидела в кабине второй машины, чтобы она не отстала, чего доброго. Сидела рядом с шофером,— продолжала Людмила Васильевна, увлеченная воспоминаниями,— держала в руках наган, и когда шофер, которому не хотелось уезжать в ночь из знакомых мест, от своей постели, начинал канючить — вот-де мотор барахлит или бензину, пожалуй, не хватит,— я ему говорила все, что слышала когда-то от майора Семиразова. И мотор перестал барахлить, и горючего хватило до самого того места, куда надо было добраться.

У Людмилы Васильевны была хорошая черта характера, очень важная для дачной жизни,— она умела всякий

тяжелый, трудный, сугубо деловой разговор незаметно превратить в легкий и веселый. Павел Петрович и Румянцев, оставаясь одни, начинали все снова и снова об институтских трудностях, о неполадках, оба расстраивались, волновались; появлялась Людмила Васильевна — и весь этот мрак рассеивался. Одно только ее курносое лицо, с которого никогда не сходила улыбка, было способно изменить настроение любого; а еще был нежный девчоночий голосок и множество смешных историй, которые она рассказывала непрерывно. Павел Петрович только удивлялся, откуда они берутся у нее.

— Уже сколько лет живем вместе, так вот даже и я не знаю, откуда она их берет,— сказал Румянцев.— Выйдет будто бы на полчаса из дому, и уже готово, полдня может рассказывать, что она увидела, кого встретила, что узнала, и все получается смешное. А я хожу-хожу по улицам и не встречу-то никого, и никто мне ничего не расскажет, а про смех и говорить нечего, какой к шуту смех!

Павел Петрович смотрел на Людмилу Васильевну, слушал ее и про нее и не мог себе представить эту женщину, с наганом на дороге останавливающую грузовики или без страха перед всякими Мукосеевыми отправляющуюся в Центральный Комитет партии, чтобы доказать невиновность человека, который пал духом и сам уже стал сомневаться в своей невиновности. Откуда у таких женщин, казалось бы маленьких и слабеньких, вдруг берутся сокрушающие всё богатырские силы, и как нередко случается именно так, что перед трудностями, перед ударами судьбы спасовал мужчина и на борьбу с ними, защищая его, выступает женщина, причем далеко не всегда она уверена в том, будет он ей за это благодарен или нет. По-разному получается. Бывает так, что он любит ее после того втройне, но бывает и так, что он не оценит ее усилий и жертв, скажет в конце концов: а кто тебя просил лезть не в свое дело, или вообще не заметит сделанного ею. Да, конечно, когда не оценит и не заметит, после этого, да, да, горько, обидно, больно. Но только после этого, а в то время, когда она решается вступить в борьбу за любимого человека, когда она вся в борьбе, ни о чем, что будет после, будут ли ей благодарны или неблагодарны, она не думает, ей это в ту пору все равно. Она совершает возможное и невозможное не во имя чувств к ней, а потому, что так поступать ей диктуют ее собственные чувст-

ва. Нет на свете никого бескорыстней истинно любящей женщины.

Так и проходил дачный день Павла Петровича: уйдет по своим делам Людмила Васильевна — вновь и вновь институтские переживания, вернется — переживания долой, веселая болтовня, состязание в остроумии, в умении рассказывать что-нибудь посмешнее.

После обеда, отдохнув немножко, решили погулять по Ивановке и ее окрестностям. Павел Петрович был тут впервые, и поэтому ему всё показывали и объясняли.

Пересекли соснячок, наткнулись на оградку, пошли вдоль нее. За оградкой стоял старый дырявый сарай, по всему участку вокруг сарая были раскиданы бревна, кирпичи, лежали кучи щепок, извести; известь от дождей растеклась во все стороны, как лава от вулкана. На бревне возле распахнутой двери сарая сидел Харитонов в зеленых трусиках и выцветшей голубой майке. Перед ним стояла его жена, Калерия Яковлевна, знаменитая, как пояснила Людмила Васильевна, своим языком. В институте шутили: если вы хотите, чтобы то или иное было немедленно известно всему городу, под строгим секретом расскажите об этом Калерии Яковлевне. Город будет оповещен в течение двенадцати часов.

— Дура,— ровным голосом говорил Харитонов,— опять накупила гнилья! Над нами и так смеются.— Он легко отломил истлевшую гнилушку от бревна, на котором сидел. — Чего ж ты делаешь-то? На что деньги изводишь? Что я тебе, госбанк, что ли? Или сам я их печатаю?

— Уйдемте отсюда поскорей,— сказал Павел Петрович, снова сворачивая в сосны.— Это слушать нельзя.

— Понимаете,— зашептала Людмила Васильевна,— это у них ежегодно. Покупают по дешевке хлам, разные срубы, бревна, сумасшедшие деньги платят за перевозку, потом зовут строителей, плотников, те говорят: «Дрова! Стройте сами». Видите, у них едва-едва полсруба сложено, а денег они уже истратили, говорят, около тридцати тысяч. Он, бедняга, с ног сбился, зарабатывая их. Лекции читает, статьи пишет, чуть ли не в кино перед сеансом выходит рассказывать про доменные печи и о том, как надо варить чугун. Очень интересно!

— Не злословь, Людочка, — сказал Румянцев. — У каждого свой пунктик помешательства. У Харитоновых —

желание приобретать все по дешевке, желание выгадывать, где только можно. На этом они и прогорают.

Вскоре подошли к дачке с черепичной крышей.

— Здесь живет Белогрудов,— сказала Людмила Васильевна.— На лето загадка их таинственной жизни с женой прекращается. Зимой, вы это, наверно, знаете, они живут врозь, на разных квартирах. Ну, а на лето съезжаются сюда.

— Здравствуйте, здравствуйте! — раздался голос, и из-за кустов георгинов, окружающих дом, поднялся сам Белогрудов. — Прошу, заходите.

Гостить в этом доме не входило ни в планы Румянцевых, ни тем более в планы Павла Петровича, который когда-то так резко обошелся с Белогрудовым за его панибратство. Но Белогрудов уже распахивал калитку, уже тряс руки всем троим, говорил, что он очень рад тому, что его не забыли, что он угостит их сейчас чем-то совершенно необыкновенным.

Ничего не оставалось делать, вошли в дом, в три тесные комнатушки, сплошь уставленные полками с книгами.

— На дачу возите столько книг? — удивился Павел Петрович и взял с полки первую приглянувшуюся ему книгу старинного издания в кожаном переплете с золотым обрезом.

Белогрудов сделал такое движение, будто он хочет отобрать книгу у Павла Петровича. Но не отобрал. Явно смущаясь, он заговорил:

— Нет, что вы, что вы, Павел Петрович! Библиотека моя в городе. Это просто так, чепуха. Лучше вы не утруждайте себя, ничего интересного, клянусь вам.

Павел Петрович все-таки раскрыл книгу, которую держал в руках.

— Вот так штука! — рассмеялся он и прочитал вслух: — «Парижский повар, или Поваренная книга, содержащая в себе все относящееся к городской кухне, как-то: необходимые предварительные заготовления для оной: разные кушанья из мяса, дичи, домашних птиц и рыб... Соч. Альберта, главного повара кардинала Феша. Перевод с французского, 1829 год». До чего здорово — сразу на поваренную книгу наткнулся!

— Я же и говорю: все это чепуха,— повторил Белогрудов.— Ну, пожалуйста, не утруждайтесь. Какую книгу ни возьмете, все будет про кулинарию.

Но Павел Петрович, несмотря на его просьбу, взял вторую книгу с полки.

— «Музеум практических знаний гастрономии, поваренного искусства, приготовления и сохранения напитков, консервов, запасов и содержания погребов и разных секретов в домашнем быту...— читал он вслух.— Составлено и написано членами Общества бережливости господами Куманиным, Муратовым, госпожами Глинской, Гано, Авдеевой, Кустаревской и другими, в 15 частях. Москва, С. И. Леухин, 1883 год». До чего же это интересно! — воскликнул он и уже подряд брал с полок удивительные книги. Названия у них были такие: «Верный источник к сокращению домашних расходов», «Для неопытных хозяек советы», «Пир на весь мир. Подарок юным поварам и поварихам», «Что в рот, то спасибо! Поварское и кондитерское руководство для молодых хозяек», «На помощь небогатой хозяйке. 500 рецептов, испытанных путем 15-летней практики в роли хозяйки домашних обедов для людей небогатого класса. Киев, 1902 г.».

Рылись в удивительных книгах и Людмила Васильевна и Румянцев: все трое то и дело восклицали: «Послушайте, только послушайте!» И дальше шло описание какого-нибудь совершенно неслыханного и немыслимого блюда.

— Товарищи, товарищи! — упрашивал Белогрудов.— Вы же наглотаетесь пыли. Все не пересмотрите. Тут пятьсот томов на всех языках мира. Не выкинешь же их. Собирать начал мой дед, собирал отец. А я вот храню.

— А заглядываете в эти книги? — спросил Павел Петрович.

— Сознаюсь, грешен. Бывает. Это так, по воскресеньям, в порядке отдыха. Возьму да что-нибудь интересное и изготовлю. Этакую экскурсийку в минувшие века совершу. Сегодня, коли уж вы ко мне попали, то, скажу вам откровенно, кажется, удачно попали. Делается опыт по книге восемнадцатого века. Я приобрел индейку, сельдерею, ревеня, мускатных орехов... Готовить приходится, к сожалению, самому.

— А где же ваша жена, Евгения Михайловна? — спохватилась спросить Людмила Васильевна.

— Она? — Белогрудов вдруг застеснялся, даже немножко покраснел.— Она, понимаете, отправилась в ресторан. Она не разделяет моих увлечений.—Он поспешно ушел в кухню.

Румянцев сказал:

— Ну вот теперь понятно, почему они и живут-то врозь. Их разделяют эти книги и мускатные орехи с луком-пореем и сельдереем.

— А что же делать нам? — выразила недоумение Людмила Васильевна.— Мы же недавно обедали.

— Ну, попробуем, попробуем. Это даже чисто теоретически интересно,— сказал Румянцев.— Восемнадцатый век!

Белогрудов то появлялся, то исчезал. Был он в белом переднике, с засученными рукавами. Из кухни в комнаты проникал приятный запах.

Когда наконец хозяин пригласил гостей к столу, они, возбужденные этим запахом, пошли довольно охотно.

Кушанье оказалось потрясающим по вкусу.

— Боже! — воскликнула Людмила Васильевна.— От такого великолепия уйти в ресторан, к бараньим котлетам, к салату оливье! Не понимаю, как это можно?

— Ну ведь...— Белогрудов снова застеснялся.— Ну ведь такое получается не каждый раз. Разное ведь получается. Опыт, эксперимент, он может оказаться и менее удачным.

Румянцев посмотрел на него и принялся смеяться так, что его едва остановили, дав выпить холодной воды. Он утер слезы ладонью и сказал:

— Экспериментаторы во все века терпели. Но и те немало хватили горя, которые разделяли с ними жизнь под одной кровлей. Евгения Михайловна, сочувствую вам! — Он поклонился фотографическому портрету худенькой женщины на стене.— Вы как многотерпеливая подруга Галилео Галилея...

— Гриша!..— дернула его за рукав Людмила Васильевна.

— Ничего, ничего,— сказал Белогрудов.— В общем, это правда, Евгении Михайловне нелегко. С общей, так сказать, общежитейской точки зрения и мне бывает несладко. Бывает, ешь такую гадость, что потом неделю ходишь зеленый.

В разговоре Павел Петрович сказал о том, что жилищные условия Белогрудова в городе, видимо, скоро улучшатся: строительство нового дома идет полным ходом, и Белогрудов, конечно же, может рассчитывать на квартиру в нем.

Белогрудов замахал руками:

— Пожалуйста, не беспокойтесь! Пожалуйста, ничего не делайте! Дело в том, что моя жена ненавидит коммунальные квартиры, у нее отдельная квартира из одной комнаты и кухни. А у меня две комнаты в коммунальной квартире, и я люблю коммунальные квартиры и ненавижу отдельные. Я люблю выйти утром на кухню, этак при подтяжках, с мылами и зубными щетками в руках, побеседовать с соседками, узнать у них различные новости, которые волнуют общество нашего города, выразить какое-нибудь неудовольствие по поводу того, например, что мои калоши кто-то сдвинул с места. В коммунальной квартире надо непременно затевать скандальчики, но небольшие и по пустякам. Тогда не назреет крупного непримиримого скандала. Если вы, например, будете жить тихо, ни к кому не приставая, скромно, корректно, соседи это воспримут как высокомерие, как нежелание иметь с ними дело. Тогда вы, конечно, пропали. Вас возненавидят. Мелкие скандальчики служат громоотводом и укрепляют единство коммунальных жильцов. Я прекрасно знаю быт коммунальных квартир, я привык к нему, я его полюбил.

— Вы знаете, Александр Львович,— сказала Людмила Васильевна,— ваша речь мне напомнила одного товарища, о котором мне на днях рассказывали. Он тоже всю жизнь прожил в коммунальной квартире и много лет воевал за то, чтобы ему дали отдельную квартиру. Он писал всяческие заявления во все инстанции, он писал кляузы на соседей, старался выжить их из квартиры, которую мечтал захватить всю целиком себе. Он радовался, когда кто-нибудь заболевал: авось умрет и освободит площадь, которую можно будет высудить для себя. Эта борьба превратилась в некую самоцель его жизни. Он изощрялся в способах и методах борьбы, жил ими, думал о них, лелеял их. И что вы думаете? Ему наконец дали отдельную квартиру в новом доме. Прекрасную квартиру. Но, видимо, было поздно. Лишенный привычного, с которым он сросся, без кляуз, борений и дрязг он зачах в отдельной квартире и через полгода умер.

— Сколько ему было лет? — спросил Белогрудов.

— Около пятидесяти.

— Вот, вот, самый опасный возраст. Врачи утверждают, что от сорока восьми до пятидесяти четырех лет человек ни в коем случае не должен менять своих привычек, не должен менять образ жизни: ни бросать курить, ни

задумывать вновь жениться или разводиться, ни вот, значит, даже переезжать на другую квартиру. Это его губит в таком возрасте.

— Ну что вы, ей-богу, сочиняете! — сказал Румянцев.— Вы неудачный теоретик, Александр Львович. Не лезьте вы в теорию. Учтите, что теоретикам всегда попадает больше, чем практикам. И это правильно. Практик если и натворит ошибок, то это его индивидуальные ошибки, касающиеся его одного. А теоретик, если он черт чего натеоретизирует, это же на тысячи умов произведет воздействие. Под этим теоретическим воздействием не один человек, а тысячи людей натворят ошибок. Учтите, говорю, пожалуйста. Не теоретизируйте. Ошиблись, допустим, со своими индейками, ну ладно, в одиночку ошиблись, испортили себе одному желудок, сидите и один это дело переживайте. А вот с возрастом — поосторожней. Вы как пустите в свет свою теорийку, все, кому от сорока восьми до пятидесяти четырех, разволнуются, перепугаются. И начнется. Чтó бы человеку курить-то бросить,— нет, скажет, Александр Львович Белогрудов учит нас, что делать этого нельзя, опасно.

— Так это же не я учу. Врачи.

— Потом доказывайте, врачи или не врачи. Кстати, я ничего подобного от врачей не слыхивал. И вообще я против, когда подо все, под всякую чепуху, непременно теорию подводят.

— Ну как же! — сказал Павел Петрович, смеясь.— Без теории нельзя, без теории мы пропадем.

— Теория теории рознь,— возразил Румянцев.— И не говори ты, Павел Петрович, и не будем про это! — Он назвал Павла Петровича на «ты», и Павел Петрович увидел в этом знак доверия к себе, и от этого дружеского обращения ему стало приятно.

— Не против теорий надо восставать, Григорий Ильич,— заговорил Белогрудов,— а против того, что некоторые из нас, красиво теоретизируя, скрывают за этой ширмой полнейшее свое безделье, полнейшую свою творческую и научную неспособность. Многие из нас привыкли к размеренному ходу жизни. Ломать его никому не хочется. Всякая ломка связана с затратами энергии, умственных способностей, нервов, то есть самого себя. Мы дороги самим себе, мы бережем самих себя. Это я в порядке критики и самокритики. Я бы давно мог восстать против того, что наш почтенный Красносельцев полтора

десятка лет колдовал вокруг точек Чернова, повторял работы прошлого века. Я бы мог обрушиться на тех, кто лодырничает и лишь прикидывается ужасно занятым, обремененным. Но я не восстал и не обрушился, потому что в известной мере сам таков. Да, да, не смотрите на меня удивленно. Я правды не боюсь. Меня надо трясти обеими руками, как яблоню, тогда с меня посыплются зрелые яблоки.

— Опять теория, — сказал Румянцев. — Ну ни шагу без них.

— Это практика, практика! — крикнул разгоряченный Белогрудов.

— Я, товарищи, вы это знаете, сугубый практик, — заговорил Павел Петрович.— Но я, Григорий Ильич, прекрасно понимаю значение теории. И кроме того, нельзя никогда забывать об индивидуальных особенностях человеческого ума! Один ум прекрасно справляется с практикой, другой умеет сочетать и практику и теорию, ну, а третий вот во всю мощь развертывается лишь в области теории. Было бы глупо Ивана Ивановича Ведерникова заставить самого конструировать те станки и машины, которые сейчас создаются конструкторами по его идеям. Он не способен сконструировать даже обычное колесо для обычной телеги. Это, конечно, не высшее достоинство для человека, но разве мало таких людей, которые способны только к теоретическим построениям? К человеческому уму и к человеческим способностям надо относиться по-хозяйски.

— Но вы однажды, мне передавали, иначе высказывались на партийном собрании,— сказал Белогрудов.— Вы сказали, что крупнейшие теоретики прошлого века были и выдающимися практиками — инженерами, конструкторами.

— Это наиболее желательное.— Павел Петрович засмеялся.— Это идеал. А разве мы не должны стремиться к идеалу?

Когда стало смеркаться, Румянцевы и Белогрудов пошли провожать Павла Петровича на поезд. Он уехал.

Возвратясь домой, Белогрудов застал там жену.

— Вот ушла,— сказал он.— А у меня гости были. Ели всё с удовольствием, хвалили. Я видел, что это искренне, а не притворство.

— Интересно, кто же тут пострадал от твоих экспериментов?

— Во-первых, были у меня сегодня Румянцевы и, во-вторых, был директор нашего института, Колосов Павел Петрович.

— Колосов? — переспросила Евгения Михайловна.— Почему же ты меня не позвал, не пошел за мной, не послал кого-нибудь? Удивительный ты! Но странно, как ты примирился с ним? Ты же говорил, что никогда не простишь ему его хамства, того, что он с тобой не поздоровался.

— Приятнее ошибаться в человеке так: когда думаешь, что он хам, а он оказывается чудесным товарищем, чем когда думаешь, что это облако в штанах, а оно оказывается мерзопакостью.

У Румянцевых на веранде шел иной разговор.

— Мне наш Колосов очень и очень нравится, — говорила Людмила Васильевна.— Я считаю, что нам надо с ним дружить. А то ходишь к этой своей жеманной Шуваловой, вечно фокусы, великосветские манеры, в карты до утра. Интересно, просто жуть! И разговоры такие ученые, слова попросту не скажут. А я вот заметила: настоящие умные люди никогда не умничают.

— Ну, Людочка, ты не права, — возразил Румянцев. — Серафиме Антоновне у нас с тобой ума не занимать. Умная, умная, ты со мной не спорь. Наградил ее господь бог, и тут я тебя даже слушать не хочу.

— Может, и умная. Только умничанья у нее все-таки больше, чем ума.

В стеклянную дверь веранды постучали. Людмила Васильевна сказала:

— Да, пожалуйста.

Вошла толстая девушка. Людмила Васильевна знала, что это домработница Шуваловой. Молодая толстуха подала конверт Румянцеву, сказав:

— Просили дать ответ.

Румянцев разорвал конверт, пробежал глазами записку.

— О! — воскликнул он.— Аккурат для полного твоего удовольствия.

Прочла записку и Людмила Васильевна. Шувалова писала, что приглашает их на чашку чая: собралось несколько хороших друзей.

Людмила Васильевна, не желая, чтобы слышала шуваловская девушка, увела Румянцева в комнаты и сказала:

— Надо отказаться. Я не хочу идти. У меня такое хорошее настроение, зачем его портить? А там оно непре-

менно испортится. Я же знаю, что она приглашает меня только из-за того, что ты без меня не пойдешь. Я ей не нужна, женщин она не любит. Главное — начнутся проклятые карты. Поедешь завтра в институт с головной болью.

— Ты так меня упрашиваешь, Людочка, будто думаешь, что меня бог знает как туда тянет. А я вовсе и не пойду. Посидим с тобой, посумерничаем. Да и кто мне, кроме тебя, на свете нужен, родненькая ты моя, рядовой солдат Людка Вишнякова! — Он поцеловал ее в глаза и сел к столу, написал Шуваловой записку о том, что прийти не может: Людмиле Васильевне, мол, нездоровится.

Толстая девушка положила записку в карман жакета, но пошла не домой, а к участку Харитоновых.

Харитонову, который при свете керосиновой лампы налаживал в своем сарае снасти для ловли раков, она отдала второй конверт. Тут, видимо, ей не было сказано ждать ответа, потому что она тотчас пошла дальше, к следующей даче. Харитонов сказал жене:

— На́, прочитай.

— Не могу же я читать,— ответила Калерия Яковлевна.— Я же очки в городе оставила.

— Дура. Давай сам прочитаю. «Дорогие друзья...» Видишь, нас Шувалова в гости с чего-то зовет. Никогда не звала. А тут зовет. Пусть одна гуляет, я лучше раков пойду половлю.

— Ты с ума сошел! — закричала, захлопотала Калерия Яковлевна. — Надо сейчас же идти, дурак! Болтаешь, сам ничего не понимаешь. К ней кого зовут? Только выдающихся. Попасть к ней в дом... Вот дурак, вот дурак! «Раков»! Тьфу!..

Они кричали друг на друга так, что их ребята, двое сыновей, Колька и Сашка, собравшиеся было спать, удрали в малинник, чтобы переждать там грозовую тучу. Калерия Яковлевна доказывала мужу, что он будет последним глупцом, если не пойдет к Шуваловой, если упустит такой случай.

— Ты много о себе думаешь! — кричала она. — Ты все должности перезанимал в институте, а вот коснись в гости к лауреатам, так нас и не зовут. В кои веки позвали — нос дерешь. Сейчас же собирайся. У нее знакомства в Москве, в Ленинграде, она захочет — все мо-

жет. Она может поднять человека, а может и уронить. У нее рука в министерстве, в самой Академии наук, где хочешь.

Они уже собрались наконец. Они уже шли в потемках, а все еще ругались. Калерия Яковлевна доказывала Харитонову, что он, конечно, правильно держится секретаря парткома Мелентьева: Мелентьев тоже сила. Но нельзя пренебрегать и другими силами. Шуваловская сила попрочнее мелентьевской, и заручиться поддержкой этой силы потруднее. Мелентьев по долгу службы должен всех поддерживать, а Шувалову разве кто заставит кого-нибудь поддерживать! Не обязана. Поддерживает только, кого ей вздумается. Нельзя упустить такой случай, надо заручиться ее поддержкой.

Харитонов шел мрачный. Особых выгод от посещения Шуваловой он не видел. Все равно денег она ему не даст, все равно надо будет бегать по городу и выступать с лекциями, писать статейки и рецензийки в издательствах на рукописи технических книг. «Иедер ист зейнес глюкес шмидт — каждый есть кузнец своего счастья»,—любил повторять Харитонов старую немецкую пословицу. Но всю жизнь бил он молотом мимо наковальни.

У ворот шуваловской дачи Харитоновы приняли вид благоденствующей, счастливой парочки. Валентин Петрович даже взял под руку разряженную Калерию Яковлевну. Когда им навстречу вышел томный голубоглазый Борис Владимирович в полосатом костюме, они заговорили бодрыми голосами. Валентин Петрович смеялся, стараясь придать своему смеху многозначительность. Калерия Яковлевна, здороваясь с Шуваловой, потянулась целоваться. Серафима Антоновна мило улыбнулась, потом быстро ушла в свою спальню и долго брезгливо терла ваткой, смоченной в одеколоне, губы и щеку, которых коснулась своими губами Калерия Яковлевна.

2

Павел Петрович любил ездить в поездах и особенно в общих вагонах. Правда, в последние двенадцать — пятнадцать лет это ему удавалось не слишком часто. С возрастом Елену Сергеевну тянуло на жизненные удобства, а удобств в мягком или так называемом международном вагоне, говоря откровенно, куда больше, чем в общем да

к тому же еще и бесплацкартном. А так как они всегда брали отпуск одновременно, Павел Петрович и Елена Сергеевна, и ездили на юг вместе, то и получалось, что в общих вагонах Павел Петрович мог устраиваться, лишь когда бывал в командировках и курсировал между Донбассом и Уралом, по дороге в Кузнецк или Криворожье. С командировочным удостоверением в кармане он, конечно, не упускал случая где-нибудь в Сызрани, на Лозовой, в Белой Церкви или на иной не менее знаменитой пересадочной станции ринуться со своим чемоданчиком к подошедшему поезду, забиться в такой бесплацкартный вагон, где можно лежать и на третьих полках, расположиться там и слушать, слушать, слушать, изредка слезая вниз попить чайку и самому вступить в беседу.

О чем только не говорят в общих вагонах дальних поездов, над какими только не бьются проблемами, каких только не решают вопросов! В отличие от всяких иных человеческих собраний и заседаний, на совещаниях в вагоне ставятся вопросы, которые касаются всех без изъятия сторон нашей жизни — от мельчайших заусениц личного быта до глыб государственного и мирового значения. Тут будет и критика в адрес председателя Псковского горсовета, у которого летом пыль метет по улицам так, что ходить надо зажмурившись или в автомобильных очках, иначе без глаз останешься. Будет и рассказ о том, как в голой степи строят город, которому и названия еще нет, а уже в нем семьсот домов с водопроводом, три кино и завод, такой громадный, какие и на Урале не на каждом шагу. Будет тут длинное повествование мужа, от которого убежала жена, бросив троих детей, и вот он теперь сам и мать, и отец, и нянька, и постирушка, что хочешь, и готов жениться на вдове, у которой тоже есть дети, и не знает ли кто такую. Рядом пойдет рассказ о молоденькой красавице — медицинской сестричке, которая подобрала на войне инвалида без ног, привезла к себе на родину, вышла за него замуж, и живут они нынче душа в душу, всем соседям на зависть. Будут даны полные комментарии к заявлению американского президента по поводу политики «с позиции силы»; после них стратеги с медалями на груди «За отвагу», за Будапешт или Берлин, споря и ссорясь, примутся составлять блестящий план разгрома банды Чан Кай-ши, засевшей на острове Тайвань; потом

поговорят об урожаях, о воспитании детей, о том, что для грузового и пассажирского сообщения надо шире использовать средние и малые реки, зря они пропадают. Поговорят о положении в Индокитае, об очередной смене французского или итальянского правительства, посочувствуют народам этих стран,— и так будет разматываться, разматываться клубок жизни со всеми ее горестями и радостями, со всеми недоумениями и неустройствами, со всеми надеждами и верой в будущее. Проедешь сутки-вторые в общем вагоне — и словно заглянул в сердце народа, в его думы и помыслы.

Возвращаясь из подобных поездок, которые от года к году удавались всё реже и реже, Павел Петрович входил в дом каким-то просветленным, рассказов у него после этого хватало на несколько месяцев, примеров всяческих из жизни — на добрый год.

Пригородный поезд — это совсем не то, с поездом дальнего следования его не сравнишь. Но все равно и в нем интересно.

Павел Петрович в открытое окно помахал рукой Румянцевым и Белогрудову, две девушки потеснились, уступая ему место рядом с собой, он сел и сразу же стал осматриваться и прислушиваться, о чем вокруг него говорили. В вагоне стояли гул, шум и смех, потому что ехало много молодежи. Павел Петрович спросил своих соседок, откуда они едут; девушки сказали, что из Тетерина, где их курс проходит летнюю практику по топографии, что в понедельник у них выходной, вот они и отправились в город погулять.

В противоположном конце вагона расположились студенты, которые пели песни, неведомые Павлу Петровичу. Была тут песня с такими строфами, которые он не удержался, записал:

Ночь мы прогуляем, день мы промотаем,
А потом не знаем ни бум-бум.
Выпьем за гулявших, выпьем за мотавших,
Сессию сдававших наобум.

Другая группа студентов запела, стараясь заглушить первую:

Крутится, вертится теодолит,
Крутится, вертится, лимбом скрипит,
Крутится, вертится, угол дает.
На две минуты он все-таки врет.

Я микрометренный винт повернул,
Я одним глазом в трубу заглянул,
Вижу, вдали, там, где липа цветет,
Девушка в беленьком платье идет.

Мигом влюбился я в девушку ту,
Отфокусировал в темпе трубу.
И любовался я девушкой той...
Жалко лишь только, что вниз головой.

Первая группа усилила голос и ответила:

В первые минуты бог создал институты,
И Адам студентом первым был.
Он ничего не делал, ухаживал за Евой,
И бог его стипендии лишил.
От Евы и Адама пошел народ упрямый,
Лихой, неунывающий народ.
От сессии до сессии живут студенты весело,
А сессии всего два раза в год.

Парни со студенческими погонами на тужурках и в фуражках с белыми верхами пели дружно и самозабвенно. Одна старушка, когда певцы, начиная новую строфу, нажимали на голос еще сильнее, испуганно крестилась в окно, за которым, так как поезд через холмы шел медленно, не спеша проплывали в сумерках тихие сосны, и по их вершинам скользили розовые отблески ушедшего солнца.

Павел Петрович спросил своих молодых соседок:

— Это ваши товарищи?

— В общем, да,— ответила одна из девушек.— Все с одного курса, но из разных групп. Вот те мальчики, которые поют громче других,— это геологоразведчики. Они хотят казаться грубее, чем есть на самом деле. Они считают себя людьми суровой профессии, для которой неженки не годятся.

— Ну, а песни у них всегда такие?

— Нет, бывают разные. Бывают лучше. Это они, знаете, сегодня разошлись на радостях перед выходным днем.

Тут Павел Петрович заметил, что на скамейке против него сидит знакомый человек, который, поймав его взгляд, улыбнулся и поздоровался. Это был Ратников, молодой научный сотрудник, который занимался реконструкцией мартеновских печей. Павел Петрович подал ему руку и спросил:

— Тоже на даче гуляли?

— Нет, у меня мама в доме отдыха. Она — учительница. Съездил навестить.

Павел Петрович подумал о своей маме, которая всю жизнь работала, работала и работала, помогая отцу выращивать детей. Когда отец умер от воспаления легких в тысяча девятьсот двадцать седьмом году, она одна приняла на себя это бремя, она выводила их в люди, двоих мальчишек и трех девочек. Она любила говорить, что когда-нибудь отдохнет, что когда-нибудь дети избавят ее от тяжелой работы. Но вот вышла замуж старшая сестра Тоня, уехала с мужем в Астрахань. Там у них родился ребенок, первый мамин внук, и мама поехала его нянчить. Потом вышла замуж вторая сестра, муж увез ее в Подмосковье. Подняв на ноги первого внука, мама поехала в Подмосковье подымать первую внучку. И так она перелетала от одного к другому, как старая орлица, которая не желает выпускать из-под крыльев птенцов своих, не желает признавать и верить, что птенцовы-то крылья давно стали сильнее, шире и размашистее ее собственных. Она нянчила и Олю с Костей. Так она и умерла на ходу, в движении, в труде, в жизни.

— Правильно, — сказал Павел Петрович Ратникову,— маму надо беречь.— Он говорил это не столько Ратникову, сколько себе, и мучился этим, потому что сам свою маму не умел поберечь и в те молодые, эгоистические годы не очень думал о ней, в голову не приходила тогда мысль, что мама в конце концов устанет от непрерывных трудов и забот и ее, придет час, не будет. Мама казалась вечной.

Грустные мысли повели за собой Павла Петровича, но тут Ратников заговорил о работе, о том, что он на днях выезжает на заводы, на Урал, туда же едет еще несколько сотрудников. Работа будет развернута широко.

— Очень хорошо,— ответил ему Павел Петрович.— Очень хорошо. Если мы дадим производственникам обоснованные рекомендации да добьемся внедрения этих рекомендаций в производство, мы сделаем величайшее дело.

На привокзальную площадь они вышли вместе.

— Вы на какой номер, товарищ Колосов? — спросил Ратников. Павел Петрович посмотрел на часы — без четверти десять — и ответил:

— Я, пожалуй, пешком пойду. А то после дачного воздуха да сразу в трамвай, как бы не задохнуться.

— Можно, и я с вами пешком? Нам по дороге, вы ведь на Садовой живете, а я — рядом, на улице Мира.

— Пойдемте,—сказал Павел Петрович.

— Знаете, Павел Петрович, — говорил Ратников. — К вам один мой товарищ собирается зайти. У него очень интересная идея. Он хочет предложить коренные изменения в конструкции мартеновской печи.

— Так что же он не заходит?

— А он, как и я, стесняется. Он думает: а вдруг это вопрос не научный, а чисто практический.

— Пусть приходит. Как его фамилия?

— Жерихов. Он придет.

Ратников довел Павла Петровича до самого дома.

Павел Петрович попрощался и стал медленно подыматься по лестнице. Он вновь вспоминал и продумывал все, что узнал, что услышал за этот день, показавшийся ему длинным-предлинным. Он думал о том, что некоторые вот утверждают: «Я вижу человека с первого взгляда», «Первое впечатление никогда не обманывает» и произносят другие гордые слова. Ничего этот первый взгляд не стоит. Прелестный, милый, добрейший, добродушнейший с первого взгляда человек, прямо-таки душа общества — при детальном исследовании, особенно если вместе с ним приходится попасть в трудное испытание, вдруг оказывается мерзавцем, а другой, с первого взгляда показавшийся ничтожным мизантропом, человеконенавистником, отлично пройдет такое испытание, встанет рядом с вами плечом к плечу, как верный и честный друг. А ведь не всегда приходит час испытаний, человек так и просуществует жизнь, не раскрывшись в своей сокровенной сути, так и обманув общество или не будучи им понятым. Павел Петрович вспомнил слова Пифагора, слышанные сегодня, кажется, от Белогрудова: «Человека узнаешь только после его смерти». В этих словах было столько противоречивого и наряду с какой-то правдой, которую отрицать трудно, скрывалось в них столько пессимизма, что Павел Петрович даже плюнул на каменные ступени лестницы.

Оля была уже дома, когда он нажал кнопку звонка. Но открывать ему первой вышла Варя. У нее был очень грустный вид, и Павел Петрович почувствовал угрызения совести: сам он весь день прогулял, а как тут они без него жили— за весь этот день ни разу и не подумал. Оля

выскочила из комнаты возбужденная, радостная, бросилась ему на шею. Варя тотчас ушла.

— Что с ней? — спросил Павел Петрович.

— Не знаю,— весело ответила Оля.— Папочка, мы так сегодня хорошо провели день. Я познакомилась с очень интересной компанией! — Она принялась рассказывать о поездке на пароходе, называла какие-то имена, которые якобы должны быть хорошо известны Павлу Петровичу, потому что все эти ее новые знакомые с бывшего его завода. Она только тщательно избегала того, с чего началась эта прогулка и с кем она ее начала. О Журавлеве было сказано вскользь. Папа не мама, ему всего не скажешь, еще смеяться начнет. Поэтому имя Журавлева лишь мелькнуло среди других имен.

Оля не отпускала Павла Петровича от себя, болтала, трещала, ходила за ним следом по квартире. Павел Петрович забыл на время о Варе, но потом вновь вспомнил ее горестный вид и зашел к ней в комнату.

— Что с вами, Варенька? — спросил он мягко.— А вы как провели этот день?

— Обыкновенно, Павел Петрович,— ответила Варя тихо.— Сидела, читала, писала. Письмо писала. И еще заявление.

Павел Петрович не обратил внимания на ее последние слова, его больше поразило то, что в такой великолепный летний день Варя сидела дома, не выходя.

— Ну, это безобразие! — сказал он.— Я же приглашал и вчера и утром — поедемте со мной, поедемте со мной. Увидали бы и услышали много интересного.

— Павел Петрович,— сказала Варя, выслушав его терпеливо,— прочитайте, пожалуйста, эту телеграмму.

Павел Петрович взял из ее рук бланк телеграммы и прочел о том, что Варин отец сильно разбился, упав на камни с баржи, сломал несколько ребер и руку, повредил голову и сейчас лежит в областной больнице в тяжелом состоянии.

— Так вам надо же туда немедленно ехать!—сказал решительно Павел Петрович.—Это, кажется, в Новгороде, так? Двое суток езды поездом. Долго. Надо самолетом до Ленинграда, а там рукой подать.—Он пошел к телефону, стал вызывать аэропорт, справляться о самолете, о билетах.

— Почему же ты мне ничего не сказала?—подходя к Варе, проговорила слышавшая этот разговор Оля.

— Ты другая стала, Оленька,—тихо ответила Варя.— Разве тебе до меня! Зачем же я к тебе полезу со своими несчастьями?

— Как тебе не стыдно?—закричала Оля, чувствуя слезы в словах и в тоне старшей подруги.— Ты не имеешь права так говорить! Нельзя судить о человеке по его надутым губам. Мало ли что я надулась!

— Самолет будет в семь часов утра! — прокричал Павел Петрович из кабинета. — Билет обеспечен. Надо срочно подсчитать наши наличные средства и в случае прорыва немедленно где-нибудь занять. У кого из вас есть богатые знакомые?

3

В тот час, когда в доме Колосовых подсчитывали наличные деньги, доставая из недр всех карманов и сумочек, в Ивановке, на даче Серафимы Антоновны, вечер был в самом разгаре. Тут собрались Красносельцев, специально приехавший из города, затем Липатов, который снимал чердак у местной ивановской жительницы, затем Белогрудов, которого тоже пригласили запиской; были, как известно, еще Харитоновы, пришедшие первыми. Из женщин, кроме самой Серафимы Антоновны, здесь оказалась одна Калерия Яковлевна; должна была быть еще и Людмила Васильевна, но Румянцевы не пришли.

Калерия Яковлевна не скрывала радости, она сияла; в душе она себя весьма одобряла за то, что взяла на дачу свое лучшее платье, которое только что закончила шить. У Калерии Яковлевны было заблуждение, свойственное многим женщинам: ей казалось, что она хорошо шьет; еще до войны профсоюзная организация института, в процессе охвата безработных мужниных жен полезной трудовой деятельностью, вовлекла ее в кружок кройки и шитья. Там Калерия Яковлевна научилась самостоятельно портить ткани и так портила их по сей день. Самое страшное в положении таких доморощенных бесталанных портних то, что никто никогда не говорит им правды об их изделиях; все знакомые и друзья стесняются говорить эту правду, дабы не обидеть. Что́ бы Калерия Яковлевна не сшила и что бы из своих изделий на себя ни надела, всё хвалят, в то время как сшитое портнихой-профессионалкой было бы критически разобрано и с полной

откровенностью одобрено или забраковано. В итоге снисходительности знакомых Калерия Яковлевна ходила в ужаснейших одеждах, безвкусных и некрасивых.

Серафима Антоновна взглянула на платье Калерии Яковлевны, легонько усмехнулась, сказала: «Очень, очень миленько сшито. Неужели это вы сами? Боже, как я завидую людям, у которых такие золотые руки!»

Когда все собрались, она воскликнула:

— Сколько мужчин! — подозвала мужа и сказала: — Боренька, дорогой мой, не будут же гордые мужчины довольствоваться чаем.

Борис Владимирович ходил в погреб, ходил в кухню. На столе появилось несколько бутылок сухого вина и графины с водкой. Этот стол был виден через окна веранды, на которой все сидели в скрипучих прутяных креслах.

Дача Шуваловой выделялась из окрестных дач. Это не был ее собственный дом — много лет подряд Серафима Антоновна арендовала его в дачном тресте,— но зато это был великолепный дом: двухэтажный, с девятью комнатами, с обширным холлом и витыми, уютными деревянными лестницами, с башенками, погребами и гаражом. Говорили, что перед первой мировой войной его построил для себя какой-то архитектор, сбежавший от революции за границу. Даже веранда в этом доме и та не имела ничего общего с верандочками Румянцевых или Белогрудовых, тесных, скромных, простеньких. Тут был гладчайший пол из керамических плиток, по всему потолку из потемневшего клена шла резьба, оконные переплеты напоминали кружева, да и размеры веранды не могли не удивлять; кто-то сказал однажды: «Это же целый курзал в Ессентуках».— «Жить так жить»,— философски ответила Серафима Антоновна.

Когда сели за стол, хозяйка объявила, что очень жаль, но Румянцевых не будет, Людмиле Васильевне нездоровится, поэтому, наверно, не удастся сыграть в карты, ну что же, посидим так, побеседуем, и это, может быть, хорошо: ведь завтра всем рано вставать.

— Странно,— сказала Калерия Яковлевна.— Нездоровится! Я к ним сегодня забегала, все были здоровые. Наверно, выпили лишнего. У них сегодня гость был, прямо вы не представляете кто!

Так как ее не спросили, кто же этот гость, она была вынуждена сама ответить на свой вопрос:

— Директор вашего института, товарищ Колосов. Меня с ним познакомили.

Белогрудов хотел было сказать, что никто там не перепивался, потому что ужинали-то Румянцевы и Колосов у него и ничего при том не пили; но он промолчал. Серафима Антоновна, услышав столь неожиданное известие, озадачилась было, но лишь на одно мгновение — никто даже и не заметил, как вспыхнула и тотчас погасла ее растерянность, — а затем сказала, улыбаясь:

— Дорогая Калерия Яковлевна, вы женщина, вы должны понимать и знать, как все переменчиво у нашего слабого пола. Сейчас мы здоровы, а через минуту — уже нездоровится.

— Это да, это да,— поспешила подтвердить Калерия Яковлевна. Она отличалась мощным здоровьем, могла ворочать бревна, катать бочки с цементом, но лишь тогда, когда никто этого не видел. При людях и особенно при своем Валеньке, стараясь вызвать его жалость к себе, она вечно страждала ногами, поясницей, головой, печенью. Валенька на эти страждания отвечал: «Ну вот и дура».

За столом шел тот разговор, который неизбежен в начале всяких пиршеств: «А это что — грибочки? Вы сами мариновали?» — «Где же сама, что вы говорите, Александр Львович! Белых грибов еще нету, идут пока что сыроежки да моховики». — «Будьте добреньки, передайте вон тот салатик. Нет, нет, другой, с крабами».— «Берите, товарищи, студень, очень рекомендую, дымком пахнет, чудесно». — «Все-таки русские столы соответствуют характеру русского человека! Размах! Вы помните, у Чехова про одного француза, который попал в компанию к обжоре купцу?» — «Да, дико смешно». — «Боренька, а ты налей гостям. Смотри, у нас Валентин Петрович что-то грустный сидит».

Потом, когда выпили водочки и сухого, дело пошло веселее. Заговорили о новом в биологии, о содовых ваннах, которые якобы возвращают человеку молодость, о новинках художественной литературы, о недавней областной весенней выставке картин в Союзе художников. Тут заговорил Липатов, который считался крупным знатоком искусства. О нем говорили: лучший мастер кисти среди металлургов и лучший металлург среди мастеров кисти.

— Идеалистическая история, рассматривая развитие искусства как самодвижение духа,— заговорил он,—не

знала никакой реальной почвы, но устанавливала единство искусства как проявление различных сторон деятельности духа и стадии искусства как стадии развития духа.

— Да вы закусывайте, пожалуйста, Олег Николаевич! — сказал ему Борис Владимирович. — Хотите ветчинки?

— Нет, не хочу. Я прошу понять, что пространство и время в искусстве неотрывны от образа мира, космогонии, в которых эмпирические элементы составляют необходимую, но включенную часть социального мышления.

— Олег Николаевич в молодости посещал искусствоведческие курсы и состоял в каком-то вольном обществе художников,—шепнул Белогрудов Калерии Яковлевне.

Калерия Яковлевна, с набитым ртом, кивнула ему в ответ. Ей очень нравился заливной поросенок с хреном.

— Пространство и время сюжета связаны с миропониманием, с пространством и временем космогонии и истории. Образ мира и образ художественный соответствует один другому.— Оратор слегка покачнулся на стуле.

Борис Владимирович поспешил сказать ему:

— Вы бы прилегли, Олег Николаевич!

— Зачем же, пусть говорят другие. Я все сказал.

— Нет, это странно, — заговорил все время сосредоточенно молчавший Красносельцев. — Я не знал, что профессор Румянцев водит компанию с нашим директором. Я считал Григория Ильича более принципиальным. Я считал, что он более предан науке.

— Извините, Кирилл Федорович,— перебил его Белогрудов. — А меня как вы считаете — предан я науке или нет?

— Безусловно. Вы честный человек. Твердый в своих убеждениях.

— Что же вы тогда скажете, если я вам сообщу, что Колосов был сегодня у меня и я его угощал индюшатиной?

— Что? — Красносельцев отложил в сторону вилку и нож, утер губы и подбородок салфеткой, поправил на носу очки с выпуклыми стеклами.—Вы шутите! — сказал он.

— Ей-богу, не шучу. И должен вам сказать, что Павел Петрович не произвел на меня удручающего впечатления.

— Меня не касается, какое он произвел на вас впечатление! — загрохотал басом Красносельцев.— Он как

человек может быть ангелом во плоти, я отбрасываю все это в преисподнюю. Мне важно другое, важно то, что он по своей малограмотности в науке разрушает институт, деморализует старые кадры ученых. У него нет фантазии, нет полета, нет научного мышления, пусть наша уважаемая хозяйка на меня не сердится, ведь это ее друг, ее бывший протеже, пусть она меня простит, я человек прямой и откровенный.

— Вот я вам скажу,— вдруг возвысив голос, снова заговорил Липатов.— Я вам вот что скажу: если взять Моцарта, то культовая музыка с ее контрапунктическим полифонизмом стоит у него на заднем плане и подчиняется лирико-акустическим движениям арии и менуэта. Я тут полностью согласен с Кириллом Федоровичем. Низкие голоса, басы в суетливых, неровных прыжках голоса дают неуклюжую голосовую жестикуляцию простонародных типов. Благородное лирическое движение в музыке дается тенором или сопрано в благозвучном и размеренном интонационном движении.

— Вам бы все-таки лучше прилечь,— повторил Борис Владимирович.

— Мне всегда дают подобные советы, — с пренебрежением ответил Липатов,— но я всегда от них отказываюсь, и правильно делаю.— Он был вдребезги пьян, и никто не мог понять, когда же он успел напиться.

— Я тоже человек прямой и откровенный, — заговорил Белогрудов, отвечая Красносельцеву.— И мне кажется, вы преувеличиваете грехи Павла Петровича, и все оттого, что он, попросту говоря, зарезал вашу тему и не возбудил ходатайства об еще одном переиздании вашей книги.

— Ну что ж, и такая реакция с моей стороны вполне естественная, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. А вот в вас меня поражает слабовольное отношение к тому оскорблению, какое вам нанес Колосов.

— Это мелочь, и я тогда действительно вел себя не слишком умно. Я самокритичен, мне пятьдесят один год, я многое умею правильно понимать.

— Вы смотрите на мир через призму соусов и подливок.

— А вы через призму, замутненную желчью, что гораздо хуже. Желчь портит любые, самые доброкачественные продукты!

— Я добился-таки, он меня принял,— заговорил Харитонов, и уголки губ его задрались кверху.— Я попросил у него семь штук бревен, которые уже три года валяются за механической мастерской. И что он мне сказал? Он мне сказал: «Если бы вы, товарищ Харитонов, с таким рвением относились и к вашим прямым обязанностям, я бы вам раздобыл не семь, а семьдесят семь бревен».

— И не дал! — закончила за мужа Калерия Яковлевна. Она продолжала сиять, она чувствовала себя в высшем свете, в обществе, в которое приглашают только избранных. Она была уверена, что ее Валенька теперь пойдет в гору, что ему и зарплату прибавят, и изберут куда надо, и бревен дадут. Она была уверена, что нити управления судьбами людей держит в своих покрытых кольцами руках эта красивая, статная женщина, Серафима Антоновна Шувалова, родная сестра самой фортуны. Калерия Яковлевна не верила, что у людей есть какие-то личные качества, которые и ведут к успеху или неуспеху в жизни, она верила только в фортуну, в счастье; о каждом, кто чего-нибудь добился, может быть тридцатью годами напряженнейшего труда, она говорила: «Вот счастье-то кому привалило!» О своем бесталанном Валеньке, который и институт окончил лишь благодаря тому, что все четыре года заседал в профкоме и ему, как активному профсоюзному деятелю, делали всяческие поблажки и снисхождения,—о его фортуне она говорила: «Не везет, вот не везет и не везет».

Шувалова посматривала то на одного гостя, то на другого; ей было жаль, что не пришел умный, веселый Румянцев, она отлично понимала, что недомогание Людмилы Васильевны носит дипломатический характер, но никак не могла понять, какую роль во всем этом играет Павел Петрович, зачем он приезжал к Румянцевым.

— Дорогие мои друзья,— заговорила она, не глядя на Калерию Яковлевну, но убежденная в том, что та ловит каждое ее слово,— напрасно вы спорите и ссоритесь. И напрасно стараетесь чернить — вы правильно его называете так — моего друга Павла Петровича. Его не чернить, а понять надо. У него очень сложные личные дела. Он влюбился в школьную подругу своей дочери. Девушка эта лет на пятнадцать — шестнадцать моложе его...

— Да что вы говорите! — ахнула Калерия Яковлевна.

— Да, да,— продолжала тоном дружеской снисходительности к слабостям близкого человека Серафима Анто-

повна.— Сердцу не прикажешь. Но, к сожалению, Павел Петрович совершает некоторые неосторожности. Он поспешил взять ее к себе в дом, с завода перевел ее к нам в институт...

— Да кто же это такая? — загудел Красносельцев.

— Стрельцова, конечно,— догадался Харитонов.— В вашу же лабораторию, Кирилл Федорович, заместителем заведующего сектором взяли. То-то я думаю: девчонка, никакого опыта, и вот тебе — замзав! Будто у нас своего народу мало.

— Стрельцова? — произнес Красносельцев.— Ну ясно теперь, откуда у нее такое самомнение. Совершенно ясно. Она уже меня взялась учить. Я удивляюсь, дорогая Серафима Антоновна, почему именно вы рекомендовали мне взять ее в лабораторию.

Все заговорили разом. В сумятице Липатов окончательно утратил ощущение времени и пространства и положил голову на стол, прямо в тарелку с объедками. Мужчины принялись его подымать, потащили в другую комнату на диван. За столом остались только Серафима Антоновна и Калерия Яковлевна.

— Надеюсь, милая Калерия Яковлевна, — заговорила Серафима Антоновна,— что все сказанное тут, особенно о личных делах Павла Петровича, останется между нами.

— Что вы, что вы, Серафима Антоновна! Конечно. Да разве я...

— Вот, вот. Я даже сожалею, что сказала лишнее. Ведь Павел Петрович мой старый друг. Но я надеюсь, я уверена...

— Пожалуйста, не беспокойтесь! Уж я-то умею молчать. Пусть мужчины не проболтаются, а я-то...

— С мужчинами я договорюсь.

Мужчины вернулись, Серафима Антоновна повторила им все, что сказала Калерии Яковлевне, они тоже принялись уверять, что будут немы как рыбы. Только один Красносельцев сказал:

— А я бы не стал ничего скрывать. Я считаю, что Колосова во имя науки надо убрать из института, а для святого дела все средства хороши.

— Стыдно слушать! — сказал Белогрудов.— И вообще это глупо — бросаться от одного к другому. Хотите, я расскажу вам одну восточную притчу?

— Просим! — воскликнула Калерия Яковлевна. Она совсем освоилась в новом для нее и таком ослепительном обществе.

— Это будет ваш очередной досужий вымысел, от которого никому никогда не смешно,— ответил Красносельцев.— Нет уж, лучше воздержитесь.

— Почему же, это будет смешно,— возразил Белогрудов.

— Если вся ценность чего-либо в том, что это смешно, значит цена ему грош, — твердо ответил Красносельцев.

— Ваше отношение к юмору, Кирилл Федорович, известно,— сказал Белогрудов.— Вы способны, наверно, смеяться только тогда, когда вас щекочут. Так вы в конце концов свихнетесь. Умственная работа требует гигиены, а мне один хороший врач сказал, что гигиена ума — смех, юмор. В старину смехом ограждались от злых духов. Злые духи дохнут от смеха. В некоторых странах даже на похороны приглашались отнюдь не плакальщики, а хохотальщики: чтобы душу покойника взяли не злые духи, которых от нее отгоняет смех, а добрые, привлеченные смехом.

— Хорошо, я похохочу на ваших похоронах,— злобно сказал Красносельцев.

— Противный вы человек,— ответил Белогрудов.— Вы со мной можете больше не здороваться, потому что я вам не отвечу.— Он встал.— Извините, Серафима Антоновна, за инцидент, но я ухожу.

Серафима Антоновна тоже вскочила, хотела его удержать, но он поцеловал у нее руку и ушел, оскорбленный.

— Я вас перестаю понимать, друзья мои,— заговорила Серафима Антоновна.— Вы стали какие-то издерганные, нервные. Вы затеваете ссоры в то время, когда всем нам надо быть дружными, держаться тесно.

— Он любое серьезное дело способен превратить в ничто своими шуточками, притчами и так далее,— твердил Красносельцев.— Я сторонник активной борьбы и ликвидации всех и всяческих зол и не люблю пустопорожних разговоров.

Харитонов между тем тоже немало выпил, поэтому он сказал:

— Я бы на вашем месте, Кирилл Федорович, так сильно не якал, у вас есть такой недостаток — хвастаться через меру.

— А я бы на вашем месте, товарищ Харитонов,— оборвал его Красносельцев, — я бы помалкивал на вашем месте. Вы еще так мало дали науке, если вообще что-нибудь дали, вы пока только берете у нее, если вообще когда-нибудь будете давать.

— Окрик — не доказательство...— начал было Харитонов. Но Калерия Яковлевна с возгласом: «Валенька, Валенька, успокойся!» — бросилась его обнимать.

Серафима Антоновна принялась успокаивать Красносельцева. Она его увела из столовой. Уходил он, говоря: «Мальчишка! Молоко на губах не обсохло. А тоже...»

Гости Шуваловой разошлись поодиночке, злые и недовольные друг другом. Во втором часу, когда все опустело и когда в доме слышался только стук убираемых домработницей тарелок да храп Липатова, Серафима Антоновна вышла на веранду, попросила Бориса Владимировича не зажигать свет и распахнуть все окна и устало опустилась в скрипучее кресло.

Через темную веранду к стеклам столовой, на яркий свет ламп, летели тучи мотыльков и толстых бабочек, иной раз их мягкие крылья скользили по лицу или рукам Серафимы Антоновны, она не отстранялась. Она думала трудные свои думы.

К ней подошел Борис Владимирович, стал рядом с креслом, постоял так, потом взял руку, поцеловал, погладил по волосам и сказал:

— Симушка, зачем ты это сделала, зачем наговорила того, чего не знаешь? И зачем солгала?

— Не твое дело,— тихо, но резко и холодно ответила Серафима Антоновна.

— Нет, это мое дело. Потому что ты моя жена.— «Хм...» — услышал он в ответ и заговорил с жаром: — Ну ладно, допустим, твои предположения о личных делах Павла Петровича верны, допустим... Я, правда, в это не верю, и уж, во всяком случае, болтать о них никогда бы не стал.

— Борис!..

— Ну не болтать,— поспешно поправился он,— рассказывать. Но все это ладно, допустим. Однако что же получается? Ты сама предложила Кириллу Федоровичу взять в лабораторию эту Стрельцову, ты ему расписывала ее как отличного работника, ты все это устроила, ходила к Бакланову...

— Не твое дело,— раздельно проговорила Серафима Антоновна.

— Мое, мое, мое! — закричал Борис Владимирович.

Серафима Антоновна стукнула кулаком по прутяному подлокотнику кресла, прутья визгнули. Борис Владимирович почти бегом устремился с веранды в столовую. Серафима Антоновна видела, как он там остановил домработницу, уносившую графин, и налил себе водки в бокал для нарзана.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Лететь надо было пять часов: три часа до Москвы и еще два до Ленинграда.

До Москвы пролетели очень хорошо: не трясло, не укачивало, из неприятностей было только то, что сильно гудело в ушах. Бывалые воздушные пассажиры подобное благополучие полета объясняли тем, что шли на большой высоте — больше трех километров, потому, дескать, и не качало и не было воздушных ям.

В самом деле, самолет поднялся очень высоко, земли не было видно, под крыльями громоздились глыбы ярко освещенных солнцем белых-белых облаков. Они были такими густыми и плотными, что, казалось, упади в них — завязнешь, будто в вате. Самолет их боялся, шел от них выше; когда они вставали на пути огромными башнями, огибал стороной.

Не было ни холодно, ни жарко, было нормально; в мягких креслах сиделось удобно, можно было смотреть в окна, можно было читать, но Оля не читала, она то и дело хватала Варю за руку, восклицая: «Смотри, смотри, как замечательно!» А там, куда она указывала, были всё облака, облака и облака.

Варя как-то по-матерински снисходительно улыбалась различным и неизменно восторженным Олиным замечаниям и высказываниям. Оля думала о себе и о ней: «Мы удивительно разные. На много ли Варя старше меня? На каких-нибудь четыре года, но она уже совсем-совсем взрослая женщина, а я все еще полудевочка». Почему это

так бывает в жизни? Может быть, потому, что Варина жизнь была труднее обеспеченной Олиной жизни; может быть, по наследству различные качества передаются от родителей детям: Елена Сергеевна тоже была, как и Оля, маленькая и не старела. О ней, об Оле, отец говорил раньше: «фигалица», потому что однажды Оля, когда ей было лет семь, перепутала слово «пигалица», соединив в одно «пигалицу» и «фигу». Папе это очень понравилось. Рядом с Варей Оля все еще чувствовала себя этакой фигалицей. Варя несла в себе какие-то большие тайны, она что-то знала такое, чего не знала Оля, она видела мир с иной стороны, чем видела его Оля.

Оля была благодарна Варе за то, что Варя сразу же согласилась взять ее с собой в Новгород. Лишь Оля сказала об этом, Варя ответила, что она рада ехать вдвоем. Произошло это тогда, когда подсчитывали наличные деньги. В доме их оказалось около двух с половиной тысяч; это были деньги Павла Петровича, деньги Вари и немножко Олиных. Вариных, правда, тоже было не очень много, потому что получка в институте ожидалась только через шесть дней. Варя сказала, что ничьих денег она не возьмет, но Павел Петрович прикрикнул на нее, и она согласилась, заявив, что отдаст, как только вернется, что, кроме ожидаемой получки, у нее есть еще тысячи полторы на сберегательной книжке; жаль, что сберегательная касса в семь часов утра будет закрыта.

Две с половиной тысячи составляли немалое богатство, если учесть, что билет на самолет стоит триста двадцать пять рублей, а туда и обратно, значит, шестьсот пятьдесят. «А на два билета туда и обратно,— сказала Оля,— всего тысяча триста. Папочка, я тоже хочу с Варей. Я никогда не летала на самолете, я никогда не была в древнем Новгороде. А ведь я историк. У меня же и диссертация должна быть о Древней Руси. Ну как можно без Новгорода? Папочка!..» В первую минуту ее просьба была категорически отвергнута Павлом Петровичем, только вот Варя сказала: «Очень хорошо. Я рада». Но когда стоны и вопли были усилены, Павел Петрович сдался. «Это на сколько же дней?» —спросил он. «Не знаю»,—ответила Варя. «Но я же могу и раньше Вари возвратиться,—настаивала Оля.—Я могу хоть в тот же день выехать обратно». Словом, Павел Петрович в конце концов согласился.

Одно очень беспокоило Олю: завтра к вечеру должен был прийти Виктор Журавлев. Что будет, если он придет и никого не застанет дома? Вдруг он рассердится и они больше никогда не увидятся? Лучше уж не увидеть Новгорода, чем не видеть Виктора. Новгород никуда не денется, он больше тысячи лет стоит на берегах древней реки Волхов. Постоит еще. А вот Виктор, Виктор...

Но фигалицу с ее беспокойным характером тянуло на самолет, в путь-дорогу, чтобы под крыльями мелькали Москва и Ленинград, десятки иных больших и малых городов, сёла, деревни, леса и поля, чтобы предстала перед нею та новгородская старина, о которой когда говорят, то непременно называют словом «седая». Она решила послать Журавлеву телеграмму и письмо. Телеграмму — для того, чтобы не пришел к ним домой прямо с работы, а письмо — чтобы все объяснить. Она тут же собралась и выскользнула из дому. Был второй час ночи, в ближайшее почтовое отделение, где телеграф работал круглые сутки, пришлось звонить в звонок, как в ночную аптеку. Оля написала там на бланке: «Неожиданно выехала города. Днях вернусь. Ждите письма. Приветом Колосова». Когда надписывала адрес, вспоминала дом рядом с домом Серафимы Антоновны, бульвар, на котором провела однажды несколько часов в ожидании, старенькую женщину в пестрой фланелевой кофте, подумала: вот не ошиблась, так и есть, это его мать. Хорошая старушка.

Письмо было немногим длиннее телеграммы. Оля сообщила только то, что едет в Новгород с подругой, у которой в тяжелом положении отец, и что скоро вернется.

Дома ее уже хватились. Павел Петрович бранился, говорил, что это безобразие, осталось несколько часов до самолета, не бродяжничать надо по дворам, а собираться и хотя бы немного поспать.

Поспать удалось совсем немного, не больше трех часов. Павел Петрович с трудом растолкал Олю в половине шестого; открыв глаза, она тут же их вновь закрыла. Так повторялось несколько раз. И только когда Павел Петрович сердито сказал: «Ну как хочешь, Варя одна поедет», — она проснулась. К ее удивлению, Варя уже была умыта, одета и готова к отъезду. Есть в такую рань никому не хотелось. Поехали на аэродром без завтрака.

И вот всю дорогу до Москвы в самолете Оля очень хотела есть.

В Москве они опустились на Внуковский аэродром; здесь предстояла пересадка на самолет до Ленинграда. Оля сказала, что было бы хорошо съездить и посмотреть Москву. Но выяснилось, что до ленинградского самолета ждать около трех часов, а езды до Москвы на автобусе почти час. Еще, чего доброго, вовремя не возвратишься да и опоздаешь. Поэтому они, зарегистрировав свои билеты на пересадку, немедленно отправились в ресторан. Оля ела долго, со вкусом, заявив, что денег у них достаточно и поесть можно в полное удовольствие.

Полет от Москвы до Ленинграда проходил с меньшим комфортом, чем до Москвы. Прежде всего Варя и Оля попали уже не в такой самолет, где мягкие глубокие кресла, из-за высоких спинок которых не видно ни того, кто впереди тебя, ни того, кто сзади, где сидишь этаким индивидуалистом и почитываешь, где есть различные устройства для того, чтобы на тебя вдруг подул свежий ветер, или для того, чтобы в самолете сделать тепло.

Здесь было иначе. Здесь были откидные стулья, подобные тем, какие бывают в кино, только не деревянные, а железные, все сидели на них вдоль стенок самолета друг против друга, как в трамвае. Посредине был пол, обитый алюминиевыми листами, исцарапанными, обшарпанными различными тяжелыми предметами, потому что в таком самолете главным образом возили грузы, а не пассажиров. Сидеть было жестко и неудобно.

После того как пассажиров впустили в самолет, до отлета прошло не менее пятнадцати минут; за это время июльское солнце накалило обшивку и температура в самолете поднялась до тридцати пяти градусов. Все сбрасывали плащи, пиджаки, жакеты, развязывали галстуки, расстегивали воротники.

Перед самым отлетом вошли еще трое пассажиров: старенький православный батюшка в соломенной шляпе с черной лентой, в черной рясе и в русских сапогах, попадья, тоже старенькая и тоже в черном, и человек лет тридцати, который изо всех сил старался не показать виду, что он пьян. Войдя, он сразу же улегся на два откидных сиденья, поджал ноги, положил руки под голову, с которой на пол упала измятая шляпа, и тотчас уснул. Молодой, но чрезвычайно солидный и хорошо упитанный толстяк в голубой шелковой рубашке — по внешнему виду он мог быть и модным сапожником, и администрато-

ром небольшого театра, и оценщиком из скупочного пункта случайных вещей, и барабанщиком из ресторанного оркестра — произнес тоном собственного превосходства над этим жалким пьяницей:

— Пьяному в самолет лучше не садиться, можете мне поверить. В воздухе надо пользоваться лимонами.— Он вынул из чемодана баночку леденцов. В баночке лежали тонко нарезанные и пересыпанные сахарной пудрой ломтики лимонов. Молодой толстяк положил один из них в рот.— Это предохраняет,— сказал он, съев ломтик,— от неожиданностей и неприятностей. А с этим типом,— он небрежно кивнул головой в сторону спящего, — мы еще хлебнем горя. Поверьте мне, уж я-то знаю.

Самолет пошел, набирая высоту. Батюшка и матушка, которые удобно и тихонько устроились возле кабины пилота, сняли крышку с плетеной корзины, раскрыли берестяной туесок, матушка расстелила на коленях у себя и у батюшки белые салфеточки, на салфеточках появились куски вареной курицы, свежие огурчики, яички вкрутую, деревенский черный хлеб, намазанный маслом и посыпанный крупной солью, ломти холодного мяса. Они принялись закусывать. Прошел час полета, в самолете потемнело, оттого что вокруг стали громоздиться не прежние белые, а сине-черные мрачные тучи, которые по временам накрывали самолет всей своей тяжестью, и тогда становилось вовсе темно; уже недалек был Ленинград; а батюшка и его матушка всё закусывали, старательно очищая ножичками кожицу с огурчиков, облупливая яички, спокойно прожевывали, отчего у батюшки мерно и однообразно двигалась белая борода; смотрели они только друг на друга.

В жестком самолете, где, в отличие от мягкого, температура не регулировалась, становилось все холоднее и холоднее: уходя от грозовых туч, пилот набирал высоту. Все начали зябнуть. Вновь застегивались воротники, вновь повязывались галстуки, возвращались на место пиджаки, жакеты, плащи; их еще и не хватало, пассажиры ежились, даже пьяный пассажир ощущал холод,— он все больше поджимал ноги, колени его уже достигали груди и старались достичь подбородка. Оля и Варя тесно прижались друг к другу, им хотелось обняться, но было неудобно делать это при людях.

А батюшка с матушкой будто и не чувствовали холода. Они закусывали.

Километрах в ста от Ленинграда вокруг самолета забушевала гроза; как пилот ни старался уйти от нее, ему это не удавалось. Молнии проносились огненными струями справа, слева, хлестали над самолетом и под самолетом, самолет бросало в стороны, чувствовалось, что пилоту стоило немалых сил выравнивать его после очередного такого броска. Стало очень страшно. Варя и Оля еще теснее прижались одна к другой. Толстяк в голубой рубашке, уже давно облачившийся в кожаное коричневое пальто, оставив раскрытой банку с лимонами, быстрыми шагами, бледный, с остекленевшими глазами, третий раз, шатаясь, шел в корму самолета.

— Что же это будет, что же будет! — воскликнула молодая женщина с ребенком на руках.

Ее сосед, седой полковник, с поперечной полоской на погонах, свидетельствовавшей о том, что он в отставке, усмехаясь, сказал:

— Не бойтесь, ничего не будет. С нами служитель самого господа бога.— Он указал глазами на батюшку с матушкой, которые при вспышках молнии оба дружно осеняли себя крестным знамением, но трапезу так и не оставляли.

Наконец-то это кончилось. Самолет, подскакивая и грохоча, катился по ленинградскому аэродрому.

Когда отворили дверцу и пригласили пассажиров выходить, толстяк с лимонами сам идти не мог, медсестра и кто-то из экипажа самолета повели его под руки; видно было, что ему очень плохо. Пьяный же, которого он так жестоко осуждал в начале путешествия, когда его тронули за плечо, вскочил довольно бодро, утер лицо ладонью столь яростно, что нос у него отполз почти к уху, и сказал весело:

— Уже? Вот здóрово! Даже и не заметил, как долетели. Ну, до свиданьица! Спасибо за компанию.—Он легко сбежал по лесенке и отправился к аэровокзалу, обгоняя неторопливую процессию с толстяком в голубой рубашке.

Варя и Оля вежливо пропустили всех пассажиров и только тогда тоже вышли.

Им объяснили, как добраться до Витебского вокзала, откуда отходят поезда на Новгород. Они ехали на автобусе по длинному и широкому проспекту. Здесь одновременно строилось множество зданий.

— Вот бы папе сюда! — сказала Оля.— Уж поговорил бы о прошлом, о настоящем и будущем.

На Витебском вокзале выяснилось, что поезд на Новгород пойдет только ночью, очень поздно. А еще не было и пяти часов дня.

— Как же быть-то? — сказала Варя огорченно.

Оля хотела сказать, что это отлично — столько свободного времени! Можно весь Ленинград объехать, если нанять такси. Но, взглянув в глаза Вари, промолчала. Варе совсем ведь не до Ленинграда: ее отец, может быть, умирает, а они попадут к нему не раньше завтрашнего дня.

Пока они так стояли возле закрытой кассы, к ним подошел человек, от которого пахло бензином, и спросил, куда они путь держат. Насторожившаяся Оля ответила уклончиво, что, дескать, куда надо, туда и держим. Но Варя сказала:

— В Новгород.

— Хотите, подброшу? — предложил тот.— У меня порожняя полуторка. По сто рублей с человека. Есть брезент. Сена положим по дороге.

Варя и Оля посовещались и, когда человек, пахнувший бензином, сказал, что в Новгороде они будут через четыре часа, согласились пожертвовать двумя сотнями рублей.

— Ведь все равно бы за билет платить пришлось,— сказала Оля. — Конечно, поменьше, но пришлось бы.

Они забрались в кузов машины, в котором стоймя стояли две железные бочки, возле бочек громоздился угловатый, даже на вид очень тяжелый ящик из толстых досок и грудой был брошен брезент, весь в масляных пятнах. Варя и Оля устроились на нем за кабинкой, куда не проникал ветер, и грузовик поехал. На брезенте все-таки было жестко, к тому же беспокоили эти масляные пятна, совсем не хотелось измазаться и стать вроде железнодорожного смазчика, который таскает вдоль вагонов масленку с длинным журавлиным носиком. А главное — было очень беспокойно от одной из бочек, — она была, наверно, пустая и все время двигалась на Олю с Варей. Они упирались в нее ногами, но бочка тогда начинала качаться, грозя совершить прыжок через ноги, и если бы это произошло, она бы их зашибла насмерть. Они вставали, оттаскивали бочку в дальний конец кузова. Некоторое время она там стояла рядом с другой, спокойной, упиравшейся в неподвижный ящик, но дорога, как на грех, была худая, в колдобинах, машину то и дело подбрасывало, и чертова бочка, помедлив немного, начинала снова дви-

гаться в сторону кабинки. Надо было опять навстречу ей устремлять ноги.

За поселком, который назывался Саблино, шофер остановил машину, вышел на дорогу, спросил своих пассажиров, как там они едут. Они пожаловались на бочку.

— Ну, ладно,— сказал шофер.— Сейчас все уладим. Слезайте, будем сено таскать.

Он пошел от дороги к ближнему леску, перед которым стояло несколько копен сена. Оля и Варя пошли за ним.

— А нам не попадет? — спросила Оля, когда шофер схватил громадную охапку клевера.

— Попадет, а как же, если увидят,— бодро ответил он.— Вы не канительтесь, тоже берите да скорее к машине. Разика два сходим, и порядок.

Сена натаскали много. Укрепили ящиком вторую бочку, так же прочно, как первую, и поехали дальше. Сидеть стало удобнее, но все-таки не так, как ожидала Оля. Сено было жесткое.

— Клевер же,— сказала Варя, знающая сельское хозяйство.— Клевер всегда жесткий. Если бы луговая трава, тогда другое дело.

До Новгорода, как сказал шофер, было без малого двести километров. Когда въехали в деревню, близ которой стоял столб с цифрой «110», шофер пошел в один из домов, пробыл там с полчаса, потом вернулся, сказал:

— Придется вас, девушки, маленько побеспокоить,— и он стал выбрасывать сено из машины.

Из дома вышли мужчина и женщина и принялись это сено уносить к себе во двор. Потом они считали мятые трояки: шофер, получив, еще раз пересчитал бумажки, положил их в карман, развел руками и объяснил:

— Вот, барышни, какое дело, монета нужна. Каждый зарабатывает как умеет. Вы уж не сердитесь. Хотите, одна в кабинку может ко мне сесть, если в кузове жестко.

Варя и Оля не захотели разлучаться, они сердились на шофера за предательскую продажу сена. А они-то еще помогали ему таскать это сено, исцарапались, искололись...

В одной из следующих деревень машина остановилась возле двухэтажного бревенчатого дома, на котором была вывеска с надписью: «Чайная».

Ничего не объясняя своим пассажиркам, шофер ушел в дверь под этой вывеской. Обе сидели и злились, смотрели на часы; время шло, четыре часа, за которые этот

человек обещал доставить их в Новгород, уже кончались, а впереди было еще километров пятьдесят или даже шестьдесят.

Прождав сорок минут и увидев, что солнце вот-вот спрячется за лес и наступит ночь, Оля не выдержала, сказала:

— Я пойду за ним.

Она вошла в чайную, народу там было немного, шофер сидел в компании за квадратным столом без скатерти, на столе стояли полупустые бутылки, граненые стаканы, на тарелке лежала расковыренная вилками щучья голова. Шофер, пытаясь упереться в стол локтем, который все время соскальзывал, говорил соседу: «Ты мне друг? Нет, ты скажи, ты мне друг?» Оля растерялась, увидав такую картину. Может быть, Варин отец умирает, а они тут сидят из-за этого нечестного человека.

— Как не стыдно! — воскликнула она, подходя к загулявшей компании.— Вы обещали, что мы доедем за четыре часа. Если бы мы знали, что будет так, мы бы не поехали.

— У ти, моя маленькая гулинька! — ответил шофер, улыбаясь во все лицо.— Маленькая гулинька рассердилась... Не сердись... Мы сейчас кончим. И я вас в один миг... с ветром полетим. Или грудь в крестах, или голова в кустах!

Оля вышла из чайной и сказала Варе, которая все еще сидела в кузове, что их дело плохо, с пьяным шофером только и будет, что голова в кустах. Варя рассердилась. Она выскочила из кузова грузовика на дорогу.

— Пошел он к черту! — сказала она непривычно зло.— Давай ловить другую машину. Неужели никто нас не довезет эти пятьдесят километров?

Через несколько минут и в самом деле со стороны Ленинграда появился грузовик, фары у которого были зажжены, потому что уже смеркалось. Варя и Оля встали посреди дороги. Грузовик остановился перед ними. Это был громадный военный грузовик, из его кабинки, через опущенное стекло, выглянул офицер, по знакам на погонах, кажется, лейтенант или старший лейтенант.

— Вы что, гражданки? — спросил он, но, увидев, что гражданки — молодые девушки с чемоданчиками в руках, вышел из машины.— Подбросить, что ли, куда? — заговорил он с улыбкой.— Куда конкретно?

— В Новгород,— сказала Варя.

— Эх, жалость! — ответил он.— В Новгород не могу. Не доедем восемнадцати километров. Ну, может, еще маленько в порядке нарушения дисциплины подбросим. А в самый Новгород никак нельзя.

— Ну, пожалуйста! — воскликнула Оля. — Хотя бы там где-нибудь поближе. Немножко-то мы и пешком пройдем.

Лейтенант предложил Варе и Оле, чтобы они сели в кабину рядом с шофером, места, сказал он, там достаточно для двоих, а он пойдет в кузов и заберется на груз, покрытый новым зеленым брезентом. Варя и Оля дружно заявили, что они вовсе не хотят его стеснять, лучше уж они пойдут в кузов.

— Вы оттуда свалитесь,— настаивал лейтенант.

Уговорились на том, что залезут на брезент все трое и лейтенант будет следить за тем, чтобы девушки не упали.

Взобрались на такую высоту, что смотреть оттуда на темную дорогу было страшнее, чем с самолета. Лейтенант указал им, где лучше лечь, за какие веревки держаться. Поехали. Разговорились. Оля сказала, что у нее брат тоже военный, служит на границе. Лейтенант сказал, что он артиллерист, стоит под Новгородом в летнем лагере, а вообще-то он нездешний, он из-под Рязани.

Ехалось весело, и довольно скоро добрались до поворота к лагерю лейтенанта.

— Дальше, извините, ехать не могу,— сказал он смущенно.— Здорово попадет. Но вы пока обождите тут на дороге. Вон у нас скамеечка возле шлагбаума, посидите, а я схожу к начальству, объясню положение. Если разрешат одно дело, то все будет в порядке.

Варя и Оля сидели на скамеечке, с окрестных низинных полей вместе с туманом полз сырой холод; в ноги, в руки, в шею, в лицо зверски впивались комары.

— Ох, наши новгородские комары злые!— сказала Варя.

Через полчаса со стороны лагеря, постреливая и урча, выкатился мотоцикл с коляской.

— Садитесь!— радостно сказал лейтенант.— Начальство сегодня доброе.

Варя и Оля вдвоем, вместе с чемоданчиками, кое-как втиснулись в коляску и помчались в темноте, почти сидя одна у другой на коленях. Было неудобно, затекали руки и ноги, все мышцы уставали от напряжения. Разговари-

вать было тут невозможно, объясняться приходилось с помощью криков.

В тот момент, когда лейтенант, указывая вперед рукой на цепь огоньков, прокричал: «Вот он и Новгород!» — полил страшный дождь. Лейтенант крикнул:

— Как будем — ехать или искать крышу?

— Ехать! — крикнули Варя и Оля. Обе они уже все равно были насквозь мокрые.

Плохо бы им пришлось в ту ночь, если бы с ними не оказался этот замечательный лейтенант-артиллерист; он довез их до гостиницы, вытребовал номер с двумя кроватями; Оле показалось — ей, во всяком случае, так послышалось,— что он при этом даже упомянул имя какого-то генерала: дескать, сам генерал просил, это его родственницы. Устраивая девушек в номере, он распорядился, чтобы им дали где-нибудь обогреться,— да и одежду надо просушить,— чтобы вскипятили чаю; и только когда ему уже ровным счетом ничего не оставалось делать в гостинице, тяжко вздохнул, попрощался и уехал, сам мокрый и простывший. В шуме дождя за окном застреляла и затихла вдали его мотоциклетка.

Варя и Оля переглянулись, Оля сказала:

— Зря мы у него не спросили, как хоть его фамилия.

— Зря,— согласилась и Варя. Она пошла разыскивать телефон, чтобы позвонить в больницу и узнать об отце. Олю дежурная по этажу повела к топившемуся кипятильнику «титан», в котором гулко трещали еловые поленья; она смотрела в огонь и думала о Викторе Журавлеве: получил он ее письмо или нет и что он в этот поздний час делает, спит ли, или готовится к зачету, который в среду. Оля подумала и о своих аспирантских делах. В последнее время она много лодырничала, и эти дела остановились. Давно Оля не была в городской библиотеке, тетрадки с выписками, которые Виктор Журавлев мог видеть в ее сумке, подброшенной ему, — это еще тетрадки зимнего времени, весна и лето не обогатили Олю познаниями истории общественных отношений в Древней Руси. Но в общем-то так и должно быть, не надо слишком огорчаться и терзать себя угрызениями, лето — время не для занятий, а для отдыха. Пожалуйста, приди сейчас в институт — кого ты там застанешь? Разве только хозяйственных работников да членов приемной комиссии. И в городской библиотеке летом далеко не так людно, как бывает в иные времена года.

Оля смотрела в огонь, и перед нею, озаренный пламенем, вставал бронзовый человек, покоряющий пламя.

Потом она вспомнила лейтенанта, который их сюда привез. А вспомнив лейтенанта, подумала о Косте: почему он не пишет?

2

А с Костей в эту ночь происходило вот что. Среди ночи его разбудил кто-то из солдат. Костя спросонья даже не разобрал кто. «Товарищ лейтенант,— услышал он тревожный голос,— вас требует к себе начальник заставы». Костя мгновенно оделся и через несколько минут стоял перед капитаном Изотовым. Изотов говорил в трубку телефона: «Слушаюсь, товарищ подполковник! Так. Будет исполнено».

— Вот что, товарищ Колосов,— сказал он, положив трубку на ящик полевого телефона.— В колхозе пожар. Нам поручили помочь колхозникам. Сейчас придет машина. Мы выделяем группу. Вы будете ее возглавлять.

Костя вышел во двор. На востоке небо было огненно-красным. Зарево вздрагивало, то разрастаясь, то угасая, то вспыхивая еще сильней.

Сагайдачный прислал трехтонку со скамейками. Солдаты и сержанты вскочили в кузов. Костя сел в кабину, и машина помчалась по лесной дороге в ту сторону, где полыхало зарево. Костя все время видел его перед собой.

Минут через двадцать пограничники уже качали насос колхозной пожарной машины, носили ведрами воду из пруда, вытаскивали из пылавших домов имущество колхозников. Огонь был яростный, горели скотный двор и восемь или десять домов, на которые пламя переметнулось со скотного двора. Оно взлетало в небо длинными языками, унося с собой горевшую дранку с крыш, доски, щепки, головни... Оно трещало так, будто в клочья драли толстую парусину, оно свивалось в жгуты, шарахалось из стороны в сторону, ложилось набок и хлестало прямо над землей острыми злобными языками.

Ворота скотного двора раскрыли, оттуда в поле ринулись ошалелые коровы, некоторые из них вязли в соседнем болоте и от страха ревели, как паровозы. Были и такие, что рвались обратно в огонь. Их держали за рога,

накидывали петли на шеи, но они дрожали, устремив кровавые глаза на огонь, и рвались, рвались.

По улице несся крик мужчин, женщин, детей. Ругались, плакали, стонали; бежали, что-то хватали, несли, тащили, спотыкались, падали.

Появление пограничников внесло некоторый порядок. Заработали баграми, растаскивая горящие крыши, чтобы клочья огня не летели дальше; вместе с пограничниками колхозники тоже носили ведрами воду и качали насос. Но одна машина была бессильна перед стеной огня, от которой на двести метров вокруг было жарко. Костя чувствовал, что гимнастерка на нем накаляется, жжет кожу, того и гляди, вспыхнет.

Вскоре пришла более мощная помощь: из районного центра и с бумажного комбината примчались пожарные команды. Пожарники потянули линию шлангов уже не от обмелевшего пруда, а от речки, вода хлынула в несколько толстых струй, моторные помпы гнали ее с громадной силой. Теперь трещали уже не языки пламени, а струи воды, ударяя в дымившиеся стены.

Пока пожарники штурмовали огонь, Костя и его солдаты отстаивали дома, соседние с горящими. Самым ближайшим к огню был недавно построенный колхозом большой клуб. В клубе была библиотека. Девушка-библиотекарь, повязанная платком, все просила: «Столы, полки — ладно! Главное, книги, книги, товарищи, спасайте!»

Никто не заметил, как стало светать. Пламя сбили, пожарники разламывали топорами и ломиками полы, крыши, проверяя, не осталось ли где огня, заливали каждую подозрительную щель. С пожарища валили дым и пар вместе, над деревней висело густое черно-серое облако. Колхозники разыскивали в окрестностях скот. Погорельцы сидели на своих вещах среди улицы: на тюках и матрацах спали детишки. Черная обгорелая береза, облитая водой, блестела как лакированная. Она окутывалась паром, и с нее на землю капали крупные теплые капли.

Только когда рассвело, когда кончилась горячка и солдаты присели закурить возле вытащенных книг, Костя разглядел библиотекаршу, которой он так самозабвенно помогал в эту ночь. Это была худенькая девушка с большими черными глазами на бледном лице. Она сняла платок с головы, волосы у нее рассыпались. Они у нее вились

от воды, под которую она несколько раз попадала. Она улыбнулась, сказала Косте:

— Большое вам спасибо, товарищи пограничники!

Костя сказал:

— Лейтенант Колосов,— и подал руку девушке.— Вот как приходится знакомиться.

— Малахова Люба,— сказала девушка, отвечая на его рукопожатие.

— Странно, — сказал Костя, — находимся тут рядом, если по прямой через лес, то всего шесть километров, а ни разу не встречались.— Ему очень понравилась Люба Малахова, и он очень не хотел от нее уходить.— Вы, значит, тут и живете? — спросил он.

— Да, тут. Шестой месяц. Я окончила библиотечный техникум, и вот прислали сюда. Работа интересная, библиотека, сами видите, большая. Я всякие конференции провожу читательские. Приезжайте, если будет время.

— Непременно приеду! — сказал Костя горячо, снова пожимая ей руку.

Она так хорошо и застенчиво улыбалась, у нее были такие черные глаза, и такие ямочки на бледных щеках, и такая мягкая маленькая рука, что Костя уже не сомневался, он был уверен, что влюблен в нее окончательно и бесповоротно.

Собрав своих солдат к грузовику, он еще раза три, делая вид, будто что-то позабыл, возвращался к Любе Малаховой, которая хлопотала возле своих книг, все жал ей руку, говорил, что непременно приедет на днях. Она улыбалась, говорила: «Пожалуйста, буду очень рада». Она, наверное, понимала, почему так мешкает Костя, почему третий раз пришел он прощаться,— наверно, понимала, потому что, когда пограничники уже уселись в кузове машины, а Костя открыл дверцу кабинки, она сама подошла к нему. Костя не мог скрыть своей радости. Он несся в грузовике, ничего не видя вокруг, ничего не замечая, в сердце было вроде как на пожаре — горячо, ералашно, шумно и суетливо, хотелось немедленно что-то делать, куда-то бежать, говорить, действовать, действовать. Но на заставе в то утро нечего было делать и невозможно было действовать. Капитан Изотов сказал: «Идите спать, отдыхайте до четырнадцати ноль-ноль».

Костя вбежал в свою комнату и почувствовал такую тоску, какой еще никогда в жизни не испытывал. Смерть матери вызвала совсем другое чувство, тогда было горе,

отчаяние, а теперь тоска, тоска, тоска, полнейшая безнадежность. Что же будет? Он — тут, а она — там. Между ними шесть километров леса, а по дороге все четырнадцать. И вдруг.... да, вдруг она замужем? Вдруг у нее муж, дети? Нет, пропал он, Костя, на веки вечные. Вся жизнь пошла под откос...

Он упал на свою узкую коечку, на матрац, набитый соломой, и лежал так с минуту в полном отчаянии. Но дольше минуты он пролежать не мог. К черту все, к черту ее мужа и всяких там детей! Он знает, что надо делать, и он это сделает!

Он влетел к капитану Изотову.

— Товарищ капитан,— сказал он, стараясь сдержать волнение.— Я, кажется, потерял на пожаре бумажник. Разрешите съездить?

— Конечно, — ответил Изотов. — Берите коня — и махом! Что же это вы такой рассеянный?

Костя летел на коне как сумасшедший, рысью все четырнадцать километров проселочной дороги. Перед самым колхозом «Память Ильича» он остановил коня и задумался: ну что, что он там будет делать? Что скажет? В пятый раз скажет: «Я непременно приеду», или: «Вот я уже приехал». Какая получится глупость, просто стыдно подумать. Так хорошо и ясно было, когда принималось решение — приехать к ней и все сказать. И как все неясно стало, когда вот она тут рядом, под какой-то из этих крыш впереди.

Он повернул коня и ехал обратно шагом, медленным, скучным, нудным. Даже коню такой шаг был противен, конь начинал потихоньку трусить рысцой. Но Костя его останавливал. «Ямщик, не гони лошадей,— повторял он одно и то же.— Мне некуда больше спешить и некого больше любить».

Возвратясь домой, он уселся за стол и принялся писать длинное-предлинное письмо. Он писал Любе Малаховой о том, что в этот день в его жизни произошло событие, которым определится вся его дальнейшая жизнь, что он встретил человека, какого еще никогда не встречал, что, словом, он любит ее, Любу Малахову, что не может жить без нее, что если она этого не поймет, не захочет понять, то жить ему больше незачем, пусть живут другие, а он будет отныне искать смерти, только смерти. Он погибнет геройски, на родной границе в неравном бою с агентами врага. Пусть она тогда вспоминает о лейтенан-

те, который спасал ее книги, да, только книги, как это горько, что только книги, а не ее, Любу Малахову. Вот если бы он вытащил из огня ее — а он бросился бы за нею куда угодно,— так вот, если бы он спас ее, она бы, наверно, не так отнеслась к нему, не так безразлично...

Костя отложил перо, дальше оно не шло, оно наткнулось на препятствие: Костя не мог привести примера безразличного отношения Любы Малаховой к лейтенанту, спасавшему ее книги. Напротив, она так хорошо с ним разговаривала, так ласково ему улыбалась, подошла к машине еще раз попрощаться и сказать спасибо.

Костя изорвал письмо в клочья. И когда разорвал, то понял: так это же и есть безразличие — говорить только спасибо и улыбаться. Это каждый может, и это ни к чему никого не обязывает. Это была самая обыкновенная вежливость. А разве ему нужна какая-то вежливость? Костя хотел сложить клочки изорванного, но они были такие мелкие, что никак не складывались. Писать новое письмо он уже не мог. В душе у него что-то угасло, и опять была тоска. Ему казалось — он в этом опять был уверен,— что он смертельно ранен неудачно сложившейся жизнью, что отныне перед ним только пограничная служба, только верность долгу. Ну что ж, он будет верен долгу, всегда, вечно, люди еще увидят, кто он такой, каков он, пограничный офицер Колосов. Костя взглянул в зеркальце на стене, сделал лицо холодное, гордое, надменное, лицо графа Монте-Кристо, надел фуражку и вышел из комнаты на крыльцо.

Когда он входил в служебное помещение, было ровно четырнадцать часов ноль-ноль минут.

3

Работы над поисками жаропрочной стали для сверхмощных турбин развернулись вовсю; группа Бакланова и Румянцева внесла в атмосферу института какую-то особую живость, создавалась обстановка, способствующая исследованиям, творческому беспокойству.

В этой обстановке с удивительной отчетливостью стали видны те, кто тянул назад, кто громкими фразами пытался прикрыть свою бездеятельность и жить старыми капиталами. Красносельцев принес какие-то справки, из которых следовало, что в связи с повышенным артериальным

давлением врачи рекомендуют ему длительный отдых. Но когда Павел Петрович предложил ему пойти в отпуск, Красносельцев отказался: он любит отдыхать в сентябре на Черноморском побережье. Бакланов хотел его включить в свою группу — Красносельцев и от этого отказался, заявив, что ему надо основательно продумать новую тему, над которой он намерен работать в будущем году. Целыми днями он сидел в институтской библиотеке или в кабинете Серафимы Антоновны.

Серафима Антоновна тоже, что называется, находилась в периоде перестройки. Скандальная история со злосчастной разливкой стали на Верхне-Озерском заводе ее очень расстроила. После успеха с этой разливкой метод подобного обобщения достижений производственников казался ей настолько плодотворным, настолько эффективным и эффектным, что и следующую свою работу она вела такими же методами. Значит, надо или отказываться от темы, которая почти разрешена инженерами завода № 3, что очень и очень плохо, или же войти в группу этих инженеров на правах старшего консультанта, что несколько лучше, но все равно уже не так хорошо, как бывало прежде, когда честь всех новшеств, всех открытий в ее отделе принадлежала только ей, ей, ей одной, доктору технических наук, профессору-орденоносцу, лауреату Сталинских премий Серафиме Антоновне Шуваловой. Красносельцев ее поддерживал, он говорил, что надо выждать время, надо иметь побольше выдержки и терпения, все образуется, все встанет на свои места. «Рано или поздно, мы наведем порядок в своем собственном доме».

Павел Петрович не придавал особого значения тому, что в институте были недовольные переменами, произведенными в последнее время. Он видел, что все перемены шли на пользу, на улучшение научной работы. Он видел, что большинство этими переменами довольно; к нему чуть ли не ежедневно приходили сотрудники с различными предложениями. Пришел и товарищ Ратникова — Жерихов, человек тоже молодой, но в отличие от Ратникова нисколько не смущающийся.

— Не буду злоупотреблять вашим временем, — сказал он с ходу.— Сразу изложу суть дела. Дело в том, что в современной мартеновской печи топливо расходуется до крайности нерационально. Факел пламени располагается параллельно поверхности плавящегося металла. По сути дела, современная печь — это полуотражательная печь:

жар на металл отражается от свода. Я предлагаю ставить факел пламени перпендикулярно поверхности плавящегося металла: сверху вниз, прямо на металл.

Предложение Жерихова показалось Павлу Петровичу очень интересным. Он сказал, что его надо будет обсудить на ученом совете, пусть Жерихов подготовит объяснительную записку к своему предложению.

Все дни Павел Петрович был с людьми, принимал их в своем кабинете, встречался с ними в мастерских, в лабораториях, иногда сиживал на скамейках под деревьями парка. Дни летели один за другим, Павел Петрович их почти не замечал. Но вот когда наступал вечер, когда он возвращался домой и оставался один на один с портретом Елены, тут каждый час казался вечностью. Вечерние часы его одиночества шли медленно, тягуче, — им некуда было спешить, этим вечерним часам. Со всех сторон подкрадывались воспоминания, а с ними и тоска. Иной раз становилось просто страшно одному. Павел Петрович радовался, когда Оля и Варя бывали дома. Но они дома бывали не часто. Оля пропадала с каким-то, как Павел Петрович догадывался, новым своим поклонником. Варино время отнимали изотопы. А в эти дни, когда Варя с Олей уехали в Новгород, стало совсем плохо. Пустой дом пугал и угнетал. На свете жили как бы два Павла Петровича Колосова: один днем — живой, энергичный, деятельный, второй — уходящий в воспоминания, рассеянный и угнетенный.

Павел Петрович не спешил в эти дни домой. Он или сидел в институте — дело всегда находилось,— или медленно шел пешком, чтоб было подольше. К вечеру третьего дня после отъезда Вари и Оли ему вдруг позвонил Федор Иванович Макаров. Федор Иванович сказал, что он остался в городе один, потому что Алевтина Иосифовна повезла сына в деревню к бабушке, а дочка уехала на студенческую практику в совхоз, ведь Павел Петрович это знает: она учится в сельскохозяйственном институте, будет агрономом. Павел Петрович сказал, что и он остался один, потому что Оля улетела с подругой в Новгород.

Решили провести вечер вместе и встретились в десятом часу на площади Павших борцов, где стоял обелиск из черного мрамора и красного гранита. На обелиске были красивые стихи неизвестного поэта, посвященные памяти тех, кто отдал жизнь за революцию, за советскую власть. Тут была и могила Артамона Макарова, дяди

Федора Ивановича, брата его отца, первого председателя ЧК в городе, которого выстрелом из-за угла убили эсеры. Полковник Бородин рассказывал им историю о том, как он познакомился с дядей Федора Ивановича.

Это было в двадцатом году, за несколько месяцев до смерти Артамона Васильевича. Бородину было тогда двадцать два года, он был матросом и только что вернулся из похода на север против интервентов. Он был опоясан пулеметными лентами, на ремне справа и слева висело по гранате: справа — «бутылка», слева — «лимонка»; справа и слева за поясом торчало по нагану. Вид грозный. И в таком виде молодой Бородин явился в только что оживавший городской театр. «Желаю,— заявил он,— представлять на сцене». В театре испугались и зачислили его в труппу. И какая бы пьеса ни шла, он требовал, чтобы его выпускали на сцену в натуральном его матросском виде с бомбами и наганами.

Когда в семье Бородиных узнали о похождениях сына, учитель биологии Сергей Григорьевич, отец бравого матроса и маленькой в ту пору Елены Сергеевны, очень огорчился, долго беседовал с сыном. Не помогло. Мать плакала, упрашивала перестать позорить родителей. Тоже не помогло. Молодой Бородин каждый день отправлялся с утра в театр, ему там нравилось, — нравилось, что все его боятся.

Вдруг однажды воинственного актера вызвали в ЧК. Он предстал перед бородачом со злыми черными глазами. «Ты что дурака валяешь? — гаркнул на него бородач.— Чего ты там на артистов с артистками холоду напускаешь. Залез козел в огород!» — «Ты на меня не ори! — гаркнул в ответ и молодой Бородин.— Разные встречались. Которые орали на меня, уже на том свете в колокола звонят». Председатель ЧК посверлил матроса злыми своими глазами — тот стоял перед ним крепкий, что из камня. «Дай-ка документы, кто ты такой? — сказал председатель ЧК уже другим тоном, полистал удостоверения и мандаты, заявил: — Нечего тебе на артисток заглядываться, в этом огороде без тебя козлов хватает. Будешь при мне работать. Понял?»

Так Бородин начал путь чекиста. Он рассказывал, что Артамон Васильевич очень уважал людей, которые были способны орать на председателя ЧК. Смертным грехом Артамон Васильевич считал подхалимство и трусость перед чинами и должностями. У него был такой случай. Из

Москвы ему прислали заместителя. И вот раз на заседании Артамон Васильевич держал речь, в пух и прах разнося одного из своих подчиненных. Приезжий заместитель сидит да все головой кивает, так, мол, так, согласен, правильно. Артамон Васильевич и взорвался: «Ты что, такой-рассякой, мотаешь тут башкой мне, чтоб я видел! Подхалим ты паршивый! Да я же неправильно разношу его, парня этого, это печенка у меня взыграла, камни в ней. Пошел вон, уезжай обратно, сейчас телеграмму пошлю, чтоб сняли тебя к чертовой матери!»

Павел Петрович и Федор Иванович постояли возле обелиска и, не сговариваясь, как-то само собой это получилось, пошли на звуки духовой музыки в сад отдыха. Купили билеты в кассе и вступили в толкучку гуляющих по саду. Тут было множество киосков, ларьков, буфетов, балаганчиков, в которых стреляли из духовых ружей, пробовали силу, кидали «счастливые» кольца. Федор Иванович попробовал пальнуть из ружья наудачу в быстро вращающийся резиновый круг. Нежданно-негаданно он угодил в цифру семь, и ему выдали флакон одеколона «Жигули», на этикетке которого была изображена река, крутой лесистый берег и на фоне берега по реке шел двухэтажный белый пароход. Потом Павел Петрович сказал, что когда-то, начитавшись Майн Рида и Густава Эмара, он увлекался метанием лассо. Не попробовать ли кинуть пару «счастливых» колец? Федор Иванович сказал, что в этом есть полный резон. Павел Петрович заплатил за пятнадцать колец, по рублю за три кольца, и принялся их метать, тщательно прицеливаясь. Все кольца пролетели мимо.

— Видишь ли, в чем дело, Павел,— поразмышляв, с серьезным видом сказал Федор Иванович,— твой навык не был закреплен практикой и не сохранился, рассчитывать на него не стоит. Но мне в голову пришла вот какая идея. По теории вероятности... Впрочем, заплати-ка, пожалуйста, еще штук за пятнадцать. Попробуем на практике. — Он взял все пятнадцать колец и, как сеятель из лукошка бросает овес, метнул их все разом на наклонную доску, на которой торчали пронумерованные деревянные штыри. Три кольца из пятнадцати упали прямо на штыри с номерами четыре, одиннадцать и семнадцать. Руководитель кольцеметательного предприятия, сухонький старичок в пенсне и с козлиной бородкой разночинца, развернул

перед Федором Ивановичем затрепанный прейскурант и сказал:

— Полюбопытствуйте сами.

Вокруг Федора Ивановича уже собралась изрядная толпа ребятишек, парней и взрослых, вместе с ним все они старались заглянуть в этот прейскурант, тянулись из-под рук и через плечи. Федор Иванович читал вслух:

— «Номер четвертый — дамские босоножки из текстиля на резиновой подошве. Номер одиннадцать — папиросы «Зефир», двадцать пять штук. Номер семнадцать — художественная книга из числа выдающихся произведений».

Босоножки малинового цвета с голубыми кантиками, оказалось, изготовила, как было помечено чернильным штемпелем на стельке, артель, функционировавшая в Первомайском районе. Федор Иванович рассовал их в карманы пиджака, заявив, что будет держать у себя в райкомовском сейфе и в случае, если председатель артели явится к нему с какими-нибудь претензиями или критиками, вытащит их и скажет: «А это кто состряпал?». У того и язык отнимется. Художественную книгу из жизни рыбоводов он отдал подвернувшемуся под руку парнишке, сказав: «Прочитай, хлопец, очень интересно. По крайней мере, научишься белуг разводить». Папиросы «Зефир», присев на скамейку, они тут же раскрыли.

— А хорошо иногда побездельничать! — сказал Павел Петрович, пуская дымок.— Чудесно. Я вот вчера в гостях на даче был...

— Ишь ты, как шикарно живешь — сказал Федор Иванович.— А у меня времени на гульбу что-то мало остается. Сильно влез в районные дела. Меня один наш товарищ, стараясь уязвить покрепче, назвал Гарун-аль-Рашидом. Ну что поделаешь, тянет к народу! Каких только дел нет на свете. Зашел вот на днях в ветеринарную лечебницу... Ты бывал в ветеринарных лечебницах? Ну! Зря. Сходи. И смех, знаешь, и грех. Кто кошку свою любимую принес, кто бобика привел, кто с канарейкой в клетке: что-то скучная, третий день не поет. Кошек большей частью приносят в кошелках ребятишки, бобиков водят дамы в мехах, канареек тащат старички. Я зашел, сел в приемной, огляделся. Сидит мальчик лет двенадцати. Грустный такой, на кончике носа мокро. Нет сил на него смотреть. Ты знаешь, не могу я спокойно смотреть на грустных мальчишек. Может, кто его обидел, ду-

маю. Всегда себя такого вспоминаю. Кто только не обижал нас: и за ухо дернут, и коленкой поддадут, и обманут в лучших твоих чувствах. Вот я его спрашиваю: «Ты что, дорогой мой, какая у тебя такая беда?» — «Ах, дядя, — говорит, — петушка очень жалко. Я петушка нашего принес. Он что-то проглотил, и ему худо. А ведь как пел, дядя, вы бы знали!» Ну, гляжу, сейчас заплачет, еле держится. Воспользовавшись своим руководящим положением в районе, я встал да и туда, в кабинет. Гляжу, на столе, на этаком алюминиевом противне, на котором вся эта ветеринарная хирургия происходит, стоит петушище, крылья повесил, будто на костылях держится, ноги подгибает, голова на сторону валится. Да, верно, плохо петуху. «Что с ним? — спрашиваю. — Спасти можно?» — «А! — узнаёт меня врач. — Товарищ Макаров! Здравствуйте! Ваш, значит, красавец? Сейчас посмотрим, что это он забастовал». Сестра петуха держит, врач распялил ему клюв, заглянул в глотку, потребовал какие-то щипцы и вытащил из глотки вязальный крючок. Ну что за дурак, такие предметы глотает! Петух сразу и ожил, встрепенулся, крылья подобрал, перья поправил, затряс гребнем и серьгами. Я этому парнишке вынес его сокровище. Ты бы видел, как тот обрадовался!.. Нет, Павел, мы уж так радоваться не умеем. Чтобы нас обрадовать, это же бог знает что должно произойти!

Им было приятно, что они вместе, два старых друга, что они могут говорить и рассказывать один другому все, что вздумается, без опасения быть неправильно понятыми. Они всю жизнь друг друга понимали правильно.

Они гуляли по вечернему городу, никуда не спеша. Этот день был для них закончен, а новый с новыми заботами наступит еще только через десять часов. Павел Петрович, как всегда при встречах с Федором Ивановичем, рассказывал ему о своих институтских делах, просил совета.

— Слушай, — сказал Федор Иванович, когда Павел Петрович упомянул о том, что к Новому году институт будет заселять свой дом, — ты не дашь нам заимообразно одну комнатушку в твоем доме? — Он принялся рассказывать о Леньке и о его судьбе, о том, что они с секретарем райкома комсомола не могут решить его квартирные дела. — Дай комнатку! — повторил просьбу Федор Иванович. — Мы напишем тебе обязательство возместить таким же количеством жилой площади и тоже в новом доме, но

следующей весной. Только в апреле — в мае наши ближайшие новостройки будут готовы к заселению.

— Ладно,— сказал Павел Петрович.— Не такая уж проблема. Надеюсь, не обманете.

— По всей форме райсовет выдаст расписку. И еще у меня к тебе просьба, если уж дело коснулось просьб.

Федор Иванович подробно рассказал Павлу Петровичу о своем посещении гадалки.

— Никак никуда не могу пристроить ее в нашем районе. Стесняется. Может, найдется местечко у тебя в институте? Гадать бросила, ждет, что я ей чем-то помогу, есть хочет.

— Присылай,— сказал Павел Петрович.— Посмотрим. Чего доброго, нагадает нам что-нибудь полезное.

Павел Петрович и Федор Иванович поужинали в ресторане и в полночь разошлись по домам.

4

Утром Варя и Оля, едва встав с постелей, тотчас отправились в больницу, потому что ночью Варе ответили по телефону о состоянии отца: «тяжелое»,— и они хотели поскорее увидеть врачей и расспросить их подробнее.

Заведующий хирургическим отделением, к которому они пришли, подтвердил, что да, состояние не такое уж легкое, но добавил, что и не такое уж тяжелое, как могло быть в преклонные годы Вариного отца; что одну операцию ему сделали, главные трудности, следовательно, позади; предстоит вторая операция, менее серьезная, намечена она как раз на этот день, через полтора часа начнется, и поэтому девушек в палату сегодня не пустят, увидятся они с Игнатом Никитичем Стрельцовым, может быть, завтра, а вернее всего — послезавтра.

Варя расстроилась: так спешили, так спешили, и вот — на́ тебе!

— Но, Варенька,— резонно возразила Оля,— спешили потому, что положение твоего отца было очень худое. И правильно спешили. Ну, а если оно улучшилось, то этому радоваться надо. Что̀ тебе важнее — увидеть отца или чтобы он поправился?

— Странный вопрос!

— Ну, значит, давай подождем до завтра. Ты не волнуйся, все будет хорошо. Ведь если врач говорит, что

положение трудноватое, то он это говорит с перестраховкой, на всякий случай сгущая краски. Ты ведь знаешь, что врачи всегда так, полную правду ни в том, ни в другом случае не говорят.

— Как же, Оленька, не говорят! Ты помнишь, мы заходили в гости к Макаровым и что тогда Федор Иванович говорил о врачах? Режут правду-матку в глаза, у них принцип: не скрывать от больного тех испытаний, какие ему предстоят.

— Думаю, что Федор Иванович пошутил.

От больницы они шли грязными улицами. Светило яркое солнце, но вчерашний дождь сделал свое дело: всюду стояли непроходимые лужи, грязь была такая вязкая, скользкая, что все время приходилось балансировать, чтобы не упасть, и следить за тем, как бы не оторвались каблуки или подошвы туфель.

— Почему это у вас так? — спросила Оля, которая считала Новгород родным городом Вари, хотя Варя родилась вовсе и не в самом Новгороде, а в Холынье.

— Видишь, все кругом строится. Грузовики размесили.

И в самом деле, куда ни взгляни, всюду возводились корпуса кирпичных зданий, во всех направлениях, утопая в лужах и проминая глубоченные колеи в зыбкой почве, ползли грузовики и самосвалы с кирпичом, камнем, цементом в кузовах.

По мостику через крепостной, заросший деревьями ров они прошли в кремль. Внутри кремля было чисто, тихо, уютно, всюду цвели шиповники. Тут высился древний Софийский собор, на кресте которого сидел серый металлический голубь.

Напротив собора стоял известный Оле по фотографиям знаменитый памятник Тысячелетия России. Оля и Варя обошли его со всех сторон, долго рассматривали бронзовые фигуры различных исторических деятелей, окружившие шар Российской державы. Потом через другие ворота в кремлевской стене вышли на крутой обрыв над Волховом. Немцы взорвали мост, который когда-то вел на ту сторону Волхова. Остался этот обрыв — высокий береговой устой. Вправо и влево, куда ни посмотри, в утренней дымке открывались с него широкие дали. Варя показала вправо:

— Видишь, там колокольня, купола? Это Юрьев монастырь. На другой стороне Волхова, против мона-

стыря, — Рюриково городище. А за монастырем и городищем — озеро Ильмень. — Указывая рукой влево, она сказала: — А там, видишь, еще колокольня, купола, белая стена вокруг? Это Антониев монастырь.

Оля начинала понимать, почему так говорят: седая старина; все эти монастыри, колокольни, стены, купола были подобны убеленным сединами старцам. Тихая дымка, в которой стояли они окрест, это не был утренний туман, не были испарения Ильменя или Волхова, разных мелких речек, болот и канав, окружавших Новгород. Это была пелена времени, одежда веков. Впервые Оля материально ощутила то, чему она посвятила шесть лет пребывания в институте, — Древнюю Русь. Началось со зрительных ощущений, а вот перешло и в сердце, защемило в нем, хлынуло холодком по спине. Светлые волоски на открытых Олиных руках встали торчком.

— Ты озябла? — спросила Варя, заметив это.

— Нет, почему-то волнуюсь.

Они долго стояли над обрывом. Оля разглядывала многочисленные церкви и церковки на Торговой стороне, где, она знала, собиралось знаменитое новгородское вече, смотрела в мутные струи Волхова, который, говорили, не замерзал возле моста даже в самые жестокие морозы,— так много пролилось в него народной крови. Она оглядывалась на звонницу, которая стояла за кремлевской стеной. На этой звоннице когда-то висел колокол, испугавший Ивана Грозного. Иван Васильевич въезжал в покоренный гордый город, многопудовый колокол бухнул могучим голосом, конь под Грозным прянул, царь чуть было не вылетел из седла, разгневался и велел отрубить уши колоколу, за которые тот подвешивался к балкам: чтобы больше никогда не звонил. Так этот колокол и прозвали — «Казненный». Оля знала, что в новгородском кремле есть подобная московской, только, конечно, не такая большая и богатая, Грановитая палата, что на Торговой стороне сохранились остатки Ярославова дворища — дворца Ярослава Мудрого, что есть в Новгороде еще множество всяких иных древностей. В кремле, в Ярославовом дворище, на Славне, в Неревском конце еще до войны начаты археологические раскопки. Все бы повидать, всюду побывать. Она сказала об этом Варе. Варя ответила:

— Хорошо, походим. Но я думаю, что сначала нам бы надо позавтракать. Мы сегодня еще ничего не ели. А Павел Петрович мне сказал, чтобы я за тобой последила.

— Ну ясно, отец все еще считает меня маленькой! Это вообще очень смешно. Наши родители, это я по всем своим знакомым знаю, любят хвастаться тем, что в четырнадцать лет они уже были самостоятельными и уже работали и что в девятнадцать лет у них были дети, то есть мы. А когда дело касается нас, они нас считают младенцами до двадцати пяти лет, трясутся над нами, ничего нам не доверяют. Получается нелепое положение.

— Да, я это тоже заметила,— сказала Варя.— На меня, правда, это не распространялось никогда. Мамы, ты знаешь, не стало очень рано, и мне пришлось самой хозяйствовать в доме. Но многие, кого я знаю по институту, действительно были, а некоторые находятся и сейчас в таком положении, о котором ты говоришь: великовозрастные деточки. Ну, есть-то мы будем или нет?

Возле гостиницы стоял небольшой синий автомобильчик, помятый, поцарапанный, старенький; на ступенях крыльца, вытирая руки комком тряпок, сидел человек без пиджака, в мятой шляпе, в измазанных машинным маслом брюках, в рубашке, которую тоже трогали маслеными руками.

— Здравствуйте! — сказал он весело, когда Варя и Оля подошли, и встал с крыльца.— Мы с вами соседи. Я видел, как вы вчера выгружались из мотоциклетки.— Он представился по всей форме, назвал свою фамилию, имя и отчество, только руки не подал, по причине вполне понятной.

— Вы художник? — спросила Оля, услыхав знакомое имя.

— Да, художник,— сказал он.— Вот приехал сюда своим ходом из Ленинграда. Я же еще и шофер.

На вид ему было лет тридцать с чем-то, но Оля совсем недавно читала о нем в отрывном календаре и запомнила год его рождения,— художнику было около сорока.

Разговорились. Художник сказал, что и он еще не завтракал: возится все утро с машиной, которая не любит дождливой погоды, в ней что-то от дождя размокает. Он, однако, без всяких затруднений завел свой автомобиль, который называл не иначе как драндулет, и сказал, что если девушки не против, то он довезет их до ресторанчика, есть тут такой немудрящий, и составит им компанию. Но только он просит пять минут на переодевание и мытье. Варя и Оля сказали, что они не только не

против, но очень рады компании и что они тогда тоже переоденутся.

В ресторане возле Летнего сада — художник сказал, что в этом здании до революции была женская гимназия и в ней училась его сестра,— народу оказалось мало. Втроем сели возле окна, смотрели в сад, художник рассказывал о себе, потому что в этот день он не мог ни о чем ином рассказывать: он тоже только вчера приехал в Новгород, где родился и рос до четырнадцати лет и где не бывал с тысяча девятьсот тридцать пятого года. Но и в тридцать-то пятом году приезжал всего на два дня повидаться со своим другом детства, которого он называл Славкой.

После завтрака, оставив машину на улице, вошли в Летний сад. Художник все время охал, ахал и огорчался. Он ходил с тем выражением в глазах, которое писатели называют блуждающим взором, он узнавал знакомые места и огорчался тем, как они ужасно изменились для него, как мало в них осталось того, что было так дорого ему в детстве. Он показал горку в Летнем саду, поросшую кустами боярышника, заглохшую тропинку, которая шла от подножия горки к крепостному рву.

— Там был мостик через ров, тропинка вела к мостику, — сказал художник тихо. — Теперь мостика нет, и тропинка заросла травой. Совсем так, как бывает в грустных народных сказках.

Он рассказывал о девочке, с которой они каждый день ходили вдвоем через этот мостик в школу и из школы, в свой четвертый класс. Они еще ходили с ней и на изокружок, рисовали что-то клеевыми красками, чтó — уже и не вспомнишь, ведь рисование и ему и ей было нужно лишь для того, чтобы еще раз в тот день, уже в вечерней темноте, пройти по этой тропинке и через этот мостик вместе, вдвоем. У девочки были светлые, золотистые волосы, легкий, быстрый шаг и очень блестящие глаза, они блестели даже в темноте. Ее звали Симочкой.

При упоминании этого имени Варя ощутила в душе беспокойство. Это имя Оля всегда упорно связывала с Павлом Петровичем, так упорно, что Олина неприязнь к женщине в черных кружевах перешла и к Варе. Варя понимала, что та женщина во много раз сильнее ее, красивей, наверно, и умнее, и, конечно, интересней для Павла Петровича, и ей было от этого больно. Она подумала о том, что никогда не ходила с Павлом Петровичем ни по

каким тропинкам, ни через какие мостики, не рисовала с ним в изокружке клеевыми красками, не собирала ягоды боярышника, но пройдет двадцать пять лет, пусть даже пятьдесят — до самого конца ее жизни она так же будет помнить Павла Петровича, как помнит художник свою золотоволосую девочку, так же будет говорить о нем, и так же ей будет больно и грустно при воспоминании, как больно и грустно сейчас художнику.

Она вздохнула и услышала, как одновременно вздохнул и художник. Он вел Варю и Олю по улицам, он указывал на дома или остатки домов, в которых жили когда-то его приятели или школьные товарищи. Тут вот жил Алик, сын колбасника, который пользовался покровительством всего класса лишь только потому, что на весь класс ежедневно приносил бутерброды с колбасой. Родители Алика радовались его аппетиту. Там жил мальчик Андрей, очень злой и нелюдимый, в любые морозы он ходил с голыми коленками. Там жил Соболенок, которого во время больших перемен мальчишки любили запихивать в мусорный ящик из фанеры. Ящик обвязывали веревками, и Соболенка к середине урока находили и выпускали из ящика уборщицы. Художник называл имена любимых учителей: Герман Васильевич — химик, Ольга Николаевна — по русскому языку, Екатерина Родионовна — по арифметике. Он всех их помнил. И его сильно расстроило, что на месте школы, в которой он учился, школы имени Октябрьской революции, сокращенно ШОР, стояло совсем другое здание, показавшееся ему ненужным тут и некрасивым.

— А с девочкой Симочкой мы расстались потому,— сказал он,— что я выстрелил на школьной лестнице из ключа. Была тогда такая мода — стрелять из ключей. Ручкой двери в стене на лестнице давным-давно пробили штукатурку. Но директор школы, который появился при моем выстреле, сказал, что это я отбил штукатурку, и меня исключили из школы. После такого оскорбления, такой несправедливости и такого стыда я уехал из Новгорода в Ленинград, там в институте учился мой брат, и на первых порах мы жили вместе. Куда подевалась Симочка — не знаю.

«Неужели и я буду так рассказывать,— думала Варя.— Вот, мол, появилась женщина в черных кружевах, я не выдержала такой несправедливости, такого горя и уехала... уехала неведомо куда. А куда подевался Павел

Петрович Колосов — не знаю». Нет, этого не будет, не будет! Не будет такого дня, чтобы она, Варя, не знала, где Павел Петрович. Не будет!

Художник вел Варю и Олю так, что они вновь вдруг оказались возле больницы. Оля рассказала о Варином отце.

— Слушайте! — сказал художник.— Время операции уже давно прошло, надо же узнать, как дела. Пойдемте!

— Нас не пустят,— сказала Варя.

— Пустят! — решительно заявил он.

Их почему-то пустили, и снова к заведующему хирургическим отделением.

— Считаю, что операция прошла очень хорошо,— сказал он.— Не волнуйтесь. Больной спит. Хотите, оставьте ему записочку. А завтра я вас, пожалуй, одну... кто из вас дочка? — пущу в палату.

Варя быстренько написала на листках блокнота, которые дал ей художник, коротенькое взволнованное письмецо.

Потом они снова бродили по городу, художник не мог сидеть на месте, ноги сами несли его по улицам, по которым он бегал когда-то босиком или в детских сандаликах. Они вышли на одну из окраинных улиц за Федоровским ручьем. Здесь взгляд художника снова стал блуждающим, художник ускорил шаги, он не отвечал на вопросы, шел и шел мимо деревянных маленьких домиков и остановился перед старой развалиной. Можно было понять, что это был некогда кирпичный домик с тремя окнами по фасаду; теперь этот кирпичный короб был завален внутри до самого верха каким-то хламом, стены расселись, запрокинулись на этот хлам, получилась кирпичная груда, поросшая крапивой и кустами бузины. Но на ржавой жестянке, лет пятнадцать назад укрепленной на кирпичах, можно было различить цифру 12, номер дома.

— Тут жили я, моя мама, брат, сестра, племянники, бабушка...— говорил художник, волнуясь.— Не в этих кирпичах, нет. Над ними был деревянный этаж, три комнатки. Вот там. Ничего, ничего не осталось...

Рядом с домом художник отыскал пень, весь обтюканный, обрубленный топорами до того, что получился острый конус.

— А это был старый, громадный дуб, который осенял наш дом. По его ветвям я прямо из окна спускался на землю.

Он постоял, постоял и сказал:

— Никогда я сюда больше не приду.

До самой гостиницы он шел молча. Оля взяла его под руку. Он почувствовал это, взглянул на нее, понял движение ее души и улыбнулся, как бы говоря: спасибо. Оля подумала о том, что у этого художника и у ее отца Павла Петровича есть общая черта: они любят вспоминать свое детство, свою молодость. Но вспоминают не ради воспоминаний, а чтобы сравнить — вот так было, так стало. Многое, мол, из того, о чем мы мечтали в комсомольцах, достигнуто и даже превзойдено. Мечтайте и вы, и чтобы через двадцать лет мечты ваши осуществились! Живите так, чтобы их осуществить. У нас, стариков, фантазии уже не хватает. Павел Петрович любил пококетничать, сказать о себе: «старик», прекрасно зная, что сам еще совсем молодой. Художник тоже помянул свой якобы солидный возраст, но глаза его при этом сверкнули, как у мальчишки.

В гостинице договорились, что отдохнут часик-полтора, а там снова встретятся. Варя и Оля пошли в свой номер; художник, спохватившись, сказал, что ему надо идти за автомобилем, с утра покинутым возле ресторанчика.

Но едва Варя и Оля надели на ноги домашние туфли, как раздался стук в дверь и вошел он, беспокойный художник.

— Милые девушки! — сказал он.— Ведь кто-то из вас историк?

— Я,— ответила Оля.

— Отыскал вам такого человека, что всю жизнь будете мне благодарны. В нашем Новгороде ведутся археологические раскопки. Блестящие результаты! Вот мой хороший знакомый тут тоже занимается раскопками. Да вы, наверное, его знаете? — Он назвал фамилию известного Оле московского историка.

— Познакомьте! — закричала Оля.

— Мне необходимо было принципиальное желание,— сказал художник. — Если желание есть, то знакомство состоится вечером. Он сейчас отправился копать дальше. На днях они сделали феноменальные находки... Ну ладно, до вечера!..

Вечером художник повел Варю и Олю в соседний номер. Там их встретил старик лет семидесяти, довольно бодрый и румяный.

— Здравствуйте,— сказал он,— здравствуйте! Садитесь. Будем пить чай, закусывать. Мой друг хотел вас волочить в харчевню. Я не позволил... У меня есть пития и яства в достаточном количестве.

На столе появились различные консервы, историк извлекал их из книжного шкафа, заменявшего в номере платяной, появились запеченная баранья нога, масло, сахар и два лимона. В довершение всего уборщица внесла шумевший медный самовар. Давно-давно не пила Оля чай из самовара; с тех пор, как не стало мамы, не грели самовар.

Наливая чай в чашки и стаканы, историк говорил:

— Насколько я понял из сообщения моего друга, одна из вас, мои юные девы, работает над диссертацией; так сказать, будущий кандидат исторических наук, наша, так сказать, смена.

Варя, увидев, что историк упорно смотрит на нее и, наверно, ее считает своей сменой, поспешила указать на Олю:

— Это она.

— Какова же тема вашей работы? — спросил историк Олю.

Оля стала рассказывать, что темой она выбрала общественные отношения в Древней Руси, что она уже перечитала множество книг, что план диссертации еще не составлен, что еще надо сдавать предметы по кандидатскому минимуму — марксизм-ленинизм, английский язык...

— Понятно, понятно,— историк кивал головой.— Мне нравится уже то, что вы говорите: работаю над диссертацией. Это хорошо. А то ведь появился такой терминчик: писать диссертацию, пишу, писал, написал. Тонкая деталь! Диссертации, да, да, да, стали именно писать. Так сказать, списывать с книг, без самостоятельного глубокого исследования, исследуя лишь цитаты других авторов. Вот это безобразие, вот это позор! Нет, милые мои, вы сами покопайтесь в земле, поковыряйтесь в болотах, в курганах, в собственных руках подержите историю, а тогда «пишите». Вот так! К нам тащат этих писаных диссертаций горы. Была у нас однажды, называлась: «Архитектура горской сакли первой половины XIX столетия». Ну какая архитектура! Четыре стены и плоская крыша. А вот в кандидаты наук через эту крышу гражданин пробивается.

— А в одном институте, у нас в Ленинграде, как мне рассказывали,— вставил художник,— есть такой пастырь юного поколения, который стал кандидатом наук через труд «Исследования грунтов беговых спортивных дорожек». Клянусь, не вру!

— Верно, верно! — подхватил историк.— Чтó бы взять да тиснуть статеечку насчет этих грунтов в спортивный журнальчик, получить гонорар и тем быть вполне довольным, ан нет, хочу в кандидаты наук. Я вот вам расскажу историйку. Во время войны мне пришлось жить в одном приволжском селе. Баня там была такая, знаете, с каменкой, с полкóм, с веником. Понравились мне пар и веники. Бодрят. Нахлещешься веничком, выйдешь — орел орлом, все недуги долой. Размышлял, с чего бы такое магическое действие? Вот возвратился из этой сельской жизни после войны, поехал в командировку в Ленинград, зашел в Публичную библиотеку, у меня там знакомая в научном зале. Тары-бары, растабары, как жизнь, то, се. Повернулся разговор так, что я спросил, нет ли у них печатных источников по вопросам этих веников, которые мне так полюбились. «Посмотрим,— сказала моя знакомая. — Сформулируйте тему, составим вам библиографию». Что-то такое сформулировал, вроде влияния на организм механических раздражений березовыми ветками во время пáрения в народных банях. Постарался формулировать понаучнее. Ну и забыл об этом, конечно. Приезжаю в Ленинград, совсем уже недавно, минувшей зимой. Моя знакомая и говорит: «Что это вы, дорогой мой, скрылись? Вам полная библиография приготовлена». Какая такая библиография? С трудом вспомнил. И что вы думаете? По вопросу механического раздражения организма во время пáрения в народных банях оказалось больше тридцати источников! Среди них три диссертации! Где-то, понимаете ли, бродят научные кандидаты по веникам.

Все посмеялись над этой историей.

— К сожалению,— сказал художник,— вы во многом правы. Расплодилось немало очень слабых, но крепко дипломированных ученых. Мне рассказывали об одном, видимо, очень неглупом, человеке, не имеющем, правда, высшего образования, который после войны написал для других четыре диссертации, за известную, конечно, мзду. Это стало его основной профессией.

— Позвольте! — сказал, смеясь, историк.— Кандидатов в кандидаты с подобными липовыми сочинениями мы иной раз режем беспощадно. У нас был такой. Он уже и банкетик заказал в ресторане «Арагви». Потратился. С защиты надо было прямо за стол ехать. Казалось бы, чего тут влезать в тонкости, воспреем для виду, да и к закускам! Нет, отклонили притязания юноши средних лет. Затраты на шашлыки да на грузинское номер три не оправдались. У него, помню, тема была такая: «Из истории крестьянских волнений 1905-1906 годов в Тамбовской губернии». Дело в том, что знающие люди это сочинение сличили с сочинением другого диссертанта, на тему «Из истории крестьянских волнений 1905-1906 годов в Орловской губернии», и третьего — на тему «Из истории крестьянских волнений 1905—1906 годов в Саратовской губернии» и не нашли заметной разницы между ними, разве лишь названия губерний да названия помещичьих имений, сожженных крестьянами, были иные. Вот так. Говорю я вам это, юные мои деятельницы исторической науки, совсем не для того, чтобы вас запугать, а для того, чтобы вы поняли: работать надо, самим работать, долго работать, упорно, а перетасовка различных цитат, даже самая хитроумная, еще не сделает из вас ученых. Такой перетасовочный метод я называю рояльным. Он заключается в том, что стригут цитаты и затем раскладывают их на крышке рояля. Почему на крышке рояля? Потому что обычно это самая обширная плоскость в доме. Вот разло́жите и смо́трите, куда какую цитату поместить, в каком порядке. После этого остается только выдумать связки для цитат, а дальше отдаете в перепечатку, переплетаете в красный или зеленый дерматинчик... Получается у нас сейчас так, что присуждение ученой степени превратилось в некий экзамен. Его случайно может выдержать и плохой ученик. Нет, милые мои, надо, чтобы присуждением степени по логике событий венчалось свершение общепризнанного важного творческого акта в науке, в технике, в производстве. Вот так!

— Боюсь, как бы таким разговором мы не отбили у наших гостей охоту к науке,— сказал художник.

— Ничего, завтра мы им такое покажем, — сказал весело историк, — что потом их от науки клещами не оторвешь. Мы тут кое-что такое нашли, из чего может вырасти — и вырастет — новая, неведомая доселе наука.

5

Наутро после чаепития в номере у старого историка Варя, Оля и художник отправились со стариком к месту раскопок.

Варя уже в восемь часов позвонила в больницу, ей сказали, что отец ее чувствует себя вполне удовлетворительно, что в три часа дня она может приходить, ее пустят в палату, поэтому она шла вместе со всеми и чувствовала, как освобождается от страшной тревоги, которая мучила ее с того часа, когда пришла телеграмма.

По дороге историк говорил:

— Много существовало всякой болтовни о том, что русский народ был еще непроходимо сер в то время, когда на Западе культура находилась в полном цветении. Здешние раскопки бесповоротно опровергают эти измышления. Здесь удивительные возможности для археологов. Известно, что дерево и деревянные изделия отлично сохраняются в земле в двух случаях: когда в почве очень сухо и когда очень сыро, то есть когда они в воде, без доступа воздуха. В новгородских почвах очень сыро, тут дерево совершенно не гниет. В Новгороде под землей лежат неразрушенными целые деревянные замощения древних улиц, остатки площадей, домов, хозяйственных сооружений, колодцев, дренажная система, так называемые водоотливы, трубы для которых изготавливались из половинок древесных стволов. Сначала в них выдалбливались желоба, затем они складывались. Ну, в общем, многое вы увидите сейчас сами.

Все вчетвером подошли к раскопу, который охватывал довольно большую площадь и углубился в землю уже более чем на два человеческих роста. Работой тут было занято человек двадцать. Одни осторожно копали землю, другие извлекали из нее найденные предметы, фотографировали их, зарисовывали. Оле было очень интересно. Видя, что она больше других заинтересована работами на раскопе, историк обращался теперь исключительно к ней.

— Вот смотрите на эти плахи,— говорил он,— они положены одна на другую и подогнаны одна к другой. Это же мостовая! Новгородская деревянная мостовая. Мы тут насчитали двадцать пять настилов, они относятся к периоду с десятого по пятнадцатый век. Следовательно, простая арифметика показывает, что за пятьсот лет улица

настилалась заново не менее двадцати пяти раз; причем старый настил не снимался, а на него накладывался новый. Город был замощен сплошь. Нет ни одной улицы, на которой мы бы вели раскопки и чтобы на ней не было настилов.

Оля смотрела на эти древние, очищенные от земли мостовые, которые сохранились так, будто они были уложены не тысячу лет, а два года или от силы пять лет назад. Они были чистенькие, словно их только сейчас вымели метлой и поскребли скребочком. По Олиной спине вновь шел холодок от сознания того, что она стоит лицом к лицу перед древними временами, когда по этим мостовым катились колеса телег новгородских купцов или цокали копыта боевых дружин, когда по ним шли молодцы с голубыми глазами и курчавыми светлыми бородками и румяные молодицы несли ведра на коромыслах.

Историк водил Олю по раскопу. Варя с художником отстали, они сели на одну из древних плах и о чем-то оживленно беседовали. Оба они были новгородцами и, наверно, вспоминали детские годы. Оля вскоре позабыла о них, ее все больше захватывали рассказы историка.

— Милая моя, учтите,— говорил он,— мы полностью сокрушим теорию о том, что в древности грамотность у русских людей была исключительно достоянием верхушки, что только верхушка, мол, и жаждала образования. Вот, например, смотрите,— он подвел ее к навесу, под которым в земле обнажились венцы древнего сруба,— видите, на этом бревне древнерусское «А», вырубленное топором? Это, как вам известно, тогдашняя единица. Что же все это значит? Это значит, что сруб перевозили с места на место, и, чтобы не перепутать венцы, плотник — грамотный плотник! — пометил их цифрами. Несколько лет назад мы нашли женскую сапожную колодку, она была помечена именем заказчицы — «Мнези». Затем была найдена бочка с надписью на крышке «мнь», или «мень», что означает «налим». Значит, была и грамотная хозяйка, которая пометила бочку с налимами, чтобы не перепутать ее с другими бочками.

Историк достал из кармана бумажный пакетик. Оля ожидала, что там скрыто нечто крайне необыкновенное. Но в пакетике оказались зеленые, красные, синие, желтые и изрядно слипшиеся леденцы. Историк взял было один из них в рот, спохватился — предложил Оле. Оля из веж-

ливости тоже взяла. Они стояли так несколько минут посреди раскопа, вгрызающегося в тайну новгородского тысячелетия, и чмокали губами. Оля думала: какой он счастливый, этот седенький, бодрый, румяный человек. Он видит сквозь землю, сквозь каменные стены, сквозь время. Это зрение далось ему долгими годами труда, многолетним опытом. Ну что, в самом деле, она, копошащаяся в книгах, написанных вот такими людьми? Ведь он совершенно прав, она только надергает цитат для своей диссертации. Ей стало стыдно за ту диссертацию, которую она готовилась писать, именно писать. Она представила себе, как вынесет свою работу на суд таких вот умудренных опытом специалистов, а они, делая вид, что относятся к этой диссертации всерьез, поговорят каждый по нескольку минут, щегольнут терминами, чтобы было более наукообразно, потом меж собой посмеются: что, мол, поделаешь, жалко цыпленочка, желторотенькая такая, раскритикуешь — расплачется, ну пусть кандидатствует, не жалко.

— Ну, а теперь,— прервал ее горькие думы историк,— пойдемте к одному очень симпатичному товарищу и там увидим нечто. Вам известно, полагаю,— говорил он по дороге,— что основным материалом для древней письменности было... Ну что? Пергамент! Он изготовлялся из телячьей кожи. В четырнадцатом веке появилась бумага. Пергамент чем плох? Тем, что хотя в земле он сохраняется и хорошо, но ведь на нем можно писать только чернилами, а чернила во влажной почве наших городов сохраниться не могут. Следовательно, с пергаментом далеко не все в порядке. Однако есть свидетельство и того, что, кроме пергамента, для письма употреблялся еще один интересный материал.

Историк привел Олю в помещение, где работал реставратор. На столе перед реставратором лежало несколько берестяных трубочек, таких, какие получаются, если бересту содрать с дерева или с полена. Только если бересту драть с дерева или с полена — она светлая, свежая. А тут она была старая, потемневшая, потрескавшаяся.

Реставратор тщательно промыл одну из таких трубочек в горячей воде, от которой шел пар; при этом он пояснил Оле, что в воде растворена сода; потом бережно расправил свиток и плотно зажал между двумя толстыми стеклами.

— Итак, это девятая по счету! — сказал он, вставая.

— Так мало? — удивилась Оля. Она удивилась, потому что на раскопе видела целые вороха берестяных свитков. Она сказала об этом историку.

— Дорогой друг! — засмеялся он.— Верно, мы нашли их тысячи! Это были поплавки для рыбацких сетей. По внешнему виду они ничем не отличаются от древних писем. На сотни поплавков мы находим только один исписанный свиток. — Он кинул в рот зеленый леденчик, задумчиво посмаковал его. — Ну так, — заговорил он другим тоном, — пока грамота номер девять подсыхает, давайте посмотрим несколько предыдущих. — Историк взял со стола реставратора большие фотоснимки берестяных грамот, которые были найдены ранее сегодняшних. Оля увидела, что все они испещрены древними славянскими буквами, которые, как ей казалось, она знала вполне прилично. — Писалось это все, — говорил историк, — на наше великое счастье, отнюдь не чернилами, а вот такими стержнями.— Он показал острую костяную иглу.— Ну попробуйте прочесть,— предложил он Оле.— Это грамота номер три, по форме букв и по залеганию в слоях земли она относится к четырнадцатому веку. Кое-что тут оторвано, но прочесть можно. Читайте же!

Запинаясь, умолкая в растерянности, с непременной помощью историка, Оля принялась читать вслух:

— «Поклон от Грикши к Есифу. Прислав Онанья мол... Яз ему отвечал: не рекл ми Есиф варити перевары ни на кого. Он прислал к Федось: вари ты пив, седишь на безатьщине, не варишь жита».

— Учтите, это первое в истории науки древнерусское частное письмо. — Историк даже снял с головы серенькую кепочку. — Первое! Так о чем же тут речь? Видите: и прочесть трудно. Его читали коллективно. А перевести на современный язык еще труднее. Но у нас товарищи и это сделали. «Переварьι», например. По словарю древнерусского языка Срезневского получается, что перевара — это чан для варки меда и пива. О безатьщине в том же словаре сказано: «Безадьщина — безатщина — выморочное имение». Вот изволим это письмо понимать так: Онанья хочет, чтобы ему сварили пива, Грикша, как видим, отказывается, ссылаясь на то, что Есиф, мол, не велел ему это делать. Тогда Онанья, которому пивка всетаки хочется, послал «к Федось», пусть она, или он,— не сразу разберешься, какого пола Федось, —варит пиво, тем

более что Федось сидит в выморочном имении и, согласно феодальным правам, обязана, или обязан, работать на того, кто приобрел такое имение.

— Никогда бы ничего тут не поняла! — воскликнула Оля.

— Да, до этого смысла только коллективно и можно добраться. Но зато слышим настоящий, разговорный народный язык того времени. Вот закрою глаза, вижу и слышу: спорят Онанья с Грикшей. Онанья хочет выпить. Грикша тверд. Есиф ему запретил варить пиво для Онаньи. Возникает конфликт. Может быть, они смертельно поссорятся впоследствии. Да, вижу их, слышу их, наших щуров и пращуров. Общаюсь с ними. Великая сила — грамотность. Да здравствует она, и да здравствуют те великие выдумщики, которые придумали такой долговечный способ письма! А вы можете себе представить, что будет, если мы на подобных свитках найдем еще древние повести, стихи, научные трактаты? Если мы найдем мемуары, записки бывалых людей, письменные раздумья мыслителей тех времен?..

Они возвращались к раскопу взволнованные. Оля так была захвачена новгородскими открытиями, что совсем позабыла о своей подруге. Она вспомнила о Варе, только увидев ее возле раскопа,— взглянула на часы: третий час, уже надо идти с Варей в больницу, Варя уже, наверно, сердится.

Варя еще не сердилась, но уже посматривала на часы и не так увлеченно беседовала с художником.

Обе они извинились перед историком и художником и пошли в больницу. Там им выдали белые халаты, впустили в длинный коридор и сказали, чтобы они искали палату номер четыре. Волнуясь, вошла в нее Варя. Ее волнение передалось и Оле. В палате было шесть кроватей. Но Варя сразу кинулась к той, что крайней стояла возле большого окна. Оля никогда не думала, что Варин отец такой старик, она предполагала, что он немногим старше ее отца, Павла Петровича. А тот, кого так горячо обнимала Варя, был морщинистый и бородатый, будто с иконы. Оля поздоровалась с ним, и он сказал:

— Вот спасибо, что приехали. Хорошо, что приехали. Доброе привезли. Толкуют, через две недели встану.

Оля посидела минут пятнадцать и, понимая, что у отца с дочерью могут быть разговоры, которые при ней им вести неудобно, попрощалась с Вариным отцом, пожелала

ему здоровья и сказала, что ей надо идти, что ее ждут. Варя не стала уличать ее во лжи.

Выйдя на улицу, Оля присела на скамейку. Здесь сидело еще несколько женщин. Все они ожидали очереди на впуск к больным родственникам, все говорили о болезнях, о врачах, о лекарствах, о всяческих домашних средствах лечения. Всем хотелось здоровья и долгой жизни. Оля слушала эти разговоры и вспоминала свою мать, которая тоже хотела здоровья и долгой жизни. Олины мысли мешались, рядом с ее мамой возникали Грикша, Есиф, Онанья и Федось, которые когда-то умерли земной смертью и вдруг шесть веков спустя ожили для своих потомков, вместе со всеми распрями, переварами и медами. Какое чудо способны сотворить простая береста и костяная палочка!

После больницы Оля и Варя зашли в знакомый им ресторанчик возле Летнего сада, и, когда вернулись в гостиницу, было около семи. Услышав, видимо, их возню в комнате, к ним тотчас постучался художник.

— Девушки! — воскликнул он. — Где же вы пропадаете? Немедленно к профессору! Там идет мощный научный спор. Будете потрясены. Скорее, скорее!

Оля и Варя вошли в номер историка, где было полно народу. Из рук в руки переходили стекла, меж которыми была зажата — Оля ее узнала — та самая грамота номер девять, которую при ней в этот день обрабатывал реставратор. Олю и Варю никто не заметил, только старый историк кивнул им: садитесь, мол, где найдете место. Никакого места они не увидели, остались стоять.

— Итак,— говорил толстый человек лет пятидесяти с обритой загорелой головой, — читаем... — он держал грамоту в руках, — читаем: «От Гостяты к Васильви. Еже ми отьць даял и роди сдаяли, а то за нимь. А ныне, водя новую жену, а мне не вдасть ничьтоже. Изби, в рукы пустил же мя. А иную поял. Доеди, добре створя».

— Но ведь уже прочли десять раз,— сказал молодой человек в очках.

— Еще прочтем сто десять, — возразил бритый. — Только тверже уяснится смысл от повторного чтения. Итак, попробуем разобраться. Что это за имя — Гостята? Женское или мужское? Нет сомнения — мужское. Оно родственно новгородским именам Гостилец и Гостомысл. С окончанием «ята» они встречаются в летописях одиннадцатого и двенадцатого веков. Слова «еже ми отьць даял» не вызывают сомнения: «что мне отец дал». Слова

«и роди сдаяли» тоже ясны: «и родные дали». «Водя новую жену...» Водить вокруг аналоя, вероятно. Не совсем понятны слова «в рукы пустил».

— Чего же тут не понять? — возразил молодой человек в очках.— Просто вы не так ставите знаки препинания.

— Обождите,— взмахнул рукой бритоголовый ученый,— дайте закончить! Вы получите слово в свое время. Разбираю дальше. Глагол «поять» означает: «брать в жены». Это есть в летописях одиннадцатого — двенадцатого веков. А наша грамота по форме букв и залеганию в слоях почвы как раз и относится к одиннадцатому веку. Итак, прочтем смысл письма полностью. Гостята жалуется на своего отца, женившегося на двух новых женах и отнявшего по этому случаю у него имущество. Сын обращается к некоему Василию — может быть, это его друг, может быть, дядя,— просит приехать, разобраться в трудном деле и тем сотворить добро.

— Че-пу-ха! — раздельно проговорил молодой человек в очках.— Совершеннейшая чепуха! Получается, так сказать, априорное отражение извечной борьбы между старым и новым, между папашей — носителем традиций большой семьи с патриархальным укладом и сынком — активным носителем новых норм городской жизни. Простейший путь для истолкования письма. Попробуем внимательнее вчитаться в текст.

— Так мы же его десять раз читали! — воскликнул бритый.

— Ничего, еще раз прочтем. Прежде всего, я отвергаю всякий разговор о женитьбе сразу на двух женах. Если грамота относится к концу одиннадцатого века, как тут установлено, то ко времени ее написания уже прошло сто лет от официального принятия христианства на Руси. А известно, что христианская церковь утверждала и защищала единобрачие. Это во-первых. А во-вторых, просто обратимся к письму: все, что отец мне дал и родные дали, все осталось за ним, у него. Вот как надо читать первую фразу. У кого же? Изучим имя — Гостята. Это имя не мужское, а женское. Точнее — это даже и не имя, а прозвище. Вся беда в том, что никакими письменностями древнее одиннадцатого века мы не располагаем совсем, если не считать отдельных слов, написания которых найдены в смоленских и последних здешних раскопках. Да и от одиннадцатого — двенадцатого веков осталось нич-

тожно мало. Не удивительно, конечно, что летописи и другие немногочисленные памятники почти не донесли до нас имен и прозвищ, принадлежавших женщинам тех времен. Случаи упоминания имен княгинь Ольги, Рогнеды, Переславы — единичны. Княгинь! А имен женщин других слоев общества и совсем нет, мы их не знаем: и я беру на себя смелость утверждать, что наша Гостята — это женщина и жалуется она на своего мужа, который действительно, взяв новую жену, оставил у себя все, что дали Гостяте в приданое ее отец и ее родные. Вот так! Но муж не оставил при себе Гостяту в качестве второй жены. Отнюдь нет. «Изби, в рукы пустил же мя» не так надо читать. Вспомним старинные народные выражения: «ударить по рукам», «рукобитье», которые означают заключение сделки, в данном случае — свадебного сговора. При сговоре били по рукам. А тут «избив руки, пустил же мя, а иную поял». Следовательно, избив руки — нарушил рукобитье, с Гостятой развелся, «пустил» ее, «иную поял» — женился на другой. Ну, а дальше согласен. «Доеди, добре створя». Приезжай, значит, помоги, что ж я тут, выгнанная из дому, без всяких средств к существованию.

— Мне это толкование кажется более верным, чем первое,— сказал старый историк.— Но вот что, друзья, интересно. Гостята ни слова не говорит о том, что ее муж поступил как-то неправильно, разведясь с нею и взяв новую жену. Виновата, значит, в чем-то. Признаёт свою вину. Ведь, насколько я помню, в уставе Ярослава имеется статья четвертая, излагающая законные причины развода. В ней есть семь установленных причин, и все они говорят лишь о вине жены. В двух случаях это ее супружеская измена, в трех — попытки жены, или с ее помощью, привести в исполнение злые умыслы против мужа. «Аще подумает жена на мужа зельем», «велит мужа своего красти» и «иметь кто мыслити на мужа ея, она ведает, а не скажет». И в последних двух случаях — хождение жены «опричь мужа своего» на игрища и на пир. Что же сотворила наша бедная Гостята девятьсот лет назад?

— Думаю, — сказал художник, — что надоел, опостылел ей ее бородатый толстосум, сходила она «опричь мужа своего» с заезжим красавцем Василием на пир да на игрища...

Он не закончил, все засмеялись. Не улыбнулись только Варя и Оля. Им было очень жалко Гостяту. Оля была убеждена, что художник прав, что Гостяте нравился

Василий, похожий, как себе представляла Оля, на былинного молодца, что Гостята, как только муж-купец уезжал из дому по своим торговым делам, тотчас убегала к красавцу Василию. А потом и Василий уехал... Муж догадался... Ах, кабы знать, откликнулся ли на эту весточку Василий, приехал ли он за Гостятой? И кто обронил берестяную весточку на новгородскую мостовую? Он ли, Василий, прискакав в Новгород за своей Гостятой, или сама Гостята, пешком уходя по деревянным мостовым от выгнавшего ее мужа.

— В свое время, когда были найдены папирусы древнего Египта,— сказал историк,— было положено начало новой науке — папирологии. Такими источниками, какими для истории эллинистического и римского Египта являются папирусы, для нашей русской истории станут берестяные грамоты. Друзья мои, мы присутствуем при рождении новой науки, стоим возле самой ее колыбели!

Слушая старого историка, Оля мысленно дала слово посвятить себя этой новой науке. Она во что бы то ни стало извлечет из глубины веков и грешницу Гостяту, которая очень любила жизнь, и пивоварку Федосью, и всех своих прапрабабок, у которых была тяжкая доля, которые, наверно, тоже очень любили жизнь, тоже хотели здоровья и долгой жизни, но от которых — как это несправедливо! — не осталось даже имен.

Оля найдет эти имена во мраке веков, непременно найдет!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Перед Павлом Петровичем сидел его бывший заместитель по заводу Константин Константинович Ухваткин, тот маленький рыжеватый старичок с веснушками на лице и шее, с которым Павел Петрович проработал много лет, с которым работалось не так-то легко из-за упрямства и сварливости старичка и с которым все же была связана одна из лучших полос жизни Павла Петровича.

Константин Константинович утер лицо красным носовым платком, поправил на носу старомодные очки

и кашлянул. Павел Петрович знал, что он сейчас же заговорит о том деле, ради которого пришел. Сердитый старик совершенно не умел вести «светский» разговор, который у многих непременно предшествует разговору о деле. Он ничего не сказал о погоде, не спросил Павла Петровича о здоровье, не принялся комментировать международные события, о которых слышал по радио.

— Вот ты еще зимой, Петрович, высказал одну идею,— начал он без обиняков.— Потом ты, наверно, про нее и сам позабыл. А предлагал ты интересное дело — остроумный способ связывания водорода со шлаками. Помнишь?

— Почему же не помнить? Помню,— ответил Павел Петрович.— Но ведь никто со мной не согласился. Консультанты сказали, что это невыполнимо.

— А получилось так, что вроде бы... ну посмотри сам. — Константин Константинович вынул из папочки, которую он принес с собой, лист миллиметровки с вычерченным на нем графиком. Красная линия ползла медленно вниз.— Видишь,— повел он по ней пальцем,— содержание водорода падает, падает, падает... Сорок опытных плавок. И все вели к снижению водорода. Только вот тут одна что-то стрельнула кверху. Может быть, старая шихта была или что. Вот тебе еще фотографии шлифов. Полюбуйся, какая плотная, однородная структура. Могу принести пробы на излом, на скручивание, на разрыв. Отличные результаты. Что же ты молчишь, не веришь, что ли?

— Просто сижу и думаю. Молодцы вы! Ведь это же крупный удар по одному из главных бичей производства высоколегированных сталей. Ведь так, чего доброго, можно и совсем ликвидировать эти «белые пятна», флокены. Радуюсь за вас, старина! С кем работали-то?

— Технолог цеха, ты его знаешь, это, значит, раз.— Константин Константинович принялся загибать пальцы на левой руке.— Из плавильных мастеров двое — с первого участка и с третьего... Сталевары Анохина...

— Подходящий народ.

— И вот пришел к тебе, Павел Петрович... только ты, пожалуйста, не говори мне про перегрузку, про то, что занят, и всякое такое. Стоим на пороге большого открытия. Подошли к самому порогу и стоим. Не хватает нам твоей головы. Может, загнешь, ошибешься — леший с тобой! Приди, дорогой мой, к нам, расшевели. А то мы уж маленько отупели, в своем-то соку перевариваясь.

Павел Петрович засмеялся:

— Своих ошибок вам мало! Еще и моих захотелось.

— Да, да, да! — сказал Константин Константинович.— Взлеты нужны, фантазии. Я бы на месте нашего правительства за выдающиеся взлеты поощрял, даже если из этих взлетов ничего не получилось. Ты пойми мою мысль правильно, Петрович. Допустим, такой человек фантазерского ума ошибся, если на деньги переводить, убыток принес. Зато другие начнут разбираться в его фантазиях, увидят, в чем корень ошибки, расшевелят собственное воображение, наткнутся на новую, еще, может быть, более замечательную идею. Настоящего творчества без ошибок быть не может. Без ошибок только работяги-исполнители работают, которые от сих и до сих. Они, конечно, убытка не приносят, но и прибыль от них скучная. Не главное ли для нашего государства, Павел Петрович, та прибыль, когда вырастают смелые люди с размахом? Рубли рублями, ими пренебрегать нельзя, но разве только за рубли живем?

Он держал такую длинную и горячую речь, что Павел Петрович в конце концов согласился приехать на завод.

— Вот и спасибо! — сказал обрадованно Константин Константинович.— Тогда, понимаешь, мы сможем все это дело с мартена перенести на новую электропечь. В сентябре — в октябре пускаем новую. Сейчас монтаж идет. Специально для нашей группы подучим бригадира из молодых — есть способный народ — и поработаем!

После ухода старика Павел Петрович долго раздумывал о том, что заводские сталевары, пожалуй, и в самом деле стоят на пороге крупного открытия. Припомнилось, как минувшей зимой на третьем мартене из-за флокенов пошли в брак сорок тонн металла. Чего только не делается для того, чтобы освободиться от этих флокенов, от водорода! Когда-то невообразимо трудной была борьба с фосфором и серой. Сейчас в лучших сталях содержание серы и фосфора доведено до тридцати — тридцати пяти тысячных процента. Ничтожное количество, практически никак не влияющее на качество стали. Успешно борются сталевары против неметаллических включений, против многих иных пороков. А водород остается грозным бичом. Он исчезает только при условии плавки в вакууме, в безвоздушном пространстве. Но для массового сталеварения такие условия создать очень трудно. Неужели то,

что почти год назад мимоходом высказал Павел Петрович на совещании в сталелитейном цехе, неужели это возможно? Он фантазировал тогда о таких веществах, которые бы прочно связывали водород, проникающий в сталь, и по ходу плавки выносили бы его в связанном виде в шлак.

Павел Петрович рассматривал материалы, оставленные ему Константином Константиновичем: график, фотографии шлифов, перечень веществ, связывающих водород, состав шихты, шлака, описание режима плавки. Неужели водород будет побежден? Как это важно для промышленности! Роторные валы гигантских гидротурбин для мощных электростанций — их же нельзя пустить в работу с предательскими флокенами внутри. Нельзя допускать флокены ни в одну машину, ни в один агрегат с большими скоростями или с высоким давлением.

Конечно, Павел Петрович поедет на днях на завод. Но хорошо бы перед этим проконсультироваться у Серафимы Антоновны. Она работала над разливкой стали в вакууме, без доступа воздуха.

Он пошел к Серафиме Антоновне. Серафима Антоновна сидела за столом в своей рабочей комнате и что-то писала. Она была в очках. Павел Петрович никогда не видел ее в очках и даже не подозревал, что она ими пользуется. Очки придавали ей непривычный, странный, злой вид. Когда Павел Петрович вошел, она быстро сняла их, сунула в ящик стола и поднялась.

Положение было довольно затруднительное. Серафима Антоновна продолжала стоять, вынужден был стоять и Павел Петрович. Так, стоя, он и изложил суть дела, по которому пришел.

— Интересное дело,— сказал он.— Очень интересное. Было бы великолепно, если бы и вы приняли в нем участие.

— Спасибо, — ответила Серафима Антоновна, поразмыслив.— Очень вам благодарна, Павел Петрович, за то, что вы обо мне вспомнили. Но я вынуждена отказаться.— Она говорила сухо, коротко.— Отказаться я вынуждена потому, что стóит мне принять участие в работе заводских товарищей, как тотчас пойдут разговоры о том, что я, дескать, присваиваю чужой труд. Я злопамятная, я вам уже однажды говорила. Сожалею, Павел Петрович, но обходитесь, пожалуйста, без меня. Нет, нет, не упрашивайте, это ни к чему.

Павел Петрович понял, что и в самом деле упрашивать Серафиму Антоновну бесполезно. Он ушел огорченный. Наверно, он расстроился бы еще больше, но утром из путешествия в Новгород возвратились Оля с Варей,— значит, вечером он не будет одинок. Чуть свет встретил их Павел Петрович на аэродроме. Было много разговоров, рассказов. Оля заявила, что теперь она уже навсегда связана с каким-то историком и археологом, с которым познакомилась и подружилась в Новгороде, что теперь она будет ездить с ним каждое лето в экспедиции, что посвятит себя изучению берестяных новгородских грамот, что ее диссертация об общественных отношениях в Древней Руси ей всегда не нравилась, а теперь и вовсе не нравится. Она уходит из аспирантуры, будет преподавать историю в средней школе. А если изучение берестяных грамот даст ей когда-нибудь надлежащий материал, то на свет божий появится и диссертация. Но та диссертация будет результатом самостоятельных исследований, самостоятельной работы, а не списывания из чужих книг.

Выслушав ее горячую речь, Павел Петрович сказал ей, чтобы она не спешила, чтобы хорошенько подумала, прежде чем подавать заявление об уходе из аспирантуры; спешка в таких делах вредна. Оля посмотрела на него с укором и ответила, что ей очень странно слышать это от него, который полтора года назад говорил Варе Стрельцовой совсем другое. «Ты Варе что говорил? Ты говорил, что диссертация должна появиться на свет лишь в том случае, когда ей уж нет сил не появиться. Что она должна рождаться под напором новых фактов, новых мыслей и непременно должна сказать новое слово в науке. «Будут у вас, Варенька, факты, будут мысли, будет и диссертация». Разве ты так ей не говорил? Говорил! А когда поступала в аспирантуру я, ты о своих взглядах на это дело умолчал, уступил маме, которая меня благословила, как она сказала, на путь служения науке. Почему ты молчал, папа? Я знаю почему. Милая дочка, рассуждал ты, рано ей бросаться в самостоятельную жизнь, пусть она еще побудет в школьницах, а там видно будет. Разве не так?» — «Нет, не так, — ответил Павел Петрович.— Я думал, что ты увлечена историей и что мешать твоему увлечению не стоит. Это хорошо, когда человек избирает себе профессию по влечению сердца, а не по

материальному расчету».— «Ты ушел от ответа, папа. Сознайся, что заботы обо мне ты полностью предоставил маме. И если, мол, мама благословляет дочечку на путь науки, то пусть так и будет. Все равно никакого научного деятеля из дочечки не получится, все равно она выйдет замуж. Ну вот пусть мама ее и опекает до этого самого замужества». Павел Петрович смущенно поскреб затылок, поразглаживал шрамик над ухом. Ведь то, что говорила Оля, в общих чертах соответствовало истине. «Ладно, ладно, — ответил он, посмеиваясь. — Критиковать меня, пожалуйста, можно. Но думать все-таки тоже нужно. Я так легко высказывал свои соображения Варе потому, что она сама не очень стремилась в аспирантуру. Ей хотелось поскорее на производство. А ты стремилась. А теперь тем более надо думать: ты уже целый год прозанималась, на тебя истрачено множество государственных средств».— «Ах, папа, зачем ты это говоришь! Разве можно, чтобы судьба человека зависела от нескольких тысяч затраченных на него рублей».

Словом, Оля заявила, что пойдет в гороно и будет просить, чтобы ее послали преподавать историю в средней школе. При ее маленьком росте, при девчоночьих манерах она ведь была уже взрослой, и уже не все, что говорил отец, было для нее законом. Она имела свое мнение, свои стремления, и у нее складывались свои взгляды на жизнь. И нечему тут удивляться — родители ее начинали трудовой путь отнюдь не с науки, а с производства, с практики. Не только сын рабочего Павел Петрович Колосов,— Елена Сергеевна, дочь ученого-естествоиспытателя, и та, окончив среднюю школу, когда страна становилась на путь индустриализации, не стала подавать ни в какие институты, не вняла ни слезам своей матери, ни угрозам отца, что, дескать, пасти овец будешь или в прачках закончишь жизнь. Нет, она пошла на биржу труда, стояла там три недели в очереди, потому что в ту пору еще была безработица, и с великим трудом получила наряд в чернорабочие на завод, где работал слесарем Павел Петрович. Чернорабочей ей, правда, пришлось быть недолго. Узнав, что у нее среднее образование, ее поставили отметчицей... Лишь после трех лет работы на заводе Олина мать пошла в институт.

Все знают, всем известно, что подавляющее большинство людей того поколения, к которому принадлежали они, родители Оли, шли на командные посты в промыш-

лепность, в науку, на руководство партийными и советскими учреждениями, на руководство страной — через заводские цехи, через колхозные поля, затем через рабфаки, комвузы и лишь в зрелом возрасте преодолевали пороги институтов и академий. Не мамы с папами привели их к этому, а сама жизнь, и свое высшее образование они начинали с изучения жизни, живой действительности, различных сторон человеческого общества.

Когда Павел Петрович возвратился к себе в кабинет от Серафимы Антоновны, Вера Михайловна сказала, чтобы он взял трубку, ему звонят из горкома.

— Товарищ Савватеев просит вас немедленно приехать к нему,— сказал в трубке строгий женский голос.— Пропуск будет спущен.

Когда Павел Петрович вошел в кабинет к секретарю горкома Савватееву, там сидел Мелентьев.

— Присаживайся, товарищ Колосов,— сказал Савватеев и через стол протянул руку Павлу Петровичу.— Вот ведь дело какое,— заговорил он после того, как Павел Петрович опустился в холодное кожаное кресло напротив Мелентьева.— Нехорошее дело-то, а? Не к лицу старым коммунистам заниматься бытовым разложением.

Павел Петрович почувствовал, что краснеет. Он краснел от предчувствия чего-то отвратительного и постыдного, недаром тут оказался этот Мелентьев, с которым, не умея скрывать свою антипатию, Павел Петрович старался встречаться как можно реже. Он краснел и страшился своего состояния, думая, что эти два человека истолкуют его так, как им заблагорассудится.

— Что это все значит? — спросил он.

— Так ведь об этом весь твой институт говорит,— сказал Савватеев.

— О чем? — почти крикнул Павел Петрович.

— Не прикидывайся мальчиком, товарищ Колосов,— еще более, чем всегда, зловеще сказал Мелентьев.

— В чем дело? — Павел Петрович возмутился.— Почему со мной разговаривают, как с преступником?

— Преступник ты, может быть, еще не преступник. Против закона тут не так уж у тебя много,— заговорил Савватеев.— А против партийной этики — немалые проступки. Вон товарищ Мелентьев говорит, что ты от партийной организации, от общественности оторвался. Он хотел было все это сказать тебе лично, да секретарь

партийной организации в кабинет к директору неделями не может проникнуть.

— Он лжет, ваш товарищ Мелентьев! — твердо сказал Павел Петрович, полагая, что затем его сюда и пригласили, чтобы обвинить в отрыве от партийной организации.— Он может прийти ко мне в кабинет в любую минуту! Его ни разу никто не задерживал перед моими дверями. Он сам перестал ходить, видя — я этого не намерен скрывать,— что я не очень люблю такие формы отношений с людьми, какие он культивирует в институте: нашим и вашим, лавирование между трудностями, а не преодоление их.

— Вот, вот,— сказал Савватеев,— и получается, что секретарь партийного бюро может встретиться с директором только в кабинете секретаря горкома. Но это еще не главное. Главное, из-за чего я пригласил тебя, товарищ Колосов, это то, что своим поведением ты разлагаешь коллектив института. Или ты эту интрижку брось, или оформи ее законно, или мы будем принимать меры.

— Ничего не понимаю...— Павел Петрович был ошеломлен.

— Весь институт говорит о том, что некая Стрельцова — твоя любовница, что ты самолично перевел ее с завода в институт, поближе к себе, и устроил на такое место, которое полагается кандидату наук...

Павел Петрович ощутил холод в сердце, его будто ударили поленом по голове, он едва слышал, что дальше говорил Савватеев, он почти не слышал этих слов: «По-семейному, прямо на квартире, даешь ей отпуск, возишь ее кататься на институтской машине. Хоть бы дочки-то постеснялся. Подумал бы, какое на нее, на комсомолку, это произведет впечатление!»

— Кто этот подлец? Кто это все наговорил? — едва сдерживая себя, сказал Павел Петрович.— Мерзавец он, скотина, сволочь! — Ударив изо всей силы рукой о столик, который отделял его от Мелентьева, он закричал: — Почему вы мне об этом раньше не сказали, партийный вождь института? Почему вы позволили сплетне разойтись по всему институту? Вы интриган, нечестный человек!

Все трое поднялись на ноги.

— Вы позволяете меня оскорблять? — обратился к Савватееву побелевший, как мертвец, Мелентьев.

Савватеев говорил какие-то неопределенные слова. Ярость, гнев, возмущение Павла Петровича его обезоружили. Он растерялся.

— Я подам официальное заявление в горком и обком! — продолжал Мелентьев.

— Подавайте, буду рад,— сказал Павел Петрович.— Пусть все это услышат члены бюро обкома. Пусть они увидят, до каких низов может упасть человек! Это я о вас говорю. А вы, товарищ Савватеев, знайте: все, что тут было сказано о Стрельцовой,— мерзкая, грязная ложь, клевета, гадость!

— Напиши тогда объяснение,— сказал Савватеев, приходя понемногу в себя.

— Никаких объяснений писать не буду! — ответил Павел Петрович.— До тех пор, пока передо мной не предстанет негодяй, состряпавший эту пакость!

Он вышел на улицу потрясенный. Как хорошо, подумал он, что этого никогда не узнает Елена. В жизни своей он еще не испытывал такого позора. Еще никогда не был он так опоганен, облит нечистотами, испакощен. А он-то ничего не знал, он-то как ни в чем не бывало ходил в институт, разговаривал с людьми, проводил ученые советы, распоряжался. Может быть, уже давным-давно люди оглядываются ему вслед, показывают на него пальцами, судачат за углами, усмехаются... Стыд, стыд, стыд! И возразить нечего. Да, он согласился с тем, чтобы Варю по чьей-то просьбе взяли в институт, да, она живет почему-то у него в квартире, да, он подвозил ее несколько раз до дому в машине, да, он дома, «на квартире», подписал ее заявление о поездке к тяжело больному отцу в Новгород. Факты против него.

Потом он подумал, что в конце-то концов не о себе ему надо хлопотать. Варе — вот кому могут искалечить жизнь этой чудовищной сплетней. К ней навсегда может прилипнуть страшная слава директорской любовницы. Надо что-то предпринимать, и немедленно.

Павел Петрович сказал шоферу, ожидавшему его возле подъезда горкома, чтобы тот ехал один, а он пройдется пешком. В институт он решил сегодня уже не возвращаться.

Варя Стрельцова, пока он сидел на скамейке какого-то бульварчика, работала в лаборатории. Это был ее первый рабочий день после возвращения из Новгорода. Все в лаборатории встретили Варю радушно, расспрашивали

о поездке, об отце. Особенно обрадовалась возвращению Вари Людмила Васильевна. Зашел Румянцев, побалагурил. Пригласил к себе Антон Антонович, сказал, что получили новые интересные приборы и материалы, которые помогут Варе в ее работе над изотопами. А час назад зашел озабоченный Бакланов и просил срочно определить структуру металла вчерашней плавки. Это очень ответственная плавка. Варя рассматривала под микроскопом только что изготовленный шлиф стали новой марки. Она видела рыхло расположенные зерна металла, меж которыми было множество неметаллических включений. Ей было неприятно оттого, что она должна будет дать заключение о плохом качестве стали, полученной в группе, которой руководит такой хороший, милый человек, как Алексей Андреевич Бакланов. Варя положила под микроскоп следующий шлиф, этот был лучше, и она порадовалась за Бакланова. Бакланов был сам по себе очень приятен Варе, но ее симпатии к нему, наверно, еще усиливались потому, что Алексей Андреевич всегда очень хорошо говорил о Павле Петровиче, он искренне уважал Павла Петровича. Это Варя прекрасно видела и чувствовала.

Варя вспомнила разговор с отцом в больничной палате накануне отъезда из Новгорода. Отец уже был полностью вне опасности, о чем даже осторожные врачи не стеснялись говорить. Он спросил ее, не собирается ли она замуж, ведь годочков ей в самый раз, даже с перебором. Она откровенно ответила, что о замужестве не думала, но что очень любит одного человека. «Вот и выходи за него, раз любишь», — посоветовал отец. Варя сказала, что это совершенно невозможно, потому что, во-первых, он значительно старше ее, следовательно, ему с ней будет неинтересно, а во-вторых, — и это самое главное, — он-то не только ее не любит, даже и не знает о ее чувствах к нему.

Отец задумался, потом сказал: «Что старше, донюшка ты моя, это не беда вовсе. Я на твоей матери женился, было разницы двадцать один год, она вторая у меня была, а жили мы меж собой... так и равные не каждые живут. Ну, а что он не любит, это ты спешишь, спешишь определять. Сама же сказала: не знает. А вот узнает и полюбит. Как такую кралечку не полюбить! Вот обожди, поправлюсь, приеду, мы ему, голубчику, все и объясним, мы его возьмем за рога».

Варя засмеялась, так это было забавно представить подобный разговор отца с Павлом Петровичем. «Что ты, папа! — сказала она.— Смешно думать!» — «Вам, молодым, все смешно. А мы этот вопрос знаем в тонкости,— сказал отец тоном великого знатока сердечных дел.— А парень-то, как он из себя, ничего? — «Ну тебя, папа! — сказала Варя, смущаясь.— Ты уж как примешься за расспросы...»

Она вспоминала этот разговор и улыбалась оттого, что отец называл Павла Петровича то парнем, то голубчиком или молодцом и один раз назвал даже хватом. И еще она улыбалась, вспоминая, как Павел Петрович утром встречал их с Олей на аэродроме, как обнял сначала Олю, а потом Варю, и как Варя замерла в этих нежданных объятиях, и ощущает их весь этот день, и даже боится делать резкие движения, чтобы они не распались, не исчезли. Но она зря боится: стоит ей подумать о Павле Петровиче — ощущение его объятий немедленно возвращается.

Варю позвали к телефону, она подошла и вдруг услышала в трубке голос Павла Петровича.

— Варя,— говорил он так, что Варя подумала, не заболел ли он,— через полчаса вы кончаете работу. Очень прошу вас прийти... Ну куда? Не знаю... Ну где у нас в городе обычно встречаются?.. В сквер к собору Николы Морского, что ли, там, по крайней мере, народу мало. Слышите?

— Слышу, — ответила растерявшаяся Варя. — Хорошо, я приду, Павел Петрович. Сразу же после шести приду. Я бегом...

Павел Петрович повесил трубку, Варя подержала свою в руках еще с полминуты. Ей сделалось и радостно и страшно. Страшно оттого, что Павел Петрович говорил чужим, необычным голосом, и, конечно, он звал ее куда-то совсем не для того, чтобы прогуляться или просто провести время, поразговаривать. Нет, что-то случилось, что-то случилось, что-то случилось...

Повторяя «что-то случилось», Варя мчалась к автобусу, ехала на тряском сиденье над самым колесом и, спотыкаясь о булыжник мостовой, бежала к ограде церкви Николы Морского.

Павел Петрович стоял к ней спиной, подняв голову, и рассматривал изображение какого-то святого на белой стене церкви, в углублении под самой крышей. Он услышал

ее торопливые шаги по скрипучей гравийной дорожке и обернулся.

— Здравствуйте, Варя,— сказал он так, будто бы они очень давно не виделись, и Варя окончательно поняла, что у него что-то случилось.— Вот ведь штука...— Павел Петрович огляделся по сторонам. За оградой сновали люди, грохотали грузовики. В ограде, вокруг них, остановившихся на дорожке, с визгом носились детишки.— Давно тут не был,— продолжал он,— думал, тихо. Оказывается — детский садик. Куда бы нам уйти? Что, если на Островки? У вас есть время?

Зачем он об этом спрашивал? Конечно, у Вари было свободное время. Много свободного времени.

Они доехали до Островков на такси, перешли по деревянным мосткам на Каменный, поросший пихтами, остров и медленно побрели вдоль берега. Варя ждала, что Павел Петрович вот-вот заговорит о том тревожном и неприятном, для разговора о чем он ее сюда и привел. Но он говорил о том, как в молодости гулял на Островках с Федей Макаровым, как они играли тут в индейцев и в пиратов. Вот там, возле берега и на самом берегу, где теперь песочек и кустики, в ту пору было кладбище речных пароходов, барж, катеров. Среди этого хлама и расцветали их с Федей фантазии.

Со стороны могло показаться, что ему очень весело, но Варя видела, что это совсем не так, она все ждала от него каких-то иных слов. И даже осуждала Павла Петровича за то, что он не говорит о главном, зачем-то откладывает это и зря тянет время.

Да, Павел Петрович тянул время. Он хотел сказать, что если Варя услышит в институте что-нибудь такое... этакое... словом, не соответствующее действительности, то пусть она не вздумает считать это катастрофой своей жизни, пусть держится мужественно,— правда непременно восторжествует, клеветники будут разбиты, раздавлены, уничтожены. Но у него не поворачивался язык сказать это. Он говорил что угодно, только не это. А когда они дошли до известной Павлу Петровичу скамейки с надписью «Оля+Шурик=?» и сели на нее под кленами, листья которых начинали принимать желтый оттенок, он спросил:

— Варенька, вы верите мне?

Варя не могла понять, как это случилось, ведь она же давала себе страшные клятвы, что он об этом нико-

гда не узнает, — она вдруг, глядя прямо в его глаза, сказала:

— Я вас люблю.

До Павла Петровича не сразу дошел смысл этих слов. Это были древние и всегда молодые, только что рожденные и всегда единственные слова, от них зависит счастье человека, они способны изменить его жизнь на долгие десятилетия, они вечны. Когда-нибудь погаснет солнце, а они не погаснут никогда.

Павел Петрович шевельнул было губами, но ничего не сказал. Варя продолжала смотреть ему в глаза. С такой отвагой осужденные на смерть за правду, убежденные в святости своей правды, ждут последнего удара. Им уже ничто не страшно, они не здесь, они уже там, в ином мире.

— Варенька,— произнес наконец Павел Петрович,— что вы такое говорите?

— Я говорю, что люблю вас, Павел Петрович,—уже совсем просто повторила Варя.— Я давно вас люблю, очень люблю. Вы можете мне ничего не говорить, мне никаких слов не надо. И пожалуйста, извините, что я вам это говорю.

Что мог ответить Павел Петрович? Говорить, что если он дал ей какой-то повод к таким чувствам, пусть она его простит, он, мол, не хотел этого; если бы он знал, что так может случиться, он никогда бы не согласился на этот ее переезд в их дом; что он постарается сделать так, чтобы она его больше никогда не увидела; что она еще молодая, что она еще будет счастлива, и всякие другие подобные пошлости?

Нет, Павел Петрович не мог их говорить. Он сидел и молчал, по временам посматривая на Варю. А у Вари на лице было спокойное, чистое выражение; иногда на нем возникала грустная улыбка и, тотчас исчезнув, вновь уступала место спокойной чистоте.

2

Виктор Журавлев позвонил Оле ровно через пять минут после того, как они с Варей и Павлом Петровичем вошли в дом, приехав с аэродрома. Было шесть утра.

— Извините, может быть, я не вовремя? — сказал он растерянно.— Я могу потом.

— Что вы, что вы! — воскликнула обрадованная Оля и полтора часа простояла у телефона, пока Варя рассказывала Павлу Петровичу о путешествии.

— Я хотел ехать вас встречать,— говорил Журавлев,— да побоялся, удобно ли, вдруг вы рассердитесь.

— Нисколько бы я не рассердилась!

— Правда? — спросил он.

— Конечно, правда. Но откуда вы узнали, что я должна была сегодня приехать?

— А я вчера звонил Павлу Петровичу.

Закончив разговор с Виктором, Оля спросила Павла Петровича, звонил ли ей кто-нибудь вчера.

— Если судить по противному голосу, будто у него во рту каша, это был твой Завязкин,— сказал Павел Петрович, страшно невзлюбивший нового аспиранта, который недавно переехал из Ленинграда и уже несколько раз приходил к Оле с билетами в кино. Павел Петрович говорил, что у него глупая физиономия и ничего ценного, кроме роста, он не имеет. Оля и сама это прекрасно видела, но раз человек принес билеты, неудобно же не идти.

Услышав о Завязкине, она ответила:

— Папочка, не Завязкин вовсе, а...

— Ну Тесемкин, Узелков, Портянкин!

— Как тебе не стыдно! Он — Веревкин! Нехорошо издеваться над фамилиями, которые люди не сами себе выдумывают. И, например, «Колосова» ничуть не лучше, чем «Веревкин».

— Ну, милая моя, это ты уж перехватываешь,— возразил Павел Петрович.— Колос — это значит хлеб! А хлеб и металл — два кита, на которых держится человечество. Вот так!

Вечером Журавлев и Оля встретились. Они гуляли по городу, по садам и паркам, по окрестностям. Они рассказывали друг другу о своей жизни,—в жизни каждого из них уже было немало очень серьезных и важных событий. В самом деле, разве их мало, этих событий, например, в Олиной жизни? Окончила институт, поступила в аспирантуру, была секретарем комсомольской организации института, избрали членом бюро райкома комсомола... А дальше — смерть мамы... Горе, которое и в двадцать три года способно человека состарить. Еще Оля рассказывала о брате Косте, который служит на границе и раз в месяц посылает отцу и ей коротенькие письмиш-

ки; рассказывала о дяде Васе — старом чекисте, о своем дедушке, который ее и Костю учил любить природу.

Затем Оля принялась рассказывать о поездке в Новгород, о новгородской старине и берестяных грамотах; она сказала Виктору, что решила уйти из аспирантуры и поступить в школу учительницей истории. Виктор сказал примерно то же, что и Павел Петрович: дескать, целый год занималась в аспирантуре, время, средства тратились — жалко бросать. Но Оля ответила, что учиться до бесконечности смешно; полжизни проучишься, когда же тогда жить и работать?

Рассказывал о себе и Виктор. Он тоже испытал горе, подобное Олиному: у него на войне погибли отец и брат. А к тому же, если Оля хочет знать, он пережил потрясение и иного рода. Он очень любил одну девушку...

Когда он это сказал, Оля почувствовала такую слабость, что чуть не упала с речного обрыва, над которым они в это время стояли. Она даже предложила присесть, но Виктор не позволил садиться, сказав, что после дождя земля сырая и холодная. Он не заметил ее состояния и продолжал рассказ. Было это, оказывается, четыре года назад, ей исполнилось тогда девятнадцать лет, она работала в заводоуправлении. Виктор часто бывал у ее родителей, она бывала у него в доме, понравилась его матери, вот-вот, думали все, они поженятся. Но случилось так, что отца той девушки, моряка, перевели на Дальний Восток. Уехали родители, уехала и девушка. Она не решилась бросить семью и остаться с Журавлевым. Она обещала, что скоро вернется. Но вот так и не вернулась. Сколько ни писал он, сколько ни звал назад...

— Не судьба! — сказал Виктор с хмурой неприязнью, медленно извлек из портсигара папиросу, размял ее в пальцах и, глядя на бегущую мимо реку, в которой играли уклейки, долго пытался зажечь спичку, чиркая о коробку ее обратным концом.

Оле было нестерпимо жаль — не его, нет, и не ту девушку, которая отказалась выйти за него замуж: ей было жаль себя. Она-то думала, что если он так охотно встречается с нею, то у него и нет никого, кроме нее. Неужели тут, на берегу Лады, над которой они остановились, все и кончится? Может быть, он все еще любит ту девушку, может быть, она ему по-прежнему дорога? Тогда кто же для него она, Оля? Так, собеседник? Спутник для прогулок?

Яркие, праздничные краски, которыми только что цвела жизнь, стали тускнеть.

Оля все же нашла в себе силы, чтобы прекратить эту неизвестность, и задала вопрос, который должен был прояснить обстоятельства.

— А сейчас... сейчас у вас никого нету? — спросила она, глядя в воду, где все так же весело играли уклейки.

Виктор помолчал, потом заговорил:

— Видите ли, это зависит не только от меня...

— Та чернокосая девушка, которая была там, в лесу?

— Что вы! Это комсорг нашего участка! — ответил Виктор.— Она меня пробирала за одно дельце: в стенгазету не написал. Обещал, а не написал.

— Ну, а кто же? — настаивала Оля. Она сама удивлялась, откуда у нее взялся такой следовательский тон и по какому праву она так разговаривает с Журавлевым. Странно, что Журавлев признавал за ней это неведомое право и покорно отвечал на все вопросы.

— Что — кто? — переспросил он.

— Ну, кто же у вас есть? Кто теперь ваша девушка? С кем вы танцевали на заводском вечере молодежи?

Он даже не удивился тому, что Оля знала об этом вечере, он сказал:

— На вечер ходил не я, ходила мама. Мама, она любит такие вечера. Сидит в сторонке и смотрит. Ей нужны танцы, баяны, песни, пьесы про революцию.

— Так кто же, кто? — чуть не с плачем спрашивала Оля. — От кого, «видите ли, это зависит», от кого? — Она даже не чувствовала стыда за такое явно глупое поведение. Ей было совершенно безразлично, что там подумает о ней Журавлев. Ей во что бы то ни стало надо было знать: одна она у Журавлева или не одна.

А он так ничего и не ответил.

Оля постояла, постояла и бросилась бежать к автобусу. Журавлев кинулся вслед за ней, но она успела вскочить на ходу в автобус и уехала.

Варя возвратилась домой одна. Павел Петрович довез ее на такси до подъезда и уехал к Федору Ивановичу Макарову. Варя вошла в пустую квартиру. Оли дома не было, и она этому обрадовалась, потому что не знала, о чем она смогла бы с кем-нибудь теперь говорить. Павел Петрович ей не ответил, в сердце у нее опустело, и она

была убеждена, что из этого дома ей надо уходить. И, может быть, даже уезжать из города. Туда, к себе, в Новгород. Или в Ленинград, на Урал, в Донбасс, в Сибирь, где есть большие металлургические заводы и где она посвятит себя труду, и только труду.

Варя еще не знала ни адской ревности, ни тех костров, которые вспыхивали в Олином сердце, ни того отчаяния, которое охватывало Олю. Варя очень любила, но любовь ее была иная, чем Олина. По временам Варе хотелось занимать для Павла Петровича то место в жизни, которое занимала Елена Сергеевна, заботиться о нем, помогать ему, быть всегда-всегда рядом, верным, надежным другом. А по временам она мечтала оказаться на Олином месте, чтобы иметь право говорить Павлу Петровичу: «Милый папочка». И тоже, конечно, заботиться о нем, помогать ему в его большом труде. Это было немножко похоже на то, что с нею происходило когда-то в школе, когда она влюбилась в своего учителя истории Ивана Степановича. Она ходила за ним тенью, по вечерам подкрадывалась под его окно и лежала на траве до полуночи, мечтая о том, что он выйдет, найдет ее, озябшую, подымет на руки, согреет; она видела его даже во сне. Ей тогда было пятнадцать лет. Сейчас ей гораздо больше, но она вновь готова лечь в траву под окном Павла Петровича и ждать, когда он найдет ее и возьмет на руки.

Но вот все кончено, никогда Павел Петрович не найдет ее под своим окном и не возьмет на руки. Жизнь ей не удалась. Она неудачница. Девчонкой влюбилась в старого учителя и потом из-за этой влюбленности так холодно относилась ко всем сверстникам, которые за ней пытались ухаживать, что они и пытаться перестали. Опять вот полюбила человека старше себя. И опять ни к чему эта любовь. Может быть, она некрасивая, урод, страшилище? Она подошла к зеркалу, на нее смотрели печальные серые глаза в пушистых длинных ресницах. Смуглая кожа лица была матовая, чистая, и все лицо, волосы были красивые, и плечи красивые, и шея. Нет, непонятная вещь эта жизнь.

Варя принялась перебирать свои платья над раскрытыми чемоданами, вялая мысль подсказывала ей, что нельзя, нельзя больше оставаться в этом доме. И вместе с тем, чем дальше шло время, тем больше она беспокоилась о Павле Петровиче. Вот уже двенадцать, час, а его все нет и нет, не случилось ли что? Может, позвонить

к Макаровым? Но это очень неудобно. Скорей бы пришла Оля...

Оля пришла около двух часов ночи. Она была хмурая, злая. Ушла к себе в комнату и закрыла дверь на крючок.

Через минуту выскочила и спросила, где Павел Петрович.

Варя сказала, что не знает. И еще добавила:

— А я, пожалуй, от вас уйду.

— Что это значит, почему? — воскликнула Оля.

Тут без звонка, отворив дверь своим ключом, вошел Павел Петрович. Не глядя на него, Варя быстро пошла в свою комнату.

— Варя! — окликнул ее Павел Петрович.— Мне надо с вами поговорить.— Оле было странно, почему он не обратил на нее никакого внимания, почему говорит таким взволнованным тоном и почему Варя такая, почему она собралась куда-то уходить.

Варя прошла в кабинет, Павел Петрович защелкнул дверь на французский замок. Это было просто страшно. Как ни была удручена Оля, ей очень хотелось знать, чтó там происходит, за этой дверью. Но дверь была обита кожей, и ничего через нее не увидишь и не услышишь. Зато есть вторая дверь, из столовой в кабинет, ничем она не обита, хотя и замкнута на ключ; она лишь завешена плюшевыми портьерами. Оля на цыпочках прошла в столовую и приложила ухо к замочной скважине.

Да, в кабинете и в самом деле говорились страшные вещи.

— Варенька,— говорил Павел Петрович,— это совсем не пустое дело, такая грязная сплетня.

— Пусть, пусть! — отвечала Варя горячо. Оля заглянула в замочную скважину и увидела, что Варя стоит перед Павлом Петровичем, вся устремленная к нему, приложив руки к груди.— Пусть,— повторила она.— Я пойду и скажу им, что это ложь, ложь! Вы не беспокойтесь, Павел Петрович!..

— Вы еще меня успокаиваете,— слышала Оля голос отца.— Да ведь эта грязь способна вас испачкать значительно больше, чем меня. Я намеренно говорю об этом с вами, я предупреждаю вас, чтобы сплетня не застала вас врасплох, чтобы вы к ней были готовы, слышите? И чтобы ничего без меня вы не делали, не предпринимали никаких самостоятельных шагов. Мы будем бороться, мы еще их накажем, этих негодяев!

Когда Варя вышла из кабинета, Оля снова обняла ее, снова зашептала в самое ухо:

— Варенька, миленькая, хорошенькая, родная, что происходит? В чем дело, объясни!

— Ничего особенного, Оленька,— ответила Варя.

— Как же ничего особенного! Я все слышала, я у двери стояла. Какая-то сплетня, что-то такое, да?

— Там... у нас... на работе. Испортили один анализ.

Утром Павел Петрович и Оля нашли на столе в столовой записку:

«Извините меня, пожалуйста, но так будет лучше. Я только думаю о Вас, о Вас. Если бы дело касалось одной меня, мне было бы все безразлично. Спасибо за все. До свидания. Ваша В. Стрельцова».

— Папа, что это значит?— закричала Оля.

Павел Петрович присел на стул у стола. Оля никогда не видела у него такого взгляда,— глаза его были устремлены вдаль, и в них было непривычное для Оли жесткое выражение.

— Что это значит? — переспросил он.— Это значит, что мы живем еще в очень суровые времена. Вот что.

Оля ничего не поняла.

3

Расхаживая по своей рабочей комнате, Серафима Антоновна говорила отчетливо, раздельно и при каждом слове ударяла плотным кулачком в ладонь другой руки:

— Ты пойми одно: я скоро буду отстранена от всего сколько-нибудь важного. Я уже осмеяна. Со мной еще считаются, но мне уже указали, да, указали, представь себе, на то, что я не установила правильных взаимоотношений с теми заводскими чудаками, что, дескать, надо было и их включить в рабочую группу. Вот как обстоят дела, друг мой! Поэтому, пока со мной еще считаются, мы должны, мы обязаны действовать, действовать во имя спасения института. Такое руководство надо гнать, гнать, гнать! Кирилл Федорович Красносельцев уже написал письмо в Москву, в Центральный Комитет партии. Наш милый Липатов написал в горком. Есть и еще люди, готовые бороться за честь института. Их надо всех собрать, надо объединиться всем нам. О чем там говорил Мукосеев, ну там, где вы с ним встретились?

На огромной тахте, на которой когда-то уснул Павел Петрович, полулежал Борис Владимирович, курил свою длинную папиросу и снизу вверх преданными, но встревоженными глазами смотрел на Серафиму Антоновну.

— На областной ярмарке,— ответил он.— В буфете. Я же тебе объяснил. Было очень холодно, зашел... а там он. Он сказал... Ты меня извини, Симочка, но я не могу повторять все, что он о тебе говорил.

— Я не девочка, и нервы у меня крепкие.

— Все-таки неприятно. Это брань. Я хотел ему по физиономии съездить.

— Нельзя ли без романтики,— нетерпеливо поторопила Серафима Антоновна.

— В общем, он сказал, что хотя тебя и не любит, но ему все-таки жаль, когда травят такую талантливую ученую, и что в твоих силах указать Колосову надлежащее место. И твои связи, сказал он... Ему бы такие связи, он бы...

— Я тебя прошу, друг мой,— поразмыслив, заговорила Серафима Антоновна,— сделать так, чтобы встретиться с ним, с этим негодяем. Поговори, выясни его позицию пообстоятельней. Мы должны собирать все наличные силы тех, кому...— Серафима Антоновна запнулась, не находя нужного слова, щелкнула раздраженно пальцами,— ну, кому дорог институт, что ли, так! — закончила она.

Это было ранним утром. Через полчаса Серафима Антоновна оделась и уехала в институт. Борис Владимирович остался один. Он сел в своей комнате за рабочий стол. Перед ним лежало несколько фотографических снимков, из которых, снабдив их текстом, он хотел составить так называемый фотоочерк для журнала. Борис Владимирович принялся писать: «Быстро растет колхозное стадо». Эти слова приходились под снимком, на котором было изображено множество пестрых коров, пасущихся на лугу. «В пришекснинском колхозе «Заря»...— писал Борис Владимирович, глядя на снимок колхозной улицы и подкладывая рядом с ним снимок, сделанный в кабинете председателя колхоза, где вокруг стола сидели сам председатель, зоотехник и животноводы,— ...заняты составлением плана развития животноводства на ближайшее трехлетие». Дальше должен был идти краткий рассказ об этом плане, снабженный диаграммой в виде разных размеров бидонов для молока, снимками скотного двора во время электродойки, автоцистерн с молоком; за-

канчивать фотоочерк надлежало в молочном магазине, где продавщица с ангельской улыбкой протягивала бы столь же ангельски улыбающимся покупательницам бутылки со сливками и пакетики творожной массы.

В иное время весь этот нехитрый текст Борис Владимирович изготовил бы за два часа. Но тут дело не шло. Ему не давало покоя неприятное поручение Серафимы Антоновны — встретиться и поговорить с Мукосеевым. Борис Владимирович хотя и не работал в институте, следовательно, никак не был связан с Мукосеевым и никак от него не зависел, однако все равно его побаивался. Он наслушался о нем немало всяческих рассказов. И вот к этому страшному человеку надо идти, надо с ним разговаривать, что-то выяснять.

Пока Борис Владимирович раздумывал, Серафима Антоновна сидела в кабинете секретаря партийного бюро Мелентьева. Шел острый разговор. Серафима Антоновна, придя к Мелентьеву, заявила, что она не выдержала и пришла заявить ему решительный протест против того, что он никак не борется со сплетнями, направленными на директора товарища Колосова.

— Это же возмутительно, что болтают в институте! А вы умыли руки, отошли в сторону и помалкиваете. Павел Петрович мой старый друг, я его прекрасно знаю, я буду за него бороться, я пойду в горком, в обком, в ЦК, наконец! — восклицала Серафима Антоновна, негодуя и возмущаясь.

— Нет дыму без огня,— скрипел в ответ Мелентьев.— А факты такие, что их никаким дымом не скроешь. Свою любовницу притащил в институт.

— Да разве только об этом у нас болтают? — продолжала Серафима Антоновна.— Говорят, прежнего главного инженера Архипова выгнал без достаточных оснований, заменил Баклановым, который якобы его дальний родственник. Говорят, выгнал двадцать лет проработавшую секретаршу директора Лилю Борисовну,— не понравилась, дескать. Грубит, орет, топает ногами на подчиненных. Мало ли всяких гадостей у нас напридумывают! — продолжала Серафима Антоновна, а Мелентьев все записывал.— Я не могу с этим мириться, поэтому я сюда к вам и пришла,— говорила Серафима Антоновна.—Я как чувствовала, что не надо Павлу Петровичу соглашаться на это директорство, работал бы на заводе. Да, поспешил он, поспешил тогда. Ему показалось, что его

накажут за какую-то испорченную плавку стали. Там получился крупный убыток. Вот он и ушел с завода, согласился... Я надеюсь, мы говорим с вами конфиденциально и дальше это отсюда никуда не пойдет?

— Будьте спокойны.

— Я, как друг Павла Петровича, была бы счастлива, если бы он вновь вернулся на завод.

— А вот мы поможем ему сделать это,— ответил Мелентьев, закрывая свой блокнот и пряча его в стол.— Я лично считаю, что тут он не сработался с коллективом. Ну, спасибо, что пришли. Это правильно, мы должны с беспартийными держать самую тесную связь. Вы нам свои критические замечания, мы вам свои. Обмен, так сказать, взаимная помощь, плечом к плечу.

Вечером того же дня Борис Владимирович шел по улице с Мукосеевым, которому он позвонил в институт и сказал, что им надо встретиться по заданию редакции. «Да, кое-какие работки, интересные для печати, у меня есть, это верно,— говорил важно в телефонную трубку Мукосеев, польщенный тем, что им заинтересовалась печать.— Продемонстрировать могу, пожалуйста».

Они встретились на улице. Мукосеев сказал, что надо бы зайти и где-нибудь посидеть. Но только не в центре. Во всякие «Астории», «Глории», «Метрополи» и «Антарктиды» он ходить не любитель, он поведет Бориса Владимировича в заведение демократическое, в народ, в гущу, из которой сам когда-то вышел и от которой он есть кровь и плоть.

Они довольно долго ехали в трамвае, сошли в Первомайском районе возле железобетонного моста через Ладу и с набережной свернули в маленький переулочек под названием Большой проезд. Тут была фирменная пивная пивного завода «Ермак Тимофеевич». В пивной густо сидел народ, однако официант, видимо, хорошо знавший Мукосеева, тотчас отыскал для него и для Бориса Владимировича маленький круглый столик в дальнем зале, принес несколько бутылок пива, граненые стаканы с водкой и кусочки копченого угря на тарелке.

— Демократически, хорошо, красиво! — сказал Мукосеев, окидывая взглядом дымное помещение, в котором в один мощный гул сливались десятки голосов.

Подняли стаканы, чокнулись. Мукосеев внимательно проследил за тем, как медленно, но упорно осушал свой стакан Борис Владимирович, и только когда Борис Вла-

димирович закончил эту операцию, он тоже опрокинул в рот свой стакан, опрокинул лихо, одним движением, одним глотком, будто вдохнул его в себя.

Стали запивать пивом, закусывать угрем, рассуждали о качестве водки и о том, что угри — это те же змеи, только живут в воде, что они могут ходить посуху хоть по десять километров и что любят горох, за которым ночью отправляются в поля. Их там, если пойти с фонарем, можно брать прямо руками.

— Ну как, еще выпьем? — предложил Мукосеев.

Официант принес еще два полных стакана. Еще выпили. Борис Владимирович чувствовал, что сильно хмелеет и дело для него может окончиться плохо, но он стыдился сказать об этом Мукосееву, стыдился не допивать эти убийственно полные стаканы — ведь Мукосеев-то опрокидывает их единым махом.

А Мукосеев, выпив второй стакан, принялся хвалиться своими заслугами и страшно ругал Серафиму Антоновну, называл ее по-всякому. Она, дескать, виновата в том, что ему, Мукосееву, не дают ходу в науку. Он бы им показал, он бы развернулся, если бы не она. Да еще этот Колосов мутит воду, но он не знает его, Мукосеева, он Мукосеев, сломает ему хребет, не такие ломал, покрепче. Он называл фамилии каких-то людей, которые уже давно — тю-тю — загремели. А тоже ершились, думали взять к ногтю его, Мукосеева. Нет, он, Мукосеев, велик, его еще увидят и оценят.

— Что, не веришь? Закажи-ка еще по двести!

Тут Борис Владимирович почувствовал у себя на плече чью-то руку, поднял глаза — за его спиной стоял Липатов.

— Разрешите присесть? — спросил Липатов.

— Садись! — сказал Мукосеев, подозвал официанта и приказал принести стул.

— Два стула,— сказал Липатов.— Я с товарищем. Будьте знакомы. Старый рабочий нашего города, товарищ Еремеев Семен Никанорович.

Сивоусый старик с быстрыми глазами под густой зарослью бровей пожал руки Мукосееву и Борису Владимировичу. Он сел. Тотчас ему и Липатову принесли два граненых стакана с водкой; появилась новая батарея пива, которое называлось «Ладожским» и имело крепость восемнадцать градусов; о нем говорили, что это «ерш в бутылках».

Липатов сказал, что для одного журнала он взялся написать статью о необходимости шире привлекать старых рабочих к передаче производственного опыта заводской молодежи, и вот один журналист посоветовал ему отыскать Семена Никаноровича. Семен Никанорович — яркий пример того, как затирают старых рабочих и как с ними не умеют гибко работать. Кстати, Семен Никанорович вовсю ругает нового директора нашего института, знает его чуть ли не с детства.

— Как не знать! — сказал Еремеев, выпив стакан водки и прихлебывая пиво. — Это дружок нашего нынешнего секретаря райкома. А секретаря, Федьку Макарова, я тоже с детства знаю. Обоих знаю. С Федькиным отцом приятелями мы были, всю гражданскую войну одной шинелишкой накрывались, спать укладываясь. Так вот! Товарищ Липатов, конечно, прибавил маленько от себя. Павла Колосова — чего же его ругать? А Федьку-секретаря, это да, он паршивец. Он мне строгий выговор влепил. Уж свои коммунисты были согласны на простой выговор. А он нет, строгача стребовал на бюро райкома. А я его, щенка учил... Вот люди получаются какие...

— Слушай,— сказал Мукосеев.— Я тоже в гражданскую три года винтовку из рук не выпускал. Слушай, дай я тебя поцелую!

Они стали целоваться, потом выпили еще по стакану. Липатов пил интеллигентно, по половинке стакана, нюхал корочку хлеба, и тотчас захмелел, стал рассказывать об искусстве.

— Общеобразовательность слов,— заговорил он,— названий для общих представлений, их теоретичность, несоответствие ни одному единичному объекту утвердили учение о реальности идей как прообразах, прототипах бытия — идея воды, огня, человека, лошади, но не урода, паразита, горшка и тому подобного грубого. Видимое материальное подобие невидимых, но внутренне созерцательных идей: чувственный мир тел — низшая реальность в сравнении с миром сверхчувственного царства идей, высшей реальности.

— Он что у вас, не того? — спросил Семен Никанорович, повинтив указательным пальцем себе висок.

— Давай, старик, выпьем еще,— сказал Мукосеев.— Ты толковый старик.

Борис Владимирович смотрел на происходившее вокруг него тупым взором. Все вокруг плыло, вращалось,

вздымалось на волнах. Он думал о жене плетущего ересь Липатова, о Надежде Дмитриевне. Он не знал женщины несчастнее ее. Она двенадцать лет ходила в одном и том же, вылезшем, выцветшем меховом пальто, в чиненых-перечиненых туфлях, в старых платьишках. Она работала все, что могла: шила лифчики для продажи, вышивала диванные подушки, клеила абажуры. Но он, этот Липатов, пропивал и свою зарплату, и заработанное ею, и жили они в голых, унылых комнатах, как на вокзале, ожидая поезда в счастливое будущее. А поезд все не приходил. «Чувственный мир тел — низшая реальность в сравнении с миром сверхчувственного царства идей; терпи», — говорил ей, напиваясь, Липатов. И она ему верила. Он еще говорил, что напишет гениальную книгу, она тоже верила и покупала ему бумагу, которую он потихоньку уносил и продавал.

«Бедная Надежда Дмитриевна»,— сказал себе Борис Владимирович и покачнулся на стуле. Он чувствовал, что из низшей реальности скоро перейдет в высшую, в сверхчувственное царство идей, и что ему надо успеть выполнить все поручения Серафимы Антоновны.

— Мукосеев,— сказал он, позабыв имя и отчество этого человека,— вам нельзя жить в ссоре с Серафимой Антоновной. Вы должны подружиться. Это необходимо и ей и вам. Слышите?

— Ребята,— сказал Семен Никанорович,— вы хорошие ребята, с такими компанию водить можно. Так я что говорю? Это надо все спеть. Ну, начали!.. «Ревела буря, гром гремел...»

Через полчаса на соседнем с пивной пустыре, среди сухого бурьяна, стояли Мукосеев и Семен Никанорович. В бурьяне, вынесенные с помощью официантов и любителей-добровольцев, лежали Липатов и Борис Владимирович.

— Ты, старый рабочий Семен Никанорович Еремеев, не суди по ним обо всех работниках нашей славной науки, — покачиваясь, держал речь над ними Мукосеев. — Ты о ведущих науку вперед суди по мне. Пятьдесят лет на земле, из них сорок восемь... сорок три... в боевом строю. Семи лет, друг мой, я уже батрачил на кулака-рыбопромышленника, своею собственной рукой добывал хлеб, создавал, как говорится, материальные ценности.

— Я на завод пошел позже,— заметил Еремеев.— Четырнадцати годов. Что с ними-то решим? — указал он на бренные тела.

— А что? Пусть лежат. Проспятся — встанут.

— Нельзя, сентябрь на носу, земля холодная, легкие застудят,— сочувственно говорил Еремеев.

— Нянчиться с ними, что ли?

— Машину надо нанимать да по домам везти. Вместе пили как-никак. Товарищей бросать не годится. Не по-рабочему это.

— Тоже мне товарищи! — Мукосеев плюнул.

— Раз вместе пили, значит, товарищи,— твердил Еремеев, верный своей самобытной морали.

Известно, что мертвецки пьяные до крайности нетранспортабельны, переброска их с места на место — дело трудное, требующее много времени и сил. Первым кое-как доставили до дому Липатова. Мукосеев поднялся по лестнице, вызвал Надежду Дмитриевну. Надежда Дмитриевна хлопотала, бегала, волновалась, пригласила дворников, которые, ухватив за руки и за ноги, тащили ее мужа на пятый этаж. Он раскачивался в их руках и стукался низом спины о каменные ступени.

Серафима Антоновна из квартиры не вышла, нанимать дворников бегала ее молоденькая домработница. И пока та бегала, Мукосеев говорил Еремееву:

— Видишь, какая баба! Родного мужа продает. Про других говорить нечего.

— На таких бабах жениться не надо, — философически отвечал Еремеев.— Такие бабы пусть со статуем каменным живут, который все стерпит. Мужик в их руки даваться не долж́он. Дурак тот мужик, который этого дела не понимает.

4

У Оли было много свободного времени. Комсомольская жизнь на лето замерла, — аспиранты разъехались из города. Изредка только надо было ходить на заседания бюро райкома. Эти заседания Оля любила: там всегда происходило что-нибудь интересное, всегда услышишь новое.

Олино время распределялось так: часов до трех дня она занималась, листала книги, делала выписки. Решив, что из аспирантуры надо непременно уходить, надо

непременно начать накапливать свой собственный самостоятельный опыт в жизни и науке, Оля все же не хотела оставить о себе такое мнение, будто бы она ушла потому, что не справилась. Ничего подобного: она оставит там множество материалов, которые будут свидетельствовать совсем об обратном. Заниматься, правда, очень не хотелось, Оля делала над собой отчаянные усилия и до положенного времени досиживала кое-как.

После трех она начинала готовиться к вечерней встрече с Виктором. Одно за другим перебирала платья, стояла перед зеркалом, обдумывала каждую деталь своей внешности.

После той встречи, когда произошла трагическая размолвка из-за какой-то девушки, уехавшей на Дальний Восток, Виктор позвонил Оле назавтра вечером.

Вечер был скверный, Оля и Павел Петрович сидели в кабинете, и Оля расспрашивала Павла Петровича, почему ушла Варя. Он ответил, что не знает почему, Оля не верила, и настаивала, и даже сказала, что кое-что слышала возле дверей. Настроение у нее было ужаснейшее. Весь день она ничего не брала в руки, ничего не делала, только ходила от окна к окну и вздыхала. Вздыхала она так часто и громко, что ей самой это было противно. С приходом Павла Петровича тоже вот не стало легче. Они сидели долго, неоткровенные друг с другом, размышлявшие каждый о своем. Оля вздрогнула, когда зазвонил телефон, поспешно схватилась за трубку.

— Да, я вас слушаю, — стараясь говорить как можно холоднее и безразличней, ответила она, когда узнала голос Виктора Журавлева.

Они разговаривали несколько натянуто, но совершенно не упоминая того, что произошло накануне. Журавлев спросил, когда и где они встретятся — сегодня или завтра, лучше бы, конечно, сегодня. Оля хотела сказать, что больше никогда и нигде, но сказала, что ей все равно,— можно на берегу у моста, а можно на бульваре, где живет он, Виктор. Павел Петрович спросил, когда она положила трубку:

— Шнуровкин, конечно?

— Журавлев, папочка! — ответила Оля с отчаянной смелостью.— Ты его знаешь, это ваш сталевар, который рубит расплавленную сталь рукой. Виктор Журавлев. Он мне нравится.

Так случилось впервые, что, услыхав от Оли имя нового ее знакомого, и еще, о боже мой, которому не только она, но который и ей нравится, Павел Петрович не нашел никаких ядовитых слов.

— Вот как! — только и сказал он.

Что он мог сказать еще?

Он представил себе мысленно этого Виктора Журавлева. Что ж, Виктор Журавлев был отличным первым подручным бригадира-сталевара. Еще в бытность Павла Петровича на заводе Журавлева готовили к самостоятельному бригадирству. Это, так сказать, производственная сторона, общественное лицо Журавлева. А что у него в душе, что в мыслях, в сердце — Ольге, должно быть, это видней, чем ему, Павлу Петровичу. Что можно сказать о человеке, видя его только возле мартеновской печи, только в прожженном бушлате, с черным измазанным лицом? Много ли могли заводские инженеры и мастера сказать в свое время о молодом слесаре Павлуше Колосове? Занозистый, дескать, шустрый паренек, работает хорошо, сообразительный. И только. А Леночка — отметчица с бетономешалки — могла бы о нем в ту пору рассказывать целые легенды, она их и рассказывала подругам, до самой своей смерти рассказывала.

— Да, вот как, — повторил Павел Петрович, подошел к отважно глядевшей ему в глаза дочери, видимо, готовой к самой отчаянной борьбе за своего Журавлева, погладил ее по голове и отправился спать.

И вот пошли удивительные дни. Оля и Виктор ходят и ходят по улицам. Ни она, ни он не хотят ни в кино, ни в театр, ни на какие концерты. Жизнь, когда она завязывается в такой узел, который завязанным оставаться долго не может и непременно должен быть развязан, — в такую пору жизнь в тысячу раз острее, богаче переживаниями, волнениями, страстями, чем плод самой пылкой человеческой фантазии, представленный на театральных подмостках или на экране кино. Любовь и в наши дни нисколько не увяла, не угасла, не потускнела, не стала ручной и домашней. Любовь все так же способна ворочать горами, она так же способна и окрылять людей для взлетов под самое солнце, и сбрасывать их в грязь и болота низменных чувств. Пусть нас не уверяют моралисты, что любовь — это сугубо личное, индивидуалистическое, которое якобы противопоставляется общественному. Нет, любовь — это общественное, потому что обществу нужны

не тусклые, серые люди, унылые, как графленая бумага для статистических ведомостей, а люди, способные вечно цвести не отцветая, вечно беспокоиться не успокаиваясь, вечно расти не старея...

Оля сразу увидела разницу между любовью и игрой в любовь. Это не было любовью, когда она могла обманывать своего сверстника и не приходить на свидание якобы только из тех побуждений, чтобы проверить его чувства; когда она могла говорить: «Этого не хочу, хочу другое»; когда, подставив щеку или пусть даже губы для поцелуя у ворот, она вбегала весело в дом и требовала поскорее поесть, а то умрет от голода; когда она могла по две недели дуться на какого-нибудь Вадика или Юзика из-за сущего пустяка и не разговаривать с ним, пока он сто раз не попросит прощения у нее, хотя виноват вовсе не он, а она.

Все стало теперь по-иному. Не приди Виктор в назначенную минуту на свидание — Оля будет ждать его под дождем, под ливнем, во время извержения вулкана или всемирного потопа. К чести Виктора Журавлева, он никогда не заставлял ее ждать. Но пусть, пусть заставит, она подождет. Простившись с ним, расставшись только до следующего утра, на несколько часов, она страдала так, будто оставалась без него навеки; она не могла есть, кусок не шел ей в горло, она могла полчаса жевать какую-нибудь котлету, устремив глаза в одну точку и не слышала никого и ничего вокруг. Где тут за что-либо дуться на Виктора! Лишь бы только он на нее не сердился. Она готова делать для него все-все. Всем, чем он хочет, всем, чем она может, она будет каждый день, каждый час, каждую минуту доказывать ему свою любовь, нисколько не задумываясь над такими книжными вопросами: а стоит ли он ее любви, а за что она его любит, что в нем такого, что заставило ее его полюбить? Он сильный, красивый, умный — вот он какой для нее. И пусть отец не вздумает говорить, что он обыкновенный, что он парень как парень и только, мол, как все молодые парни, считает себя выдающимся гением современности.

Оля, как Журавлев ни сопротивлялся, однажды привела его официально знакомиться с Павлом Петровичем.

— Да мы знакомы,— сказал Павел Петрович. Он смотрел на Журавлева и на Олю так, будто у него болели зубы. Оле даже показалось, что он слегка застонал, когда

в разговоре она случайно положила свою руку на руку Виктора.

Но за чаем они вдруг разговорились. Журавлев сказал, что Константин Константинович ставит его на днях бригадиром к новой электропечи, что он, Журавлев, сейчас усиленно изучает электросталеварение и с мартена переведен подручным на вторую электропечь.

Павел Петрович стал ему рассказывать об особенностях электросталеварения. Журавлев внимательно слушал и по временам делал такие замечания или задавал такие вопросы, из которых было видно, что он и сам многое отлично знает. Павел Петрович тогда спросил, читает ли он специальную литературу.

— Собрал целую библиотеку,— ответил Журавлев.— Сорок восемь книг. Все до одной по электросталеварению.

— А вы только книгами по электросталеварению не ограничивайтесь,— посоветовал Павел Петрович и стал называть авторов, читая которых Журавлев будет расширять свой кругозор по металлургии вообще.— Утыкаться, знаете, носом только в свое корыто очень вредно.

Журавлев всех авторов, каких называл Павел Петрович, аккуратно записал в записную книжечку, переплетенную в зеленую кожу.

Когда Оля проводила его до парадного и вернулась в дом, Павел Петрович сказал ей, разводя руками:

— Ну что ж... Та́к вот... Разное бывает.

Видимо, он очень страдал оттого, что вплотную приблизился день, когда у Оли будет повелитель с неограниченной властью, которому она должна будет варить рыбные селянки и штопать носки.

В ответ на свое знакомство с Павлом Петровичем Журавлев решил и Олю познакомить со своей матерью. Он привел Олю к себе в воскресенье. Мать Виктора, Прасковья Ивановна, принялась угощать гостью пирогами. Оля, давясь, с трудом проглатывая куски, ела пироги, а Прасковья Ивановна все время незаметно рассматривала ее со стороны. Старая женщина чувствовала, что это не простая гостья, и своим опытным глазом старалась дать ей надлежащую оценку. И Оля чувствовала, что происходят смотрины. Она делала все, чтобы понравиться матери Виктора: хвалила пироги и варенье, расспрашивала, кто связал такую красивую скатерть из красных, зеленых и черных ниток, кто снят на этих портретах над комодом, что́ это за такие за красивые цветы, неужели

искусственные, а до чего похожи на живые! Кто же их делал?

Потом Виктор извинялся, говорил, что все эти бумажные цветочки на комоде, открыточки на стенах, домодельные салфеточки — он сам понимает, какие они безвкусные и обывательские, но ему не хочется обижать маму, она привыкла так жить, может быть, уж и немного ей осталось жить, зачем огорчать, зачем требовать менять привычки, привычную обстановку! Ведь ее, маму, уже не перевоспитаешь, а только обидишь. Верно? «Очень верно, очень верно», — сказала Оля, вспоминая свою маму, которую, конечно же, она обижала своими глупыми критиками маминых милых слабостей. Мама очень любила бисквитный торт, а Оля никогда не упускала случая сказать, что от тортов толстеют. Мама становилась грустная, потому что она была и так полная и очень боялась располнеть еще больше. Мама любила щелкать подсолнуховые семечки. Оля всегда говорила при этом, что подсолнухи — грязь, мусор, разносчики инфекции, стыдно вести себя так старшему научному сотруднику, биологу. Это бескультурье, серость. А мама, конечно, и сама это все знала. И разве нельзя было простить ей эту маленькую слабость? «Да, да, — добавила Оля, — не надо обижать Прасковью Ивановну».

Оля чаще, чем прежде, стала вспоминать об Елене Сергеевне, Оле нужен был совет, Оле надо было рассказывать обо всем, что происходило у них с Виктором. Вот бы мамочка была жива... Милая мамочка...

5

Павел Петрович почувствовал, что какие-то неведомые силы принялись плести вокруг него паутину.

Федор Иванович, к которому Павел Петрович съездил в тот день, когда его вызывал в горком Савватеев, по поводу Вари высказался так: «Начни, Павел, с того, что успокойся, не горячись, дело требует серьезного обдумывания. Видимо, ты кому-то и чем-то не нравишься. Видимо, ты кому-то и в чем-то мешаешь. Взять тебя атакой в лоб у них силенок, видимо, не хватает. Вот берут в обход. Кричать сейчас: ерунда, чепуха, подлецы,— это ни к чему не приведет. Надо обождать, противник себя обнаружит сам, будь уверен. И когда он себя обнаружит, мы

за него и возьмемся. А пока молчи, соберись с силами, крепись. Девушку же эту, Стрельцову, предупреди, что мол, так и так, вот какие пошли слухи, чтобы знала, чтобы не застало это ее врасплох. А главное — еще раз повторяю: молчи, работай как ни в чем не бывало. С ветряными мельницами не воюй, принимая их за злых духов. Надо найти злых духов во плоти».

Павел Петрович молчал, держал себя как ни в чем не бывало. Но чего это ему стоило! Ему казалось, что каждый из сотрудников знает мерзкую сплетню, ему казалось, что все смотрят на него — кто с сожалением, кто со злорадством, кто с выжиданием: что-то, мол, будет дальше, чем-то это кончится?

Но если говорить полную правду, то Павла Петровича, пожалуй, значительно больше, чем сплетня, расстроило Варино признание в любви. Он чувствовал себя виноватым перед Варей вдвойне — и за то, что довел ее до этой любви, и за то, что не может ответить ей на любовь. В первую минуту, когда на столе была найдена Варина записка, он сказал было Оле, что Варю надо немедленно вернуть. Но уже через несколько минут размышлений говорил себе, что Варя поступила правильно, так будет лучше всем и прежде всего ей самой, она отвыкнет от него, забудет о нем, со временем успокоится и найдет другого человека. Из этих же соображений, когда Вера Михайловна Донда принесла ему назавтра Варино заявление, в котором было сказано, что Варя просит уволить ее из института, что она возвращается на завод, Павел Петрович написал на заявлении: «Освободить по собственному желанию». Ему за это попало от Федора Ивановича: «Ты сам расписался в своей вине,— говорил Федор Иванович раздраженно.— В руках твоих противников теперь превосходный факт: Колосов заметает следы, ликвидирует последствия».— «А черт вас всех знает, как с вами себя вести! — закричал Павел Петрович.— Ничего не делай, слова не скажи, только оглядывайся да оглядывайся!»

Они в тот раз сильно накричали друг на друга и почти поссорились.

У Павла Петровича было немало товарищей — и по заводу, и вот в институте наладились хорошие отношения со многими: с Баклановым, например, с Ведерниковым, с обоими Румянцевыми, с мужем и с женой, даже с Белогрудовым, который захаживал к нему иной раз, чтобы

высказать какую-нибудь новую теорию жизни. Павел Петрович мог бы пойти к брату Елены, к полковнику Бородину, можно же его как-нибудь изловить дома. Товарищей, добрых знакомых было, словом, много. Но друг, закадычный, истинный, с которым можно говорить о чем угодно, был один — Макаров. И если уж Макаров, Федя Макаров, стал на него кричать и обвинять его то в одной, то в другой ошибке, значит, деваться больше некуда, надо сидеть дома, подобно медведю в берлоге.

С Олей, конечно, тоже было совершенно немыслимо говорить о своих бедах и сомнениях. К ней пришла та счастливейшая пора жизни, когда во всей вселенной существуют только *она* и некий *он*. Павел Петрович видел это, он горевал от этого, но уже ничего не делал, чтобы помешать чему-либо, потому что понимал: ничему тут уже никто и ничто помешать не может.

Павел Петрович был один в нежданно разбушевавшихся событиях. Не было Елены, ушел из семьи сын, уходила, и фактически уже ушла, дочь. Семья перестала существовать. Глава ее вернулся к тому, с чего начинал жизнь лет двадцать семь — двадцать восемь назад. С той лишь разницей, что двадцать семь — двадцать восемь лет назад было несметное число надежд, желаний, устремлений, были энергия, здоровье, мальчишеская беззаботность. А теперь?

Ему думалось, что теперь ничего, кроме чувства долга, у него не осталось, что он живет и будет жить, работает и будет работать только из чувства долга перед партией, перед народом, перед страной, которые вырастили его, воспитали, которые нужны ему и которым он тоже нужен.

Неожиданно для себя он вспомнил о той теории доминанты, которую однажды развивал Белогрудов. Он снова сказал себе, что это отъявленная чепуха, что это очень вредная и скверная теория, ведущая к пассивности. Но назвать для себя — свою — ведущую линию жизни, кроме линии верности долгу, не мог.

Павел Петрович приезжал вовремя в институт, проводил ученые советы, беседовал с сотрудниками, строил жилой дом, реконструировал мастерские, улучшал лаборатории,— где же тут время думать о каких-то сплетнях! Павел Петрович начал было успокаиваться после сплетни о его отношениях с Варей.

Но вот поползла новая сплетня — о том, что Павел Петрович столь поспешненько перекинулся с завода в институт лишь потому, что из-за своей малограмотности он испортил на заводе ответственную плавку и ему грозило или предстать перед судом, или понести партийную ответственность, а может быть, и то и другое вместе. Об этой сплетне Павел Петрович узнал из анонимного письма, присланного ему домой по почте. В письме писалось, что он недоучка, выскочка, что ему не институтом руководить, а жактовской прачечной, что одно дело испортить плавку, другое дело развалить институт, что рано или поздно он попадет в тюрьму и так далее.

Прочитав письмо, Павел Петрович сел в кресло, да так и просидел с восьми вечера до двух часов ночи. Он вспомнил за эти часы почти всю свою жизнь. Он вспоминал, как подписывался на первый государственный заем, который, кажется, назывался займом индустриализации. В ту пору Павел Петрович хорошо зарабатывал — рублей около двухсот в месяц — и подписался сразу на полтысячи. В заводской газете поместили его портрет и письмо-обращение ко всем рабочим, инженерам и служащим, что если они хотят видеть Советский Союз мощным, индустриальным государством, богатым, процветающим, успешно строящим социализм, то пусть и они следуют его примеру, подписываются на заем. На другой день Павел Колосов, придя к своему верстаку, увидел, что в его ящиках нет ни одного ценного инструмента — ни микрометра, ни штангенциркуля, ни набора плашек и метчиков — ничего. А еще через день секретарь заводского партийного комитета, большевик с дореволюционным стажем, говорил ему, пригласив к себе в кабинет: «Дорогой товарищ Колосов. Ты хороший комсомолец, мы тебе верим, в наших глазах тебя не сможет очернить ни одна сволочь. Но и ты будь бдителен. Ты встал на общественный путь, на путь активной борьбы за новое. Этот путь не усыпан розами; на нем окажутся и гвозди, и шпильки, и удары дубиной из-за угла. Будь готов к ним, милый. Вот я на днях читал новое стихотворение поэта Маяковского: «Мы живем, зажатые железной клятвой. За нее — на крест, и пулею чешите!..» Понял? И на страдание, на му́ку будь готов, и на беспощадную борьбу». Он подал Павлу Колосову клок бумаги, на котором нарочито корявым почерком было написано: «Вот которые у нас на заем по пятьсот рублей призывают, откуда они такие денежки берут? Портретики их-

ние печатаете, что за портретиками — видеть не хотите. А поглядели бы. Знаменитый Колосов, пятьсотрублевщик, воришка он. Инструмент на барахолке загоняет и вносит в заем. Так дело и идет — из пустого в порожнее. Посмотрите: раскрадывают рабоче-крестьянское государство. За что боролись? За что кровь проливали? Буденновский конник Ф. Т.».

Прошло некоторое время. Украденный у Павла Петровича инструмент нашли — он был утоплен в строительном котловане, в котором месяцами стояла дождевая вода. Нашли и самого «буденновского конника» из подсобных рабочих, который оказался темной, уголовной личностью.

Все обошлось как будто бы вполне благополучно. Но сколько пережил Павел Колосов в те дни! Он как бы и в самом деле был поднят на крест и распят на нем ржавыми гвоздями.

Много вспомнилось Павлу Петровичу всяческих событий, пока он сидел в кресле, устремив взгляд в темноту, и размышлял о той паутине, которая начала плестись вокруг него в институте. В трудных, в очень трудных положениях бывал он за свою сорокатрехлетнюю жизнь, но в таком положении, в каком оказался теперь, еще никогда ему бывать не приходилось. Может быть, это все еще пройдет?

Но нет, из институтских щелей выползала и третья сплетня. С известием о ней пришел совершенно расстроенный Бакланов.

— Черт знает что, Павел Петрович! — начал он, входя в директорский кабинет.— Вокруг меня подымается мутнейшая волна. Пошли разговоры о том, что я ваш родственник, брат, сват, деверь, шурин— не знаю кто — и что поэтому вы прогнали прежнего главного инженера и заместителя по научной части Архипова и взяли меня, малокомпетентного в вопросах организации научной работы. Я заготовил вот заявление, чтобы вы меня освободили от этих обязанностей. Я доктор наук, я профессор, я спокойно руководил группой, я преподаю в институте. На кой дьявол мне это заместительство!.. Да я...

— Успокойтесь,— сказал Павел Петрович, выходя изза стола к Бакланову, который стоял посреди кабинета и размахивал листком бумаги.— У меня хранится письменная просьба Архипова, есть свидетели его неоднократных устных просьб об освобождении от должности, и,

наконец, он сам имеется налицо. Какая галиматья! Что же вы разволновались?

Когда дело коснулось другого, когда надо было защищать не себя, а товарища, Павел Петрович преобразился. Он готов был ринуться в бой против кого угодно, лишь бы отстоять репутацию Бакланова.

— Кто это все вам сказал? — спросил он.

— Да вот как-то так, вокруг да около...— Бакланов покрутил рукой в воздухе. — Мой секретарь сказала: знаете, Алексей Андреевич, вот что болтают, будьте готовы ко всему. Спрашиваю, откуда ей это известно. Говорит: в столовой, за столиком услышала. Иди лови их!

— А никого ловить и не надо. Работайте спокойно. Я сумею за все ответить, слышите, Алексей Андреевич!

— Хорошо. Слышу. Попробую. Но каков у нас народ!

— Не народ каков и не у нас это только. Вы сделали хороший доклад, направленный против рутины в научно-исследовательской работе, против рутинеров, ищущих спокойной жизни, вы переворошили тематический план, вы многих подняли с их кресел, из которых они не подымались годами,— вот вам и результат. Рутина и рутинеры хотят жить и сопротивляются. Как иначе они могут против вас бороться? Не докажут же они, что вы не правы! Доказать недоказуемое невозможно. Следовательно, чтобы отдалить свой крах, они считают, надо очернить, сожрать вас. Авось на ваше место придет рутинер под стать им. Ну, а если и не придет такой, то, во всяком случае, получится выигрыш во времени. Пока новый человек осмотрится да разберется, что к чему, — времечко-то их-нее и протянется еще. Уж тут на все пойдешь.

Павел Петрович говорил, говорилось гладко и очень логично, и ему странно было, почему все еще продолжал волноваться Бакланов. Он не вспомнил о том, что вот так же с ним самим недавно говорил Макаров, говорил гладко, логично, а Павел Петрович продолжал волноваться и удивляться, почему Макаров спокойно рассуждает, вместо того чтобы бить в набат.

В конце разговора Павел Петрович взял из рук Бакланова листок с заявлением, мелко изорвал его и бросил в проволочную корзину под столом.

— Забудем эту минутную слабость, дорогой Алексей Андреевич,— сказал он твердо, весело и энергично.

Проводив Бакланова, Павел Петрович принялся медленно расхаживать по кабинету. В глазах его была уста-

лость. Ему хотелось лечь на диван и чтобы его унесло отсюда, как на ковре-самолете, куда-нибудь, где нет сплетен. Разве он так же, как Бакланов, не мог сказать: «Я спокойно руководил металлургией завода, я инженер, я отлично знаю свое сталеварение, на кой дьявол мне это директорство в институте!» Но Бакланов в партию вступил совсем недавно, а его, Павла Петровича, еще с комсомольских лет связала железная клятва, за которую «на крест, и пулею чешите». Он никуда не пойдет и никому не скажет о том, как ему тяжело и трудно. Он мог сказать об этом только другу, беззаветному и верному, не сомневающемуся и не колеблющемуся, каким может быть только любящая женщина, он мог сказать о том только Елене.

Потом он подумал, почему писатели охотнее пишут о плохих руководителях, нежели о хороших, почему во многих книгах прогрессивный новатор-рабочий или молодой инженер непременно борется с отсталым директором, который стоит на пути прогресса этакой тупой глыбой. И почему считают, что надо реже писать о руководителях, которые делают свое большое, важное дело так же честно, с такой же энергией, с таким же огнем и жаром и ничуть не менее умно, чем новаторы-рабочие и молодые инженеры? Почему бы не разобраться как следует, во имя чего эти руководители часто не спят ночей и не видят свободного времени днем? Во имя чего они добровольно несут на себе бремя величайших забот и огромной ответственности? Во имя чего, учредив на своем предприятии доску Почета для лучших людей, они мирятся с тем, что на этой доске никогда не появляются их собственные портреты,— будто они сами уже никогда не способны ни быть передовиками, ни быть лучшими людьми? Во имя чего они согласны получать выговоры, всяческие взыскания,— да, да, да, во имя чего это все?

В эти трудные дни к Павлу Петровичу несколько раз приезжали его заводские друзья, возили на завод, знакомили с тем, как идет монтаж опытной электропечи, показывали карты различных технологических вариантов плавок стали по его, Павла Петровича, идее связывания и вывода в шлак водорода.

Однажды возле опытной печи Павел Петрович увидел Виктора Журавлева.

Константин Константинович сказал, что Журавлев — это и есть будущий бригадир, о котором Павлу Петровичу

уже докладывали. Сейчас он учится, а с пуском печи начнет бригадирствовать.

— Вот ведь как получается в жизни,— сказал Павел Петрович, пожав руку Журавлеву.— Никогда не предполагал... А вы тут не приметесь черпать расплавленный металл пригоршнями? — спросил он совершенно серьезно.

Журавлев улыбнулся и ответил:

— Сами увидите, Павел Петрович.

Павлу Петровичу еще о многом хотелось спросить Журавлева; он хотел бы знать, как повелитель его дочери намерен повелевать ею, куда поведет он ее, по каким путям-дорогам, какие у него планы: на дальние ли пути или на короткие стежки через ближнее поле. Но он не спросил молодого сталевара об этом, как в свое время и его самого, молодого слесаря, ни о чем подобном не расспрашивал отец Елены, естествоиспытатель с живыми, умными глазами. Естествоиспытатель задавал молодому слесарю вопросы о надфилях, о драчевых пилах, о том, что такое «ласточкин хвост» и как его выпиливать.

Бывая на заводе, Павел Петрович порывался повидать Варю, которая вновь вернулась в лабораторию, но живет теперь не в общежитии, а стала угловой жиличкой у одной из сотрудниц института. Павла Петровича останавливал вопрос: зачем он пойдет, зачем ему надо видеть Варю? Казалось бы, для сомнений не могло быть и места: то есть как зачем? Вместе работали, жили под одной крышей, были добрыми друзьями,— как же не повидаться! И все-таки сомнения мешали ему пойти в лабораторию к Варе. Не надо ее тревожить, решал Павел Петрович. После ее отчаянного признания он относился к ней как к тяжелобольной, которой вредны напоминания о ее болезни.

Но встреча все-таки состоялась, и совсем не на заводе, а на улице возле дома Павла Петровича. Ее нечаянно устроила Оля.

В один из вечеров, когда Виктор работал во вторую смену, Оля отправилась навестить Варю на ее новой квартире. Дома была хозяйка комнаты, говорить откровенно при ней было невозможно, и Варя предложила погулять. Они вышли на улицу. Оля рассказывала Варе о том, что происходило в ее жизни за последнее время; она сказала, что Виктор еще, правда, о женитьбе прямо не говорил, но и без слов видно, как сильно он ее любит, и, конечно, скоро скажет все-все; что она счастлива и даже

никогда не думала, что у людей бывает такое счастье; что у нее будто выросли крылья, в аспирантуре копошиться она больше не может, подала заявление об уходе, ее ругали, но она настояла на своем, с первого сентября пойдет преподавать историю в школе, гороно направило ее в двадцать восьмую школу, где она сама училась, и там, оказывается, еще много старых ее учителей. Потом Оля принялась расспрашивать Варю, что у них произошло в институте, о чем с ней разговаривал тогда в кабинете Павел Петрович. Неужели из-за какой-то дурацкой сплетни Варя ушла из их дома? Без нее стало там пусто, худо и скучно, и хорошо бы, если бы Варя вернулась.

«Что там произошло, спроси, Оленька, лучше у Павла Петровича,— ответила Варя.— А вернуться?.. Нет, это невозможно».— «Я его спрашивала,— сказала Оля.— Он ответил: грязная история. И все. Не понимаю: папа, ты— и вдруг грязная история!»

Занятые тревожными разговорами, они незаметно дошли до подъезда дома, в котором так хорошо жилось Варе несколько месяцев; ноги сами принесли ее к этому подъезду, они уже привыкли ходить сюда.

Варя и Оля все еще стояли на тротуаре, когда подъехала машина и из нее вышел Павел Петрович.

— Здравствуйте, Варенька! — сказал он, и по выражению его лица было видно, что он хотел бы знать причину, которая привела Варю к его дому.

— Здравствуйте, Павел Петрович,— ответила Варя, чувствуя, что вся мертвеет, что сейчас превратится в механическую куклу, которая только и способна будет хлопать глазами да говорить «да» и «нет».

Машина уехала.

— Ах, беда! — сказал Павел Петрович, обернувшись ей вслед.— Папиросы там оставил. Может быть, мы зайдем к нам? — предложил он Варе.— Что это вы тут стоите?

— Нет, нет, — отказалась Варя. Не видав Павла Петровича десять дней, она воображала, что способна думать о нем спокойно; что способна грустно философствовать о горечи любви, на которую не ждут ответа. Но, встретив его, она утратила способность философствовать и собирала все силы, чтобы не выглядеть онемевшей и парализованной дурой.— Мне надо домой, моя хозяйка рано ложится спать, и неудобно ее будить — топать, зажигать свет.

— Ну тогда, Оленька, будь другом, поднимись домой, принеси папиросы,— сказал Павел Петрович.— Они где-то в буфете.

Оля поняла, что отец нарочно ее отсылает. Она ушла обиженная и, демонстрируя, что для нее совсем не тайна, зачем понадобились отцу папиросы на улице, долго-предолго не возвращалась. За это время Павел Петрович и Варя сказали друг другу всего несколько слов.

— Мне попало от моих друзей, Варенька, за то, что я вас отпустил из института, — сказал Павел Петрович. — Не надо было этого делать.

— Надо, Павел Петрович. Не по одной причине, так по другой.

Он не спросил, какую другую причину она имеет в виду. Он сказал:

— И все-таки зря, зря.

Варя стояла к нему в профиль. Он рассматривал ее лицо в мягких линиях, спокойную, некрикливую прическу, видел, как медленно двигались ее длинные ресницы, и ему стало так жаль ее, отвергнутую, обиженную, что он готов был тут же на улице сказать ей: «Варя, милая, простите». Ему хотелось, чтобы она вернулась в дом, с нею там было хорошо, тепло и уютно. Теперь в холодные комнаты снова внедрялось нечто нежилое, с однообразным запахом. Как хорошо было, когда она встречала его в прихожей или сидела за чаем. Не единственный ли она сейчас человек на всем свете, которому можно сказать все, который все поймет и ни за что не осудит, не станет на тебя кричать, читать тебе морали и ссориться с тобой?

Павел Петрович вздохнул. Варя взглянула на него, не поворачиваясь, только скосив глаза в сторону.

В это время вышла Оля и скучным голосом сообщила, что никаких папирос в доме нет.

— Что ж, придется дойти до киоска,—сказал Павел Петрович.— Может быть, мы вас, Варя, проводим до трамвая или автобуса? Как ты, Оля, думаешь?

— Мне нездоровится, идите одни.

Оля попрощалась с Варей и исчезла в подъезде. Варя и Павел Петрович медленно пошли по улице. И снова не было разговора. После отважного Вариного признания по-настоящему можно было говорить только об одном. Об этом Павел Петрович говорить не мог, а раз не мог, то все

остальные разговоры ни к чему, все они будут фальшивые, искусственные, вымученные.

Молча довел он ее до остановки автобуса, молча стоял возле нее в очереди. Никто не удивлялся тут их молчанию, потому что все в очереди молчали, думая каждый о своем.

Когда подошел автобус, Павел Петрович помог Варе подняться на ступеньку и смотрел вслед автобусу. В мыслях у него было неотчетливое и смутное; ему бы не хотелось, чтобы этот автобус уезжал, пусть бы он остановился вон там на углу и Варя из него снова бы вышла на улицу.

Но автобус исчез за углом. На перекрестке, где он поворачивал, взвихрился синий дым, и ветер донес до Павла Петровича запах горелого бензина.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Первого сентября Оля пришла в школу. До начала уроков было больше часу. Оля разделась в учительской. Пальто свое повесила там, где всегда вешали свои одежды бывшие ее учительницы,— в углу за громадным темно-желтым глухим шкафом, за которым стояла рогатая вешалка.

Кроме Оли, в учительской было еще двое учителей. Это были новые для нее учителя, их она не стеснялась, она ждала появления Марии Павловны или Нины Карповны. Она знала, что перед Марией Павловной или Ниной Карповной ее непременно проберет страх, как пробирал и прежде, потому что Мария Павловна всегда задавала такие ужасные диктовки, в которых без ошибок никак не обойтись, и вот, пожалуйста, в результате — все тройки да тройки; а Нина Карповна мучила тригонометрией, в которой Оля, окончив десятый класс, так толком и не разобралась; по тригонометрии она плыла с помощью подсказок и всяческих шпаргалок, пометок на ладонях, на ногтях и даже на коленках.

Но страшных для Оли учительниц пока еще не было. Оля прохаживалась по учительской, ей было странно

ощущать, что она здесь совсем не для того, чтобы ей прочли нотацию, не для того, чтобы выпрашивать сумку, отобранную за поднятый на уроке шум, не для того, чтобы скучным, тоскливым взглядом следить за тем, как завуч пишет записку Олиным родителям, приглашая их немедленно прийти в школу по поводу трех двоек «вашей дочери». Сегодня она тут как раз для того, чтобы самой читать ученикам нотации, самой отбирать сумки и самой писать записки родителям. В этом учительском святилище она впервые не как представительница поклоняющейся паствы, а как полноправная жрица всемогущего бога Учения. Ее власть огромна, она может и возвеличить и уничтожить какое-нибудь юное существо с косичками. Но нет, думала Оля, она никогда не будет пользоваться своей властью во вред этим юным существам с косичками и без косичек, она никогда и никого не будет обижать, она на веки вечные запомнила, как это горько — тащить домой клок ненавистной бумаги с грозными словами завуча или дневник с безрадостной записью учителя.

В самый разгар ее жарких размышлений в учительскую, переваливаясь и отдуваясь, знакомой грузной походкой вошла еще больше расплывшаяся за шесть лет Мария Павловна. За Марией Павловной шла испуганная девочка с тонкими косичками, на которых черными бабочками сидели громадные банты, и с почти такими же, как косички, тонкими ногами в коричневых чулках.

Не заметив Олю, Мария Павловна уселась за стол, положила перед собой портфель, который еще в пятом или в шестом классе в день рождения подарили ей Оля с подругами — вот и серебряная пластинка с надписью сохранилась,— извлекла из него тетрадку, вырвала лист и принялась писать, приговаривая:

— Ты, милая, будешь орать и кататься на перилах, как мальчишка, а мы отвечай за твою сломанную голову? Нет, милая, пусть папаша твой явится. Мамашу можешь не беспокоить, мамаша тут только охает и ахает, а толку никакого. Для нее ты малокровненькая, бледненькая и слабенькая, а для нас ты озорница, форменный атлет. С первого дня такие фокусы устраиваешь. Вот, получай!

Тоненькая девочка ушла, неся записку в отставленной руке, как жабу. Лишь только когда за нею затворилась дверь, Оля решилась поздороваться с Марией Павловной, и только тут Мария Павловна заметила Олю.

— А, Колосова! — сказала она тоном совсем иным, чем тот, каким отчитывала тоненькую девочку.— Слышала, слышала, что моя бывшая ученица будет моим коллегой! Что же, теперь надо говорить тебе, Оленька, «вы» и называть вас по имени-отчеству. Если не запамятовала, твоего отца зовут Павлом Петровичем? Вот и отлично: Ольга Павловна! А ведь неплохо звучит, товарищи! — Обращаясь к незнакомым Оле учителям, она сказала: — Знакомьтесь, пожалуйста. Наш новый преподаватель истории — Ольга Павловна Колосова. Была Оля, Ольга, Оленька, просто Колосова. А вот — Ольга Павловна!

Мария Павловна умолкла и долго не произносила ни слова, уставясь глазами в тетрадку, из которой только что был вырван листок для записки к отцу тоненькой девочки. О чем она думала? Может быть, о том, как в один прекрасный день сама она из Маши, Манечки, Машутки стала вдруг Марией Павловной, и этим закончились ее детство, отрочество и юность, и началась жизнь, в которой и радости и горести были уже совсем иными, чем в ту пору, когда ее звали Машей, Манечкой, Машуткой.

Мария Павловна грузно поднялась со стула, подошла к Оле, провела рукой по ее голове и с преувеличенной бодростью сказала:

— Желаю тебе счастья, Оленька!

Она уплыла из учительской. Учительская наполнялась учителями. Пришла заведующая учебной частью и стала знакомить с ними Олю. Затем зазвонил электрический звонок. Оля даже вздрогнула от его голоса, так резко, уверенный в своей непоколебимой власти над нею, позвал он ее в класс.

Завуч повела Олю в седьмой «А» и представила девочкам. В первые минуты класс существовал для Оли в виде пестрого пятна. Потом, вызывая каждую ученицу по списку в журнале, Оля стала различать их лица; она подумала, что этим пятнадцатилетним девочкам, среди которых были и довольно уже крупные, пышные девушки, худенькая, маленькая учительница, наверно, кажется слишком молодой. Наверняка это так, потому что они строят гримасы, конечно же выражая ими недоумение, разочарование и свое намерение не считаться с девчонкой, которая вообразила, что она взрослая и может их учить. «Посмотрим, что получится»,— читалось в глазах наиболее боевых.

Оля поняла, что ей нелегко будет утверждать свое право учить их и создавать свой авторитет. Для начала, отложив в сторону методическую разработку первого урока, на которую была потрачена целая неделя труда, она стала рассказывать о своей поездке в Новгород, о берестяных грамотах, о Гостяте, которую без средств к существованию выгнал из дому муж, о древних мостовых, о рождении новой науки. Она увлеклась, забыла о намерении бороться за свой авторитет и утверждать свое право учить этих девочек. И случилось так, что, когда зазвонил звонок на перемену, класс не сорвался с парт, как бывает обычно. Девочки сидели на своих местах, зачарованные, ожидающие продолжения рассказа.

Сидела на месте и заведующая учебной частью. Она поднялась первой и спросила:

— Ну как, девочки, интересно?

— Очень! — хором ответили десятки голосов.

Обняв Олю за талию, завуч повела ее в учительскую. По дороге она говорила:

— Хорошо, хорошо! Так держитесь и дальше. Вы правильно понимаете основной педагогический принцип: для ребенка главное то, чтобы учиться было интересно. Когда интересно, он учится хорошо, когда неинтересно, он учится плохо, играет на уроке в крестики, в перышки, вертится, задевает соседа, ищет развлечений.

Все это Оля прекрасно знала, потому что сама искала развлечений на убийственно нудных, тягучих уроках Нины Карповны по тригонометрии, которым не было конца.

Первый день самостоятельной Олиной работы закончился. Провожать новую учительницу пошли две девочки. Они шли с Олей до самого ее дома и всю дорогу расспрашивали про новгородские древности. Оля им рассказывала все, даже то, как летели они с Варей на самолете.

Едва она вошла в дом, позвонил Виктор Журавлев и спросил, как обстоят ее школьные дела. Оля ответила, что пока очень хорошо, не сглазить бы, пусть он вместе с ней плюнет через левое плечо. Они дружно поплевали возле телефонных трубок, и Виктор сказал, что такое событие надо бы отметить, и если Оля не против, то он сейчас же, то есть через два часа, когда сдаст смену, примчится к ней. Сейчас у него идет плавка, и он только на минуту забежал в конторку, чтобы вот позвонить, потому что весь день переживал за нее: с ребятишками ра-

бота трудная, он помнит, как от него одна учительница, даже не такая молоденькая, постарше, и та плакала.

Вечером Виктор явился, как он сам сказал, в выходном виде — в новом костюме, старательно отмытый от металлургического налета, надолго въедающегося в кожу, принес бутылку шампанского, кулек яблок и коробку конфет.

Оля накрыла на стол, но они не сели, а стояли возле стола рядом, и Виктор старался откупорить шампанское. Пробка из бутылки вылетела со страшным выстрелом, оставив на потолке белую отметину. Шампанское окатило и самого Журавлева и Олю, они оба засмеялись, смахивая пенистое вино с костюма и с платья салфетками. Наливая в бокалы, Журавлев сказал:

— Не умею я открывать шампанское. Честное слово, первый раз в жизни взялся.

— Очень хорошо открыл, Витя,— сказала Оля, протягивая к нему бокал, чтобы чокнуться. Она схитрила, пронесла бокал мимо бокала Виктора, и еще дальше понесла его, и оказалась совсем лицом к лицу с Виктором, коснулась щекой его щеки...

Бокалы были отставлены.

Павел Петрович, как всегда открывший дверь своим ключом, застал Олю и Журавлева врасплох. Они стояли возле буфета и целовались. Поцелуй тянулся так долго, что Павел Петрович, потоптавшись в дверях, вынужден был кашлянуть.

Оля и Журавлев отшатнулись друг от друга. Журавлев довольно быстро сообразил, чтó произошло, он не растерялся и сказал Павлу Петровичу: «Здравствуйте». А Оля, прежде чем что-либо сообразить, долго таращила ничего не понимающие глаза и, наконец поняв, что перед нею отец, бросилась к нему на шею, принялась чмокать его в подбородок и в ухо.

Павел Петрович тщательно вытер лицо носовым платком: впервые в жизни ему было неприятно от поцелуев дочери, оттого, что его целовали губы, только что целовавшие чужого человека.

— Я, видимо, опоздал,— сказал он.

— Что ты! В самое время! — заговорила Оля.— Вот шампанское, вот яблочки.

Павел Петрович ушел в переднюю и вернулся тоже с бутылкой шампанского, тоже с яблоками и конфетами.

И снова ему было неприятно от сознания, что нашелся человек, не менее его сообразительный и точно с таким же, как у него, вкусом.

Бутылку он откупорил более ловко, чем Журавлев, — вино не ушло на костюмы и мебель; налил из нее в свой бокал, чокнулся с Олей и с Виктором и сказал:

— За твое, дочка, счастье. Ничего другого тебе не хочу. Счастье — это самое главное в человеческой жизни.

Еще чокались и еще пили. Павел Петрович наливал только себе и только из той бутылки, которую принес сам. Выпив один за другим три бокала шампанского, он подсел к роялю, заиграл одним пальцем и запел:

...Я тебя там один подожду
И на самом пороге беседки
С милых уст кружева отведу.

— Варя очень любит эту песню,— сказала Оля.

— Варя? — в раздумье ответил Павел Петрович и опустил крышку на клавиши рояля.

— Папочка,— снова сказала Оля,— скоро мой день рождения...

— Тринадцатое сентября. Счастливейшее число.— Павел Петрович улыбнулся.— Я вот тоже тринадцатый. Тринадцатый директор в институте. Счастливейший директор. — Он смеялся так, что Оля видела: смеяться ему совсем не хочется. А Павел Петрович добавил: — О твоем дне рождения я помню, можешь без намеков.

— Я вовсе не для намеков. Я просто хочу тебе предложить: давай устроим вечер. Все-таки крупная дата — столько лет, и к тому же начало моего самостоятельного труда. И небезуспешное начало. Меня сегодня очень похвалили. Урок прошел хорошо.

— Хорошо? — переспросил Павел Петрович заинтересованно.— Ну расскажи, расскажи.

Оля принялась подробно рассказывать. С интересом слушал ее рассказ и Журавлев. Изредка отпивая шампанское, он следил за тем, как со дна бокала, из какого-то одного места, наперегонки бежали кверху цепочки быстрых пузырьков.

Журавлев догадывался, что у Олиного отца неприятности: он догадывался об этом по странному поведению Павла Петровича. Он знал Павла Петровича еще по заводу, где Павел Петрович был самым уважаемым человеком

в области сталеварения, держался всегда просто, но уверенно, всех сталеваров знал по именам, любил с ними беседовать возле печей или в конторке. Журавлеву он нравился больше других инженеров. Некоторые черты Павла Петровича Журавлев пытался перенять. Журавлев, например, наслушался рассказов о точности главного металлурга и сам стремился к такой точности; это ему удавалось, но, к сожалению, никто этого не замечал.

Виктор Журавлев был из тех молодых рабочих, которые идут на смену старшим, неся множество незнакомых, неведомых и невозможных прежде навыков, черт и качеств. Старые рабочие сильны опытом, умением, преданностью своему делу; молодые — широтой познаний, стремлением к тому, чтобы учиться, учиться и учиться, не довольствуясь затвержденным на веки вечные. Он читал множество книг, читал иногда далеко за полночь, тайно от матери. Первые книги, какие он прочел, были «Как закалялась сталь» и «Овод». Потом он читал о Спартаке, о Степане Разине и Емельяне Пугачеве, о декабристах — о бесстрашных борцах всех эпох и народов. Его заявление на бюро райкома комсомола было не случайным, что он, дескать, вырабатывает и будет вырабатывать в себе отвагу и мужество. Ему нелегко было решиться голой рукой разрубить струю огненного шлака, но он решился; он решил разрубить и струю стали. И когда кипящая сталь обожгла ладонь, когда прямо в мозг ударила, как гвоздь, острая боль и когда запахло горелым мясом, у него хватило мужества не заорать, не завыть, а более или менее спокойно сорвать огненную нашлепку с руки вместе с мясом, до кости, и без посторонней помощи дойти до медпункта. Бледный, с дрожью в теле, он храбрился перед фельдшером: «Ошпарился маленько. Ожог первой степени. Смажьте чем-нибудь».

Виктор Журавлев умел размышлять, раздумывать, следил за газетами и журналами, но он никогда не лез в разговор, если его не спрашивали, не кичился своими знаниями, не выставлял их напоказ. Иной раз старики усядутся перед печью — все в ней идет нормально, можно покалякать, или, например, сойдутся в обеденный перерыв, запивая бутерброды чаем. И толкуют, толкуют, особенно по международным вопросам. И разводят они такую доморощенную дипломатию — слушать тошно. Журавлев не спорил со стариками. Зачем? Послами во

Францию или в США они уже наверняка не поедут, пусть тешатся и мирно живут и работают. Может быть, и старики хорошо относились к Журавлеву потому, что — уважительный парень.

Как он сам рассказывал Оле, у него была тяжкая драма из-за девушки, которая уехала на Дальний Восток и не захотела вернуться. Шли годы, ему казалось, что он ее все еще любит, все еще страдает по ней. Но время делало свое упрямое дело. Встретив Олю — не тогда, конечно, не на бюро райкома, где Журавлев и в самом деле подумал, что перед ним отвратительная ханжа, какие встречаются не только среди старых, но и среди молодых дев, и не тогда еще, когда она пришла к нему в цех, а позже, в пору катания на лодке, и еще позднее, бродя с нею по городу и рассуждая обо всем на свете,— он позабыл покинувшую его девушку, он влюбился в Олю, увидев, что она неизмеримо нужней ему, в миллион раз любимей, чем та девушка. Он полюбил ее горячо и нежно и, в соответствии со своим характером, романтично. Он никогда бы не осмелился ни обнять ее, ни поцеловать, если бы Оля сама вдруг однажды не обняла его и не поцеловала. Он ей был за это бесконечно благодарен, она облегчила ему великий мужской труд любовного объяснения.

Виктор следил за струйкой быстрых пузырьков в вине и думал о том, что ему очень бы хотелось быть тут всегда, с Олей и с Павлом Петровичем, что ведь он, Виктор, тоже со временем что-нибудь да будет стоить в сталеварении, и как сказать, кто поручится, не окажется ли он верным помощником Олиному отцу, если не в самой науке, то в претворении науки в жизнь, в практику, в производство. Ведь бывший заместитель Павла Петровича, Константин Константинович, уже зачислил его в бригаду, которая на днях начнет разрабатывать новый метод борьбы с водородом в слитках по идее, предложенной Павлом Петровичем.

Оля закончила рассказ о своем первом дне учительницы истории и снова задала вопрос о дне рождения.

— Хорошо,— сказал Павел Петрович,— пожалуйста, гуляйте. Только без меня. Я, видимо, староват для празднеств, хочу тишины и уединения. Ну, дорогой мой Журавлев, будьте здоровы! — Он встал и ушел к себе в кабинет. Щелкнул замок в двери.

— Что с Павлом Петровичем? — спросил Журавлев.— Что-то не в порядке? В институте? Или где?

— Разве он скажет! — ответила Оля. — Он только маме все говорил.

Они помолчали, глядя на задрапированную дверь кабинета. Потом допили шампанское, съели все яблоки и конфеты и принялись составлять план празднования дня Олиного рождения. Оля утверждала, что успех всякого вечера зависит от правильного подбора гостей. Можно позвать сто человек — и будет смертная скука. А могут собраться четверо — и умрешь от смеха, так будет весело. Это она многократно слышала от Елены Сергеевны, умевшей собирать компании, в которых всегда было весело. Но как собирать такие компании, Оля не знала, и поэтому список у нее получился длинный: то одного неудобно не позвать, то другая, если узнает, что ее не позвали, обидится.

Журавлев следил за ее карандашом. Он не возражал, когда на бумаге появлялись имена Олиных подруг, но, когда карандаш выводил мужское имя, нервничал и хмуро спрашивал: «А это еще что за тип?» Оля догадалась, что ему хотелось бы такую компанию для дня ее рождения, в которой не было бы ни одного «типа» — все бы девушки.

2

Иван Иванович Ведерников был истинным творцом, художником своего дела, артистом. В его жизни наступали такие времена, когда в мозгу зарождалось нечто новое, и в такие времена все его силы, все, что в нем было,— воля, желания, знания, — все начинало вращаться вокруг зародыша нового. Было это похоже на то, будто в его мозг, как в раковину жемчужницы, попадала песчинка, все лучшее, что было в мозгу, устремлялось к раздражителю, к этой песчинке, и она обрастала драгоценным составом, превращаясь с течением времени в жемчужину.

Человечество знает три рода творцов. Одни достигают великих целей непрерывным, упорным трудом, собранным силой воли и устремленным сквозь годы в одну точку, другие — вспышками таланта, третьи — соединением и того и другого, когда или упорный труд приводит

к ослепительной вспышке, или, наоборот, вспышка подвигает творца на упорный труд, на долгие поиски, освещает ему путь к очередному открытию.

Иван Иванович принадлежал к творцам третьего рода. Период самоотверженной деятельности, огромной трудоспособности начинался у него внезапной вспышкой; его осеняло, и, осененный, он переставал принадлежать себе; он не спал, не ел, не пил, он доходил до полного упадка физических и нравственных сил, и длилось это до тех пор, пока не созревала жемчужина, пока идея не материализовывалась, пока из туманностей, блуждавших в его мозгу, она не превращалась в вещь.

Блуждание туманностей в мозгу продолжалось иной раз долгие месяцы. Тогда жизнь Ивана Ивановича, как он сам говорил, ему не удавалась. Жена не понимала этого его состояния. Она злилась на мужа, утверждая, что идиотские математические формулы для него дороже, чем она, что он разлюбил ее, что у него завелась другая, моложе, и, понятно, глупей. У Ивана Ивановича не оставалось сил на то, чтобы опровергать эту чепуху, он возражал, но возражал вяло, бездоказательно, жена укреплялась в своем предположении насчет неверности мужа, начинались занудные семейные сцены. Две бабки — мать самого Ивана Ивановича и мать его жены Александры Александровны — подогревали, подвинчивали не в меру ревнивую женщину, которая, в общем-то, была повинна лишь в том, что, сама никогда не осеняемая яркими идеями, никогда не ослепляемая ими и всегда отчетливо видевшая все вокруг себя трезвым взором практичного середняка, не могла понять состояния своего мужа, который если и изменял ей, то только с осенявшей его идеей и ради этой идеи.

Ничего удивительного не было в том, что, когда оканчивались поиски, когда идею можно было передать в руки тех, которые превратят ее в вещь, наступал период полного упадка всех и всяческих сил Ивана Ивановича. Тут бы хорошему другу прийти к нему на помощь, позаботиться о его досуге, об отвлечении от трудных мыслей, тут бы жене похлопотать погорячей. Но вместо друга, вместо жены в такую пору к Ивану Ивановичу устремлялись те, которые называли себя его друзьями, но которых влекли к нему его деньги. У Ивана Ивановича часто бывали очень крупные деньги, в иные годы сотни тысяч; их приносили ему его технические открытия, а дважды после войны он еще получал и Сталинские премии. Иван Ива-

нович не был скопидомом, он не думал, как некоторые, что для него когда-нибудь придет то, что эти некоторые называют черным днем, он не откладывал деньги в банк, в кубышку. Этим и пользовались так называемые его друзья; они таскали его по ресторанам, льстили ему, восхваляли и славословили его. Он за них платил, он познавал им цену, он презирал их и никогда не вступал с ними ни в какие откровенные разговоры.

В эту осень, когда материализовалась новая его идея и был создан станок, в котором вместо сверхпрочных стальных резцов работали пластинки из жести, любители выпить и погулять за чужой счет вновь окружили Ивана Ивановича плотной стеной: вновь предвиделось крупное вознаграждение. Ивана Ивановича, молчаливого, угрюмого, окруженного этой группой, почти каждый вечер можно было видеть и в «Метрополе», и в «Глории», и в «Северном сиянии», и даже в пивных и буфетах.

В первых числах сентября открылась областная промышленная выставка. Станкостроительный завод совместно с Институтом металлов демонстрировал на выставке новый станок, созданный по идее Ведерникова. В день открытия на выставку приехал первый секретарь обкома партии Ковалев. С ним был незнакомый седой товарищ, как потом выяснилось, заведующий одним из отделов ЦК партии. Ковалев и товарищ из ЦК подошли к новому станку, вокруг которого в ту минуту собрались конструкторы, директор завода, Павел Петрович и несколько рабочих — монтажников и наладчиков. Секретарь обкома и его спутник заинтересовались станком. Ковалев спросил, нельзя ли запустить станок в работу.

Один из инженеров завода, изготовившего станок, положил под режущий аппарат стальной диск толщиной миллиметров в пятнадцать. Нажав ногой педаль, он включил ток, и без единого звука диск распался надвое. Инженер повернул его и разрезал еще раз, теперь уже на четыре части.

— Кто автор станка? — спросил представитель Центрального Комитета.

— Авторов конструкции много: и наше институтское конструкторское бюро, и заводское бюро,— ответил Павел Петрович.— А идею предложил Иван Иванович Ведерников. Доктор технических наук.

— Слышал,— сказал Ковалев.— Говорят, что он пьет очень. Это правда?

— Да,— подтвердил Павел Петрович,— правда.

Пришлось отойти в сторону и рассказать Ковалеву и его спутнику об Иване Ивановиче. Павел Петрович не скрыл ничего, он даже сказал и о том, как вместе с Ведерниковым пил однажды под луковицу.

— Жаль товарища, — заметил представитель ЦК. — Мог быть выдающимся ученым.

— Он и так выдающийся ученый,— уверенно сказал Павел Петрович.— Я лично его очень ценю и уважаю.

— Если он вам дорог, если вы его уважаете,— сказал Ковалев,— вы обязаны помочь ему избавиться от недуга. Если бы вам удалось найти путь к его сердцу, было бы сделано великое дело. Надо бы вашему партийному бюро, товарищ Колосов, быть повдумчивее, почеловечней. Я слыхал, вяло оно у вас работает.

Тут бы Павлу Петровичу воспользоваться случаем, да и рассказать секретарю областного комитета партии все, что он думал о Мелентьеве. Но Павел Петрович не умел пользоваться случаем. Он промолчал.

Вечером он поехал к Ивану Ивановичу в Трухляевку. Иван Иванович спал в комнатке за русской печкой, отгороженной от горницы матерчатой занавеской. Хозяйка, старая одинокая женщина, от которой пахло парным молоком, потому что она только-только подоила корову, сказала Павлу Петровичу, что лучше бы он не будил ее постояльца, что таких постояльцев днем с огнем не сыщешь; видно, сам бог ей такого послал: и тихий, и душевный, и в карты с ней зимним вечерком в дурачки сыграет, а как выпьет, да за гитару возьмется — вот на стене висит, от покойного мужа осталась,— да запоет, обревешься вся, слезами уплывешь, так тебя за душу схватит.

Они вышли на улицу. Было холодно. Павел Петрович поплотнее запахнул пальто и сел на скамейку у ворот. Села и хозяйка. Разговорились. Она рассказала о том, как к ее постояльцу приезжают по очереди две глупые старухи и еще не старая, красивая, но не так чтобы тоже дюже умная его жена. Старухи жалуются ему друг на друга и на жену. Он все слушает их, слова не скажет, потом выдаст несколько сотенных, а старухам только того и надо. У жены в деньгах недостатка нет, ни на кого она не жалуется, только, укоряя его, плачет, кидается в него разными предметами, кричит, что знает, почему он тут живет, что к нему сюда девки какие-то его лаборантки бегают и что я — это про меня-то, товарищ дорогой, поду-

майте только! — кричит про меня, что я старая сводня и по мне исправдом скучает. Вздорная баба, непутевая. Правильно сделал он, что ушел от такой.

Досидели до полной темноты. Прежде чем уехать, Павел Петрович вернулся в дом и посмотрел, не проснулся ли Иван Иванович. Но тот по-прежнему спал на деревянной самодельной кровати, подсунув под щеку сложенные руки, спал тихо и спокойно, и, может быть, в его мозг уже запала песчинка новой идеи. Наступит час вспышки, и потом пойдут месяцы исканий, сумасшедшего, напряженного труда. Может быть, это последние дни или даже часы его свободы от добровольно носимых вериг любимой науки. Сколь же верен он своей науке, сколь сладостно то удовлетворение, какое дает она ему в конечном счете, если он во имя ее живет, оставленный всеми, вот в этой конуре, где шаткий столик с вспузырившимися над ним обоями, за которыми шуршат тараканы, и на столике ученическая чернильница-непроливайка и несколько школьных тетрадей в серых обложках. «Я дам ему рекомендацию в партию,— сказал себе Павел Петрович.— Как только исполнится год нашей совместной работы, непременно напишу ее. Пусть делает с ней что хочет».

На следующий день он выбрал время посетить городскую квартиру Ивана Ивановича. Это была отличная, просторная квартира в новом доме, на солнечной стороне, с лифтом, с ванной. Павла Петровича встретили в передней уже известные ему по рассказам две старухи. Обе они стояли перед ним, закутанные в платки.

Павел Петрович сказал старухам, кто он такой,— они обрадовались, что видят перед собой директора института; каждая старалась затащить его в свою комнату. Он выслушал обеих, убедился в том, что домохозяйка Ивана Ивановича права: в самом деле, они только и знали, что жаловаться на Ивана Ивановича, который одной из них приходился сыном, а другой — зятем, на его жену, которая для одной была дочерью, а для другой — невесткой.

Павел Петрович попытался было объяснить им, что нехорошо получилось: распалась семья; они закричали, что такой семье так и надо, пусть распадается. Потом он намекнул, что их, старух, можно было бы расселить в разные дома, дать каждой по хорошей и красивой комнате, но они снова дружно закричали, что этому не бывать, и, раз он такое предлагает, значит его подослали

хитрая Шурка или пьяница Ванька, что он их шпион, что они лучше умрут, а с места не стронутся.

Озадаченный Павел Петрович прошелся по комнатам, осмотрел прекрасный, хорошо обставленный кабинет Ивана Ивановича и с огорчением подумал о комнатке в Трухляевке, о непроливайке и отставших обоях. Кабинет занимала мать Ивана Ивановича, жирная старуха. На кожаном диване громоздились ее пятидесятилетней давности перины, повсюду были раскиданы толстые суконные юбки, какие-то непонятные изделия из розовой фланели, мотки разноцветной шерсти с воткнутыми в них спицами. И стоял душный, мерзкий запах. Павел Петрович спросил, чем это так отвратительно пахнет. Старуха сказала, что у нее болит нога и одна знающая женщина посоветовала ей натираться ксероформом, вот маленечко запашок-то и идет. Ваньку с него — смех, да и только! — с этого запаху мутило. На балконе все ночи просиживал, пока еще в Трухляевку не переселился.

В то время, когда Павел Петрович толковал со старухами, перед Иваном Ивановичем Ведерниковым у него в кабинете, в центральном корпусе института, сидел Липатов.

— Видел ваш станок, — говорил Липатов тоном величайшего знатока металлорежущих станков.— Великолепный станок с несомненным будущим. Мне, видимо, придется его популяризировать, писать о нем статью в журнал или даже отдельную брошюру. Хорошо бы нам с вами посидеть вечерок-другой, потолковать пообстоятельней.

— Извольте,— ответил Иван Иванович угрюмо.— Я к вашим услугам.

— Хорошо бы в более интимной обстановке,— продолжал Липатов.— За накрытым столом, за дружеской беседой. Вы почему-то держитесь от всех в стороне. В гости бы, например, пригласили. — Липатов добродушно засмеялся.

— Извольте,— снова сказал Иван Иванович.— Я гостей не гоню с порога.

— Хорошо бы не откладывать это в дальний ящик. Взять бы вот так, сегодня, например, сесть и поговорить.

Липатов был настойчив. Серафима Антоновна просила его во что бы то ни стало прощупать Ведерникова. «Милый Олег Николаевич,— говорила она со своей мягкой улыбкой, подливая ему в рюмку коньяку,— вы просто ве-

ликий мастер влиять на человеческие сердца. Этот ваш Еремеев Семен Никанорович — старый рабочий,— это чудеснейший человек. Замечательно, что вы отыскали такого. Я с ним просто душу отвела вчера вечером. Я люблю наш чудесный рабочий класс. У меня ведь и отец был рабочим. Я сама всю жизнь в труде: с двенадцати лет нянчила сестренку. Так вот, Олег Николаевич, пожалуйста, у меня к вам еще одна просьба. У нас, вы знаете, есть в институте такой странный человек — Иван Иванович Ведерников. Это тоже интереснейший человек, умнейший, образованнейший, это истинный талант, каких мало».— «Что вы мне рассказываете, Серафима Антоновна! Будто я не знаю Ивана Ивановича!» — «Я просто не могу удержаться, чтобы не высказать свое мнение о нем. Так вот, продолжаю. Иван Иванович несчастен. Хотелось бы с ним установить контакт. Пойдите поговорите с ним, расскажите о нашем дружном обществе. Попробуйте выяснить, как он смотрит на то, чтобы заглянуть к нам на огонек в ближайшее время. Я на вас надеюсь».

Сидя перед Иваном Ивановичем, Липатов видел, что Иван Иванович не проявляет никакого интереса к встрече с ним за накрытым столом, в дружеской обстановке. И если говорит «извольте», то вовсе не в знак согласия, а совсем наоборот — чтобы отбить желание у собеседника, напрашивающегося к нему в гости. Но Липатов не мог не выполнить поручение всесильной Серафимы Антоновны. Серафиму Антоновну нельзя было сердить. Года три назад в институте был один пылкий юноша, окончивший аспирантуру. Он пытался что-то говорить об одной из печатных работ Серафимы Антоновны, нашел в ней какую-то механическую концепцию.

Ну ему и досталось же за эту концепцию. В докладе о работе молодых научных работников института, который Серафима Антоновна взялась сделать добровольно месяцев пятнадцать спустя после наскоков на нее пылкого юноши, она так разобрала по косточкам его собственную работу и так остроумно ее комментировала, что все собравшиеся на доклад катались от смеха; пылкий юноша был уничтожен, и при встрече с ним вошло в обычай улыбаться, его уже не принимали всерьез, он как-то незаметно исчез из института.

Нет, нельзя обижать Серафиму Антоновну.

Считая, что слово «извольте» следует толковать как явное приглашение, Липатов в десять вечера нанял такси

и поехал в Трухляевку. Ведерников был дома. Он не выразил ни радости, ни удивления, ни огорчения, увидев перед собой Липатова; пригласил его сесть за хозяйский стол в горнице, полной гигантских фикусов, закрывающих собой окна, вышел, принес на тарелке поджаренную колбасу, еще тарелку с хлебом, пол-литра водки и две большие рюмки. Закончив все приготовления, сел напротив Липатова.

Липатов принялся говорить о том, как хорошо, что они встретились. Иван Иванович смотрел на него и молчал. Липатов говорил о том, как приятно жить за городом. Иван Иванович молчал. Липатов принялся поминать всяческие институтские дела. Иван Иванович молчал.

Такая односторонняя беседа длилась минут десять. Тогда Липатов, не зная, что и делать, схватился за бутылку, как за спасительную соломинку, дрожащей рукой налил в рюмки и поднял свою рюмку с возгласом: «За ваше здоровье!» Иван Иванович поблагодарил кивком головы, и они выпили. Некоторое время оба сидели молча, уставясь глазами в стол перед собой. Липатов налил снова — все повторилось точно так же, как и при первой рюмке. Снова мертвое молчание. Липатов в волнении, в растерянности налил только себе. Хмель в нем уже бродил, третья рюмка его усилила, он принялся жаловаться на то, что Иван Иванович всех презирает, ото всех сторонится, что ему на это никто не давал права.

Выпив четвертую рюмку, Липатов вдруг сказал без обиняков:

— Вы сателлит Колосова, вот вы кто! Вы утратили самостоятельность, вы у него под каблуком!

Липатов полагал, что, нанеся Ведерникову эту обиду, он заставит каменного человека хотя бы ответить ему, хотя бы произнести слово. Но Иван Иванович молчал.

Когда Липатов снова схватился за бутылку, в ней было пусто. Иван Иванович поднялся и принес новую.

Липатов уже был совершенно пьян. Он потерял контроль над собой. Он кривлялся перед Ведерниковым, выкрикивал явную чушь. Он закричал вдруг:

— Что вы из себя воображаете? Вы воображаете, что вы великий ученый? Откуда у вас столько высокомерия? Между вами и мной нет никакой разницы. Если я пьяница, то и вы пьяница! Вы хуже меня — вы алкоголик! Вам нужна смирительная рубашка!

Ведерников молчал.

Липатов в конце концов тоже онемел; он уставился на Ивана Ивановича и ждал, что же еще будет. Он наливал себе рюмку за рюмкой, выпивал и чувствовал, что земля из-под него уходит, уходит, уходит...

— Иван Иванович,— проговорил он, еле ворочая языком,— скажи, скажи одно: признай, что разницы между нами нет. И если думаешь, что есть, то какая? Какая, скажи!

— Такая,— вдруг сказал Ведерников довольно тихо, но Липатову показалось, что прямо в лицо ему выстрелили из ружья.— Такая, что я к вам в душу не лезу, а вы пришли сюда, засучив рукава, чтобы копаться в моей душе. Кто вас сюда послал? — крикнул он, ударив кулаком по столу.

Новый выстрел, теперь уже не из ружья, а из пушки, грянул в лицо Липатову. Он запрокинулся на табурете и полетел затылком в пол.

Тотчас вошла хозяйка, будто ожидавшая за дверью этой минуты, и спросила:

— Что делать-то будем? Может, вынесем на улицу?

— Что вы, Мария Федоровна, разве можно это! Холодно на улице. Надо бы в город отправить. Домой.

Хозяйка пошла к соседу, который работал в ломовой извозчичьей артели, подняла его с постели. Сосед заложил огромного першерона в огромную телегу.

За четверть века семейной жизни терпеливая жена Липатова, Надежда Дмитриевна, сотни раз, в самых разнообразных видах, встречала своего мужа по ночам возле ворот. Кто только его не приводил и не приносил, каким только транспортом Олег Николаевич не возвращался в лоно семьи,— но еще ни разу не доставляли его на телеге, на которой возят дрова, навоз и утильсырье.

3

Наступило тринадцатое сентября.

Оля долго думала, кого же ей позвать себе в помощь, она одна не могла управиться с таким трудным делом, потому что гостей было приглашено двадцать три человека: подруги и друзья по институту, по комсомольской работе, даже еще по школе. Она звонила то одной, то другой, то третьей, — у всех были дела, все не могли днем, все отвечали: если вечером, то пожалуйста, сколько

угодно, а днем, извини, времени нету. Лучшей из всех возможных помощниц была бы, конечно, Варя, и возьмись за дело она, Оля из хозяйки неизбежно превратилась бы в ее помощницу, но и Варя до положенного часа не могла покинуть завод.

Совершенно случайно, но в полной безнадежности перебирая списки телефонов, Оля натолкнулась на номер телефона Люси. Она давно не виделась с Люсей, ей было известно, что месяца полтора назад Люся родила — в институте сказали — мальчишку. Оля все время собиралась навестить Люсю, но где же ей было в такую пору отказаться хоть один раз от встречи с Виктором во имя чьих-то мальчишек!

Оле пришло в голову: а не позвонить ли Люсе и не пригласить ли ее на день рождения? Хотя Люсе, наверно, надо сидеть дома с ребеночком. Вот Оля ее и спросит обо всем. Интересно узнать, как Георгий отнесся к появлению ребеночка.

Оля позвонила. Ответил Георгий. Оля довольно сухо поздоровалась с ним, попросила позвать Люсю. Георгий сказал, что не может позвать, потому что Люся кормит сына.

— Ольга,— говорил он, и Оля не без удивления слышала в его голосе нотки радости,— до чего это забавно, Ольга! Неужели мы все таким вот способом питались, а?

— Мне кажется, что да, Георгий,— ответила Оля.— Ты извини, пожалуйста, но я побоялась поздравить тебя. Неизвестно ведь, как ты смотришь на рост своей семьи. Может быть, что еще одна обуза, и, может быть, она тоже сковывает твою индивидуальность...

— Брось, Ольга! — перебил Георгий.— Не надо нотаций. Лучше поздравь.

— Поздравляю от всей души!

— Ну, спасибо, спасибо. Вот передаю трубку, Люська рвет из рук.

— Оленька! — заговорила Люся.— Я тебе звонила сто раз, тебя никогда...

— Люсенька, я тебе все потом объясню! — закричала Оля, перебивая.— А сейчас прими сто сорок тысяч поздравлений! Я за тебя очень-очень рада. Хочу тебя очень видеть и ребеночка твоего хочу видеть. Как странно: у тебя — ребеночек! Значит, какие же мы стали взрослые, Люсенька... Время идет, и я прошу тебя учесть, пожалуйста, что тринадцатого сентября мой день рождения.

— Мы с Георгием непременно придем.
— Правда?
— Конечно, правда.

После того как была положена трубка, Оля подумала, что с Люсиным сыном, наверно, возится Люсина мама, а у Люси, наверно, есть свободное время, и, может быть, попросить Люсю хоть немножечко помочь ей в такой трудный день.

Она снова позвонила Люсе, Люся сказала — хорошо, она поможет, но дело в том, что сына полагается кормить по часам и поэтому она придет к Оле вместе с ним: там у вас ведь есть где его положить, чтобы не упал.

И вот они пришли все втроем: Люся, которая стала снова стройной, веселой, без всяких пятен на лице, Георгий и их сын. Сына нес Георгий, нес довольно легко.

— Привык,— ответил он на Олин вопрос.— Каждый день вожусь с Митькой. Еще маленько, и дело руководства младенцами я изучу так, что смогу писать популярные брошюры «В помощь молодым отцам». Однажды... было дело в воскресенье... Люська мне его подбросила и сбежала куда-то по магазинам. Я-то, лопух, не знал куда, я думал, на минутку. Стою, стою во дворе вроде дурака. Ни Люськи, ни тещи. Три часа так промыкался. Уж надо мной и смеялись, и потешались, и сочувствовали мне. Жуткое было дело. Парень-то ревет, а я что могу? Ничего я не могу. Одна женщина предложила: разрешите, говорит, молодой человек, я дам ему свою грудь, я кормящая мать, жалко смотреть, как вы оба изводитесь. Тоже, видишь, нашлась! Дам я ей кормить нашего Митьку неизвестными продуктами. Ну Люське и попало!..

Он рассказывал это, пока Люся в Олиной комнате, на Олиной кровати, разворачивала Митьку и меняла ему пеленки. Оля и Георгий стояли в дверях. Оля отвела Георгия по коридору в сторону и спросила:

— Тебе это не мешает? Тебя не тошнит?

Он виновато поскреб за ухом, попросил:

— Не вспоминай, не надо, Оленька. Все же мы бываем время от времени дураками.

Оля подумала о том, насколько был прав Федор Иванович, когда давал ей совет не спешить с выводами и мерами по отношению к Георгию, когда говорил о том, что надо подождать, может быть, еще придет дружба к этим молодым супругам.

Но больше, чем умение Федора Ивановича заглядывать в будущее, Олю поражали Люсины выдержка и громадный ее такт. Оля еще не могла в полной мере оценить, какой серьезный жизненный экзамен выдержала Люся. У Оли не было опыта для такой оценки. Она только могла в слабой мере судить об этом.

Да, Люся выдержала большое испытание. Был момент, когда ее семья, ее любовь держались менее чем на волоске — они держались на паутинке. Одно неловкое движение — паутинка бы оборвалась, и оборвалась навсегда. Но Люся не сделала ни одного неловкого движения, ни разу никому никогда она не пожаловалась на Георгия, ни разу и ему она не выразила недовольства своей судьбой. Быть такой ей помогла ее любовь. Не опыт, не советы матери — только любовь вела ее через притихшее перед бурей море, каким до рождения ребенка была их жизнь с Георгием. Она как чувствовала, что надо дождаться появления на свет этого ребенка, и если тогда ничто не изменится, то, значит, не судьба, значит, Георгий и она расстанутся. Случилось так, что ребенок, сын, привел Георгия в полный восторг, вместе с ним вернулись и любовь Георгия к Люсе, и его дружба — всё.

Георгия было не узнать. Оля и Люся хлопотали в кухне, а Георгий расхаживал по комнатам с Митькой на руках, пел ему, трынькал на рояле, включал приемник, изображал крики каких только знал птиц и животных.

Соединенными усилиями к шести часам управились со столом. Стол был накрыт великолепно, почти так, как бывало при Елене Сергеевне. Можно было встречать гостей.

Первым гостем оказался Виктор Журавлев. Он приехал прямо с завода, куда, на удивление своих товарищей, явился в то утро разодетый в самое лучшее. Он отдал Оле плотный пакет, сказал: «Подарок. Поздравляю». Оля познакомила его с Люсей и с Георгием. Не выпуская из рук Митьку, Георгий повел Журавлева в кабинет Павла Петровича; они принялись там курить и о чем-то рассуждать. А Люся, пока Оля развертывала пакет, успела шепнуть: «Симпатичный товарищ. Рука у него действительно мужская, и глаза умные». Оля слушала это с гордостью и с ревностью: «Ну и Люська! Уже и руки и глаза успела разглядеть». В пакете была старинная книга в темном кожаном переплете, от нее пахло

давними временами. Это было руководство для молодых женщин как держать и вести себя, чтобы всю жизнь прожить счастливо. «Смотри какой! — удивилась Люся.— До чего же редкую книгу достал! Она, наверно, рублей пятьсот стоит, а то и больше».

Для Оли эта книга была дороже всех миллионов земного шара, потому что на первом листе этой книги рукой Журавлева было написано: «Я тоже хочу читать эту книгу, с тобой вместе, всю жизнь, никогда не расставаясь. Виктор».

Оля прижала книгу к груди, коснулась губами ее переплета. Она даже не услышала нового звонка в передней.

Это пришла Варя, которая тоже принесла Оле какой-то пакет, обняла ее, поцеловала. Варин пакет Оля развертывать не стала, он был оставлен на диванчике в передней.

После восьми часов звонок почти не умолкал. Шли Нина Семенова, Тоня Бабочкина, Коля Осипов с женой. Маруся Ершова прийти отказалась: она все еще враждовала с Ниной Семеновой.

Нина Семенова привела студента пятого курса; он был моложе ее года на три; Нина смотрела на него с обожанием; больше ни на кого она и не смотрела, а он был толстый, с глупым лоснящимся лицом и, видимо, считал себя красавцем, потому что все время принимал картинные позы. На то, что он придет с Ниной, Оля согласилась, лишь бы не обидеть Нину.

Во время самой большой толкучки в прихожей принесли телеграмму от Кости, который поздравлял сестренку и жалел, что не может приехать.

Когда сели за стол, оказалось, что гостей не двадцать три, а все двадцать семь. Варя сказала, что ведь, наверно, еще и Павел Петрович придет. «Нет,—ответила Оля.— Он поздравил меня утром, подарил вот эти часы и сказал, что не хочет мешать молодежи». Варя очень расстроилась. Все время повторяя себе, что не должна больше с Павлом Петровичем встречаться, она шла на Олин день рождения только для того, чтобы увидеть его, его, его, и никого больше. Если его не будет, то и ей тут делать нечего. Она не видела и не слышала происходившего за столом, она механически отвечала на вопросы, обращенные к ней, за что-то кого-то благодарила, подымала бокал, и все было как в густом тумане.

Первую речь сказала Люся. Она сказала, что Оля хорошая девчонка и что, хотя хороших девчонок на свете немало, их все равно надо беречь, холить и лелеять, и вот за одну из них надо еще и выпить и крепко ее поцеловать. Она отпила немножко шампанского, потому что больше ей было нельзя — кормящая мать! —и поцеловала Олю. Кричали «ура», подруги тоже целовали Олю; под общий шумок исхитрился чмокнуть ее в щеку и толстый студент. Оля вытерла щеку салфеткой и взглянула искоса на Виктора. Виктор почему-то сидел очень далеко от нее. Он видел выходку толстого студента, глаза у него сделались злые. Заметив это, Оля еще яростнее принялась тереть щеку, думая, что так Виктору будет приятней; лицо ее выражало крайнюю брезгливость и негодование.

За столом болтали, кричали, разговаривали все враз, просили слова,— было так, будто еще в институтские времена, потому что большинство Олиных гостей, кроме Журавлева, Коли Осипова, Вари и еще двоих-троих, все еще не вступили в самостоятельную жизнь, все еще учились, если не в институтах, то в аспирантуре или на каких-нибудь курсах. И еще не многих из них жизнь взяла в оборот, подобный тому, в какой она брала Люсю и Георгия, и они еще не расстались с юностью; юность еще стояла за их плечами, чудесная и хмельная, как весна, она дергала их за языки, подымала со стульев, бросала друг другу на шею.

— Товарищи, товарищи! — долго и упорно просил слова Георгий, и когда кое-как утихли, он заговорил: — Дело в том, товарищи, что все мы еще мальчишки и девчонки, так сказать, ученички. А вот Ольга Павловна Колосова — учительница! Это устанавливает должную дистанцию между нами и ею. Поэтому болтать что попало в присутствии Ольги Павловны я вам не рекомендую. Я расскажу лишь одну историю. В институте физкультуры был преподаватель плавания. Это был выдающийся мастер своего дела. Он подготовил сотни отличных пловцов. В специальном зале его ученики всю зиму отрабатывали соответствующие плавательные движения, он помогал им шлифовать каждую тонкость этих движений, потом он пускал их в бассейн, потом дальше — в реки, в озера и в моря. Они плавали и прославляли своего великого учителя. Но вот однажды учитель нечаянно упал в воду. Ученики ждут, когда он появится на поверхности. Его все нет и нет. Минута прошла, две прошли, семь.

Кто-то сказал: ну и легкие у Семена Семеновича, столько выдерживает! А потом его достали водолазы. Он утонул. Учитель плавания никогда до этого не бывал ни в какой иной воде, кроме как в банной, и совершенно не умел плавать.

Все засмеялись, а Георгий закончил:

— Главное для учителя — не самому уметь делать то, чему он учит, а уметь учить других это делать!

— Это что — намек? — воскликнула Оля.—Может быть, я, по-твоему, не знаю истории?

Все опять засмеялись, и в этот момент в дверях раздался голос:

— А тем временем ваши пальтишки, шляпки и зонтики грузят в грузовики. Двери-то не заперты.

В столовую вошел полковник Бородин. Он был в гражданском костюме — в просторном пиджаке и вышитой холщовой косоворотке, брюки засунул в голенища сапог и походил так на председателя богатого колхоза. Боже, как только она, Оля, могла позабыть о дяде Васе! Как это могло случиться? А он, когда она к нему подбежала и бросилась на шею, сказал, смеясь:

— Известно, что добрым друзьям специальных приглашений на день рождения не посылают. Добрые друзья сами должны о нем помнить. Сейчас еще тетя Катя приедет. Она за тортом отправилась.

— Зачем? Какие торты? — заволновалась Оля, отыскивая Бородину место за столом. — Тортов у нас вполне хватает.

Бородин сел за стол. Олины друзья, которым она не раз рассказывала всякие его похождения, в том числе, конечно, и историю того, как он был актером, смотрели на него с интересом, симпатией, некоторые просто с восхищением.

— А батька где?— спросил Бородин.

— Папа у Федора Ивановича. Сказал, что не хочет нам мешать.

— Ерунда! Как это вам не мешать? Будем мешать! — Он ушел в кабинет и долго не возвращался. Он куда-то звонил, кому-то что-то приказывал. Потом он сам отворил на звонок своей жене Екатерине Александровне, несколько томной, и когда Бородина с ней не бывало, то и жеманной актрисе местного театра драмы. Вместе с ней он вернулся в столовую, шепнул Оле: «Закусок готовь! Сейчас еще троечку гостей подбросим». Но закусок готовить

было не надо, потому что приехавшие вскоре Павел Петрович, Федор Иванович и Алевтина Иосифовна, которые успели завернуть по дороге в магазин, привезли с собой еще добрую порцию питий и яств.

За столом к этому времени было уже так шумно, что пора было вносить организующее начало, иначе гостям грозила опасность охрипнуть и оглохнуть. Коля Осипов предложил спеть.

— Вот правильно, товарищ секретарь райкома комсомола! — одобрил Федор Иванович.— Массовое мероприятие сплачивает. Узнаю боевого организатора.

— Ну, а что же еще придумать, Федор Иванович? — Коля Осипов смутился. Он никак не ожидал, что когда-нибудь окажется за одним столом с секретарем райкома партии да еще будет с ним чокаться рюмками.

— Да нет, правильно, правильно. Мы это твое предложение сейчас утвердим и запротоколируем. А что споем-то?

— Давайте студенческую прощальную! — крикнула Тоня Бабочкина, у которой узкий шрамик шел через щеку от уха к уголку рта—это был шрам войны. Тоня маленькой попала с матерью в бомбежку.— «Город спит уже давно»,— добавила она.

— Давайте.

За столом запели. В песне были такие слова:

Станут уезжать друзья,
Наши песни увозя,
Провожать их выйдем на перрон.
И в далеких городах
Будут им светить всегда
Огоньки студенческих времен.

Песня была лиричная, и Павел Петрович с удовольствием отметил, что она нисколько не похожа на те шумные песни, которые он слышал летом в пригородном вагоне. Эту песню знали только Олины друзья по институту, остальные слушали и старались подпевать, большей частью — невпопад.

Потом еще пели—и все студенческое. Павел Петрович, Бородин, Екатерина Александровна, Федор Иванович и Алевтина Иосифовна ушли в кабинет. Варя сидела в столовой за столом, одинокая, бледная; она не выпила ни глотка; у нее холодело сердце и горела голова. Она чувствовала себя за этим столом чужой, никому не нужной, глупой со своими идиотскими страданиями, нелепой.

Но она не могла подняться и уйти, у нее не было сил для этого, она сидела, пригвожденная к стулу.

Неловко чувствовал себя в незнакомой компании и Виктор Журавлев. Он неотрывно следил за Олей и ревновал ее ко всем, к кому она подсаживалась, кому шептала на ухо, обняв за плечи рукой. Журавлев только и ждал того, как бы поскорее закончился этот страшный для него вечер.

Нина Семенова о чем-то очень старательно упрашивала своего толстого студента. Развалясь на стуле, он принимал позы восточного принца и отрицательно мотал головой. Наконец Нинины мольбы были, видимо, услышаны,— она постучала ножом о тарелку и сказала:

— Сейчас Стасик споет одну замечательную песенку. Просим!

Раздались хлопки в ладоши, и великовозрастный Стасик запел, как дедушка Оли говорил в таких случаях, бланжевым голосом о том, что, мадам, уже падают листья, и осень в багряном цвету, уже виноградные кисти созрели в заглохшем саду, и вот вы мне дали слово, и я вас жду, как сна золотого. На что мадам отвечает, что она уже никогда к нему не придет, потому что слишком долго собиралась.

Нина слушала своего певца с восторгом на лице, лишний раз утверждая правило, согласно с которым каждой воробьихе кажется, что ее воробей не чирикает, а поет.

Потом запели партизанскую песню. Заслышав ее, из кабинета вышел Бородин, постоял в дверях, подтянул. Когда песня была закончена, он спросил:

— А кто из вас, братцы, на рояле играет?

Получилась неловкая заминка. Нина Семенова сказала, что в детстве училась, но недоучилась, может только гаммы. Толстый студент сказал, что умеет играть собачий вальс и еще фокстрот «Рассвет над Миссисипи», и то не очень, но, в общем, ребята в общежитии под его музыку танцуют.

— Эх, эх! — сказал Бородин и обернулся к дверям кабинета: — Федор Иванович! Выйди, дорогой мой. Ты где музыке-то учился?

— Да ведь где? — ответил Макаров, появляясь в столовой.— В пионерских да комсомольских клубах... Сидишь там, тренькаешь одним пальчиком, пока не выгонят. — Он сел к роялю. — А что сыграть-то?

— Федор Иванович! — набралась смелости и попросила Варя.— Спойте, пожалуйста, про калитку. Очень, очень прошу вас!

— Ну, девушка просит...— Бородин развел руками.— Нельзя, Федор Иванович, отказывать. Надо, надо спеть!

Федор Иванович запел, ему помогали Павел Петрович и Алевтина Иосифовна:

Отвори потихоньку калитку
И войди в тихий сад ты как тень,
Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку надень...

Нет, ничего бы Варя не позабыла, нет, лишь бы вот так позвал он ее, лишь бы, лишь бы... Она бы птицей прилетела в этот сад, ее никто бы не увидел и не услышал, только он, только он, он...

Варя не заметила, что поют уже не ее песню, что ее песня кончилась и на смену пришла другая. Пел Бородин. Он пел грустное-грустное, а Федор Иванович подбирал для него музыку.

На опушке леса
Старый дуб стоит,
А под этим дубом
Партизан лежит.

Он лежит, не дышит,
Он как будто спит,
Золотые кудри
Ветер шевелит.

Перед ним старушка,
Его мать, сидит
И, роняя слезы,
Сыну говорит:

— Я ли не растила...
Я ль не берегла?
А теперь могила
Будет здесь твоя...

— Идет эта песня за мной всюду,— сказал Бородин, закончив.— Впервые услышал я ее среди ночи в тысяча девятьсот сорок третьем году в Кенигсберге.

Все умолкли. Тысяча девятьсот сорок третий год в Кенигсберге? У многих холодок прошел по спине. Где же это среди ночи, страшной, военной ночи, в глубоком вражеском тылу советский разведчик слышал партизан-

скую песню? Может, пели ее советские люди, которых вели на расстрел? Может, пленные в душных бараках? Бородин не сказал, а расспрашивать его не стали.

Потом запели другую песню, которую начали старшие. Они пели:

Там вдали, у реки,
Засверкали штыки,
Это белогвардейские цепи.

Пели про Буденного и про Ворошилова, пели «Варшавянку», пели множество хороших песен, которые хватали за душу, волновали, куда-то звали, вели. Молодежь с увлечением подтягивала; даже ревнивый Журавлев оживился, песни старших ему очень понравились.

Наконец старшие устали и снова ушли в кабинет. Тем временем в столовой отодвинули в сторону стол и стулья, завели радиолу, и начались танцы.

В одном из перерывов меж танцами вновь появился Бородин и сказал, показав рукой на ящик радиолы:

— Вот, ребята, за такую штуку лет тридцать назад мы бы головы свои сложили. Хотите, расскажу историю!

— Очень!

— Хотим! Просим!

— Было это в гражданскую войну,— заговорил он, раскурив папиросу,— на одном из южных фронтов против белых. Мы сидели на берегу реки в окопах, противник сидел на другом берегу, тоже в окопах. Между нами, поскольку дело было зимой и держались крепкие морозы, речка лежала подо льдом. Живем мы, говорю, в окопах, зябнем, проклинаем белую сволочь. Совались наступать — косят нас на открытом льду из пулеметов. Совались, конечно, и они — мы их косили из пулеметов. Иной раз вместо пулеметов выходили на снег наши агитаторы, пытались объяснить белым солдатам положение. Толку от этого было мало. И вот однажды привозят к нам в политотдел дивизии граммофонные пластинки. На пластинках... что́ бы вы думали? Речи самого товарища Ленина. Одна называлась «Что такое Советская власть?», другая — «Обращение к Красной Армии». Вот у нас все и задумались, как бы так сделать, чтобы и самим эти речи услыхать, да и тем заречным паразитам дать послушать? Ведь слова-то, слова — ленинские! Не могут такие не пробрать до сердца.

Бородин налил себе в бокал нарзану, выпил и продолжал:

— Туда-сюда кидаемся, что делать — не знаем. Граммофона-то нету у нас. Подумали да и снарядили кавалерийский рейд. Прошли наши конники сто восемьдесят километров по своим селам, в тылы к противнику где-то на фланге ворвались, шестерых убитыми оставили, троих еле отходили — и что же? Граммофон добыли. Нашли его у какого-то кулака и привезли в дивизию. Целую неделю говорящая машина ходила по окопам, по землянкам, по избам — везде и всюду слушали наши ребята замечательные слова Ильича. Здóрово получалось! Живой Ленин, да и только! Ясно так, отчетливо. Потом, когда сами наслушались, выбрали наши политотдельцы ночку потемнее, поспокойней, чтобы ни ветра не было, никаких иных помех, и в жестяную трубу объявили противнику, что будем им передавать речь товарища Ленина. Выставили граммофон на бруствер, прицелились трубой на ту сторону и завели. На той стороне, верно,— полная тишина, тоже замерли, тоже слушают.

Бородин снова отпил глоток нарзана.

— Слушают, говорю, и ничего не слышат. Беда получилась полнейшая. Слабый граммофон. Только звук долетал за реку, а слов не разобрать. Поставили мы другую пластинку — опять то же: нам слышно, им нет. Тогда с их стороны стали покрикивать: «Громче давай! Какого лешего вы там! Налаживайте!» А что мы наладим? Это же не такая техника.— Бородин провел ладонью по ящику радиолы.— Горюем. Но вот один парень... был у нас такой орел, Шурка Подковкин. Он и предложил: «Вот что, говорит, буду-ка им все объяснять своими словами. Только, пожалуйста, разрешите». Ему разрешили. Он вылез на бруствер и спросил в жестяную трубу на ту сторону: «Эй вы,— кричит,— субчики! Я вам берусь в точности все разъяснить, что товарищ Ленин говорит. Вы меня не укокаете?» — «Нет,— кричат,— вылазь и объясняй, не укокаем». Шурка поправил на бруствере граммофон, встал рядом, как на митинге, и давай объяснять. «Вы что же,— кричит,— советской власти, гады, не верите? Чтó товарищ Ленин говорит, дери вас за ногу? Пусть вам пусто будет, говорит, мы мол, и сами знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Она, говорит товарищ Ленин, не излечивает сразу от недостатков прошлого. Зато, разрази вас гром, дает пол-

ную возможность переходить к социализму». Ну, скажу вам, на той стороне слушали не дыхнув, не кашлянув. Стрелять, конечно, не стреляли. В передовых окопах — кто? Офицерья не было, одни солдаты. И скажу вам, товарищи, речь Ильича в Шуркиной передаче дошла до них полностью. Наутро восемнадцать молодцов перебежало на нашу сторону. Вот, ребята, какая штука! Ну, теперь танцуйте!

Танцевать почему-то больше никто не захотел. Смотрели то на Бородина, то на радиолу. Первым задал вопрос Виктор Журавлев:

— Скажите, пожалуйста, товарищ полковник, а эти речи товарища Ленина сохранились на пластинках?

— А как же! — ответил Бородин.— Сохранились!

— Вот бы послушать!

— Хочешь? — спросил Бородин. — Могу устроить.

— Еще бы не хотеть!

— Ну тогда прошу немножко обождать.

Бородин ушел в кабинет, позвонил домой матери жены, позвонил в гараж шоферу, и через двадцать минут в столовой, где еще не успели накрыть стол к чаю, появился черный ящик, наподобие тех, в которых хранят пишущие машинки.

— Ну, ребята, тут у меня немало ценностей,— сказал Бородин, щелкая замком.— Чьи бы вы еще хотели услышать голоса? Вот этот вас не заинтересует? — Он поставил одну из пластинок, не дав никому прочесть надпись на ней. Зашипела иголка, возник высокий старческий голос. Невидимый старик говорил: «Растут люди только в испытаниях».— Ну кто это, угадайте? — спросил Бородин, и так как никто даже и не пытался угадывать, он сам ответил: — Лев Толстой. «Мысли на каждый день». А вот еще слушайте.— Кто-то стал читать стихи, как их читают все поэты, с подвыванием.— Это Валерий Брюсов,— пояснил Бородин.

Потом густым крепким голосом начал читать рассказ Куприн. Отрывок из «Записок врача» прочел Вересаев. В репродукторе радиолы возникали голоса шлиссельбуржца Морозова, Леонида Андреева, иных писателей, поэтов, общественных деятелей. Голоса подымались из толщи времен, они звучали так же, как многие-многие годы назад. Минувшее оживало. Олины гости сидели завороженные, потрясенные, взволнованные. Когда кончалась одна пластинка, они просили ставить новую.

Бородин исполнял их просьбы. Вот он поставил еще одну пластинку, и загремел звонкий, зовущий голос, страстный и пламенный:

— Если Маркс говорил, что «призрак коммунизма бродит по Европе», то теперь уже коммунизм не призрак, а могучая реальная сила, он находит свое воплощение в СССР — цитадели мировой революции...

— Киров! — воскликнул Павел Петрович.— Мне приходилось его слушать.

Он стал рассказывать о том, как и когда слушал Кирова, увлекся, незаметно перешел на воспоминания о годах индустриализации, строек и преобразований.

— Прошу прощения! — сказал вдруг, спохватившись.— Я, кажется, тоже оказался тут вроде пластинки. Выключайте, пока не поздно. А то разговорюсь — не остановите.

— А вот еще,— сказал Бородин и поставил новую пластинку, и, когда зазвучал спокойный тихий, но ясный голос, теперь уже не только Павел Петрович — все закричали: «Сталин! Сталин!»

Да, это говорил Сталин, он докладывал съезду партии о работе Центрального Комитета.

— Ну, а теперь то, что я обещал тебе,— сказал Бородин, оборачиваясь к Журавлеву.— Слушайте, товарищи, Ленина!

Ленинский голос как бы ворвался в квартиру Колосовых. В нем было движение, порыв, устремленность сквозь десятилетия в далекое будущее.

— Мы хорошо знаем,— говорил великий Ленин,— что у нас еще много недостатков в организации Советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма. Но зато она дает возможность переходить к социализму. Она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся и потому — верный и потому — непобедимый.

Хотелось аплодировать, едва была закончена эта замечательная речь. Хотелось бы еще и еще слушать ленинский голос. «Как хорошо придумал дядя Вася,— сказала себе Оля.— Какой он выдумщик!»

Даже Варя позабыла о своих душевных страданиях, даже она отдалась власти великих голосов, долетавших из прошлого, но зовущих вперед.

— В заключение я вам поставлю вот эту пластинку, специально для вас, для молодежи. Решайте сами, кто говорит и о чем он говорит.— Бородин запустил диск. Послышался голос глухой, с придыханием, узнать его было, конечно, невозможно, никто его прежде не слыхал. Но текст не оставлял никаких сомнений. Оля тихо спросила:

— Из романа «Как закалялась сталь»? Может быть, это сам Островский читает?

Бородин кивнул утвердительно.

Николай Островский читал из своей книги:

— Корчагин обхватил голову руками и тяжело задумался. Перед его глазами пробежала вся его жизнь, с детства и до последних дней. Хорошо ли, плохо ли он прожил свои двадцать четыре года? Перебирая в памяти год за годом, проверял свою жизнь, как беспристрастный судья, и с глубоким удовлетворением решил, что жизнь прожита не так уж плохо. Но было немало и ошибок, сделанных по дури, по молодости, а больше всего по незнанию. Самое же главное— не проспал горячих дней, нашел свое место в железной схватке за власть, и на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови.

Черный диск перестал вращаться, а все — и молодые и старые — сидели и думали. А как прожита их жизнь? Не проспали ли они великих дней строительства социализма? Если не кровь на знамени, то хотя бы несколько кирпичей в здании прекрасного будущего или несколько строк об их заслугах перед народом останется ли в летописях великих дней? Были они в эту минуту беспристрастными судьями самим себе. Даже Нина Семенова и ее Стасик оторвались друг от друга и тоже о чем-то думали.

Была глубокая ночь. Близилось утро. Гостям надо было покидать дом Колосовых, а покидать его не хотелось. Что-то светлое открылось им тут в эту ночь, что-то такое, от чего все они почувствовали себя единой, тесной семьей, боевым отрядом, идущим к общей цели под одним знаменем, за одними вождями. И это было так отрадно ощущать, что Варя вздохнула и подумала: «Ну что ж, это правда, надо быть сильной и не проспать великих дней».

Собираясь уходить, она зашла в Олину комнату, где оставила пальто. Тут, на Олиной постели, спал маленький

сынишка Люси и Георгия. Варя не спеша надевала шляпу, набрасывала на плечи косынку, она не заметила, как вслед за нею вошел Павел Петрович.

Произошло то, чего не ожидали ни он, ни тем более она. Стоя перед Павлом Петровичем, Варя сказала:

— Вы меня извините, Павел Петрович, но ведь может статься так, что мы долго не увидимся. Может быть, годы, а может быть, и никогда. Извините! — Она охватила его голову руками, и губы ее прильнули к губам Павла Петровича. Павел Петрович почувствовал их мягкое, нетронутое тепло...

Несмело и неловко он обнял Варю за плечи...

Оле было хорошо, вечер получился отличный, веселый, интересный. Она танцевала, смеялась, дурачилась. Слегка поддразнивала Виктора. Очень-то дразнить боялась: ревнивый.

После того как отзвучали голоса с пластинок дяди Васи, она зашла в кабинет Павла Петровича, чтобы поправить прическу. В кабинете никого не было. На улыбающуюся, разгоряченную Олю в упор смотрели глаза Елены Сергеевны. «Я очень рада за тебя, Оленька,— говорил взгляд матери.— Желаю тебе счастья. Грустно, что сегодня я не с тобой, не с вами».

У Оли закружилась голова, по щекам побежали слезы. Стараясь быть незамеченной, она коридором пошла в свою комнату. Дойдя до порога, она не поверила глазам. Ее качнуло назад. Ее отец и ее подруга обнимались.

— Варенька, что же это значит? — спрашивал Павел Петрович.— Что же будет?

— Разве я знаю,— отвечала Варя, не делая попыток высвободиться из его рук.— Я не знаю.

4

На заводе моторных лодок произошла крупная неприятность. Мало сказать, неприятность — форменный скандал, которым вынуждено было заняться бюро райкома партии.

Расследовала это дело и докладывала о нем на заседании бюро второй секретарь райкома Клавдия Романовна Быстрова, женщина лет сорока с небольшим. У нее было

приятное, приветливое лицо и совершенно белая прядка над правым виском. Эта прядка была с давних пор — сколько помнили Быстрову в городе, а помнили ее с комсомольских времен, когда она еще работала на прядильной фабрике «Работница».

Суть дела, о котором докладывала Быстрова, заключалась в следующем. На заводе моторных лодок плохо работало партийное бюро, точнее — оно совсем не работало, все его функции принял на себя слишком самоуверенный секретарь, партийный работник, не так давно вышедший из молодых инженеров. Он распоряжался, указывал, приказывал, любил подменять директора и других хозяйственников. Он был энергичен, энергичнее и самого директора, и всех директорских помощников, и такие подмены у него получались очень удачно, вовремя, впопад. Он умел многим помочь, и по производственной линии, и по бытовой; умел, например, добиться правильной организации рабочего места, улучшения условий труда; при распределении квартир в новых домах он был как рыба в воде. При его участии квартиры распределялись так правильно, что потом почти не бывало никаких нареканий и недовольств. Многие на заводе его искренне любили и уважали. Он родился организатором-хозяйственником, производственником, ему надо было быть директором, но не секретарем партбюро. Партийная работа у него заглохла, на цеховых собраниях ставились скучные, второстепенные вопросы; партбюро собиралось редко, и если собиралось, то также обсуждало второстепенные вопросы. Секретарь считал, что заседать незачем и обсуждать нечего, — надо работать. Его несколько раз вызывали в райком, обсуждали его работу на бюро райкома, он обещал, клялся все исправить, все наладить, улучшить, но ничего с самим собой поделать не мог. Естественно, возникла необходимость избрать нового секретаря, никак не пороча, конечно, и старого. Он работал честно, многое делал хорошо, многое умел, а чего не умел, то отнюдь не по злому умыслу.

Из состава существовавшего партбюро выбрать нового секретаря было невозможно. Был там, в бюро, директор завода, был начальник одного из ведущих цехов, был старый рабочий-фрезеровщик, было еще несколько товарищей, и никого из них не тронешь с места, потому что они сугубые производственники без опыта партийной работы,

им пришлось бы спачала поучиться, а тем временем партийная работа все ухудшалась бы и ухудшалась.

Бюро райкома решило порекомендовать коммунистам завода моторных лодок одного из цеховых парторгов завода имени Первого мая. Пусть товарищи посмотрят, обсудят, и если он им понравится, то изберут его своим секретарем. Заодно решили провести перевыборы всего партбюро, потому что срок его полномочий уже истекал. Всю организационную работу поручили заведующему отделом пропаганды и агитации товарищу Иванову.

И вот произошел скандал. Коммунисты завода моторных лодок в состав партбюро не выбрали ни старого секретаря, ни нового, ни тот, ни другой не получили необходимого числа голосов, голоса разделились пополам между ними. И снова в составе партбюро не было человека, который мог бы всецело принять на себя большие и трудные обязанности секретаря.

— Как вел себя товарищ Иванов на заводе? — говорила Быстрова. — Вот как, товарищи. Два дня подряд он ходил по заводу и то одному, то другому из коммунистов, отзывая его в сторону, как заговорщик, намекал, что надо бы пополнить состав бюро свежим человеком, что у райкома есть такой на примете, я, мол, на собрании его вам предложу, голосуйте за него. И товарища Иванова — совершенно понятно, что так и должно было быть, — товарищи спрашивали, почему понадобился человек со стороны, каковы будут его обязанности в партбюро. Товарищ Иванов отделывался туманными отговорками, даже не намеками, а именно отговорками.

— А что я должен был говорить? — скрипуче спросил товарищ Иванов.

— Раз уж вы разговаривали с коммунистами поодиночке, чего, с моей точки зрения, делать было не надо, — ответила ему Быстрова, — то изволили бы говорить правду. Хотим, мол, вам помочь опытным партийным работником на пост секретаря, а там смотрите сами. Вот что надо было говорить. А вы занимались мелким интриганством. И на собрании продолжали интриговать. Вы же не рассказали собранию об ошибках секретаря партбюро, вы не вскрыли их природу и суть.

— Мне так и поручено было: не компрометировать его.

— Разве вскрыть ошибки, указать на них — это компрометировать человека? — Быстрова, до этого спокойная,

стала волноваться.— Как вы рассуждаете, товарищ Иванов! Откуда у вас такие методы партийной работы?

— От вышестоящих товарищей из руководства,— твердо ответил товарищ Иванов.

— Безобразие! — сказал один из членов бюро райкома, старый коммунист, директор школы-десятилетки. — Извольте назвать мне хоть один документ, хоть одно устное выступление, исходящее от вышестоящих наших партийных организаций, в которых бы нас учили интриганству. Извольте отвечать!

— Товарищ секретарь горкома Савватеев всегда указывает на необходимость быть гибкими в партийной работе,—сказал Иванов.

— По-вашему, интриганство — это гибкость? На необходимость интриганства указывает товарищ Савватеев?

— Не на интриганство, а на то, что мы должны умело направлять мнение масс.

Федор Иванович внимательно слушал. Он спросил:

— Когда же это товарищ Савватеев вас так инструктировал?

— Секретарь горкома имеет право вызывать к себе любого работника партийного аппарата,— независимо ответил товарищ Иванов.

— Разрешите продолжать? — попросила Быстрова.— И вот представьте, товарищи, к чему привела затеянная товарищем Ивановым игра в кошки-мышки. Коммунисты, которым ничего толком не рассказали, ничего не объяснили, когда началось выдвижение кандидатур в состав нового партбюро, первым делом назвали фамилию прежнего секретаря. Ну и хорошо, и мы ничего не имели против того, чтобы он оставался в партийном бюро. Так ведь? Так. А дальше... дальше товарищ Иванов заявил, что райком считает нужным пополнить состав бюро и рекомендует товарища такого-то, вот, мол, он сидит в первом ряду. Коммунисты не понимают, зачем, почему, отчего это? Сыплются вопросы, записки в президиум. Как отвечает коммунистам товарищ Иванов? Одной совершенно таинственной загадочной фразой: «Есть мнение райкома». Ну что же, раз есть загадочное мнение райкома, у коммунистов нет оснований не доверять мнению райкома. Просят товарища с завода имени Первого мая выйти на трибуну, рассказать о себе, кто таков, что и почему, биографию, трудовой путь. Товарищ... ей-богу мне вот стало и за всех нас стыдно и перед ним, перед тем товарищем,

совестно!..— Быстрова прижала руку к груди.— В какое жуткое положение поставил этого товарища наш представитель! Товарищ вышел на трибуну, все обстоятельно рассказал, хороший товарищ, заслуженный, замечательный. Его оставили в списке для голосования. Но интрига есть интрига! — Быстрова повысила голос.— До добра она не доводит. Стали голосовать и не выбрали нашего товарища! Не поняли, зачем он был послан на завод. И виноваты мы, мы, мы! Мы не сказали коммунистам, что это их будущий новый секретарь, партийный работник с большим опытом, что, посылая его к ним, мы хотели помочь партийной организации завода. Из-за нашей скверной организации дела не выбрали, говорю, ни нового товарища, ни старого секретаря. Голоса раздробились. Такова суть дела, которое вы мне поручили расследовать.

— Кто хочет высказаться? — спросил Федор Иванович.— Или у кого есть предложения?

— Пусть сам товарищ Иванов объяснит свое поведение.

Товарищ Иванов объяснял долго, нудно, вновь и вновь ссылаясь на секретаря горкома Савватеева, намекал на то, что Савватеев его ценит и зря в обиду не даст, что демократию можно понимать по-разному, что ее, в конце концов, можно повернуть и против советской власти, не успеешь оглянуться — тут тебе уже и капитализм реставрируется под видом демократии.

Его сурово и беспощадно отчитал старый коммунист, директор школы, который сказал, что демократию, о которой товарищ Иванов говорит с таким барским пренебрежением, он с оружием в руках завоевывал в семнадцатом году и вплоть до двадцать первого года отстаивал под огнем врага, не раз отдавая кровь, отдавая здоровье, что он готов и жизнь отдать за нее, что товарищ Иванов — зазнавшийся чиновник, от таких только вред и никакой пользы.

Выступили почти все члены бюро, требовали, чтобы это обсуждение, как очень поучительное, было доведено до секретарей первичных партийных организаций, и еще требовали наказать товарища Иванова за дискредитацию методов партийной работы; кто-то даже сказал: за провокационную дискредитацию.

Взял слово и Федор Иванович.

— Коммунисты должны знать все, что мы от них хотим,— говорил он.— Директивы, указания, мнения вышестоящих партийных органов они должны понимать, уяснять и выполнять с полнейшей сознательностью. Никакие магические формулы: «есть мнение райкома», «есть мнение горкома» — не помогут, если это мнение не разъяснено всем коммунистам.

Слова Федора Ивановича встречались одобрением, потому что в партийной организации района после его прихода в райком от месяца к месяцу партийная работа все улучшалась, становилась все более живой, боевой, горячей. Актив охотно помогал ему искоренять канцелярщину и бюрократизм: работники аппаратов райкома и партийных комитетов на предприятиях и в учреждениях по решению бюро были освобождены от доброй половины ранее ежемесячно собиравшихся сведений.

Савватеев вызвал было Федора Ивановича на бюро горкома и попытался дать ему взбучку. Но Федор Иванович выстоял. Он сказал, что большинство этих сведений никому не нужно, что в горкоме их попросту переписывают на другой лист бумаги и отправляют в обком, а там они идут преблагополучно в архив. Савватеев сказал: «Не ваше дело рассуждать, куда они идут,— ваше дело исполнять то, что вам прикажут». Затем Федор Иванович сказал, что если горком хочет знать положение в районе, то он, Федор Иванович, всегда, без всяких бумажек и ведомостей может рассказать об этом с полным анализом, с выводами и предложениями, что это же по своим группам предприятий и учреждений могут сделать в любое время инструкторы райкома. Освобожденные от писанины, они имеют достаточно времени для подлинного изучения жизни и ее явлений. И что будь он, Федор Иванович, на месте Савватеева, он требовал бы от секретарей райкомов не чтения докладов по бумагам, а живых рассказов и тому же учил бы своих горкомовских работников.

Савватеев на него закричал, затопал, сказал, что он, Макаров, забывается, забывает, где находится и с кем разговаривает. Но члены бюро — второй секретарь горкома партии и секретарь горкома комсомола — поддержали Федора Ивановича. И тот и другой сказали что его предложения интересны, методы работы тоже интересны, что отмахиваться от них нельзя.

Единственно, чего добился Савватеев, и то четырьмя голосами против трех, что Федору Ивановичу поставили

на вид за несвоевременное доведение своих начинаний до сведения горкома, за то, что не все из них он согласовывал с секретарем горкома.

Федор Иванович ушел с бюро горкома нисколько не огорченный этим «на вид»; он видел совсем другое: он видел, что трое из семи членов бюро горкома его поддерживают, да и из тех четверых отнюдь не все против него, а просто по инерции пошли за Савватеевым. Он думал о том, что уж слишком Савватеев много на себя берет, слишком он стал важный, важный по должности, а вовсе не по личным качествам и заслугам.

О мелкой натуре Савватеева Федору Ивановичу рассказывал один из инструкторов обкома, который говорил, что сила инерции пребывания бюрократа на руководящем посту очень велика, ее нарушить трудно, и, к сожалению, ее обычно нарушают не с низов, а сверху — вышестоящие организации, которые вдруг совершенно резонно задают вопрос низам: а что же вы там смотрели два, три, четыре года, почему сидели сложа руки и помалкивали, зная, что вами руководит безобразник. Ну и ответить нечего. Приходится чесать в затылке да каяться: вот, дескать, да, близорукость проявили, беспечность и так далее.

Федор Иванович предложил дать товарищу Иванову строгий выговор за неправильное поведение на заводе моторных лодок. Бюро его поддержало, и выговор вынесли единогласно.

Товарищ Иванов поднялся со своего места, медленно и с достоинством дошел до выходной двери, там повернулся и сказал:

— Хорошо, товарищ Макаров, мы еще посмотрим, кто из нас прав: вы или я.

5

В Олиной жизни случилось нечто не менее страшное, чем смерть мамы. Оля не знала, что думать, что делать, как поступать. В ее представлении о жизни не было места даже для намеков на что-либо подобное. Так ужасно закончился день ее рождения. «Папа, что это? Папа?» — спросила она отца, застав его в тот вечер обнимающим Варю. В этих объятиях Оле чудилось несчастье, беда, катастрофа. Павел Петрович снял руки с Вариных плеч и обернулся. «Оля?» — сказал он несколько растерянно и

прошел мимо, странный, непонятный, чужой. «Что это значит?» — спросила Оля у Вари. «Это...—ответила Варя, волнуясь.— Это... я люблю твоего отца».— «Ты?.. Папу? — шепотом вскрикнула Оля. — Неправда! Не может быть!» — «Это правда», — сказала Варя. «А он? А он?» — все так же отчаянно шептала Оля. «А он — нет».— «Но почему же... почему он тебя поцеловал?» — «Ему меня жалко. Он пожалел меня. Он ведь очень хороший. Я тебе говорила это тысячу раз».

Оля бросилась прочь из своей комнаты. Она ворвалась в бывшую мамину комнату, упала на не троганную много месяцев постель и заплакала, заплакала навзрыд, с криком, с дрожью во всем теле, со стоном. Пришла Люся, пришел Георгий и привел Виктора Журавлева. Они пытались утешать, расспрашивать — не помогало. Георгий сказал, что она, наверно, выпила лишнего. Привели Алевтину Иосифовну. Алевтина Иосифовна нащупала пульс, положила руку на сердце. «Что-то нервное, — сказала она.—Надо бы валерьянки». Нашли какие-то ландышевые капли. Алевтина Иосифовна накапала в рюмку, но Оля оттолкнула рюмку, она не хотела ни капель, ни утешений. Она не совсем еще ясно понимала, что с ней происходит, отчего это все, и только позже, ночью, когда уже никого, кроме отца, в доме не было, стала разбираться в своих чувствах и мыслях. Отец изменил маме, которая и после смерти скрепляла их семью. Костя мог долгие годы пропадать на границе, она, Оля, могла выйти замуж, у нее могли появиться дети, но семья Колосовых от этого не перестала бы существовать, ее скрепляла мама, мамина память, все то, что сделала мама для семьи. И вдруг у папы другая женщина! Это все равно кто — Варя, не Варя, все равно кто, но другая, другая! Разорваны нити, связывающие семью; их всех — Костю, Олю, папу — уже не объединяет мамина память. С маминой памятью только они одни — Костя да Оля. Вот когда они окончательно осиротели — когда потеряли отца, папу, родного папу. Какая же она оказалась подлая, эта тихая, ласковая Варя Стрельцова, как незаметно вползла она в их дом, как незаметно обвилась вокруг папы...

Оля, которая так и лежала, не раздеваясь, на постели Елены Сергеевны, поднялась. Она пойдет и все, все скажет отцу. Молчать она не будет.

Павел Петрович тоже не спал. Он лежал на диване в кабинете и курил папиросы. Рядом с диваном стояла

пепельница, полная окурков. Дым вился под потолком, вокруг настольной лампы, цеплялся за листья олеандра и филодендрона.

— Почему ты не спишь? — спросил Павел Петрович, увидев Олю в измятом праздничном платье.

Оля стояла возле стола и смотрела на отца с таким ужасом, будто видела его в последний раз, будто прощалась с ним навсегда.

— Папа,— сказала она,— зачем это все? Папа?

Он не отвечал очень долго. Потом заговорил:

— Я не знаю, какое «зачем» ты имеешь в виду, во-первых. А во-вторых, мне бы не хотелось, не хотелось, понимаешь, чтобы ты была моим судьей. Ты слишком еще молода для этого. — Отец намекал на то, что разговаривать с ней он не хочет и что лучше всего будет, если она уйдет.

Она ушла. Как на другой день прошел у нее урок, она даже и не помнила. Девочки в классе решили, что Ольга Павловна нездорова, что у нее жар. После уроков она отправилась на службу к дяде Васе. Она рассказывала ему все подряд, трясясь, стуча зубами. Он давал ей попить водички, гладил по голове. Но говорил совсем-совсем не то, чего ждала от него Оля. Он, родной мамин брат, уж который бы, наверно, должен был... нет, ничего он не понял, не захотел понимать. Он говорил Оле, что никакого преступления в действиях ее отца не видит, что она должна трезвее и взрослее смотреть на явления жизни, что человек создан для движения вперед, а не для воспоминаний о прошлом,— для человека значительно естественней думать и заботиться о будущем, но не о минувшем. И если эта Варя Стрельцова, эта симпатичная девушка, сможет Олиному отцу в какой-то мере заменить Елену, которую он, конечно, очень любил, если она, эта девушка, сумеет вновь внести в его жизнь хоть часть той радости, какую вносила Елена, если будет ему другом, помощницей, — то что же здесь плохого, Оленька? От воспоминаний человек стареет; тот, кто рвется вперед,— всегда молод.

Нет, нет, дядя Вася ничего не понял. Он резонерствовал, он рассуждал. Если он хочет знать, то на подобные рассуждения способна и она, Оля. Но рассуждать так спокойно можно лишь о том, что не касается тебя самого. Книжные мысли к собственной жизни применить невозможно. Они правильные, но что от них толку, если тебя

они все равно не убеждают и тебе от них все равно не легче.

Дядя Вася еще сказал, что, напротив, она, Оля должна быть в это время особенно чуткой и тактичной по отношению к отцу, а то его можно напрасно обидеть и оскорбить, ни к чему это.

А к чему, спрашивается, ей щадить его и устраивать Варино счастье?

Виктор Журавлев тоже не разделил ее горя, он тоже сказал, что для такого человека, как Павел Петрович, главное —что? Главное—помогать в его большом труде. А ведь сейчас ему никто из близких не помогает. Разве вот Оля ему помогает? Нет же.

Никто не понимал Олю, никто ей не сочувствовал. На всем свете оставался у нее— кроме Виктора, конечно,— один-единственный родной человек. Это Костя, брат резкий, неласковый, но родной. Оля послала ему телеграмму с просьбой приехать. Костя ответил, что приехать не может. Тогда Оля сама попросилась приехать к нему. Он ответил, что пусть приезжает, он ее будет встречать на вокзале пограничного городка, лишь бы только сообщила о дне приезда. Телеграфный разговор занял шесть часов. Оля договорилась в школе с другой учительницей истории, чтобы та провела за нее несколько уроков, потом пошла к директору, сказала, что ей очень нужно съездить к брату на границу. У нее был такой страшный вид, такие заплаканные глаза, что директор разрешил отпуск на семь дней.

Вечером Виктор Журавлев провожал Олю на поезд. Павла Петровича не было. Оля оставила ему дома записку. Ей очень хотелось уехать без всяких записок,— пусть, мол, поволнуется, попереживает. Но потом она подумала, что это с ее стороны будет низко и подло.

Виктор был грустный; он говорил, что Оля затеяла никому не нужную канитель, что она так портит жизнь своему отцу, брату, себе и ему, Виктору.

— Ты, кажется, просил меня выйти за тебя замуж? — сказала Оля, стоя на перроне и глядя на стрелку вокзальных часов.

— Да, просил, прошу и всегда буду просить,— ответил он.

— Ну, так приготовься к тому, что жизнь у тебя будет трудная: у нас всегда будет то, что ты называешь канителью. У меня плохой характер.

Виктор схватил ее в объятия и принялся целовать. До отхода поезда оставалось еще добрых двадцать минут, и потому отъезжающих и провожающих, которые стояли возле вагонов, такое заблаговременно начатое прощание привело в недоумение.

Через двадцать два часа пути поезд подошел к вокзалу пограничного городка, чистенького, аккуратненького, уютного. Костя стоял на перроне в шинели и в зеленой фуражке. Милый Костя! Оля думала, что он, как всегда, грубовато спросит ее: «Как дела? Что надулась?» или еще нечто подобное в его стиле. Но на этот раз,—видимо, и ему было тяжко, бедному Косте, без семьи, без родных,— на этот раз, когда она бросилась к нему, он крепко ее обнял, неуклюже поцеловал в самое ухо и, взяв у нее чемоданчик, повел ее под руку, крепко прижимая к себе.

За вокзалом, в переулочке, Костя подсадил Олю в зеленый автомобиль-вездеход с брезентовым верхом; вездеход мчался по лесным дорогам со страшной скоростью, подпрыгивал, подскакивал; пассажиров так мотало на поворотах, что Оля то и дело хваталась за Костю, чтобы не вылететь на дорогу. Костя расспрашивал Олю о жизни, Оля рассказывала о школе, о Новгороде, о том, как работается на новом месте отцу. Кое-что было сказано и о Викторе Журавлеве — главным образом то, как он голой рукой рубит расплавленную сталь.

После часа сумасшедшей езды приехали на заставу. Возле ворот заставы гостью встретили капитан Изотов и несколько солдат. Они поздоровались с нею, подняв руки к козырькам. Капитан Изотов предложил поесть с дороги. Несколько минут спустя Оля сидела в кухне. Веселый молодой повар подал ей кашу с маслом и чай. Капитан Изотов сидел с Олей рядом, просил рассказывать, что нового в ее городе на Ладе, что нового она увидела по дороге. Оля рассказывала все, что знала, что видела и что слыхала.

Наконец они оказались вдвоем в Костиной комнате.

— Костя,—сказала Оля,— я приехала, чтобы очень серьезно с тобой посоветоваться. Я тебе сейчас все-все расскажу. Ты слушай и думай, как нам с тобой быть. У нас плохо в семье, Костя.

Оля долго и подробно рассказывала о Варе, которую Костя видел несколько раз в те времена, когда еще учился в пограничной школе и когда случайно встречался с ней, приезжая по воскресеньям домой. Оля пересказала

ему весь путь, каким, по ее мнению, Варя проникла в их семью. Она, Оля, ей в этом сама помогала, да, помогала, помогала и даже пригласила жить у них. И вот что получилось. Рассказывая, Оля сгущала краски, она изображала дело так, будто бы Варя влюбила в себя Павла Петровича, что она хочет заставить его жениться на ней, что отец уже плюнул на семью, ему все теперь нипочем.

Они сидели рядом на Костиной койке, на матраце, набитом соломой, и размышляли вслух.

— Ну что ж,— сказал Костя,— все это очень грустно, сестренка. Но мне кажется, что мы должны простить батьку. Ему очень тяжело. Тяжелей, чем нам. Ты вот нашла себе какого-то орла, ты не сидишь при папочке, верно? Ты носишься, гуляешь, танцуешь. А ему что же осталось? Его надо понять. Он, сестренка, моими письмишками да твоими налетами не проживет. Мне его, нашего батьку, если говорить начистоту, очень и очень жалко.

Оля испуганно посмотрела на Костю: да Костя ли это, ее ли это брат? Что за чепуху он говорит, еще хуже, чем говорил дядя Вася.

— Ты ничего не понял,— сказала она.— Семья же развалится, Костя.

— А ты не так рассуждай,— снова заговорил Костя.— Ты знаешь, как суди: давай эту Варю тоже примем в семью. Пусть не замена будет в семье, а прибавление. Разве так нельзя?

— Нет! — горячо сказала Оля.— Нет! Сто раз — нет!— Подумав, она сказала:— Пусть бы не папу, пусть бы тебя она полюбила... Ну зачем папу?

Костя улыбнулся, вытащил из кармана кителя комсомольский билет в красной кожаной обложке, извлек из-под обложки фотографию и протянул ее Оле. Оля увидела девушку с очень серьезными глазами. Она вернула карточку Косте и сказала:

— Можешь ничего больше мне не объяснять, не читать никаких моралей. Я все поняла. Я поняла, что тебе совершенно безразличны мои волнения и переживания, что ты такой же эгоист, как все, что к тебе пришло твое счастье, а на остальное — махнем рукой. Разве не так, Костя?

— Конечно, не так.

— Так, Костенька, так! А ведь было когда-то иначе. Помнишь, как мы друг друга выручали в трудных

случаях? Помнишь, как я заступалась за тебя, брала на себя твою вину, зная, что тебе-то, мальчишке, может влететь, а мне-то, девочке, папа и мама все прощали? Мы были друзьями, Костя?

— Мы и сейчас друзья. И всегда будем друзьями. Не устраивай трагедий.

— Не будем мы друзьями. Ты женишься на ней. У вас заведутся детишки, и прощай мой брат Костя.

— И ты выйдешь замуж. И у тебя заведутся детишки. И прощай моя сестренка?

— Я не такая,— ответила Оля. И ей стало горько оттого, что все пытаются подавить ее логикой, а никто не хочет понять происходящего в ее душе.— Ладно,— сказала она.— Не поняли друг друга — и не надо. Не будем об этом больше. Расскажи лучше, как ты тут живешь? Кто эта девушка?

Костя рассказывал о пожаре, о книгах, которые спасал, о Любе — какая она замечательная. Он с ней встречается в лесу на половине дороги, чтобы каждому было быстрее возвращаться домой — три километра одному, три другому. Но вот теперь осень, начались дожди, в лесу мокро. А потом начнется зима,— неизвестно, что будет тогда. В село к Любе он ездил только два раза, а она на заставе не была еще ни разу. Сюда ведь так запросто ходить нельзя. Даже чтобы привезти родную сестру, и то надо было попросить разрешения у начальства. Капитан Изотов просил.

Костя показывал Оле усадьбу заставы, коров, собак, галку с подбитым крылом, которая жила в собачнике и собаки ее не трогали.

Брат и сестра бродили по осеннему лесу. Тут было невиданное множество брусники, крупной и до того перезрелой, что сок у нее был вроде кваса, шипучий. На каждом шагу встречались грибы, из-под ног с грохотом и треском вылетали огромные птицы.

— Какая природа! — сказала Оля.—Пожить бы тут хоть месяц. Все нервы пройдут.

— Не стыдно тебе про нервы! — ответил Костя.— Еще девчонка, а уже нервы.— Оля заметила, что он изо всех сил старался изображать бывалого пограничника — выдержанного, непреклонного; он даже говорил: мы, чекисты.

Вечером, по просьбе капитана Изотова, Оля рассказывала солдатам и сержантам о новых открытиях в Новго-

роде, об истории Руси, о берестяных грамотах. На заставу редко кто заезжал со стороны и редко кто рассказывал такие интересные истории. Олю готовы были слушать еще и еще, если бы дежурный не подал команду: отбой. Надо было ложиться спать.

В комнату Кости внесли еще одну узкую железную кровать, положили на нее такой же, как и у него, соломенный матрац, постелили довольно тонкое одеяльце.

— Холодно будет,— сказала Оля.

— Здесь, сестренка, народ закаленный. Здесь обстановка такая, чтобы не очень-то изнеживаться.

Они легли, как бывало в детстве, на постелях рядом и долго говорили в темноте. Мимо заставы прогрохотал во мраке поезд, в Костиных окнах страшно задребезжали стекла.

— И ты это терпишь? — удивилась Оля.

— Привык, даже не слышу. Я скорее от шороха проснусь.

Среди ночи Оля, которой было очень холодно под тоненьким одеяльцем, почувствовала, как Костя накрыл ее еще шубой из белого меха, которую она видела днем в углу на гвозде. Под шубой стало тепло, и Оля крепко уснула.

Наутро она собралась уезжать. Делать ей было на заставе больше нечего. Костя не оказался ее единомышленником, она не нашла у него поддержки. Ее отпустили в школе на неделю, но неделя эта ей не нужна. Она приедет раньше. Она видела, что Костя живет своей границей, своей девушкой Любой и нечего к нему ни с чем иным вязаться. Она сказала Косте, что хочет уехать в тот же день, пусть он ее отвезет в город и посадит в поезд. Костя удивился такой спешке, но Оля сказала, что ведь она преподает в школе, а он разве сам не помнит, что история бывает часто, не меньше двух раз в неделю,— она не может пропускать свои уроки.

Костя проводил ее в город на тряском вездеходике, снова он был предупредителен и ласков, снова обнял и поцеловал и долго стоял на перроне, глядя вслед поезду. Уже все расходились, а он все стоял и махал рукой. Бедный, милый Костя!.. Может быть, зря она от него уехала так поспешно, ведь ему тут еще труднее, чем ей, еще более одиноко и грустно длинными темными вечерами. Оля почувствовала слезы на глазах, ей хотелось выскочить из поезда, вернуться к Косте и провести с ним на

границе много-много дней. Но она не выскочила, она мчалась и мчалась назад, на Ладу, домой. Домой? Как трудно стало произносить это слово.

Олю никто не встречал на вокзале, потому что должен был встречать Виктор Журавлев, но она же сказала ему, что приедет позже и что о дне приезда предупредит телеграммой.

Она одна приехала с вокзала домой. Дома было холодно и тоскливо, пахло непроветренным табачным дымом. В кухне грудами стояла грязная посуда, не мытая со дня празднования Олиного рождения. В коридоре, в столовой валялись окурки. Ее записка была обронена со стола на пол. Видимо, отец приходил домой поздно, только переночевать, и ему было совершенно безразлично, что тут творится в доме, что происходит с его дочерью и жива ли она. Может быть, он проводит время с ней, с ней, с той...

Стало нестерпимо больно. Нет, Оля тут больше не останется, тут, где растоптали мамину память.

Она собрала несколько платьев в чемодан, вошла в кабинет отца, сняла со стены портрет Елены Сергеевны, положила его поверх платьев и вышла из дому на улицу. Шел меленький осенний дождь, холодный и противный.

Оля остановилась на тротуаре, раздумывая, что же делать, куда идти? Идти надо, надо, но куда, куда? Она так и не решила куда — и побрела под дождем куда попало.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Во второй половине октября группа Бакланова и Румянцева заканчивала работу. Жаропрочная сталь для сверхмощной турбины была найдена. Она обладала всеми качествами, какие обусловливались правительственным заданием.

Это было крупным событием даже и не для такого института, который в послевоенные годы очень редко давал что-либо производству. Другой директор на месте Павла Петровича воспользовался бы случаем — и не было бы конца различным торжественным заседаниям, радиоинсценировкам, выступлениям в газетах. А Павел Петро-

вич собрал всех сотрудников группы и попросту поздравил их с успешным завершением работы. «Будем думать,— сказал он,— что это не последнее задание, которое нам поручает правительство, и что мы еще много полезного сделаем для нашей советской промышленности».

Седьмого ноября Павел Петрович стоял на трибуне на площади Революции. Из-под огромной, в три четверти неба, тяжелой тучи, которая сеяла тихий мелкий снежок, вырывались яркие солнечные лучи; в них нестерпимо для глаз сверкала медь оркестров, пламенели флаги, знамена, транспаранты; снежок искрился, и над колоннами демонстрантов держалось в воздухе слепящее сияние.

Мимо трибун в слитном праздничном гуле музыки, песен, выкриков катился широкий людской поток; мелькали в колоннах поднятые руки, шляпы, платки, девушки взмахивали цветами.

Где-то там, среди этих людей, были друзья и знакомые, соратники, единомышленники. Перед Павлом Петровичем как бы проходила вся его жизнь. Он помнил первую для него демонстрацию на этой площади, когда они, школьники, шли тут парами, держась за руки, чтобы никто не потерялся, смотрели на штатских и военных, которые заполнили трибуны и кричали оттуда какие-то слова,— понять можно было только: «долой» и «да здравствует». Мальчишки и девчонки, едва изучившие таблицу умножения, тоже кричали в ответ «да здравствует» и «долой».

Так и шла жизнь, так было и всегда: одно — да здравствует, другое — долой. Всегда была борьба, никогда не было бездумного спокойствия — не только тихих гаваней, даже и стремления к ним; никогда не было обывательского: хватит, поработал, пусть другие поработают; мелкое мещанское счастье не стучалось в душу ни до войны, ни после войны,— там ему не было места, и не было для него времени. Сначала пришлось восстанавливать разрушенное войнами — империалистической и гражданской, потом надо было налаживать в стране все: восстановить и развернуть мощную тяжелую промышленность, коллективизировать сельское хозяйство, чтобы строить социализм и чтобы должным образом встретить новую войну, пружины которой все туже скручивались вокруг извилистой оси Берлин — Рим —Токио. Эта ось скорее была не осью, а коленчатым валом чудовищного танкового

мотора. В противовес ей тоже надо было строить танковые моторы, самолеты, пушки, корабли.

Затем началась война, и надо было идти и идти по длинным дорогам отступления, сидеть и сидеть в окопах обороны, крушить, громить, окружать, преследовать противника на таком же длинном, тоже нелегком, но победоносном пути в глубь фашистской Германии. Ну, а потом потребовалось вновь восстанавливать, вновь строить, расширять, реконструировать — закладывать камни в фундамент коммунизма. Где уж тут на этих крутых поворотах истории, на перевалах через ее хребты, на этих дорогах через зыбкие ее трясины — где тут место для мелкого мещанского счастья! Счастье всегда мыслилось большим, необъятным, и оно было именно таким,— оно приходило, его приносило время, его приносили успехи страны и победы народа. Разделенное на миллионы частиц, оно становилось личным счастьем каждого из тех, кого Павел Петрович считал своими единомышленниками.

Павел Петрович следил за ходом колонн, по знаменам, по макетам изделий он узнавал, кто там проходит в эту минуту перед трибунами: текстильщицы ли, судостроители, паровозоремонтники, строители турбин, подъемно-транспортных сооружений, электрических машин, школьники или студенты, работники науки... Может быть, где-то там Оля, может быть, где-то там и Варя. Павел Петрович подумал о них, и пришла горькая мысль. Вот взять его, солидного человека, который, засунув руки в карманы хорошо сшитого дорогого пальто с бобровым воротником, независимо стоит на праздничной трибуне, человека, который может подойти к телефону, вызвать персональный автомобиль и ехать куда ему вздумается, человека, который руководит несколькими сотнями людей и под руководством которого успешно в очень короткий срок выполнено важнейшее правительственное задание, который получает крупную заработную плату,— вот он, этот человек! Люди видят его, благополучного, много достигшего, и, может быть, завидуют ему, думают: счастливец, живет как у Христа за пазухой. И никому в голову не придет, наверно, мысль о множестве бед, которые обрушились на этого человека, о тех силах, которые с величайшим упорством действуют против него.

Его уже несколько раз вызывали в горком, уже не к Савватееву, а к различным инструкторам,— вызывали потому, что в горком шли письма о нем, о Павле Петрови-

че; и в чем только не обвиняли его анонимные и неанонимные авторы писем! Красносельцев, например, утверждал, что инженер Колосов развалил научную работу в институте и дискредитировал научные кадры.

Из-за обилия всяческих жалоб Павлу Петровичу по временам казалось, что, может быть, все эти люди — авторы всех этих писем, а с ними и секретарь партбюро Мелентьев,— может быть, они и в самом деле видят такое, чего он, охваченный стремлением во что бы то ни стало перестроить работу института, не ощущает и не замечает. Были такие минуты, когда Павел Петрович кое в чем даже соглашался с авторами писем. Совершенно не мог он согласиться только с тем, что Оля вправе была уйти из дома. Да, он обнял и поцеловал в Олиной комнате Варю, да, обнял и поцеловал. Ну и что же? Если бы глупая девчонка знала, что с того вечера он с Варей больше даже и не встречался...

Варя ни разу не напомнила о себе за это время. Встретился он с ней только два дня назад, случайно столкнувшись возле электропечи в сталелитейном цехе, куда Варя принесла Константину Константиновичу листки анализов. Она вбежала в цех радостная: «Константин Константинович! Как замечательно! Восьмая плавка, и водород все вниз, вниз!»

В эту минуту она увидела Павла Петровича, смутилась и потупилась.

Они поздоровались, и Павлу Петровичу захотелось сделать что-нибудь очень хорошее для этой девушки с мужественным сердцем и вместе с тем такой трогательно женственной.

Константин Константинович тут сказал: «Зря ты отпустил такого работника, Павел Петрович.—Он взял смущенную Варю под руку.— Милый товарищ директор научного института, Варвара Игнатьевна полную революцию совершила в вопросах контроля за ходом плавки».— «Изотопы?» — спросил Павел Петрович, обращаясь к Варе. Она утвердительно кивнула головой. «Удается?» — спросил он снова. «Не очень,— ответила Варя.—Если бы заводу такую экспериментальную базу, как в институте...»— «Создадим! — с жаром перебил Константин Константинович.— Будет такая база. Институту нос утрем». Варя улыбнулась его горячности. «Если бы это было так просто»,— сказала она.

Павел Петрович улучил момент и, отведя ее в сторонку, спросил: «Варя, чем вы заняты в праздники?» В голову ему пришла мысль провести праздничный вечер с нею: по крайней мере, от нее он не услышит никаких попреков в том, что неправильно себя ведет, что совершает какие-то ошибки. Ей он сможет рассказать все, что накопилось у него в душе, чего не понимает даже Федя Макаров. С ней он может говорить почти так, как говорил когда-то с Еленой. Она все поймет. Павел Петрович не подумал о том, что вопросом о праздниках он может причинить боль Варе, он думал только о себе,— он измучился тяготами жизни, он устал от одиночества, ему захотелось хоть нескольких светлых часов. Он ждал Вариного ответа. Варя ответила: «Еще не знаю, Павел Петрович, чем буду занята. Пока ничего определенного».— «Варенька,— сказал он,— если можете, я вас очень прошу—давайте встретимся после демонстрации». На лице у Вари не выразилось ни удивления, ни радости, ни тревоги. Она подняла на Павла Петровича свои большие глаза и ответила: «Хорошо». Они условились, что будут ждать друг друга у моста через Ладу, что Павел Петрович придет туда сразу же, как только мимо трибун пройдет колонна завода имени Первого мая.

И вот Павел Петрович смотрел на колонны, искал глазами, где в них эта девушка с таким огромным запасом душевных сил. Шли и шли люди: шли старые металлисты, шли молодые ремесленники, шли юноши и девушки, и снова старики, и люди поколения Павла Петровича.

Старики и люди поколения Павла Петровича шли спокойно, уверенно: они сознавали свое место в строю, они его завоевали, они его познали, они многое совершили и еще немало совершат. Это были труженики, солдаты великой армии труда.

Молодежь свои надежды и мечты изливала в песнях, в смехе, в радостных кликах.

Когда на площади появились знамена завода имени Первого мая, Павлу Петровичу показалось, что среди девушек и ребят он увидел Варю, мелькнула ее пестрая вязаная шапочка. Но пестрых вязаных шапочек в колоннах было так много, что Павел Петрович тотчас утерял среди них ту, которая показалась ему знакомой. Эти шапочки так громко и звонко кричали, так смеялись, им, видно, было так весело, что Павел Петрович загрустил. Он подумал: зачем, зачем он это все затеял, зачем он

пригласил Варю провести этот день вместе? Не с ним, а с теми, с молодыми, ее место. Там, там ей хорошо, это ее друзья, ее поколение, зачем он взялся портить ей жизнь, обремененный заботами человек?

Он решил, что не уйдет с трибуны до конца демонстрации и к мосту через Ладу не пойдет, переедет реку на пароходике, пусть Варя подождет-подождет, рассердится на него и уедет домой. Да, пусть она на него рассердится. Так будет лучше.

Решение было найдено, на душе стало спокойней. Павел Петрович ушел с трибуны, купил в буфете за трибуной пирожок и принялся его рассеянно жевать. К нему подошел директор его бывшего завода, Лобанов, и сказал, что он слышал об очень интересном деле, о том, что один из сотрудников института предложил новую конструкцию мартеновской печи, в которой факел пламени располагается не параллельно поверхности плавящегося металла, а идет на нее сверху вниз, вертикально. Павел Петрович ответил, что да, есть такой проект. Надо бы его проверить. «Давай у нас проверим,— предложил Лобанов.— Ведь это же действительно интересная идея». Они вытащили из карманов записные книжки и принялись в них чертить возможные схемы нового устройства мартеновской печи.

Так они простояли за трибуной до самого конца демонстрации, до тех пор, пока не опустели трибуны и вся площадь, усеянная бумажками, цветами, флажками. Только тогда попрощались, условившись непременно встретиться после праздников и продолжить разговор.

Подняв воротник, Павел Петрович шел по улицам среди группок отставших демонстрантов, которые свертывали знамена и транспаранты и спешили к грузовым машинам, ожидавшим их в ближних переулках. С медленного шага он незаметно для себя переходил на все более быстрый и к мосту через Ладу подошел, как человек, который очень спешит.

Перед ним стояла Варя, озябшая на ледяном восточном ветру, задувавшем вдоль Лады. Туфли она промочила, потому что на мостовых и на тротуарах хлюпала слякоть от растаявшего снега. Но в глазах у нее было столько тепла, что Павлу Петровичу стало нестерпимо стыдно за его мысль удрать на пароходике через Ладу.

— Варенька,— сказал он, радуясь, что не сделал этого,— надо непременно ехать к нам домой и сушиться.

Ехать было не на чем, все трамваи и автобусы были переполнены возвращавшимися с демонстрации, такси не поймаешь. Решили идти пешком, но как можно быстрее. Шагая рядом, Павел Петрович посматривал на Варю. На ней совсем не было той пестрой вязаной шапочки, которую он силился разглядеть с трибуны, а была маленькая зеленая шляпа, которая хорошо шла к серому Вариному пальто.

Когда пришли домой, Варя вся тряслась от холода, у нее были совершенно мокрые ноги и посинели губы. Павел Петрович достал ей Олины валенки, поспешил затопить плиту в кухне, и они сели на кухонные табуреты возле кухонного стола. Варя постепенно согревалась, ей было хорошо и было все равно, что́ в ее жизни случится с нею дальше. Пусть через час, через тридцать минут Павел Петрович одумается, заставит ее надеть мокрые туфли и скажет, чтобы уходила. Она наденет мокрые туфли и уйдет. Но зато этот час или тридцать минут никто никогда у нее не отнимет.

Павел Петрович жаловался на Олю. Варя сказала, что Оля, видимо, уже стала женой Виктора Журавлева, во всяком случае живет она у Журавлевых, куда Варя заходила дважды. Там перегородили комнату дощатой перегородкой, такой — не до самого потолка, оклеили перегородку обоями. В одной половине... Варя пожала плечами. Так, во всяком случае, говорит Оля... в одной половине живут она и мать Виктора Журавлева, в другой — сам Виктор. Этот Виктор Журавлев очень хороший молодой человек. Они будут хорошо жить. Придет время, Оля одумается и попросит прощения у него, у Павла Петровича, пусть Павел Петрович не огорчается, не мучается так, все будет хорошо.

Варя изо всех сил старалась утешить Павла Петровича. Но слушать ее Павлу Петровичу было невыносимо больно. У него не стало дочери, над силой и авторитетом отца взяла верх более мощная сила — сила любви.

В плите гулко трещали еловые поленья, за лето высохшие, как порох. От плиты шло тепло по всей кухне. Варины чулки, подвешенные над плитой, быстро сохли, от них перестал идти пар. Сушились и туфли, положенные на крышку от кастрюли. Варя была счастлива в этой странной бивачной обстановке. А Павла Петровича вновь томило сомнение: зачем он привел Варю, зачем мучает ее?

Он думал, что Варя от него чего-нибудь ждет. А Варя ничего и не ждала. Она любила, была с любимым человеком, чего же еще ей надо? Разговоров? Не надо разговоров. Слов уверения? Не надо и этих слов.

Он может молчать, сидеть и смотреть, как в отверстиях печной дверцы пляшет огонь, — пусть так сидит и молчит, она будет смотреть на него и запоминать, запоминать каждую черточку на его лице, каждое его движение, каждый жест. Он может бранить ее, ворчать на нее — пусть, она будет слушать и запоминать каждую интонацию его голоса. Что́ бы он ни делал — все хорошо, хорошо, хорошо.

Так прошли два часа. Павел Петрович устал от необходимости говорить, он устал от сомнений, от борьбы с самим собой. Он сказал откровенно:

— Я вам очень благодарен, Варенька, что вы пришли. Спасибо, большое спасибо. Но теперь вам, пожалуй, надо идти. Впереди еще целые полдня и весь вечер, вас, наверно, ждут ваши молодые друзья. Я виноват, что оторвал вас от них. Очень виноват и искренне раскаиваюсь.

Меж глаз на лбу у Вари собралась складочка — и это было все, чем она ответила на обидные, смертельно обидные слова. Но она была к ним готова. Она рассчитывала на полчаса, на час, а получила целых два часа. Она отвернулась, надела свои высохшие чулки и не совсем досохшие туфли, встала и пошла в прихожую. Она там надела шляпу перед зеркалом, Павел Петрович подал ей пальто. Варя попрощалась и вышла за дверь на лестничную площадку. Павел Петрович вернулся в кухню, в тепло.

Он не подозревал, что Варя все еще стоит на лестничной площадке, держась за перила. По щекам ее впервые за все время жизни в этом городе бежали слезинки. Ей было жалко Павла Петровича, она видела, что он страдает, она знала, что на него обрушилась клевета, от него ушла Оля, он один, одинок; откуда он берет силы переживать это все? Нет, она не ошиблась в нем, он человек, достойный великой любви, не какой-нибудь ее, Вариной, маленькой, девичьей, а великой любви таких женщин, о которых писал Некрасов, которые в самых тяжких испытаниях оставались верными своей любви и до последнего часа жизни стояли рядом со своими любимыми, поддерживая их, утешая и любя, любя, любя. Она не должна была уйти, не имела права оставить Павла Петровича

в таком состоянии. Она поступила не так, как те женщины, она оказалась слабой, глупой, пустой.

Варя медленно шла вниз по лестнице, повторяя себе, что она слабая, глупая и пустая.

Минут пятнадцать спустя подойдя к окну в столовой и машинально трогая рукой сухой листик увядшей розы, которую давным-давно никто не поливал, Павел Петрович увидел Варю. Она переходила улицу. Павел Петрович удивился: где же она была? У него дернулись руки — распахнуть окно и окликнуть, пусть вернется. Потом он подумал, что лучше спуститься и догнать.

Пока он так думал, Варя дошла до угла, оглянулась на знакомые ей окна и свернула за угол.

Павел Петрович вытер рукавом повлажневший лоб.

2

В тот черный день блужданий под дождем по мокрому городу Оля позвонила Журавлеву из автомата в Торговом дворе. Журавлев был дома, потому что ту неделю он работал в ночные смены. Оля сказала, что он ей очень нужен, что она его будет ждать, и она ждала, сидя на диване, в посудном отделе главного универмага.

У прилавков толпилось много народу, больше женщины всех возрастов — от восемнадцати до семидесяти, от таких, которые еще только с сердечным трепетом думают о предстоящем замужестве, и до таких, которые собираются праздновать золотую свадьбу. Они рассматривали и покупали хрусталь — вазы, вазочки, кувшины, бокалы, рюмки, какие-то подносики и чаши. Они или выхватывали друг у друга из рук сверкающие всеми огнями хрупкие предметы и ссорились из-за них, или, напротив, мирно советовались, какая ваза красивее, какие рюмки практичнее, для чего можно применить вот тот цилиндрический сосуд.

Оле было странно видеть эту толчею, этот азарт покупательниц, слышать их разговоры. Кому нужны, думала она, все эти банки и склянки. Какая глупость обзаводиться, обрастать вещами. Неужели эти женщины не понимают, что в жизни может прийти такой день, когда вся чепуха, которой они так старательно окружали себя и так рабски ей подчинялись, утратит всякую ценность, превратится лишь в предметы горьких воспоминаний.

Журавлев вошел быстро, быстро пробежал вдоль прилавков, всматриваясь в покупательниц, увидел Олю и сел возле нее.

— Что случилось, Ольга? Ты совсем зеленая. Когда приехала? Почему не сообщила заранее?

Оля покачала головой из стороны в сторону, как бы отбрасывая все эти вопросы за полной их ненужностью, и сказала:

— Витя, что делать? Ты мужчина, скажи... Я ушла из дома, я никогда в него не вернусь...

Виктор сказал, что не одобряет ее поступок, но что она полностью, всегда и во всем, может рассчитывать на его помощь, что сейчас, например, он готов предложить ей половину своей комнаты, что он предлагает ей, не откладывая, пожениться, и сложный узел будет разрублен.

— Хорошо, Витя, — ответила Оля, выслушав его. — Я согласна выйти за тебя замуж. Не будем откладывать, ты прав. Но как все это оформлять, ты знаешь? Ведь куда-то надо идти, подавать какие-то заявления...

Они пошли к нему домой. Виктор сказал матери, что Оля будет жить теперь у них, что она его жена. Прасковья Ивановна обняла Олю, поцеловала, сказала какие-то слова, вроде «мир да любовь», потом принялась стряпать. Вечером пили чай с пирогами и вареньем.

Оля роняла в блюдечко с вареньем крупные слезы отчаяния. Не так она представляла свою свадьбу. Она думала, что это будет вроде того, как было в день рождения, — шумно, весело; будут папа, Федор Иванович, дядя Вася все-все ее близкие, родные, милые. А тут только настороженная старушка да растерянный, смущенный Виктор. Все молчаливые, чего-то ожидающие.

В одиннадцать часов Виктор уехал на завод в ночную смену; Прасковья Ивановна уложила Олю на его постель. Она переменила простыни и наволочки, но Оля все равно до самого рассвета слышала чужой, незнакомый запах и почти не спала.

Еще было сумеречно в окнах, когда Виктор вернулся. Он вошел, сбросил тужурку и кепку, вид у него был усталый, под глазами темными кругами легли синяки, но в глазах было что-то такое, от чего Оля сжалась под одеялом, у нее забилось сердце, и надвинулось ожидание чего-то такого, от чего может измениться вся жизнь человека. Он сел возле постели на стул. Прасковья Ивановна быстро

собралась, сказала, чтобы ее скоро не ждали, у нее дел до обеда, пусть сами себе тут чай готовят, повязалась платком и ушла. Виктор закрыл за нею дверь на крючок, вернулся к Оле, обнял ее, тонкую, дрожащую, и сжал с такой силой, что она почти потеряла сознание.

Через три дня комнату, благо она была большая и имела два окна, плотники разделили дощатой стенкой, а маляры побелили потолок и оклеили стены новыми обоями. Оля упросила Виктора не брать в их комнату ничего из вещей Прасковьи Ивановны. «Давай начнем жизнь с ничего,— говорила она,— с двух чемоданчиков. Пусть никому ничем не будем обязаны, только себе». Поэтому у них было пусто, на наличные деньги они смогли купить кушетку, которая днем служила диваном, а ночью кроватью, круглый столик, который был обеденным, чайным, курительным и письменным попеременно, и четыре стула, простых, дешевых и некрасивых. Оля сказала, что если они когда-нибудь разбогатеют, то все это можно будет выкинуть, заменить новым, более удобным, красивым, дорогим.

Прасковья Ивановна не возражала против желания молодых быть самостоятельными. «Мы с Витиным отцом тоже с двух табуреток жизнь начинали, — сказала она как-то.— А потом заросли добром. У нас много чего было, да я попродавала, когда отец погиб, а ребята еще на ноги не встали. Кормить их надо было? Надо».

На счастье, она оказалась покладистой и несварливой. Она любила где-то пропадать, ходила в кино, на вечера самодеятельности. Виктор рассказал, что в дни избирательных кампаний Прасковья Ивановна — добровольный агитатор на каком-нибудь участке. Она ведь бывшая боевая активистка, женделегатка; во время гражданской войны работала в политотделе одной из армий, у нее именное оружие есть. Из нижнего ящика комода Виктор достал жестяной ларец. Там, в черной, лоснящейся, много ношенной кобуре, лежал браунинг. На его рукоятке Оля прочла: «Товарищу Прасковье Самотаевой за высокую революционную сознательность и выдержку, проявленные под огнем врага. Военный Совет Н-ской армии, 7 ноября 1919 года». «Самотаева — мамина девичья фамилия,— пояснил Виктор.— У нее этот браунинг сколько раз хотели отобрать. Два раза уже отбирали. Она жаловалась товарищу Ворошилову, и ей возвращали. Она сказала, чтобы ей его в гроб положили».

Острота ухода из дома постепенно притуплялась. Виктор вновь заслонял собой все, что только могло быть в жизни нерадостного, неприятного, сумрачного. Он светил Оле, как солнце. Оля с радостью, с удовольствием вела свои уроки в седьмом классе «А», ей прибавили еще и седьмой «Б» и седьмой «В». Она была занята в школе почти каждый день. После напряженного трудового дня втрое горячей были встречи с Виктором, за день у каждого из них накапливалось столько новостей, что разговоры продолжались далеко за полночь. В осенней темноте они шептали друг другу в самые уши, чтобы не только Прасковья Ивановна, но даже стол, на котором фанерка уже покоробилась, и противные стулья, от которых чулки так и рвутся, да, чтобы и они ничего не услышали из этих разговоров.

К Оле дважды заходила Варя. Первый раз, в одно из воскресений, она пришла без приглашения. Узнала на заводе адрес Журавлева и пришла. Варя не знала всей сложности Олиных переживаний. Она не могла не понимать, что Оля поссорилась с Павлом Петровичем. Но что ссора у них произошла из-за нее, из-за этого случая на праздновании дня Олиного рождения, это даже не приходило Варе в голову. Поэтому Варя так запросто и пришла к Оле, полагая, что они с ней по-прежнему останутся в хороших, дружеских отношениях.

Но Оля встретила ее прохладно. Варя насторожилась, почувствовала неладное. Потом, правда, они разговорились о всяких планах, перспективах, о будущем, о том, что московский археолог, с которым Оля все время переписывается, следующим летом зовет ее снова в Новгород, в штаб экспедиции. Она, конечно, согласна. Виктор тоже возьмет летом отпуск сразу за два года и тоже поедет с ней.

Воспользовавшись паузой в Олином рассказе, Виктор отвел Варю к этажерке с книгами, и у них завязался разговор о металлографии, о которой Виктор узнал в техникуме. Потом они еще о многом говорили, что было хорошо понятно Виктору и Варе, но чего Оля не понимала совсем.

При прощании Оля не сказала Варе, чтобы Варя заходила. Варя это заметила. Прощание, как и встреча, было сухое, холодное. Не заметил ничего только Виктор. После ухода Вари он сказал, что Варя ему очень нравится, что на заводе ее хвалят, и о ней уже была статейка

в многотиражке, и что напрасно Оля устроила драму из простых вещей. Как было бы замечательно, если бы Павел Петрович женился на Варе! Лучшей помощницы в жизни и в своем труде он никогда не найдет.

Оля на него обозлилась. «Может быть, она уже и в твою душу влезла? — сказала она. — Вот уж вправду в старину говорили о таких: подколодная змея».

Варя, которой было одиноко и которая все еще считала себя в дружбе с Олей, хотя ее и не звали, снова пришла к Оле через несколько дней. На этот раз Виктора не было, он работал в вечернюю смену. Оля проверяла школьные тетрадки, черкая в них красным карандашом. Варя видела, как она ставила такие знакомые знаки: «см», «5», «3», «2»... Закрыв тетрадку, Оля сказала:

— Варя, мы уже не маленькие, давай говорить откровенно. Ты пришла зря. Я не хочу тебя видеть. Ты оказалась врагом нашей семьи.

— Но, Оля, — возразила Варя, — почему ты так говоришь? Милая Оленька... Люблю Павла Петровича только я, он-то меня не любит. С вашей семьей ничего не сталось. Я одна пострадала. Никто больше. Почему же ты такая злая и несправедливая?

Оля указала на портрет Елены Сергеевны, который был помещен на самом видном месте:

— Ни я, ни мама никогда тебе этого не простим.

Варя ушла и больше, конечно, уже не приходила. Об этих своих посещениях Оли и Виктора она и рассказала Павлу Петровичу в день седьмого ноября. Она ему сказала еще тогда, что Оля пыталась делать вид, будто бы живет с Прасковьей Ивановной в одной из комнаток, а во второй отдельно живет Виктор.

Оля действительно почему-то стеснялась признаться Варе, что уже стала женой Виктора. Оля постеснялась сознаться в этом и Тамаре Савушкиной, которая тоже отыскала ее в квартире Журавлевых.

Это было в конце ноября. Тамара сказала, что всегда считала Олю умной, умнее многих других, и поэтому решила с ней посоветоваться по очень важному вопросу.

— Видишь ли, Оленька,— заговорила она,— я беременна, и через два месяца у меня будет ребенок.

Тут только Оля заметила, что Тамара очень толстая, и не нашла сказать ничего лучшего, как «Поздравляю».

— Видишь ли, Оленька, — снова сказала Тамара. — Я твое поздравление принимаю, я буду очень рада этому ребенку. Но отца у него не будет, учти.

— Как так? — изумилась Оля, вспоминая толстого лысенького молодого человека, суетившегося вокруг чемоданов.

— Очень просто. Он от меня ушел. Если более точно, то его от меня увели. Так вот взяли за руку и увели. Тебе не противно слушать?

— Что ты, что ты, Тамара! Рассказывай, милая моя Тамара! — Олю удивлял спокойный, мужественный тон, каким разговаривала с ней Тамара, еще несколько месяцев назад веселая, не очень-то серьезная и болтливая как сорока.

— Ну, тогда слушай,— продолжала Тамара.— Мы очень интересно путешествовали по Средней Азии, по пескам и пустыням. Жарились днем на совершенно невыносимом солнце, мерзли ночью в палатках, потому что эти горячие пустыни ужасно остывают ночью. Страдали от недостатка воды, я-то понимаю теперь, что́ это значит, когда хочется пить, а пить нечего. Словом, все шло хорошо. Экспедиция добралась на двух грузовиках и до Узбоя, о котором я тебе говорила, да ты и сама, историк, о нем знаешь. И там, представляешь, однажды утром, когда мы только что встали, подкатывают к нам еще два грузовика-вездехода, в них какие-то геологи. Из кабинки одной машины выходит совершеннейшая обезьяна. Круглое такое лицо, вся трепаная... Правда, фигурка аккуратненькая. Но бедра... шириной с вашу вот эту кушетку, носик пуговкой, едва высовывается из-под дужки очков... Да, еще вот очки! Два таких громадных очка, за которыми хитренькие, смеющиеся глазки. Она увидела моего Михаила — и поверишь?.. Нет, ты не поверишь! Она простерла к нему руки, воскликнула: «Люлик!» Тьфу, черт возьми! Извини, что я ругаюсь, но противно вспомнить: Люлик! И вот повисла у него на шее. Потом она увела его в барханы... А что я могла поделать? Бежать за ним туда, как идиотка и мещанка, и среди пустыни устраивать семейные сцены на радость шакалам? Они пробыли там где-то часа два. О чем говорили, что делали, я у Михаила так и не дозналась. Мне все это разъяснили другие из нашей экспедиции. Они сказали, что приехавшая обезьяна — это его бывшая жена, он женился на ней, когда ему и ей было по восемнадцати, еще в институте, и что с тех пор

он от нее не знает покоя. На мне он, оказывается, это уже на третьей женился. Со второй эта самая Зоя Арсентьевна, или, как ее все зовут, Зобзик, его уже давно развела. Мне сказали, бойтесь ее, Тамара, это змея, анаконда, кобра. Она сама выходит замуж по три раза в год, она геолог, ежегодно в экспедициях, и вот первым ее мужем в текущем данном отчетном году бывает тот, от кого зависит назначение в хорошую, денежную экспедицию, вторым — начальник партии, с которой она отправляется в путь-дорогу, третьим— тот, кто утверждает результаты экспедиции и от кого зависят премии. Со всех и отовсюду она сосет деньги. Она живет роскошно в Москве, блистает, ее зовут «пиявка в кружевах».

Тамара рассказывала, а Оля слушала, боясь шевельнуться: таким необыкновенным был этот рассказ.

Геологи уехали, уехала и Зобзик, все обошлось как будто бы вполне благополучно. Тамарины благожелатели, казалось, ошиблись в своих предостережениях. Но Тамарин Михаил, однако, изрядно изменился после этой встречи. Он нервничал, был рассеянным, стал грубить, чего до этого не случалось. И изо всех сил он принялся рваться в Ташкент.

Недавно, говорила Тамара, в октябре, ботаники попали наконец в Ташкент, откуда должны были начать обратный путь домой. В первый же день, как только остановились в гостинице, в номер к Тамаре и ее мужу явилась она, Зоя Арсентьевна. «Ну, Люлик, собирайся, у меня билеты на самолет!» — сказала она властно, никакого внимания не обращая на Тамару. Потом она соизволила заметить и Тамару и сказала: «Вы, цыпленочек, не горюйте. Вы молоденькая и простенькая, вам бы еще студентика, такого — с пушком на губах, а вы уже на чужих мужей бросаетесь. Нехорошо, цыпленочек. Люлик, ты ей оставь денег — на дорогу к папе с мамой. И к тому же у нее, кажется, животик... Что ты, дурочка, наделала! Люлик, у тебя есть деньги? Надо же ей еще и на аборт дать».

— Проклятый Люлик! — воскликнула Тамара.— Он вел себя, как ничтожнейший из ничтожных, он ходил перед своей пиявкой на задних лапках! Я его тогда возненавидела. Любовь, Оленька, прошла. Я его нисколько не люблю и удивляюсь, как могла любить. Просто стыд, срам и позор! Словом, Оленька, они улетели. Я ехала домой одна. Теперь он вернулся, приполз ко мне на коленях,

рыдает, говорит, что если бы я знала, какая власть у этой женщины над мужчинами, то я бы не только не злилась на него, а жалела бы как жертву страстей человеческих. А я, Оленька, знать его не хочу, жить с ним больше не намерена, я ушла к папе с мамой, и пропадай он пропадом, будь он проклят, жертва страстей человеческих!

— Правильно, Тамара! — сказала Оля с некоторым страхом, потому что ей подумалось: а вдруг и Варя из таких роковых женщин, которые имеют страшную власть над людьми и с легкостью ломают чужие судьбы.

— Но я не об этом с тобой пришла советоваться,— продолжала Тамара.— Это дело решенное. Я хочу, чтобы ты мне рассказала, как ты устраивалась в школу. Я тоже хочу пойти преподавать. У меня, я чувствую, появились небывалые силищи. Наверно, от злости. Я буду очень хорошо учить ребятишек. Я всего добьюсь! Поверь мне. Я, знаешь, что поняла? Что нельзя вот так бросаться в жизнь, не определив свое в ней место. Видишь, прилипла к человеку, думала — на веки вечные, так сказать, сделалась бесплатным приложением к нему. Его не стало, И что же я? Ничего? Не хочу я больше таких случайностей. Расскажи мне, Оленька, все подробно: как ты работаешь, как преподаешь, как живешь.

Оля долго рассказывала ей о школе. Но она сказала и то, что, наверно, не всегда будет учить ребятишек. Она продолжит со временем научную работу, она увлеклась историей, она поедет летом в экспедицию.

— Может быть, и я со временем чем-нибудь увлекусь. А сейчас хочу работать, работать! — сказала Тамара. — Я горы буду ворочать. Я, знаешь, какая стала!

Тамара ушла. Оля просила ее заходить как можно чаще, а затворив за нею дверь, вспомнила то время, когда они вместе с Тамарой учились в пятом классе, когда вместе готовились к экзаменам и, расхаживая по кабинету Павла Петровича, противными девчоночьими голосами бубнили: «Камбий — это такая часть растения, которая образует... Камбий — это такая часть растения... Камбий — это... Камбий».

Какая это была легкая и светлая пора жизни, пора камбия! И как все изменилось с тех пор, как выросли Оля и ее подруги, как много уже в их жизни произошло больших, навсегда оставивших в сердце свой след серьезных событий. На сердце появились первые шрамы; шрамов

будет все больше с течением жизни, оно будет грубеть под ними, и уже никогда не вернется пора камбия, пора чистого-чистого сердца...

Оля сидела в своей комнатке до поздней ночи: уже улеглась спать Прасковья Ивановна, а Оля сидела. Она ждала Виктора. Она смотрела на часы и стояла у окна, вглядываясь в темень затянувшейся осени. Скоро декабрь, и пора бы настать зиме, но с неба все еще дождило, а если выпадал снег, то сразу таял; было грязно и холодно.

Потом Оля не выдержала, надела пальто, боты, шапку и вышла на улицу, на бульвар, на котором когда-то несколько часов прождала Виктора. И снова она ходила по бульвару, всматриваясь в ту сторону, откуда с трамвая или с троллейбуса должен был появиться Виктор.

3

В ночную смену или к концу вечерней, как бы ты ни старался выспаться днем, всегда дремлется. Ревут электрические дуги, рокочет печь, гудят и позванивают краны — все это ночной порою сливается в твоем сознании в ровный, убаюкивающий шум, сознание расплывается и на какие-то секунды даже исчезает совсем.

В этот вечер дремать было некогда. В этот вечер шла особо ответственная плавка. Еще с полудня в цех пришли Павел Петрович, Константин Константинович, технологи, плавильные мастера. Они сами готовили шихту, сами осмотрели и проверили печь, и когда явился на работу Виктор, ему оставалось только начать плавку.

— Как чувствуете себя, товарищ Журавлев? — спросил Павел Петрович. Но спросил он таким тоном, что Виктору стало ясно: совсем о другом думает отец Оли, вовсе не о его самочувствии.

Виктор все же ответил:

— Хорошо, Павел Петрович. Можно даже сказать, отлично!

Павел Петрович обстоятельно рассказал ему, какую он, Виктор, поведет плавку, каковы ее особенности, чего от нее следует ожидать.

— Или мы сегодня нанесем флокенам решающий удар, или потерпим еще одно поражение, товарищ Журавлев.

И вот идет эта решающая плавка. В отдалении, куда не достигает жар от печи, сидят на ящиках инженеры. Павел Петрович им что-то рассказывает, они кивают головами. Виктор уже не раз говорил Оле, что она неправильно ведет себя по отношению к отцу, что ему просто неудобно соваться в такое дело, а не то бы он сам пошел к Павлу Петровичу и извинился за нее. Оля всегда отвечает одно и то же: «Отец изменил маме, изменил семье. Я не могу, понимаешь ли ты, не могу видеть его рядом с *ней*». С ней — это означало: с Варей. О Варе Оля стала говорить только так: *она* и *эта*. Виктор уверял Олю, что все это выдумки, что никаких отношений у Павла Петровича с Варей нет. «Да? Нет? — со злой усмешкой отвечала Оля. — Вот по-твоему нет, а по-моему есть. Я собственными — собственными! — глазами видела. Давай лучше не будем говорить на эту тему».

Но разве можно не говорить на такую тему? Это же нелепо — дочь поссорилась с отцом из-за нелепых выдумок; дочь бросила отца в одиночестве; дочь не желает с ним даже видеться. А отец-то какой замечательный!

Виктор часто встречается с Варей в цехе. Варя продолжает вести на заводе интересную работу, которую начала в институте. Она расспрашивает об Оле, о том, как они живут. Виктор сказал ей однажды по простоте душевной: «Что же вы не заходите к нам? Заходите». — «Спасибо, — ответила она. — Но это, кажется, исключено». И он мысленно согласился: действительно исключено. Ольгу не переубедишь.

Варя рассказала Виктору о том, какую роль сыграл Павел Петрович в ее жизни, как помог ей правильно переменить профессию. Виктора тянуло к Олиному отцу, он бы, наверно, проводил с Павлом Петровичем все свободное время, если бы не Ольга с ее принципами. Павел Петрович умел вести дело так, что все, кто принимал участие в этом деле, относились к нему с полным сознанием, с полным пониманием, для чего это дело делается. Вот он, Виктор... Плавил тут сталь и плавил, работал хорошо, его хвалили. А стал работать под руководством Павла Петровича — все как бы осветилось впереди. Идет, оказывается, жесточайшая борьба с водородом, борьба за прочность стали, следовательно — за прочность и долговечность машин. В этой борьбе надо во что бы то ни стало победить. Виктор взялся для этого читать такие книги, каких и в руках-то прежде не держал. Ольга

удивляется: уж не диссертацию ли он надумал готовить. Вот, мол, будет смешно: она бросила аспирантуру, пошла в школу, то есть на производство, а он бросит производство и пойдет в аспирантуру.

Вспоминая Ольгу, он думал о ней с нежностью. Ну пусть она не всегда справедлива, ну пусть злюка, пусть,— зато она самая лучшая на свете, самая умная и самая красивая. Она говорит: давай наплюем на всякие зеркальные шкафы, холодильники и хрустальные вазы. Давай жить так, чтобы эта дребедень нас не закабаляла. Давай лучше ходить в театры, в кино, в музеи. Давай накопим денег и вместо шкафов купим автомобиль и каждое лето будем путешествовать по Советскому Союзу.

С этой программой жизни Виктор полностью согласен. Он очень любит Маяковского и в стихах Маяковского находит много мыслей, схожих со своими собственными. Вот, например: «Страшнее Врангеля обывательский быт...» Был у Виктора школьный друг — Санька Толстихин. Мечтали. О многом мечтали — о путешествии в Индию, об открытии новых земель, о работе на дрейфующей станции «Северный полюс», а во время Отечественной войны строили планы того, как проберутся они в тылы врага — в Берлин, в его подземелья — и уничтожат проклятого Гитлера, и потом все человечество будет чествовать их — мировых героев земного шара.

Где же сегодня Санька Толстихин? Где этот мировой герой земного шара? Он зубной техник, изготовляет зубы и челюсти, делает это на дому, дерет с людей громадные деньги, обставляет квартиру дорогой мебелью, покупает ковры и фарфоровые штучки. Как же это случилось с героем земного шара? Женился на какой-то Верочке, у которой отец тоже зубной мастер. Не он ли и приучил Саньку к большим деньгам?

Нет, ну их к чертям, эти шкафы «под птичий глаз» и фарфоровые штучки восемнадцатого века, лишь бы не жить такой глупой и самодовольной жизнью, какой живет Санька. Права Оля, права, нельзя попадать в кабалу ко всякой дребедени, из-за которой жизни не видно, все эта дребедень заслоняет.

В яме под печью вдруг ярко вспыхнуло пламя, разбрасывая брызги металла и ослепительные искры. Виктор бросился вокруг печи к выпускному отверстию: ему подумалось, что сталь прорвалась именно там. Но дело

обстояло гораздо хуже, была прорвана стенка печи, рядом с выпускным отверстием, чуть ниже его, сквозь огненную скважину хлестала струя расплавленной стали.

Все, о чем только что размышлял Виктор, было забыто. Осталась одна мысль: плавка особо ответственная, решающая, плавка, от которой зависит победа над водородом... Или — еще одно очередное поражение.

Виктор оглянулся: инженеры и мастера куда-то ушли, звать на помощь было некого.

— Выключить ток! — приказал он.— Наклон в сторону завалки! — кричал он подручным.— Давай магнезит, давай руду.

Замелькали лопаты. Виктор поднял заслонку завалочного окна, обдало жаром,— казалось, расплавленный металл вот-вот хлынет через порог прямо ему под ноги. Он принялся бросать приготовленную смесь на порог окна, создавая плотину на пути огненной реки. По мере того как эта плотина нарастала, печь все наклоняли и наклоняли. Сталь перестала уходить через прорванную стенку.

Бешеная работа длилась, может быть, минуту или две — никто в бригаде не считал времени,— и когда подошли оповещенные об аварии Павел Петрович и Константин Константинович, Виктор сидел на краю бочки с водой, дышал тяжело, но улыбался.

— Всё в порядке, — сказал он, подымаясь. — Через несколько минут будем выпускать.

Павел Петрович осмотрел печь, установил причину аварии, которая не зависела от сталеваров, убедился, что плавка спасена, и, подойдя к Виктору, сказал:

— Вы молодец, Журавлев! Вы поступили так, как не каждый из бывалых плавильщиков догадается поступить. Иной на вашем месте выпустил бы сталь в яму — и все, и был бы прав. Большое вам спасибо!

Виктор почти не слышал того, о чем говорил Павел Петрович. Он выдержал страшное напряжение, в голове у него стоял звон, глазам было больно, ноги подкашивались. Но он изо всех сил старался улыбаться.

Сдав печь, он пошел с завода пешком, ему не хватало воздуха. Долгий путь по дождливой погоде сделал свое дело: к дому он подходил обычным бодрым шагом. Оля встретила его у подъезда в третьем часу ночи.

— Что случилось, Витя? — воскликнула она, обнимая его за шею.— Где ты пропадал?

— Стенку новой печи прорвало. Металл пошел наружу,— ответил он, входя в подъезд.

— Да что ты! — воскликнула Оля со страхом в голосе.— Тебя не обожгло?

— Нет, так, подгорел немножко. Понимаешь, какая штука...— Он принялся рассказывать о том, что случилось у него с печью.

Они уже вошли в их комнатку, Виктор снял куртку, кепку, размотал шарф.

— А пока так колбасился около печи, чуть-чуть и припекся,— закончил он.

Оля смотрела на Виктора с укоризной и состраданием, восхищением и любовью. Кожа лица у него была красная, воспаленная, будто он перегрелся на солнце, брови почти исчезли, остатки их были рыжие. Оля встала, прикоснулась носом к бровям — пахло паленым; паленым пахло и от головы.

— Витенька,— сказала она.— Милый мой! Так ведь и вовсе сгореть можно.

— Что ты! Зря я, по-твоему, горячий металл рукой рубил? Привыкаю к огню. Обожди, таким сделаюсь, что огонь меня уже не возьмет.

Через несколько дней заседало бюро райкома комсомола, на которое вызвали Виктора. Оля, как всегда, сидела между Кирой Птичкиной и Никитой Давыдовым, а Виктор, войдя, снова сел на стул возле дверей и дальше не двинулся.

— Товарищи! — сказал Коля Осипов. — Мы пригласили Виктора Журавлева, бригадира-сталевара завода имени Первого мая, чтобы, во-первых, снять с него тот выговор, который ему был дан, конечно, совершенно правильно, а, во-вторых, чтобы торжественно объявить ему благодарность. Виктор Журавлев исключительно мужественно и находчиво вел себя во время тяжелой аварии электропечи, происшедшей по вине монтажников. Виктор Журавлев спас несколько тонн ценнейшей стали, еще более ценной оттого, что плавка была опытной и очень важной. Мы не будем снова повторять то, о чем так обстоятельно поговорили с Журавлевым в этом кабинете прошлый раз. Правда, пословица что говорит? Кто старое помянет — тому глаз вон. Ну, а кто его забудет, тому и оба долой. Не будем вспоминать, но не будем и забывать. Итак, нет возражений: отметить мужество, находчивость и техническую грамотность Виктора Журавлева и объявить ему

благодарность? Администрация завода это уже сделала. Должны сделать это со своей стороны и мы, комсомольцы. Нет возражений?

— Нет,— ответили три голоса одновременно.

— Товарищ Осипов,— сказала Оля, густо краснея,— я воздерживаюсь.

Все засмеялись, даже Виктор улыбнулся.

Коля Осипов сказал:

— Ладно, воздерживайся: причина, так сказать, твоя ясна. Но в протоколе мы этого не отметим. До свидания, товарищ Журавлев! Желаем тебе новых успехов в труде и в жизни!

Виктор вышел. Оля выскользнула за ним в коридор, проводила до лестницы, незаметно пожала ему руку: «Поздравляю. Буду скоро дома. Мы должны это сегодня отпраздновать, слышишь?»

4

Шел студеный январь. Ночами город скрипел и потрескивал от лютого холода. Лопались стекла в домах, рвались трамвайные провода, раскалывались деревянные столбы фонарей в окраинных улицах. Дохли воробьишки. Лада промерзла больше чем на метр.

В иные годы сотрудники института, которые имели дома в Ивановке, непременно зимними воскресеньями, еще с субботы, выезжали за город. Этой зимой, как говорили, ездила в Ивановку лишь жена Харитонова — Калерия Яковлевна; она ездила проверять бревна и кирпичи на своем участке — не украл ли кто, не сожрал ли их окончательно какой-нибудь жучок.

В институтских кабинетах и лабораториях было тепло; кочегары топили, не жалея угля, потому что Павел Петрович сумел выхлопотать его значительно больше, чем в прошлые годы. Собираясь постоять возле батарей центрального отопления, немалое число сотрудников всю первую половину января обсуждало недавнее, многих перессорившее событие: заселение нового дома. Его заселяли к первому января, к Новому году. Дом получился очень хороший, со всеми удобствами, фасадом он был повернут на юг, на солнце, имел лифты, но уж слишком был маленький — всего тридцать две квартиры, в то время как желающих в него въехать и подавших заявления об этом

было более ста человек. Квартирный вопрос обсуждался и на партбюро и на профкоме. На партбюро Мелентьев, когда соглашались не с ним, а с Павлом Петровичем, учинял целые демонстрации — он передавал председательство кому-либо из членов бюро и уезжал из института якобы в горком. На этот раз он боролся не только за постоянных своих подопечных — Харитонова, Самаркину и еще нескольких, которые всегда поддерживали его на собраниях и которых всегда поддерживал он. Оказалось, что на этот раз Мелентьев горой стоит и за Мукосеева, и особенно за Красносельцева, о котором — Павел Петрович это отлично помнил — секретарь партбюро при первой же беседе отзывался как о плохом общественнике, как о человеке, старающемся отовсюду что-нибудь урвать для себя.

Жилищные условия претендентов на новые квартиры были заблаговременно изучены, поэтому все притязания Мелентьева легко опровергались официальными документами, которые содержали письменное изложение этих условий, и устными рассказами членов обследовательских комиссий.

У Харитонова, например, была квартира из трех комнат, светлая, теплая, удобно расположенная, жить бы в ней и жить супругам Харитоновым. Но Калерия Яковлевна стояла на страже интересов своего мужа, который за двадцать лет перезанимал все руководящие посты в институте. Переезд в новую квартиру она рассматривала как новое утверждение своего Валеньки в славной когорте ведущих. Отказ в новой квартире был бы знаком ущемления Валенькиного престижа. Этого допускать было нельзя. Калерия Яковлевна признавала Валенькино пребывание только в ведущих, славных, в числе людей некой первой линии. Правдами и неправдами она добивалась того, чтобы на всяких институтских вечерах сидеть с Валенькой в первом ряду; она пронырливо, под различными предлогами проникала в дома, в семьи, заводила знакомства с женами сколько-нибудь известных сотрудников института.

Последним и высшим ее достижением было проникновение в дом Шуваловой, долгие годы для нее закрытый. Не только на даче, но и в городе она стала довольно часто забегать к Серафиме Антоновне — то по дороге из универмага, то по дороге в универмаг. Серафима Антоновна относилась к ней довольно терпеливо. За множество мел-

ких осведомительских услуг она вынуждена была обещать Калерии Яковлевне самую энергичную помощь в отношении квартиры в новом доме. Серафима Антоновна сдержала свое слово, даже сходила к Мелентьеву, с которым в последние месяцы поддерживала отношения в таком духе, о каком можно было бы сказать: дух лояльного сотрудничества. Мелентьев опять говорил о чувстве плеча, обещал учесть ходатайство Серафимы Антоновны, уважаемой ведущей ученой, тем более что, мол, он и сам стоит горой за Харитонова, он-то, мол, поддержит кого надо на партбюро, но ведь еще могут возникнуть осложнения на заседании профкома, пусть там скажет свое слово она, беспартийная ведущая ученая. Пусть она похлопочет и о Самаркиной. Совместно они договорились хлопотать еще и о Красносельцеве. У него, правда, тоже хорошая квартира, но ему надо сделать так, чтобы самому переехать в новую, а на старой оставить дочку с мужем и ребенком.

Сговор не привел ни к чему. На профкоме выступило несколько человек, и все единодушно были против того, чтобы давать квартиры тем, у кого и так хорошие жилищные условия. Серафима Антоновна утратила обычную свою выдержку. «Очень жаль,— сказала она, когда профком решил отказать в квартирах всем, кому она протежировала,— очень жаль, что демократические принципы в нашем институте сведены к нулю. Очень жаль, что мы все так легко подчиняемся диктату товарища Колосова. Я уступаю, но только под грубейшим нажимом директора, который изволит тут повышать голос и, я бы сказала, запугивать нас».

Павел Петрович слушал ее с удивлением и горечью. Грубейший его нажим и его запугивание выразились, оказывается, в словах: «Мы не позволим нас обманывать и под видом улучшения быта ученых улучшать быт их дальних родственников. Мы предадим гласности все эти поползновения».

На этом же заседании Павел Петрович попросил профком дать хотя бы маленькую квартирку Ивану Ивановичу Ведерникову, который сам с такими просьбами никуда не обращался, но о котором ходатайствует он, Павел Петрович, и принялся рассказывать о тех условиях, в каких живет Ведерников. «Вот у кого надо учиться скромности,— сказал Павел Петрович,— а не у Харитонова».— «Эта скромность — пуще гордости! — воскликнула

Серафима Антоновна. — Он третирует всех, кто с ним не пьет! Он живет в бреду, в горячке!» — «Не стыдно вам, Серафима Антоновна?» — мягко ответил Павел Петрович.

Вопрос о квартире Ведерникову решили при одном голосе против. Это был голос Серафимы Антоновны. Опустив свою одинокую руку, она поднялась с кресла и, прошагав до двери походкой королевы, демонстративно покинула заседание профкома.

К Новому году дом заселили, недовольных оказалось немало, во все инстанции полетели заявления. И в это самое время разнесся слух, что в ближайшие дни партбюро будет разбирать вопрос о том, как осуществляет руководство институтом директор Колосов.

Одни пожимали плечами и удивлялись подобной выдумке Мелентьева. Другие говорили, что Мелентьеву за эту выдумку, наверно, влепят: зачем дергает и нервирует человека. Третьи говорили: ну и что же, всякому начальнику время от времени полезна встряска. Четвертые просто потирали руки от удовольствия: так ему, Колосову, и надо, святошу из себя изображает, такой идейный — сил нет. Пятые считали: понормальнее станет в институте, а то у нас теперь вроде завода,— только и разговоров что о производстве, а не о науке. Связь с производством да связь с производством, всякие содружества, работать некогда.

Известие о том, что о нем будут разговаривать на партийном бюро, меньше всего задело самого Павла Петровича. Ничего иного он от Мелентьева и не ожидал. Он приготовил материалы о том, что сделано в институте за десять месяцев, о том, какие внесены изменения в тематический план, как план очищался от устаревших и бесперспективных тем, как он пополнялся темами, волнующими производственников, как выполнялось правительственное задание, как росли при этом люди, какие произведены повышения в должностях молодых научных сотрудников, как улучшались бытовые условия работников института, какие чрезвычайные меры были приняты для того, чтобы в очень короткий срок достроить дом.

Материал был веский, обширный, и в назначенный день Павел Петрович совершенно спокойно отправился на заседание партийного бюро. Его немножко встревожило лишь то, что в кабинете Мелентьева оказалось очень мало народу, меньше, чем бывает обычно на заседаниях бюро.

И еще он заметил, что среди присутствующих не было почти никого, с кем Павел Петрович работал в непосредственном контакте. Были тут Самаркина, Харитонов, Мукосеев. Были двое рабочих из мастерских, сидела возле окна бывшая секретарь директора Лиля Борисовна. Среди членов партбюро Павел Петрович не увидел старика Малютина, не было тут и бывшего главного инженера Архипова. Павел Петрович спросил у Мелентьева, где же они. Мелентьев ответил, что их срочно и совершенно неожиданно вызвали в горком составлять какой-то важный документ. Мелентьев держался отчужденно, сугубо официально, на Павла Петровича не смотрел. «Ладно, ладно,— думал Павел Петрович,— я тебя сокрушу фактами, итогами работы, результатами».

Мелентьев открыл заседание и заговорил:

— Товарищи! Сегодня перед нами стоит один из серьезнейших вопросов, какие когда-либо стояли на партбюро за последние два года. Этот вопрос назрел, созрел и требует, я бы сказал, хирургического вмешательства. Дело в том, что почти во все вышестоящие партийные инстанции, вплоть до Центрального Комитета, вот уже несколько месяцев подряд идут письма, сигналы, заявления о неблагополучии в нашем институте. С такими же сигналами и заявлениями люди идут к секретарю горкома, идут и ко мне в партбюро. Разные люди — от коммунистов с тридцатилетним стажем, — Мелентьев взглянул на Мукосеева, тот утвердительно кивнул головой,— и до беспартийных честных ученых с мировыми именами.— Мелентьев посмотрел куда-то вдаль, за окно.— И вот,— продолжал он, — все сигналы, все заявления свидетельствуют о том, что рыба, как говорится, гниет с головы. Все дело упирается в товарища Колосова, в директора института, который не понял специфики научной работы, принялся насаждать тут заводские порядки, превратился в диктатора, оторвался от партийной организации, как Антей от земли, о чем мы читали в Кратком курсе нашей партии. Он взлетел в облака, и думаю, что ему оттуда придется падать очень больно, перин мы ему подкладывать не станем. Я лично, товарищи, долго колебался и сомневался: хорошо ли будет, если мы вот так поговорим о товарище Колосове, не будет ли это воспринято как подрыв авторитета руководства института. Товарищ Савватеев, секретарь горкома партии, рассеял мои сомнения. Он прямо подсказал: обсуждайте без всяких скидок,

перед лицом партии мы все равны — и директор, и директорские шоферы, и нечего нам тут разводить нравы института благородных девиц.

Мелентьев принялся подробно рассказывать об истории своих взаимоотношений с Павлом Петровичем, о том, как Павел Петрович с первого же дня не стал считаться с партийным бюро, как барственно-пренебрежительно отнесся к самому Мелентьеву. «Все это ложь, передергивание, неправда»,— несколько раз подавал реплики Павел Петрович. Но Мелентьев, ответив: «Вам будет предоставлено слово, товарищ Колосов, прошу не перебивать», — продолжал свое. Проговорив больше часу, он действительно предоставил слово Павлу Петровичу.

Павел Петрович начал обстоятельно рассказывать обо всем, что сделано в институте, он листал свои материалы и приводил только факты, факты, факты, по его мнению, красноречивые и доказательные. Что же касается обвинения в отрыве от партийной организации, то об этом он сказал коротко: «Чушь, и больше ничего». Он думал, что всех убедил и сейчас люди начнут стыдить Мелентьева за глупую, тенденциозную, во многом клеветническую речь.

Но первой выскочила Самаркина и заговорила о том, что директор Колосов издевательски относится к научным кадрам, особенно к кандидатам наук.

— Есть постановление о предоставлении кандидатам технических наук,— восклицала она,— должности научного сотрудника с оплатой в тысячу семьсот пятьдесят рублей! А что получается? Я — кандидат технических наук. Мне нет этой должности, и я не получаю указанной ставки.

«Стружку в цехе не убирают»,— подумал Павел Петрович с усмешкой. Может быть, Самаркина увидела тень этой усмешки на лице Павла Петровича. Она с еще большей яростью заговорила:

— Ему, видите ли, смешно. А нам нет. Собакина тоже защитила диссертацию. Обещал Колосов ей полагающуюся должность? Обещал! А сделал что-нибудь? Нет. Он лгал! Его стиль: лгать, лгать, лгать! Получит кандидат наук соответствующую должность или не получит — Колосову дела нет. Виляет, крутит. То говорит: дам должность старшего научного сотрудника тому, у кого диплом на руках, а завтра предоставляет ее человеку, не имеющему диплома на руках, например Стрельцовой. Кто такая была тут Стрельцова?

— Его любовница! — сказал Мукосеев.

— Товарищ Мелентьев! — Павел Петрович встал.— Это что же, опять старые сплетни подымать будете? — Его охватило волнение, ему было противно и мерзко.

— Сядьте! — сказал Мелентьев.— Тут собрались коммунисты, и они не сплетнями занимаются. Они прямо и честно высказывают свое мнение. Если правда глаз колет, потерпи, товарищ Колосов. Не все тебя елеем мазать.

Павел Петрович сел, прикрыл лицо рукой и приготовился услышать еще худшее. Он, правда, все еще верил, что кто-нибудь даст отпор Мелентьеву и приспешникам Мелентьева. Откуда ему было знать, что Мелентьев тщательно продумал состав тех, кого надо было пригласить на бюро, что пригласил он только обиженных, обойденных Колосовым, что члены бюро старый большевик Малютин и Архипов были вызваны в горком по просьбе самого же Мелентьева, который договорился об этом с Савватеевым: без них, мол, лучше будет. А то еще бузу поднимут. Архипов, он потише, а Малютин — тот все может.

Слово после Самаркиной взял Мукосеев. Он бил себя в грудь кулаком, облизывал пересыхающие губы, жадными глотками пил из стакана, хрипел. Он говорил о том, как с винтовкой в руках завоевывал советскую власть, как всегда честно трудился, о том, что его всегда ценили и только Колосов изволил обвинить в лодырничестве, в увиливании от задач современности, в уходе в тихую гавань компиляций и подражания. Это неправда! Он хоть сейчас умрет за советскую власть, пусть только партия прикажет.

Его речь произвела громадное впечатление. Он говорил так искренне, с таким негодованием, что вот, думалось, сейчас упадет человек и умрет от разрыва благородного сердца. Он продолжал говорить, он кричал о том, что на столе у Мелентьева, вон там, справа, лежит заявление старого честного рабочего, который тоже проливал кровь за советскую власть, за революцию. Старый пролетарий Семен Никанорович Еремеев пишет, что и на производстве инженер Колосов думал больше о себе, чем об интересах партии и государства. Он запорол сорок тонн высококачественной стали, которая стоила больше миллиона рублей, и при поддержке каких-то дружков сбежал с завода в институт. Он и в молодости немало летал с места на место. Он не ужился на Уралмаше, на Магнитке, на Сталинградском тракторном. Посмотрите в его личное

дело. У него биография летуна. Но летуна, который любит летать с комфортом. В институт он перелетел со своей любовницей. Правильно тут говорила товарищ Самаркина. Стрельцова пользовалась барским покровительством, ее заявление об отпуске директор Колосов подписывал, лежа ночью в постели.

— Перестаньте! — сказал Павел Петрович довольно спокойно.— Вы уже не меня, а партбюро пачкаете. Такая чудовищная клевета оскорбительна уже не для меня и Стрельцовой, а для тех, кому вы ее преподносите.

— Бросьте демагогию! — крикнул Мукосеев.— Мы таких...— Он рванул себя за ворот, с треском полетели на пол пуговицы. К нему бросилась Самаркина с очередным стаканом воды. Он замолчал.

Взяла слово Лиля Борисовна. Красная, с трясущимися руками, она заговорила о том, как груб товарищ Колосов, как он кричал на товарища Харитонова. «Когда?» — спросил Павел Петрович. Но Лиля Борисовна, не отвечая на вопрос, продолжала говорить. Она сказала, что однажды, когда к Павлу Петровичу зашла заведующая институтскими яслями — все ее знают: она, конечно, действительно очень полная женщина — и попросила утрясти какой-то вопрос, товарищ Колосов ответил, что с ее комплекцией нелегко что-нибудь утрясти. Глупой шуткой он глубоко оскорбил человека. Он оскорбил и ее, Лилю Борисовну, прогнав с того места, на котором она проработала столько лет.

Затем взял слово работник хозяйственного отдела. Павел Петрович подумал, что, наверно, он будет говорить о квартирах, потому что сам просил квартиру и ему в ней отказали. Так и случилось. Хозяйственник принялся рассказывать о том, как заселяли новый дом, о том, что старым работникам института, например, вот присутствующим тут товарищам Харитонову и Самаркиной, квартир не дали, а какому-то заводскому парню выделили комнату.

Павел Петрович подумал, что надо перебить оратора и сказать, что эту комнату весной институту вернут, что ее дали по просьбе секретаря Первомайского райкома партии, что так спасали жизнь молодого рабочего. Но он промолчал, он понимал, что слушать его уже не будут. Хозяйственник говорил еще о том, что незаконно дали квартиру и Ведерникову, у которого и так есть квартира в городе, а кроме нее, есть квартира в Трухляевке, есть жилье и у его жены, где-то за городом. Еще вот одну дали.

Перечень грехов Павла Петровича все рос и рос. Припомнили даже переезд в новый кабинет: самодурство, дескать. Выступил рабочий из мастерских, сказал, что три дня добивался приема к директору, да так и не попал к нему. Мелентьев принялся читать вслух подписанные и анонимные письма.

Потом Павел Петрович выступил в свою защиту. Но получилось у него как-то плохо, неубедительно. Он думал о том, как легко обороняться против открытых врагов и как трудно стоять перед товарищами, которые или действительно не понимают тебя, или не хотят понимать. В борьбе против врагов ему бы помогли, но кто поможет в борьбе против товарищей по работе, по партии? Кто поверит ему одному, а не им, вот тут собравшимся?

— Все, что здесь происходит, для меня непонятно, товарищи, — говорил он. — Это или сон, или какое-то страшнейшее недоразумение.

— Нет тут никакого недоразумения, — перебил его Мелентьев.— Это логическое завершение вашей линии отрыва от партии.

На Павла Петровича снова обрушились гневные речи. Он услышал нелепые слова, которые никак не могли относиться к нему. Он слышал, как говорил Мелентьев:

— Я думаю, мы не ошибемся, товарищи, если примем решение исключить Колосова из партии и рекомендовать это решение партийному собранию. Кто «за»? Трое. Кто «против»? Двое. Итак, проходит предложение исключить Колосова из рядов Всесоюзной Коммунистической партии большевиков. Вы свободны, товарищ Колосов.

Павел Петрович встал, твердым шагом дошел до двери, там обернулся и сказал:

— Нет, это не партийное решение.

Добравшись до своего кабинета, он надел шубу, шапку, обмотал шею шарфом. Было поздно, Вера Михайловна Донда ушла домой. Куда надо звонить, чтобы вызвать машину, он забыл. Он вышел на улицу и шел, шел, больше часа. Сначала решительным шагом, быстро, затем все медленнее, медленнее и все менее решительно. Просто было сказать: «Нет, это не партийное решение», но не просто было опровергнуть обвинения, возведенные на него. Их было так много, что они стали давить на его плечи.

Он не оглядывался и потому не видел, что за воротами института его догнала женщина и неотступно следовала за ним в нескольких шагах позади.

5

Был четвертый час ночи, когда Павел Петрович длинным звонком поднял с постели Бородина. Павел Петрович не давал бы такого бесконечного звонка, если бы, нажав кнопку, не позабыл о том, что́ делает; но он позабыл и продержал руку до тех пор, пока в дверях не появился сам Бородин в наскоро натянутых брюках, в шлепанцах и в кителе, который не успел застегнуть.

— Павел? — сказал Бородин, пропуская Павла Петровича мимо себя.— Уж не пьян ли ты, дружище?

Павел Петрович не ответил. Бородин провел его в свой тесный кабинетик, где еще не рассеялся табачный дым, потому что хозяин кабинета ушел отсюда едва полчаса назад. Павел Петрович сел в кресло, посидел, закурил.

— Василий Сергеевич,— сказал он, рассматривая дым, только что выпущенный изо рта,— меня исключили из партии.

— Что? — Бородин шагнул к нему, остановился, тоже сел в кресло.— Что ты сказал?

— Из партии, говорю, исключили. В тридцатом году приняли... Двадцать два года назад. А сегодня исключили.

— Какую-то чепуху ты городишь,— сказал Бородин.— У тебя вообще всегда какие-то фантазии. Переработал, что ли? Съездил бы на курорт, отдохнул. Ведь не был в отпуске-то в прошлом году?

— Не то говоришь, Василий Сергеевич. Не о том надо говорить. Надо говорить о другом: или они ошиблись, или все время ошибался я. Если правы они, то, значит, я стал негодяем.

— Прежде всего, Павел, я бы попросил тебя рассказать мне о том, что с тобой случилось, более или менее связно, хотя бы в минимальной последовательности, так, чтобы можно было понять суть дела.

Павел Петрович пытался как можно точнее воспроизвести ход заседания партбюро, пересказывал выступления Мелентьева, Мукосеева, Самаркиной — всех. Делал он это сумбурно, перескакивая с одного на другое; забыв, с чего начал, продолжал рассказ совсем об ином. Бородин в таких случаях пытался осторожно возвращать его к начатому рассказу, но это не всегда удавалось. Павел Петрович рассказывал ему свою жизнь, припоминая ее всю — от первых сознательных впечатлений и наблюдений до самого начала злополучного заседания бюро.

— Быть исключенным из партии — для меня это хуже, чем умереть,— сказал он, когда часы пробили пять.— Это вроде как бы пережить самого себя, Василий Сергеевич. Ты еще как бы дышишь, шевелишься, а на самом деле ты труп.

— И что же? — перебил его Бородин.— Никакого выхода нет? Тупик? Делать больше нечего и идти больше некуда? Только в гроб?

— В гроб? — переспросил Павел Петрович. — А что ж ты думаешь? Да, в гроб!

Бородин, прищурив глаз, будто прицеливаясь, посмотрел на него, бледного, со складками, прорезавшими лицо от носа до подбородка, нагнулся за письменный стол, туда, где рядом с креслом на полу стоял железный несгораемый ящик, отомкнул ящик, резко брякнув ключами, и бросил на стол перед Павлом Петровичем тяжелый пистолет.

— Если ты размяк и ослаб,— сказал он зло,— то, значит, ты и в самом деле чуешь за собой вину! Значит, признаешь, что они, которые исключили тебя сегодня из партии, правы.

— Сволочи они! — вдруг крикнул Павел Петрович.— Сволочи!

— Так что же ты уступаешь без бою, если сволочи? — повысил голос и Бородин. — Что же ты сдаешься? Кто тебя учил так быстро сдаваться? Не большевик ты, как я погляжу, а черт знает кто! Нá, стреляйся! — Он придвинул пистолет еще ближе к Павлу Петровичу. — Делай дырку в голове!

— Ты за кого меня считаешь? — злобно ответил Павел Петрович. Положив руку на пистолет, он поднял его и так трахнул по столу, что разбил толстое стекло.

— Успокойся, послушай...— сказал Бородин, рукавом кителя смахивая осколки стекла на пол.— Послушай, что я тебе скажу. Давай подумаем, что же случилось? Случилось то, что какие-то силы ополчились на тебя, ты им не угоден, они хотят с тобой разделаться. А разве на нас с тобой всю жизнь, что живем, не ополчались разные силы?

— Василий Сергеевич, это не какие-то силы, это коммунисты института!

— Я понял из твоего рассказа, что там были далеко не все коммунисты института. Далеко не все! Так послушай дальше. Да, всю жизнь на нас ополчались какие-то силы. Ты не забыл песню нашей молодости: «...и вся-то наша жизнь есть борьба!» Пел, пел, дорогой мой, и поза-

был об этом. Тебя трахнули троцкисты гаечным ключом по виску? Трахнули. Тебя обвиняли подкулачники в краже инструмента на заводе? Обвиняли. Тебя пытались в деревне зарубить топором? Пытались. Тебя это удивляло, пугало? Нет, не удивляло, не пугало. Ну, допустим, сейчас с тобой хотят расправиться не троцкисты, не кулаки и не подкулачники, но, дружище, воинствующие обыватели, карьеристы, политиканы, интриганы — это ведь тоже остатки прошлого, разбитого, но недобитого. И мы еще не знаем, кто стоит за этими остатками. От себя они работают, во имя собственного благополучия, или кто-нибудь хитро и умело дергает их за невидимую веревочку? Тебе вот, наверно, думается, что ты сейчас одинок, один остался. Так, что ли? — Бородин закурил папиросу.— А ты представь себе черный, чужой город. Ночь. Средневековые улицы, где справа и слева плотно закрытые двери, сзади гестаповская погоня, и только впереди какая-то надеждишка, маленькая, крошечная, потому что и там, впереди, все чужое и все чужие. Да, там ты действительно один. Там ты действительно берешься за этот пистолет,— Бородин взял пистолет в руки, подбросил его на ладони,— берешься и соображаешь: куда лучше пустить пулю? Говорят, лучше всего в рот. Ошибок еще не было. Стрелявшиеся в рот обратно не возвращались. Но соображаешь и другое: ты раздобыл ценнейшие сведения о противнике, их ждут. Как же ты, подлец, подведешь товарищей, свой народ, если проглотишь эту пулю! И ты цепляешься за надеждишку, ищешь щель в стенах, ползешь по крышам, перелезаешь через заборы, бредешь по горло в гнилой воде крепостного рва. Один, один, один!.. Никто не придет к тебе на помощь. И если ты случайно среди этой жуткой ночи услышишь русский голос, то это пленники в бараках из железобетона, «восточные рабочие», которым построили серые холодные клетки в пустом поле за городом. Помнишь, я как-то пел, на Олечкином дне рождения? «На опушке леса старый дуб стоит, а под этим дубом партизан лежит. Он лежит, не дышит, он как будто спит, золотые кудри ветер шевелит». Вот в ту ночь я эту песню и услыхал, лежа в канаве. Женщина пела в бараке. Я слушал и думал: нет, не возьмете! Нет, дойду куда надо, во имя того, чтобы вызволить печальную певунью из неволи. Дойду, доберусь...

— Ты сравниваешь несравнимое,— сказал Павел Петрович.— Ты заранее знал, на что идешь, ты знал, что ты

будешь один, что ты будешь среди врагов. А я? Разве это враги: какая-то глупая Самаркина, которой надо повысить зарплату — и она успокоится, какой-то Харитонов, которому построй дачу, дай новую квартиру — и он будет твоим лучшим другом?

— До той самой поры, пока ему еще что-нибудь не понадобится.

— Так кто же они — враги?

— Я таких ненавижу! — Бородин уклонился от прямого ответа.— Будь моя воля, я бы порол их публично на площадях. Склочники, клеветники, карьеристы — они заваливают своими заявлениями партийный, советский, следовательский аппараты. Они ходят и всюду кляузничают. Я их боюсь!

— Ты? Полковник разведки?

— Да, я. Против них должен восстать закон. Должен быть вынесен закон. Только закон их обуздает и обезвредит.

— Но что все-таки мне-то делать? — спросил Павел Петрович.— Это всё теории, пожелания, рассуждения.

— Надо бороться! — ответил Бородин.— У тебя, друг мой, партбилет в кармане. Ваше бюро еще не партийное собрание. А дальше, выше — есть и еще многие партийные органы, вплоть до ЦК партии. Ты, если понадобится, должен пройти их все и доказать свою правоту. Тебя троцкисты гаечным ключом по виску трахнули?

— Ну и что?

— Тебя подкулачники обвиняли в краже инструмента? Ты сдавался? Нет, ты не сдавался. Вот тебя снова трахнули мерзавцы, ущемленные обыватели. Не имеешь права сдаваться!

Бородин кричал на Павла Петровича, Павел Петрович кричал на Бородина, и Бородин этому радовался.

Он стал уговаривать Павла Петровича остаться переночевать у них,— постель можно устроить на диване в кабинете. Но Павел Петрович отказался. Он ушел перед самым рассветом. Он еще не знал, как это будет осуществлено на деле, но он говорил себе: надо бороться, надо бороться! В эти минуты ему нужен был друг, беззаветный и преданный, не рассуждающий и не колеблющийся.

Этот друг у него был. Но Павел Петрович его не видел. Этот друг, промерзший до костей, окоченевший, измученный, шел в нескольких шагах позади него.

6

Еще накануне Варе стало известно, что в институте состоится бюро, на котором собирались прорабатывать Павла Петровича. Об этом ей сказала ее квартирная хозяйка, которая работала в институте.

Варя очень удивилась. Странные какие люди, думала она, неужели они не знают о том, что опыты Павла Петровича закончились на заводе блестяще. Водород почти побежден. Уже в той плавке, которую спас Журавлев, его было ничтожное количество. Варя сама производила анализы металла. В следующих плавках стало еще меньше. Павла Петровича хвалить надо, премировать, а не прорабатывать. Варя пришла вечером к институтской проходной, узнала у знакомого вахтера, что ни Павел Петрович, ни Мелентьев и никто из членов партбюро еще не выходил, и стала ждать. Она шагала по улице, и тогда мороз леденил ей ноги в тонких чулках; от ног холод шел по всему телу, ходил по спине; Варя просилась в каморку к вахтеру, к натопленной печке; возле печки ей становилось жарко, душно, тяжело, и она вновь выходила на холод, который вновь леденил ноги и пробирался по спине. Она ждала Павла Петровича: ведь если у него там, на партбюро, будут неприятности, тогда, может быть, понадобится ее поддержка, мало ли что бывает. А главное — надо просто увидеть его и узнать, как и чем закончилось заседание бюро.

Но когда на улице появился Павел Петрович, решимость покинула Варю. Она говорила себе: вот подойду, вот подойду, она даже приближалась почти к его локтю, но Павел Петрович ее не замечал, а тронуть его или окликнуть она не решалась.

Павел Петрович ходил и ходил по городу, Варя ходила за ним, зябла, коченела, но не отступала. Она считала себя обязанной быть в эту тяжкую для Павла Петровича ночь его ангелом-хранителем.

Среди ночи Павел Петрович добрел до незнакомого Варе дома и исчез в парадном. «Не Серафима ли Антоновна тут живет?» — подумала Варя с испугом. Но она вспомнила, как ей говорила Оля, что Серафима Антоновна живет в роскошном доме с кариатидами. Тут кариатид не было.

Варя не знала, что ей делать, как быть, как поступить. Неизвестно же, сколько времени Павел Петрович пробу-

дет в этом доме и вообще выйдет ли до утра обратно. Может быть, он там останется ночевать, может быть, уже лег и спит. Но она стояла свою вахту. Дежурная дворничиха заметила ее, то быстро шагавшую по тротуару, то стоявшую в парадном возле лестницы. Дворничиха спросила, что делает тут молодая барышня, кого или чего дожидается. Варя сказала, что в этот дом, в какую-то квартиру зашел ее отец, он больной, у него больное сердце, и она не может так бросить его и уйти домой. Дворничиха предложила обойти все квартиры, и хотя ночь, поспрошать, в какой из них скрылся барышнин папаша. Варя испугалась: что вы, что вы, ни за что, людей тревожить среди ночи, да и папа жутко рассердится, лучше уж она подождет, она молодая, ничего ей не сделается. Дворничиха сказала, чтобы Варя пошла погреться в дворницкой, а если кто выйдет из парадного за это время, она немедленно сообщит барышне.

Но Варя, увидев неподалеку от дома аптеку, подумала, что ведь у Павла Петровича плохое сердце и хорошо бы на всякий случай приобрести какое-нибудь лекарство. Она бегом отправилась в аптеку. Аптека была закрыта. Варя долго звонила в звонок, ей открыла седая женщина в белом. Женщина заворчала, что аптека, мол, конечно, дежурная, но все равно в такое время лучше бы спать. Варя сказала, что ей нужны разные сердечные лекарства. Аптекарша ответила, что сердечных лекарств на свете много, да только без рецепта она может дать одни ландышевые капли, по двадцать капель, развести водой на глоток, очень хорошо помогают. Варя взяла пузырек, засунула его в рукавичку и побежала обратно к дворничихе. «Нет, — сказала дворничиха, — никто не выходил».

Варя дежурила на морозе почти до утра. Из подъезда уже начинали выбегать люди, они спешили к первым трамваям, они ехали на работу в ранние утренние смены.

Павел Петрович вышел медленно, пошел не спеша, и Варе думалось, что он очень нуждается в помощи, дружбе и сочувствии. Все, все это могла дать ему Варя, но у нее не хватало решимости. Она шла за ним, чувствуя, что коченеет, что уже сама с трудом двигает ногами и руками, что в суставах стало туго и тепла в теле нет нисколько. Но как бы ей ни было плохо, она помнила о больном сердце Павла Петровича, в руке у нее был крепко зажат пузырек с ландышевыми каплями..

7

В этот час еще не спала и Серафима Антоновна. Она лежала на своей гигантской кровати из красного дерева, отделанной бронзой, с вензелями и загадочной баронской короной. Где-то с краю в подушках и пуховых одеялах зарылся похрапывающий Борис Владимирович. Не о нем, нет, не о нем были мысли Серафимы Антоновны. Во втором часу ночи ей позвонил Мукосеев, с которым она никогда до этого не разговаривала, и сказал: «Ну, поздравляю. Тот, кто хотел вас съесть, сам сковырнулся. Партбюро приняло решение исключить его из партии. Будьте здоровы, рад за вас».

Серафима Антоновна принялась звонить Мелентьеву. Она говорила, что потрясена, расстроена, что это жестокий удар, который убьет ее друга Павла Петровича. Мелентьев ответил: «А вот он, ваш друг, с дружбой не посчитался, когда порочил ваше имя перед коллективом. Разве нельзя было эту историю обойти и замять, если не полностью, то пусть бы хоть на общественность не выносил. Поговорили бы в узком кругу. Вот как, думается, надо вести себя с такими светилами науки, как, например, вы». — «Ох, это всё мелочи! — говорила Серафима Антоновна.— Я уже об этом забыла. Меня волнует, что же будет с бедным Павлом Петровичем».— «Что, что? Вынесем вопрос на партийное собрание, утвердим решение бюро, в горкоме нас поддержат, там есть кому поддержать, и придется расстаться с товарищем Колосовым. Нет, вы уж в наши партийные дела не вмешивайтесь, разберемся сами. Ни с какой дружбой не посчитаемся. Партия — знаете, что это? Партия не терпит своевольников. Так-то вот!»

Серафима Антоновна звонила Липатову, Красносельцеву, Харитонову, Белогрудову, Румянцеву.

С Григорием Ильичом Румянцевым после того раза, когда он на даче не пришел к ней, а прогулял с Павлом Петровичем, Серафима Антоновна разговаривала уже не очень откровенно. В ином случае она бы ему не стала звонить, но тут был случай особый, невозможно было удержаться. Серафима Антоновна позвонила. Поднятый с постели Румянцев сказал: «Исключили Павла Петровича? Да они что — рехнулись? Колосов, дорогая Серафима Антоновна, не из таких, что на зубы легко даются, это не мы с вами, так сказать, интеллигентики. Это нас с вами

Мукосеевы всякие со всеми потрошками кушать изволят. Павел Петрович даст отпор». Зря позвонила. Только настроение испортил этот Румянцев. Зато Красносельцев оправдал надежды. Он сказал: «Ну, теперь главное — не допустить, чтобы в институт пришел новый зажимщик науки. Вздохнем полной грудью. Кстати, Серафима Антоновна, не возьметесь ли отрецензировать мою книгу? В издательстве говорят: будет ходатайство крупных ученых — переиздадим, а то ведь печать-то несправедливо меня раскритиковала, подстроил какой-нибудь издательский Колосов, второй год не переиздают. Походатайствуйте».

Серафима Антоновна обещала прочесть огромную книгу и походатайствовать.

Липатов подойти к телефону не мог, жена его, Надежда Дмитриевна, сказала, что он болен. Не подошел к телефону и Харитонов. Его просто не было дома, он где-то играл на бильярде. Никакие события — ни внутренние, ни внешние — не могли вывести его из равновесия, из состояния обывательского спокойствия. За него ответила обрадовавшаяся звонку Серафимы Антоновны Калерия Яковлевна. Она сказала, что Валенька работает, ему в райкоме поручили что-то очень срочное. Нет, Калерия Яковлевна ничего не знала о вечерних событиях; она потрещала о даче, о квартире, просила Серафиму Антоновну, чтобы та нажала на директора, пусть хоть транспорт даст для перевозки бревен, он же с ней, Серафимой Антоновной, считается.

Не закончив разговор, Серафима Антоновна положила трубку, будто разъединили, и, когда телефон тотчас зазвонил, не подняла ее, переждала звонки, пока не затихнут.

Белогрудов сказал, что ему лично Павел Петрович ничего плохого не сделал, что ему очень жаль, если так случилось, он, во всяком случае, этого бы не хотел. Серафима Антоновна с ядовитым смешком ответила ему, что он, видимо, погряз в своих поваренных книгах и что, кроме еды, ни о чем серьезно не думает. «Ну что ж, — ответил тоже не без яда Белогрудов, — поедать вкусные кушанья все же лучше, чем своих ближних».

И вот Серафима Антоновна лежала в постели, окруженная тончайшим, благоухающим бельем, и думала о том, что в такие дни, в такие моменты истории института надо быть особенно бестрепетной, особенно находчивой, чтобы сделать так, как хочешь ты, а не как хотят другие.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Восемь дней подряд звонила Варя Савватееву и каждый раз попадала не на него самого, а на его секретаря. Секретарь неизменно отвечал, что товарища Савватеева нет, товарищ Савватеев занят, у товарища Савватеева совещание, когда будет или когда освободится — неизвестно. А в чем дело, что вам, гражданка, надо?

Варя пыталась объяснить свое дело. Но разве такое дело объяснишь телефонной трубке? Надо прийти, увидеть глаза того человека, перед которым ты хочешь раскрыть душу, почувствовать по его глазам, что это именно тот человек, который тебе нужен, что он тебя понимает, что он тебе верит и что ты тоже ему можешь верить.

Из ее путаных объяснений секретарь Савватеева понял, видимо, одно: что Варю надо переадресовать в партийную комиссию. А Варе в партийную комиссию было вовсе и не нужно, дело Павла Петровича туда не попало и неизвестно, когда попадет, потому что еще не было партийного собрания, в институте поднялась целая буря после того бюро, где решили исключить Павла Петровича из партии. Варе всё рассказали ее бывшие сослуживцы по институту. Многие там перессорились. Мелентьев боится созывать собрание, он не уверен, что коммунисты поддержат решение бюро. Говорят, что он сам признал: дескать, слишком замахнулся на Колосова, надо было ограничиться строгим выговором.

Варя не могла смириться ни с чем — ни с исключением, ни с каким-то выговором. Она не могла понять, за что Павлу Петровичу выговор? Почему, во имя чего? После ночи, когда она так смертельно промерзла, она едва ходила, у нее держалась высокая температура, ее лихорадило, но она не сдавалась, не ложилась в постель,— ей некогда было лежать. Она продолжала работу в заводской лаборатории. Работа шла успешно. Варя уже могла с помощью изотопов определять количество не только серы или фосфора в стали, но и молибдена, никеля, вольфрама, бора и других редких металлов. Отрываясь от анализов, Варя по два-три раза в день подходила к телефону, чтобы позвонить Савватееву,— ведь соединят же ее когда-нибудь

прямо с ним, а не с его секретарем; ежедневно после работы приезжала она к зданию, где помещался горком, и звонила Савватееву из бюро пропусков. У нее болели руки, ноги — все тело, ломило в груди и в боках, было больно кашлять,— как на грех, появился этот кашель. Но все равно ничто ее не остановит, не сломит. Она все равно добьется своего, она попадет к Савватееву и все ему расскажет. Секретарь горкома поймет ее, недоразумение разъяснится, те, кто сегодня чернит Павла Петровича, завтра будут жестоко наказаны.

И она своего добилась. Савватеев назначил ей час встречи. Он принял ее в своем обширнейшем кабинете, отделанном светлым деревом, просил сесть в кресло и, видя, как она волнуется, предложил выпить воды. Потом сел сам за громадный письменный стол, на котором не было ни одной бумажки, ни одной книги; на зеленом, каким бывает озимое поле осенью, чистом сукне просторно располагались прибор из множества малахитовых с бронзой предметов, высокая лампа и латунный стаканчик, из которого торчало десятка три разноцветных, тщательно отточенных толстых карандашей.

— Я вас слушаю,— сказал Савватеев, взяв в руки красный с синим карандаш.

Варя назвала себя. Ее фамилия ничего не сказала Савватееву, он ожидающе вертел карандаш в пальцах. Тогда Варя стала рассказывать о том, что произошло с Павлом Петровичем, и о той сплетне, из-за которой, по ее мнению, все это началось.

Когда дело коснулось сплетни, Савватеев проявил интерес к рассказу, карандаш был отложен в сторону. Варя рассказывала откровенно, ничего не тая, без смущения,— ведь перед ней был человек, уполномоченный партией на то, чтобы разбираться в самых трудных и сокровенных людских делах. Он был руководителем и верховным судьей для коммунистов города, для Вари он олицетворял собою партию, а разве можно что-либо таить от партии? Нет, она ничего не утаила, она рассказала все. Она сказала, что на Павла Петровича возвели напраслину, что он один из самых честных людей, каких она только встречала в жизни, а вот Мелентьев оказался нечестным, несправедливым; она просит товарища Савватеева позвонить в институт этому Мелентьеву и приказать, чтобы прекратили мучить Павла Петровича, которого не нака-

зывать надо, а у которого надо учиться святому отношению к своим обязанностям.

Савватеев выслушал внимательно, не перебивая, и заговорил:

— Видите ли, товарищ Стрельцова, это очень хорошо, что вы вот так пришли и защищаете любимого человека. Но вы коммунист молодой, какой-нибудь год в партии, многого не понимаете, жизненного опыта у вас нет, и поэтому на некоторые вещи вы смотрите ошибочно. Кроме того, вас, видимо, ослепляют ваши чувства к директору института Колосову. Первой вашей ошибкой считаю, что вы позволили, чтобы вас увлек человек старше вас чуть ли не на двадцать лет...

— Он меня не увлекал,— ответила Варя, не понимая, о чем говорит секретарь горкома.— Он никогда не давал никакого повода. Я сама...

— Ну, ну, мы знаем, как это получается: сама! — Савватеев засмеялся.

— Неправда! — возразила Варя.— Павел Петрович...

— Ну, хорошо, неправда, — Савватеев остановил ее движением руки. — Оставим эту сторону дела. Вторая ошибка заключается в том, что вы ходите, хлопочете, добиваетесь, не учитывая того, что вы лицо заинтересованное, что вы связаны с Колосовым. Вы делать этого не должны. — Савватеев сурово нахмурился. — А третья ошибка та, что вы считаете себя более правой, чем коллектив коммунистов, принявших участие в заседании бюро. Партия требует подчинения меньшинства большинству. Вы разве этого не знаете? Как же вы вступили в партию, не ознакомившись с важнейшими принципами построения и жизни партии? Партия требует, чтобы каждый рядовой член ее подчинялся вышестоящему партийному органу — в данном случае партбюро института. Если бюро ошибается, мы его поправим. Но пока мы никакой ошибки не видим. Мы знаем Колосова как недисциплинированного коммуниста, который переоценил свои возможности и который логически пришел к тому, что с ним случилось. Партия не любит и не терпит самостийников.

Варя слушала с ужасом. Ведь она думала, что Савватеев тут же возьмет трубку, будет звонить Мелентьеву, что он возмутится тем, как в институте отнеслись к Павлу Петровичу. А он говорит совсем другое, он говорит, что правы те, кто исключил Павла Петровича из партии. Значит, даже и в горкоме Павел Петрович поддержки

не найдет, значит, и тут решена его судьба. Что же тогда — тогда правы они все, что ли? А ошибается она, Варя? Значит, Павел Петрович преступник перед партией, а она разделяет его преступные мысли?

— Нет, вы ничего, значит, не знаете! — сказала Варя. — Вы не знаете главного. Вы не знаете Павла Петровича, какой он человек.

От Савватеева Варя ушла совершенно подавленная. Он проводил ее до дверей и еще раз сказал: «Вам лучше всего молчать. Вы тоже достаточно скомпрометированы. И вам долго надо будет искупать свою вину верным служением делу партии». Варя не слышала и не понимала, что он говорил. Она шла по длинному коридору к выходу и машинально читала таблички на дверях. До ее сознания вдруг дошло, что в этом здании помещается не только горком, но еще есть и обком. Обком по значению выше горкома, там секретарь товарищ Ковалев, о нем всегда говорят так, будто бы по мелочам его беспокоить нельзя, что он член Центрального Комитета, он отвечает за всю огромную область, к нему обращаются только в крайних случаях.

Но разве у Вари не крайний случай?

Таблички с фамилией Ковалева не было ни на одной двери. Варя спросила проходившую по коридору женщину, как найти секретаря обкома, женщина показала на дверь без всякой таблички. Варя вошла в комнату, в которой за открытым бюро сидела девушка, встретившая ее строгим взглядом.

— Мне нужен секретарь обкома,— сказала Варя.— Очень нужен. Извините, пожалуйста.

У нее был такой усталый и больной вид, что девушка со строгим взглядом ответила не так уж строго:

— Он занят, обождите минуточку. Присядьте тут. Товарищ выйдет, я о вас доложу. А вы откуда?

Варя сказала, откуда она, но не стала говорить, зачем ей надо товарища Ковалева. Пусть эта девушка думает, что по заводским делам.

Минут через пятнадцать из кабинета вышел генерал, попрощался с девушкой, как со старой знакомой, та вошла в неплотно затворенную им дверь и тотчас вернулась.

— Пожалуйста, входите,— сказала она Варе.

Варя вновь оказалась в громадном кабинете, тоже отделанном светлым деревом. Навстречу ей из-за стола поднялся худощавый хмурый человек, совсем не такой

усмешливый и приветливый, каким в начале разговора с нею был товарищ Савватеев. Варе показалось, что пришла она сюда зря, что в этом городе она ничего не добьется, что надо ехать прямо в Москву, в ЦК, в Политбюро. Но уж раз она пришла, ничего не поделаешь, надо объяснить все и этому неприветливому человеку.

— Товарищ Ковалев...— начала она.

— Я не Ковалев,— перебил он ее.— Я Садовников.

— Простите,— тихо сказала Варя, отступая. Мне нужен был секретарь обкома.

— Ну, я и есть секретарь обкома. Второй. А товарищ Ковалев в Москве, в ЦК.

— Простите,— повторила Варя, не зная, как ей уйти из этого кабинета.

Но Садовников сказал:

— А вы садитесь и рассказывайте. Вы же, наверно, не в гости к Ковалеву пришли. Наверно, дело какое-нибудь сюда вас привело?

— Дело,— сказала Варя и села на стул возле длинного стола, стоявшего в отдалении от письменного. К этому же столу подсел и Садовников. Здесь тоже был телефонный аппарат. И едва Варя открыла рот, чтобы заговорить, аппарат коротко звякнул. Садовников взял трубку, слушал минуту или две и затем начал отвечать зло, недовольно, кого-то отчитывая за некормленых коров и за удобрения, брошенные под открытым небом на станции. Он говорил, что за такие дела из партии гонят, что он какого-то товарища вызовет на бюро и тому придется получить по одному месту. Варя поняла, что попала совсем не туда, куда надо, что этот секретарь занимается сельским хозяйством, что ему глубоко безразлично, что происходит в каких-то институтах, что он злой человек, который, конечно, встанет на сторону Мелентьева, как встал Савватеев, а вовсе не на ее и Павла Петровича сторону.

— Ну, говорите,— сказал он хмуро, положив трубку, и еще некоторое время двигал бровями и шевелил губами, будто продолжая разговаривать с тем человеком, которому вскоре придется быть на бюро и получить нагоняй за коров и удобрения.

Варя вновь стала рассказывать всю историю. Садовников выслушал так же, как и Савватеев, не перебивая. Выслушав, сказал:

— Как видите, я ничего не записывал. Потому что уже знаю это все. Вот, пожалуйста,— он поднял на столе

какую-то бумажку,— заявление, которое подписано четырнадцатью сотрудниками института. Тут даже и беспартийные возмущены этим делом. И вы далеко не первая у меня по этому делу. Мы в нем разберемся, я вам обещаю. И если виноват Колосов, накажем Колосова. Если виноваты другие, накажем их. Независимо от результатов, вы молодец. За дело, которое коммунист считает правым, он обязан бороться до конца: или до полной победы, или до тех пор, пока ему не объяснят его ошибку и он не поймет, что ошибся. Вы смелый человек, я очень рад был с вами познакомиться.

— Но, товарищ Садовников, — сказала Варя, — ведь я же лицо заинтересованное, как мне сегодня сказали. Я же вот люблю товарища Колосова. Как-то, значит, связана с ним...

— Интересно, а кто же, как не те, кто нас любит, будут бороться за нас в случае беды? — спросил Садовников довольно зло.

Варя ушла, чувствуя в душе величайшую благодарность к этому злому человеку, которому она простила всю его неприветливость и который стал для нее одним из самых замечательных людей, каких она когда-либо встречала.

2

Назавтра же после заседания злополучного бюро к Садовникову пришли Малютин, Архипов и Бакланов. Малютин и Архипов заявили, что они не согласны с решением бюро, что они это решение опротестовывают, так как бюро заседало в половинном составе.

— Сущий бред, — говорил Малютин возмущенно. — Наш товарищ Мелентьев зарапортовался.

— Но как же вы допустили до этого? — спросил Садовников.— Ведь вы тоже члены бюро, товарищи Малютин и Архипов.

— А мы бы и не допустили до такого решения,— ответил Архипов,— если бы присутствовали на заседании. Когда нас вызвали в горком, мы просили Мелентьева отложить заседание. Он сказал: неудобно, люди приглашены. Он ни словом не обмолвился о том, что будет ставить вопрос об исключении Колосова из партии. Так, мол, ограничимся внушением.

— Мы и насчет внушения были против! — сказал Малютин.— Внушать надо Мелентьеву, а не Колосову.

Неделю подряд к Садовникову ходили люди из Института металлов и протестовали против решения партийного бюро. За пять дней до Вари побывала тут Людмила Васильевна Румянцева. У Людмилы Васильевны разговор с секретарем обкома был совсем иной, она разговаривала с ним не так, как Варя.

Когда Людмила Васильевна узнала, что Павел Петрович вдруг ни с того ни с сего исключен из партии, в ней проснулась та боевая медицинская сестра, которая, размахивая наганом, останавливала машины на зимней дороге и спасала жизнь доверенным ей раненым.

— Григорий,— сказала она мужу,— ты должен пойти и заявить, что они затеяли чушь, слышишь?

— Милочка,— ответил Румянцев,— все это хорошо, справедливо и так далее. Когда на дело смотреть чисто теоретически. Но стоит взглянуть на него практически, то — куда идти, с кем бороться, кому и что доказывать?

— Когда дело касалось тебя, Григорий, ты же знаешь, куда я ходила, с кем боролась и кому что доказывала. Но у меня были свободные руки — ты был мой муж, я грызла глотку этим паршивым Мукосеевым за своего мужа. А тут что? В качестве кого я пойду бороться за Павла Петровича? Гриша, как ты этого не понимаешь?

Румянцев, напуганный той историей, в какую втянул его когда-то Мукосеев, находил тысячи предлогов для того, чтобы никуда не идти, ничего не делать и ни за кого не хлопотать. Людмила Васильевна очень на него обиделась, сказала: «Вот, значит, ты какой!..» — и на другой же день сама отправилась в райком партии. Секретарь райкома развел руками, сказал, что дело запутанное, что в нем участвует секретарь горкома товарищ Савватеев, что товарищ Савватеев лично давал какие-то указания Мелентьеву. Но он пообещал, что когда дело дойдет до райкома, то там оно будет подвергнуто особо тщательному расследованию, а пока в институт он отправит инструктора для ознакомления с делом.

Такое решение Людмилу Васильевну не удовлетворило. Она устремилась в горком к Савватееву. Савватеев ее не принял. Тогда она пришла в обком к Садовникову. Тут она не просила, а требовала. Ее нисколько не испугали злые глаза Садовникова, на фронте она видывала глаза пострашнее, она помнила жуткого майора Семиразова;

она почти кричала на Садовникова, Садовников тоже повышал голос и в конце концов, вызвав какого-то работника, при Людмиле Васильевне спросил его, начато ли расследование дела Колосова. Тот ответил, что да, начато.

— Довольны? — обратился Садовников к Людмиле Васильевне.

— Когда накажете как полагается всю эту мелентьевскую камарилью, тогда буду довольна! — ответила Людмила Васильевна.

Она яростнее всех била тревогу в институте, она всем и каждому доказывала, что у них всегда будет твориться черт знает что до тех пор, пока не выгонят Мукосеева, а с ним и шляпу Мелентьева; она не стеснялась в выражениях, и пришел такой день, когда Мелентьев вызвал Людмилу Васильевну к себе в кабинет.

— Вы что же, порочите честных коммунистов? — зашипел он на нее угрожающе.— Вы клевещете на партбюро? Троцкистские методы! Кто вам платит деньги за подрыв авторитета партийной организации?

Из членов партийного бюро при этом разговоре присутствовали только двое, но Мелентьев все время ссылался на мнение бюро.

Людмилу Васильевну окрики не испугали.

— Вы грубый, глупый мужик! — ответила она Мелентьеву.— Я рада, что я кандидат в члены партии и не голосовала за избрание вас в партийное бюро.

Мелентьев вновь стал поминать троцкистские методы, сказал, что еще неизвестно, кто она такая, защитница директора, еще надо проверить ее биографию.

Людмила Васильевна встала и пошла к дверям. Вслед ей Мелентьев прокричал:

— Единогласно выносим строгий выговор с предупреждением! За дискредитирование партии. Если повторится — выгоним!

Людмила Васильевна хлопнула дверью.

Дома Румянцев устроил ей не менее тяжкую сцену. Он хватался за голову, стонал, падал на кушетки и диваны, бессильно опускался в кресла.

— Мы погибли! Мы погибли! — восклицал он.— Как ты этого не понимаешь!

— Ты трус! — сказала ему спокойно Людмила Васильевна. — Не стыдно?

Потом ей стало его жалко, такой он был перепуганный. Она заварила малины, сказала:

— Выпей стаканчик и ложись в постель, пропотей, все это из тебя выйдет, тебе станет легче. Ну, ложись, глупый профессор!

Она села рядом с ним на постель, прилегла возле, он уткнулся головой в ее грудь, спрятал лицо в складках платья. На него пахнуло теплым, милым, знакомым запахом, ему стало легче и спокойней на душе, от бед и несчастий его охраняла любимая и любящая.

Любимая и любящая все-таки устыдила его и заставила тоже сходить в обком. Неожиданно Румянцев там произнес горячую обвинительную речь по адресу Мелентьева.

Все дни после бюро на прием к Павлу Петровичу просились научные сотрудники, служащие, рабочие из мастерских. Они говорили о том, что пусть товарищ Колосов не беспокоится, они это дело так не оставят. Особенно взволновал Павла Петровича Ведерников. Ведерников пришел в кабинет, сел в кресло, помолчал минут пять. Это было длинное, как вечность, молчание. Потом сказал:

— Пришел рекомендацию в партию просить, Павел Петрович.

— Иван Иванович! — воскликнул Павел Петрович.— Да меня же самого исключили из партии!

— Не верю я в это, Павел Петрович,— ответил хмуро Ведерников.— Не верю. Для меня образец коммуниста — вы, а не Мелентьев. Так что же, не хотите дать рекомендацию? Вы же сами предлагали.

Ведерников еще не знал, будет ли подавать заявление о приеме в партию или не будет; за рекомендацией он пришел вовсе не для того, чтобы тут же подать такое заявление. Он делал это лишь затем, чтобы поддержать и ободрить Павла Петровича.

Приходил Белогрудов, который удивленно озирался в кабинете Павла Петровича, будто недоумевал, как так может случиться, что в этом кабинете появится еще новое начальство: зачем, почему, кому это надо? Павел Петрович — очень хорошее начальство, ну немножко прямолинейное, грубоватое, зато понятное, с ним можно вполне успешно сотрудничать.

— Вы мне, пожалуйста, поверьте, Павел Петрович, уверял он,— что я вовсе не из некоего ипокритизма, то есть лицемерства, ханжества, смиренничества, говорю вам: я готов сотрудничать с вами хоть сто лет, и та легкая размолвка, о которой вы уже, наверно, забыли, не имеет для меня никакого значения.

Павел Петрович посмотрел на него, хотел спросить — по-прежнему ли он придерживается своей теории доминанты, но не спросил, сказал только:

— Это ничего. Пройдет. Спасибо.

Тогда Белогрудов сам напомнил о доминанте. Он ответил:

— Да, понимаю. Вас эти неприятности не согнут. Вы же не верите в доминанту.

— А вы разве верите? — спросил Павел Петрович.

— Как вам сказать... Затрудняюсь... — Белогрудов вертел в руках портсигар из карельской березы, пальцы его скользили вдоль полированных граней.— Возводить это в степень теории, конечно, нелепо. Но ведь нельзя же и того отрицать, что одним людям везет в жизни, а другим не везет. Так ведь когда не везет, надо же чем-то утешаться. Вот на помощь и приходит доминанта.

— Значит, это теория бессильных, согнутых, побитых, неспособных? Мне она не подходит, Александр Львович. Не подходит.

Да, несмотря на решение партбюро об исключении его из партии, Павел Петрович меньше всего походил на человека побитого или согнутого. Были минуты слабости, но о них, кроме Бородина, никто не знал.

В эти дни к нему наведывался, конечно, и Федор Иванович Макаров. Федор Иванович рассказал о стычке с Савватеевым. Савватеев обвинял его, Макарова, в том, что он дает комсомолу неверные установки по воспитанию молодежи, в том, что он избивает преданные партии кадры,— имелся в виду выговор товарищу Иванову за безобразное проведение отчетно-выборного собрания на заводе моторных лодок. «Мы тебя вышвырнем из партии! — кричал Савватеев на Макарова.— Мы превратим тебя в мокрое место, в слякоть».— «Уже такие были,— ответил Федор Иванович.— Вроде вас, товарищ Савватеев. Нынче я не знаю их адреса. Не вы мне выдавали партийный билет —не вам его у меня отнимать».

— Теперь остается одно: либо ему лететь со своего места, либо мне со своего,—сказал Федор Иванович.— Видишь, Павлуша, как остро жизнь ставит вопросы! Пасовать не надо, не будем пасовать. Я думаю, что победа будет все-таки за нами. Нисколько даже не сомневаюсь в этом. Я заметил одну удивительную штуку. Во многих учреждениях — вот, кстати, и в твоем институте — сколачивается этакое воинствующее меньшинство. Это отста-

лое, тянущее назад, хотя оно и выкрикивает: вперед, товарищи, вперед! Их, черт возьми, мало, но они такие пронырливые, такие агрессивные и вездесущие, что просто деваться некуда.

— Ты совершенно прав! — воскликнул Павел Петрович.— Пяток интриганов мне, например, показался было большинством в институте, чуть ли не всем его коллективом. Везде они выступают, везде друг друга поддерживают...

— Точно, точно, Павел! Ведь как получается. Те, которые честно работают, они заняты делом, они увлечены этим делом, их и не видно и не слышно. А эти, крикуны... Да что говорить: наступление — лучший вид обороны. Обороняя свои личные интересы, они и наступают, как видишь. И не думай, что с ними справиться легко.

— А я и не думаю.

Только в апреле наступил день партийного собрания, на которое вынесли историю, происшедшую на партбюро. Председателем собрания выбрали Малютина. Старый большевик, штурмовавший Зимний, никогда не участвовал ни в каких институтских группках, всегда стоял выше склок, был принципиален. Кому же, как не ему, было доверить руководство таким ответственным собранием?

Заняв председательское место за столом президиума, Малютин сказал:

— Ну что ж, поскольку партийное бюро вынесло какое-то решение о нашем директоре товарище Колосове, то, прежде чем выступят товарищи, будет правильным предоставить слово секретарю партбюро товарищу Мелентьеву. Пусть изложит свою точку зрения. Ведь партбюро существует, мы его избирали, секретарь тоже существует, его тоже избирали. Нет других предложений? Прошу вас, товарищ Мелентьев.

Мелентьев давно понял, что дело склоняется не в его пользу, что на собрании его не поддержат, но он верил в силу Савватеева и не хотел сдаваться.

— Товарищи! — заговорил он со всем жаром, на какой только был способен.— Мы не должны дать себя обмануть. Мы обязаны отбросить личные симпатии или антипатии. Мы не можем позволить замазывать нам глаза различными успехами. Партия учит нас бдительности, принципиальности. Ну, предположим, с приходом Колосова кое-что в институте улучшилось... Ну, предположим, мы выполнили важное правительственное задание. Хотя,

конечно, мы и без Колосова его выполнили бы — работали-то товарищи Бакланов и Румянцев, а не Колосов. Но — предположим. Предположим, что успешно идет дело по переоборудованию мартеновских цехов. Нащупали много интересных новых проблем. Новая схема мартеновской печи, кислородное дутье и так далее. Что же это, по-вашему, работа Колосова? Чепуха! Пришел Аника-воин и всех победил, все перевернул вверх дном? Мы ждали крупного ученого, а к нам явился цеховой инженер. К тому же зазнайка, человек грубый, не умеющий подходить к людям.

— Это неверно! — выкрикнули из зала.

— Вам дадут слово,— ответил Мелентьев.— Вы выскажетесь. Я продолжаю: да, зазнайка, не умеющий подходить к людям. Он переставлял их в институте, как пешки на шахматной доске. Архипова туда, Бакланова сюда, Румянцева в третье место, Ратникова в четвертое, даже секретаря — Лилю Борисовну — и ту с места стронул, Донду перевел к себе. А когда группа по жаропрочной стали создавалась — вообще было великое переселение народов. Не так работают в советском научном учреждении, нет! А в личном плане каков оказался товарищ Колосов!

Мелентьев вновь перебирал длиннейший список проступков Павла Петровича, вновь поминалась Стрельцова, вновь перетряхивались квартирные дела, травля старых кадров, самочинный и неправильный пересмотр тематического плана и так далее и так далее. В зале нарастал гул, всё чаще выкрикивали: «Позор!», «Лишите его слова!», «Товарищ председатель, ведите собрание!»

Но Мелентьева это не смущало, он упорно вел свою речь к концу. Он знал, что должен или добиться того, чтобы признали его правоту, или он потерпит полный крах в своей карьере. Он боролся за себя. Боролся изо всех сил, отчаянно, фанатично.

— Товарищи! — заключил он. — Все, кто верен принципам партии, все, кто понимает, что в партии для всех одна дисциплина, должны поддержать решение партбюро. Таким, как Колосов, не место в партии.

— Долой, долой! — с еще большей яростью закричали в зале.— Гнать его с трибуны! — Особенно горячилась и возмущалась молодежь.

Вслед за Мелентьевым выступил Архипов. Он спокойно, одно за другим, опровергал обвинения, возведенные

на Павла Петровича, он заявил, что считает решение об исключении Павла Петровича из партии грубой ошибкой партбюро и что, вынося такое решение, партбюро пошло на поводу у клеветников и карьеристов, которые в личных целях чернили честного коммуниста.

Следующей выступила Самаркина. Она записалась первой, однако слово ей дали только после Архипова. Самаркина принялась поддерживать Мелентьева и отстаивать решение партбюро.

— Он лицемер! — говорила она, устремляя палец в сторону сидевшего в зале Павла Петровича. — Он называл себя другом доктора Шуваловой. Он бывал у нее дома, куда его так доверчиво приглашали. И что же, провозглашая, так сказать, тосты за здоровье нашей Серафимы Антоновны, он готовил против нее эту никчемную, пачкавшую крупного советского ученого интригу с якобы заимствованными достижениями Верхне-Озерского завода.

— Не якобы, а точно — присвоенными достижениями! — крикнули из зала.

Самаркина не ответила на реплику.

— Не так, нет, не так поступают истинно крупные ученые, большие люди, — продолжала она. — Большие люди не носят камень за пазухой. Они говорят правду в глаза. Не ждут, чтобы обнародовать ее на собрании. Я, помню, тоже совершила однажды ошибку, опубликовав непродуманную статью в журнале. И что же? Сам академик Федулов прислал мне дружеское, теплое письмо. Он был болен, писал из больницы. Нет, он не ждал собрания, чтобы разгромить меня публично. Вот как большие-то люди поступают. А к Колосову я пришла...

В президиуме поднялся Бакланов.

— Одну минуточку, товарищ Самаркина,— сказал он и обратился к собранию: — Товарищи, чтобы облегчить труд Нонны Анатольевны, я хочу объяснить, зачем она приходила к товарищу Колосову. Она просила снять нашего талантливого молодого товарища Ратникова с его должности, поскольку он не имеет кандидатского диплома, и назначить на его место ее, Нонну Анатольевну, поскольку она имеет диплом кандидата наук. Вот как, видите, по отношению к молодежи поступают настоящие ученые, большие люди.

В зале засмеялись. Кто-то крикнул: «Довольно! Хватит!»

Дальше говорить Самаркиной не дали, шумели, не слушали. Она сошла с трибуны.

Коммунисты выходили на трибуну один за другим, они разоблачали негодный стиль работы Мелентьева и всего партбюро, которое Мелентьев сумел подчинить себе. С негодованием говорили о Мукосееве, о его методах запугивания людей, помянули беспартийного Красносельцева, который написал в разные инстанции, как установила специальная комиссия, двадцать шесть заявлений за своей подписью да примерно столько же анонимных: специалисты сличили и почерки и оттиски шрифта машинки Красносельцева.

Неожиданно для всех выступил много лет молчавший Румянцев. Он напомнил о том, как выбирали Мелентьева секретарем партбюро. В первый раз, когда Мелентьев явился в партийную организацию института по рекомендации горкома, партийное собрание поверило этой рекомендации. А второй раз?

— Второй раз,— говорил Румянцев,— к избранию Мелентьева привела наша беспринципность, товарищи! Посмотрим протоколы. Что на том собрании выдавалось за положительные качества Мелентьева? Его умение сглаживать углы, избегать осложнений, короче говоря — лавировать между представителями различных мнений, заигрывать и с теми и с другими, кланяться и нашим и вашим. Какие принципиальные вопросы поднимались в партийной организации за два года при Мелентьеве? Никаких. Жили тихо, думали: вот и хорошо, не понимая, что в этой тишине мы начинаем незаметно утрачивать принципиальность, боевой партийный дух. Не нужны нам успокоители и умиротворители!

Собрание продолжалось два вечера. Павел Петрович был полностью реабилитирован.

На собрании председательствующий Малютин даже прочел вслух записку с неразборчивой подписью. В записке говорилось, что на заводе имени Первого мая под руководством Павла Петровича Колосова одержана крупная победа над водородом в слитках. К записке были приложены анализы, таблицы, графики — целая тетрадка.

Откуда эта тетрадка взялась, знала только Людмила Васильевна Румянцева. Записку и тетрадку ей прислала Варя и просила сделать как-нибудь так, чтобы о содержании их узнало партийное собрание.

Через неделю по решению райкома состоялось еще одно партийное собрание — отчетно-выборное. Павла Петровича почти единогласно избрали в состав нового партбюро. Мелентьева даже в список для голосования не внесли. Никто не назвал его фамилии.

3

Серафима Антоновна раскладывала пасьянс, который назывался «Дальняя дорога». Раскладывать его Серафиму Антоновну накануне учил Красносельцев. Он сказал, что это любимый пасьянс одной знаменитой московской актрисы. Пасьянс был трудный и долгий, уж поистине пускаться в него, как в дальнюю дорогу.

Серафима Антоновна раскладывала карты механически, почти не вдумываясь в то, что она делает. Ее мысли были заняты совсем другим. В сложные для нее времена она не видела ниоткуда настоящей дружеской поддержки. Последние годы Серафиме Антоновне казалось, что никакая и ничья поддержка ей не нужна, что она сама имеет достаточно силы не только поддержать, но и уронить кого угодно. Она всегда верила в судьбу.

Судьба эта сложилась так. Серафима Антоновна родилась в рабочей семье, отец у нее был кочегаром на речном пароходе, он погиб в гражданскую войну, когда Серафиме Антоновне еще не исполнилось и пятнадцати лет. Мать вскоре вышла за другого, который, как это часто бывает, невзлюбил падчерицу.

Трудная жизнь сделала девушку нелюдимой; уже окончив школу, уже будучи в институте, она по-прежнему не умела сходиться и дружить со сверстницами и сверстниками, она держалась особняком, без конца читала старые романы, плакала над сентиментальными историями, во сне видела себя Мариорицей, молдаванской княжной Лелемико, о которой прочла в романе «Ледяной дом». Она любила благородного Волынского и мечтала умереть красиво, трогательно, возвышенно.

Сверстники и сверстницы, исчерпав все средства общения с нею, ее тоже невзлюбили, называли графиней Шуваловой, посмеивались над ней; она жила вне общества. Характер у нее вырабатывался замкнутый, себе на уме.

Случилось так, что на студенческой практике, после третьего курса, она работала под руководством известного

металлурга профессора Горшенина. Группа студентов, в которой была Серафима Антоновна и которой руководил Горшенин, выехала тем летом в Донбасс. Жили тесно, в хатках, все между собой дружили. Только Серафима Антоновна продолжала держаться в стороне. Вечерами она уходила в пыльную донецкую степь, выжженную солнцем, садилась там и тосковала. О чем — она не знала и сама. Горшенин заметил, что одна из студенток так странно себя ведет, пошел раз за нею, догнал в степи и тоже сидел рядом до звезд. Он был толстый, жизнерадостный, он не понимал тоски и печали, он шутил с печальной студенткой, пытался ее развеселить.

Загадочная печаль сделала свое дело: профессор Горшенин через год ушел от жены и женился на Серафиме Антоновне. С этого момента началась новая страница в ее жизни. Насмотревшаяся на то, как отчим мытарил ее мать, Серафима Антоновна понимала, что нельзя быть просто женой при муже, что надо и самой приобретать вес в обществе. Она не оставила институт, она его закончила, некоторое время поработала на заводе, а затем с помощью высокого покровителя вернулась в институт на кафедру черной металлургии. Она была очень упорна и настойчива в науке и со временем защитила диссертацию. Она умело и ловко пользовалась мужем и именем мужа для того, чтобы как можно прочнее войти в круг знаменитых металлургов. Муж возил ее с собой в Москву, в Ленинград, на Урал, в Донбасс, в Сибирь. Он устраивал так, что ей поручались серьезные самостоятельные работы; она была способная и выполняла их блестяще. Чтобы отсечь всякие кривотолки, чтобы не допустить никакого панибратства, она выработала особую манеру держаться: царственную, величественную, отдаляющую ее от всех, кто был ей неугоден.

Когда Горшенин умер от кровоизлияния в мозг, Серафима Антоновна долго носила траур.

Во время Отечественной войны, когда институт был в Сибири, Серафиму Антоновну поставили во главе группы молодых научных сотрудников; группа хорошо поработала и добилась крупного успеха. Группу выдвинули на соискание Сталинской премии, ну и, конечно же, выдвинули и руководительницу группы.

Вторую премию Серафима Антоновна получила после войны и уже одна. В этом случае работал известный авто-

матизм: как не дать — крупная ученая; работка, правда, на этот раз жидковата, но не дать нельзя, обидится.

Сила Серафимы Антоновны росла. И конечно же, когда сняли директора, который возглавлял институт до Павла Петровича, она думала, что директором назначат ее. Серафима Антоновна не видела вокруг себя никого более достойного, чем она. Пришел Павел Петрович; сначала ее это озадачило, но скоро она нашла утешение в том, что такой милый человек станет послушным орудием в ее руках. Она была знакома с ним не столько по делам, сколько по разговорам, поэтому знала Павла Петровича плохо. Она встревожилась, когда Павел Петрович стал обходиться без ее помощи. Она испробовала все средства, но взять Павла Петровича в руки ей все равно не удавалось.

Особенно плохо получилось с Верхне-Озерским заводом. Не будь она, Серафима Антоновна, столь знаменита и сильна, эта история могла бы окончиться для нее еще хуже. Пожурили, поставили на вид. А ведь могли бы опозорить на весь Советский Союз.

За эту верхне-озерскую историю, за тот страх, который в связи с ней испытала Серафима Антоновна, она возненавидела Павла Петровича. Его, не понимающего и не признающего авторитетов, надо было во что бы то ни стало удалить из института. Она не хотела, не могла расстаться с привычной для нее жизнью, со славой, с почетом. Для этого при новых порядках в институте надо было работать так, как работала она во время войны. А работать так, как работалось во время войны, было уже трудно. Это значило — работать самой, работать во всю силу, «как вол, как чернорабочая». Слава отучила Серафиму Антоновну от такой работы. Нет, этот путь не годился. Да, надо было удалить, удалить Павла Петровича из института. Для такой цели хороши были любые средства. Она использовала их все, и не ее вина, что они не дали результатов.

Серафима Антоновна раскладывала пасьянс и думала о подлости человеческой. Ей рассказали, как проходило партийное собрание. Рассказывал подвыпивший Липатов. Он сидел тут целый вечер, выпил бутылку коньяку и горько жаловался на сына. «Поймите,—говорил он,— поймите, дорогая Серафима Антоновна, каков подлец! Он пришел ко мне и сказал: мне, говорит, за тебя стыдно! Мне известно, с какой компанией ты связался против Колосова, отца моей подруги по аспирантуре... Видите,

даже родной сын распустился! Ну, и конечно, когда отовсюду такой нажим, я и на собрании не мог выступить откровенно. А подготовил, подготовил речь! — Он вытащил из кармана пиджака пачку листков, стиснутых в уголках скрепкой.—Тут много вопросов поднято. Я это сохраню. Это еще пригодится. Близь и даль определяются активностью действия и воздействия тел. Мир — не оптическое единство, а кинетическая множественность, комплекс вещей, на которые человек нападает и от которых защищается, которые он хватает или которых избегает».

Всю ночь, как стало известно на другой день в институте, Липатов хватал одни домашние предметы и с их помощью защищался от других предметов, отчего в доме бедной Надежды Дмитриевны все было перебито и переломано.

Серафима Антоновна вспомнила его рассказ о том, как вели себя на собрании Румянцев, Мукосеев, Харитонов, Самаркина...

Румянцев, по ее мнению, окончательно предал друзей. Самаркина и Мукосеев, к их чести, еще пытались что-то говорить в защиту своих позиций, а Харитонов промолчал, как и Липатов, подло и трусливо. Вчера прибегала его Калерия Яковлевна. Домработницы не было. Дверь отворила сама Серафима Антоновна. Калерия Яковлевна воскликнула: «Ах, милая! Я уж так пробрала моего Вальку, уж так пробрала!»

Серафима Антоновна захлопнула перед Калерией Яковлевной дверь. Она не знала переживаний Калерии Яковлевны, не знала того, как и в самом деле Калерия Яковлевна кричала на своего Вальку, что он трус, болван, дурак, который не понимает, что Серафима Шувалова все равно сильнее всяких других, что она дважды лауреат, что у нее рука в Москве, рука в министерстве, рука в Академии наук, что всякие Колосовы все равно скоро затрещат, выскочки они и мальчишки, и тогда Серафима Антоновна покажет своим врагам. «Ты идиотка,—отвечал Харитонов,— ничего не понимаешь и не лезь, молчи!» Она замолчала; она хотя и ругала его болваном, но все равно по-прежнему видела в своем Валечке борца, на котором держится институт. Сама обывательница, Калерия Яковлевна не могла понять, что ее Валечка — обывателишка, трясущийся только за свою облезлую шкурку; убежденный в том, что вот все перегрызутся, прошумят, отшумят, друг друга повыгонят, и тогда кого назначат

на ответственные посты? Кого же? Да его, Харитонова. Так бывало сколько раз. И еще будет. Надо только во всех случаях сидеть тихо и не лезть раньше времени вперед.

Надежнее и вернее всех оказался Красносельцев. Он говорил тут: не сдадимся, будем бороться, мы еще покажем себя. «Те, кто покрикивает, кто администрирует, прочь с дороги!»

Ну, а вдруг переиздадут его книгу? Тогда что? Надо делать все возможное, чтобы эту книгу не переиздавали: тогда он будет верен ей, Серафиме Антоновне. Она напишет, конечно, положительный отзыв о книге, но у нее есть московские друзья, она попросит их сделать так, чтобы книга не вышла.

И снова в мозгу Серафимы Антоновны, которая только что, казалось, стояла на краю пропасти, возникали один за другим планы борьбы, появлялись надежды на новые возможности...

Пасьянс не вышел. Но сила пасьянсов в том, что их можно раскладывать до бесконечности. Не вышло один раз, можно сказать себе: попробуй до двух раз. Не вышло и во второй раз, говори себе: попробую до трех раз... Серафима Антоновна так и сказала себе: ну-ка, еще разок попробуем.

Часы в столовой густо пробили двенадцать. Серафима Антоновна позвонила в ручной колокольчик и, когда появилась домработница, спросила: «Разве Борис Владимирович еще не приходил?» Оказалось, что нет, не приходил. Он что-то очень странно начал себя вести. На днях, например, повысил голос, топал ногами, кричал, что она поступает нечестно, что это теперь всем видно, что она так компрометирует свое имя ученой. Чудачок! Он живет и гуляет на ее деньги, потому что у самого заработки не такие уж большие, сам он только ее стараниями и держится на поверхности того общества, в котором вращается она. Он был ничем и будет ничем, если она его прогонит. Ему небось приятно восседать за столом, когда у нее собираются именитые гости, ему небось приятно и лестно, когда с ним заговаривают то выдающийся профессор, то член-корреспондент Академии наук. Он этак развалится на диване, нога за ногу, этак рассуждает, не понимая того, что люди разговаривают с ним отнюдь не ради него, а ради нее, Серафимы Антоновны Шуваловой. Втянулся в широкую жизнь, привык к ней, а теперь кри-

чит и проповедует морали, судит о том, что честно, что бесчестно.

Когда Борис Владимирович пришел домой, он был немножко навеселе. Он нагнулся поцеловать руку Серафиме Антоновне, но она не дала руки и сказала:

— Вы распустились. Если вы еще раз придете после двенадцати, вас не впустят в дом.

Борис Владимирович терпел немало унижений в этом доме. Да, он понимал разницу в положении Серафимы Антоновны и в своем положении. Да, он знал, что способен только давать фотографические снимки в газету, но разве эти снимки никому не нужны, разве их не рассматривают ежедневно сотни тысяч людей и разве за них его не хвалили, бывало, на редакционных летучках, не говорили: «Уральский-то какой замечательный сюжет выкопал! Центральные газеты и те позавидуют». Во имя чего он должен терпеть еще и такое унижение, когда ему грозят, что, если он явится не вовремя, его оставят за дверью, как собачонку?

— Симочка,— сказал он с обидой и вновь попытался взять ее руку.

— Отстань!— брезгливо отстранилась она.

И все, все, что так долго копилось в его душе, в его сознании, в его сердце, вдруг поднялось горячей волной.

— Ты бесчестная! — сказал Борис Владимирович дрожащим от волнения голосом.— Ты вся состоишь из интриг! Ты и меня втянула в отвратительные интриги. На меня указывают пальцем. Да, я только фотографировал жизнь, я не создавал ни материальных, ни духовных, ни научных ценностей, но я никогда не был бесчестным.

Борис Владимирович стоял, выпрямясь, среди комнаты и выговаривал все, что думал, что выстрадал за годы жизни с этой женщиной в роскошном халате.

Серафима Антоновна молча слушала, потом, решив, что пора взять его в руки, крикнула:

— Вон отсюда! Паяц!

Борис Владимирович медленно закрыл рот, медленно опустил поднятую в возмущенном жесте руку, снял с себя галстук, швырнул его на пол, сорвал с рук золотые часы, швырнул на пол, выбросил из карманов брюк портсигар, бумажник, янтарный мундштук, сбросил полосатый пиджак, шить который Серафима Антоновна сама возила его к портному, тоже швырнул на пол и вышел из комнаты.

Он вернулся через пятнадцать минут, он был одет в те одежды, в которых он приезжал когда-то в Сибирь, в которых приехал сюда, на Ладу, вместе с Серафимой Антоновной, в которых начинал послевоенную жизнь. Это были гимнастерка фронтового фотокорреспондента, защитные брюки навыпуск и шинель. Он не нашел только сапог и шапки — их, видимо, давно выбросили. В руках у него были саквояж и заплечный мешок, который солдаты называют «сидором».

— Я ухожу! — сказал Борис Владимирович.— Я жалею об одном: что когда-то пришел сюда.

Хлопнула дверь. Он ушел.

Серафима Антоновна не шевельнулась. «Дальняя дорога» у нее вновь не получилась. Она сгребла в кучу карты, скомкала их и стала одну за другой рвать на клочки: сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, как будто от того, насколько быстро она изорвет их, зависело ее будущее.

4

В кабинете директора института собрались Бакланов, старик Малютин, Румянцев — без малого весь ученый совет. Бывший заместитель Павла Петровича по руководству металлургией завода, Константин Константинович, делал предварительное сообщение о том, какими путями заводские сталевары почти полностью ликвидировали водород в стальных слитках.

Павел Петрович следил за вечным пером Румянцева, которое выводило в блокноте длинную химическую формулу. Константин Константинович вынул из кармана красный платок, вытер лицо и сказал: «Вот и все, таковы наши выводы».— «Совершенно правильные выводы! — воскликнул Румянцев, поставив жирный крест под своей бесконечной формулой.— Я к ним присоединяюсь. Водород, несомненно, будет побежден. Это уже не теория, а практика».

Заговорил Бакланов. Он сказал, что институт должен прийти на помощь заводу, что решить до конца такую важную проблему можно лишь соединенными силами работников практики и науки и что, по его мнению, оказание помощи заводским товарищам должно стать главнейшей задачей института, может быть, даже за счет сокращения работы по каким-либо другим темам.

Павел Петрович готовился было сказать, что ничего сокращать не надо, просто можно больше загрузить лаборатории еще нескольких заводов, а не только завода имени Первого мая. Заводские товарищи пойдут на это.

Но Павел Петрович не успел ничего сказать, потому что вошла Вера Михайловна Донда и, шепнув: «Молния», подала ему телеграмму. Все видели, как, распечатав телеграфный бланк, Павел Петрович мгновенно побледнел, как удлинились черты его лица. Он встал, странным, неживым голосом произнес: «Извините, пожалуйста. Я на минутку выйду», вышел из кабинета и больше не возвратился...

5

Костя ждал встреч, мучился, жил ожиданием, но приходила встреча, проходила — и становилось еще хуже, время после нее начинало тянуться так медленно и нудно, что было совсем невмоготу.

Капитан Изотов иной раз говорил Косте: «Лейтенант, женились бы. Гляжу, страдаете. Страдание устранимое. Оборудуем вам жилье поудобней, поуютней. Чего там!»

Хорошо ему было говорить, капитану Изотову: женились бы. Костя бы и женился. А пойдет ли за него Люба? — вот вопрос. Ни слова про это ни он, ни она еще не сказали. Ну, она — понятно, она и не обязана первая говорить. Он должен это сделать, он. А попробуй сделай. Сестра Оля очень бы удивилась, узнав, что ее прямой и даже грубоватый брат оказался таким нерешительным, застенчивым, робким. Она вот, эта сестренка, оказалась храбрее. Она уже вышла замуж. Костя знал все и об Ольге и об отце, оба они ему писали в письмах, как обстоят дела дома. Ольга писала, что никогда не простит отцу измену семье, что отец разрушил семью. Отец писал, что ему очень грустно оттого, что Оля ушла из дома, что она оказалась несправедливой и черствой. Он этого от нее никак не ожидал. Неужели и Костя так же легко позабудет отца? Костя ответил отцу длинным взволнованным письмом, он писал, что осуждает Ольгу за ее глупое поведение, что он готов хоть сейчас приехать домой, сразиться с ним, отцом, как бывало, в шахматы, выпить рюмку и послушать замечательные рассказы о боевых годах отцовской юности. Если отец думает, что эти рассказы прошли

для Кости даром, то он ошибается. Костя помнит своего отца и любит.

Костя не понимал, отчего так расшумелась и расстроилась его сестра. Ну, предположим, отец бы женился на Варе Стрельцовой, привел бы ее в дом в качестве хозяйки — тогда бы еще ладно, туда-сюда, не ужились две женщины под одной крышей, как это частенько у женщин бывает. Но никакой Вари, судя по письмам, в доме нет, отец один, у него неприятности, нелады, осложнения в жизни. В чем же дело? Что она там демонстрирует, сумасбродная девчонка! Костя был далек от той жизни, какой люди жили вдали от границы, он жил иной, особой, им непонятной жизнью, их распри ему казались мелкими и ненужными, пустыми в сравнении с тем, что заботило пограничников. И все же он понимал, что правота совсем не на стороне сестры. Он написал Ольге ругательное-ругательное, злое письмо, называя ее по-всячески, и кончил словами: «Немедленно вернись домой! Приведи своего молодца и живите с отцом вместе. Ты что, обалдела — бросать его одного!»

О том, что произошло в семье, он однажды рассказал Любе. «А вот мой отец,— ответила Люба,— ушел от моей матери, когда мне было восемь лет. И все равно я его очень люблю и горжусь им. Он слесарь-лекальщик высшей квалификации. Когда я училась в школе и в техникуме, до самого моего приезда сюда, мы с ним часто встречались. Он любил бывать со мной. А когда я получила диплом об окончании техникума, он повел меня в ресторан отпраздновать окончание. Мы там долго сидели, и он мне сказал: «Ты уходишь в самостоятельную жизнь. Я хотел бы, чтобы ты никогда меня не осуждала. Ты взрослая, и я могу тебе сказать правду: я ушел от твоей матери потому, что ее разлюбил. А жить без любви — это не только отвратительно для самого себя, но и аморально. А почему разлюбил — история долгая. Не в ней суть. Суть в том, что разлюбил». Я его поняла, моего папу. Я его и раньше-то не осуждала. Ведь странное дело—наши родители тоже не старики. Почему мы, дети, имеем право любить, а они нет? Мне кажется, что ваша сестра совершенно неправа, что она ошибается и поступает плохо».

Люба всегда рассуждала здраво и умно, это-то и останавливало Костю в его порывах. Вот он раскроет перед нею всю свою душу, а она ответит какой-нибудь рассуди-

тельностью. Что тогда? Стой и хлопай глазами? Она казалась ему умнее его. Он думал, что ей с ним скучно и встречается она с ним, и письма пишет, и фотокарточки дарит ему только из учтивости: пограничник, мол, нелегкая служба, надо его хоть чем-нибудь поддержать.

Зима теперь позади, шел апрель, теплый и светлый, снег остался только в оврагах, лежал там синими пластами, канавы вдоль дорог превратились в реки, всюду шумели ручьи и водопады, всюду, куда ни глянь, сверкала под солнцем вода, земля дымилась, и тысячи птиц наполняли воздух разноголосым пением.

В один из таких дней Костя встретился с Любой на старой мельничной плотине. Плотина была из огромных валунов, прочно спаянных цементом,— она простояла бы тысячу лет, сдерживая напор воды в речке, превращавшейся весной в мощный поток, но ее во время войны взорвали посредине, вода билась и грохотала в проломе, через который был перекинут дощатый, зыбкий мостик. Рядом с плотиной стояло такое же, из валунов, несокрушимое здание бывшей мельницы, где еще сохранились шкивы и трансмиссии, какие-то зубчатые колеса и валялись обрывки мешков.

Здесь, на мостике, глядя в ревущий поток, Костя и ожидал Любу. Она пришла, одетая по-весеннему, в жакетке, под которой было легкое платье. Странно выглядели на ней облепленные грязью резиновые сапоги, в которых она преодолела три километра апрельской распутицы. Видно было, что нелегко дались ей эти километры. Брызги грязи — правда, она уже пыталась их счистить — были видны на коленях, на подоле платья, на жакетке. Прыгала, поди, через ручьи, брела через разводья, подобрав подол, скользила, спотыкалась — и все, по мнению Кости, из учтивости, из желания не обидеть пограничника, у которого такая нелегкая служба.

Ну пусть из учтивости она пришла, и ни по какой иной причине, — Костя не может остаться истуканом в такой буйный весенний день. Он ей все скажет. Вот посидят тут немножно, постоят на берегу потока, он соберется с силами и скажет.

Они ходили и стояли два часа, говорили о чем угодно, многое уже было сказано, только не то, о чем хотел говорить Костя. Они ходили рука об руку. Костя мял и тискал Любины пальцы, не задумываясь, больно ей или

не больно, а она не показывала вида, что ей очень больно, что Костя даже кожу стер на ее мизинце.

В конце концов Костя понял, что и в этот день ничего не скажет, он стал противен самому себе, и на душе у него стало пасмурно. Он уже хотел сказать, что ему пора на заставу, как его окликнули:

— Товарищ лейтенант!

Возле плотины стоял ефрейтор Козлов с автоматом на ремне через грудь.

— Товарищ лейтенант! — повторил Козлов. — Тревога! Капитан послал за вами.

Костя быстро пожал руку Любе, вдруг схватил ее за плечи, за шею, неумело, неуклюже привлек к себе и поцеловал в губы, не стесняясь ни Козлова, ни яркого дня — никого и ничего.

Он бросился за Козловым, а Люба стояла над потоком, растерянная, испуганная и счастливая.

На заставе капитан Изотов объявил, что через границу на ту сторону хочет прорваться нарушитель. На рассвете его заметила путевая обходчица, он перебежал полотно железной дороги, на песке остались его следы. Это было в восьми километрах от линии границы. Сейчас след потерян. Подняты все силы на поиски. Он, Изотов, распорядился уже об усиленной охране границы.

Пошла напряженная жизнь. Костя то дежурил возле телефона, пока на границе был капитан Изотов, то выходил с солдатами на местность, а у телефона сидел Изотов. Телефоны звонили, передавались распоряжения, принимались донесения, на заставу приезжали офицеры из штаба отряда.

Так продолжалось четверо суток. Четверо суток пограничники то нападали на след человека, шедшего в сторону границы, то теряли след. Был такой момент, когда думали, что человек уже в западне. Его заметили на озере, которое он переплывал, толкая перед собой бревно. Но когда обогнули озеро и вышли туда, где нарушитель должен был вылезти из воды, его там не оказалось: он обманул пограничников, вылез где-то в другом месте и пошел по ручьям, по топям, по канавам. Его обнаруживали еще дважды, и снова он ускользал, все приближаясь к границе. К концу четвертых суток предполагали, что он уже совсем близко возле нес, в районе заставы капитана Изотова.

Напряжение росло. Офицеры видели, что им противостоит очень умный, ловкий и от этого вдесятеро опасный враг, который рвется к границе, чтобы уйти за ее черту. Что он несет, этот неуловимый лазутчик? Какие сведения о нашей промышленности или армии? Какие секретные данные выкрали у нас агенты врага? Чем это может грозить впоследствии?

На рассвете пятых суток, сидя в дозоре возле вспаханного с осени поля, увидал нарушителя и Костя Колосов. Нарушитель мелькнул в кустах. Костя успел разглядеть, что это крупный, высокий человек в брезентовой куртке; на спине у него был рюкзак.

— За мной!— приказал Костя, устремляясь туда, где мелькнул нарушитель.

Вслед за ним сорвался с места сержант Локотков, на длинном поводке у которого была злобная овчарка Пальма. Костя бежал, на ходу вытаскивая из кобуры пистолет и посылая патрон в патронник. Вот она, та минута, ради которой живет и годами учится пограничник. Та минута, когда он должен выполнить свой долг перед страной, перед народом, когда линия границы проходит через его сердце.

Добежав до места, где был замечен нарушитель, Костя увидел, что там уже никого нет, что Пальма мечется из стороны в сторону — весенняя вода мешает ей взять след.

Вдруг Пальма устремилась через кусты по прямой, она мчалась так почти километр. Костя и Локотков задыхались, а Пальма рвалась, давилась в ошейнике молча и яростно. Костя сказал:

— Отпустите! Пусть догоняет. Иначе он уйдет. Слышите, Локотков?

— Нельзя, товарищ лейтенант! Опасно.

— Он же уйдет, пока мы тут рассуждаем! Бросится в реку, а там рукой подать до границы! Отпустите собаку! — крикнул Костя.

Локотков остановился, сказал: «Эх, товарищ лейтенант!» — и спустил Пальму с поводка. Она скрылась в чаще кустарников, и там вскоре послышался ее отчаянный лай.

Костя с Локотковым бежали изо всех сил, они слышали, как за ними шлепают по воде и грязи размокшие сапоги солдат.

Лай стал еще отчаяннее, будто Пальму били, отгоняли, грозили ей.

— Ну что? — сказал на бегу Костя.— Видите, догнала!

В это время впереди ударил выстрел, за ним второй. Лай прекратился.

— Пальма! — крикнул Локотков.— Пальма!

Ответа не было.

Они нашли Пальму мертвой. У нее была прострелена голова. Рядом на земле валялись обрывки брезентовой куртки и две гильзы от пистолета крупного калибра.

Нарушитель снова ушел. Локотков, потупясь, стоял над убитой Пальмой. Он ничего не сказал Косте, но Костя чувствовал себя виновником и гибели Пальмы, и того, что из-за его ошибки они упустили нарушителя.

Вскоре подоспела помощь с другими собаками. Но собаки не брали след. Локотков, обследовав отпечатки подошв нарушителя, сказал, что подошвы натерты веществом, отбивающим чутье у собак.

Надо было начинать все сначала, делать все возможное, чтобы враг не ушел за рубеж. Капитан Изотов сказал, что там его, видимо, ждут, потому что дозоров на границе нет.

Костю капитан Изотов отправил с дозором по берегу мохового, поросшего клюквой болота. Этот берег, изгибаясь дугой, вел прямо через границу. Костя шел с тремя солдатами. Он жестоко осуждал себя за горячность и отсутствие выдержки.

В тот момент, когда он хотел было остановиться, чтобы снять фуражку и вытереть пот со лба, он вновь увидел нарушителя.

Нарушитель полз по земле меж елок. На спине у него горбом торчал рюкзак. «В обход! Окружать!» — знаками приказал Костя своим солдатам. Надо было спешить, потому что линия границы была в каких-нибудь двухстах метрах впереди; ближайшая пара пограничных столбов уже виднелась сквозь елки.

Нарушитель услышал хлюпанье грязи под сапогами, вскочил и, петляя, делая зигзаги, бросился бежать: ведь столбы рядом, рядом! Один бросок — и он там, там, где его ждут.

Костя мчался за ним, как олень. Нет, во второй раз уже не оплошает, нет! Солдаты отставали, но Костя нагонял человека с рюкзаком. «Стой! — крикнул он, когда нарушителю оставалось метров пятьдесят до границы.— Стой, стреляю!»

Нарушитель только прибавил ходу. Костя поднял пистолет и выстрелил. Нарушитель замедлил бег и, обернувшись, тоже выстрелил. Костя почувствовал удар в грудь под самым горлом, хотел крикнуть, но не смог и упал лицом вперед. Он знал, что тот, в брезентовой куртке, уходит, ему уже осталось сделать несколько шагов...

Нет, он их не сделает! Нет! Костя вытянул вперед руку с пистолетом и, не зная, не видя куда, стрелял и стрелял, уткнувшись лицом в землю.

Земля под ним гудела и со страшной скоростью несла его в густеющий мрак.

6

Костя не узнал отца. Костя лежал в госпитале и бредил. Возле его постели сидела черноглазая бледная девушка, по ее щекам все время бежали слезы и капали на белый халат. Павел Петрович догадался, что это Люба, о которой ему писал Костя.

— Люба,— сказал Павел Петрович, когда они вышли в госпитальный коридор,— что же это будет, что говорят врачи?

— Он поправится, он непременно поправится,— ответила девушка. У нее тряслись руки и дергались губы, но она утешала: — Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь. Только не волнуйтесь.

Они стояли друг против друга, они смотрели друг другу в глаза, ждали помощи один от другого, их роднила любовь к Косте. Павел Петрович взял холодную Любину руку, погладил ее, сказал:

— И вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Костюха у нас крепкий. Он в детстве однажды так разбился, упал со второго этажа, думали — всё, конец. Нет, видите...

Вечером командир пограничного отряда рассказывал Павлу Петровичу о боевой операции, в которой отважно участвовал Костя, о человеке, чья пуля пробила Костину грудь. У него нашли записную книжку, шифр, очень важные сведения о нашей промышленности, пистолет с большим запасом патронов, несколько неиспользованных ампул яда. Он уже почти было ушел за границу. Но его настигли выстрелы Костиных солдат. Он упал, цепляясь

рукой за наш пограничный столб. Об одном жалели пограничники: что он был мертв и многое ушло вместе с ним в могилу. Во всяком случае, лейтенант Колосов блестяще отличился и его представляют к правительственной награде.

Всю ночь Павел Петрович провел вместе с Любой в госпитале. Они оба не уснули ни на минуту, они все говорили и говорили о Косте.

Прошла долгая ночь, прошел долгий день, и еще прошли долгая ночь и долгий день; и вот Костин отец и Костина любимая, которую Костя поцеловал только один раз в жизни — там, над весенним потоком,— оба они, держась друг за друга, стояли над сырой, черной ямой, слышали команду: «Тело лейтенанта Колосова предать земле», слышали короткий винтовочный залп и никак не могли поверить в реальность происходившего.

В тот же вечер на заставе, куда привезли Павла Петровича, во время боевого расчета он услышал такие слова. Капитан Изотов первой назвал фамилию: «Лейтенант Колосов», и правофланговый ответил:

— Погиб смертью храбрых, защищая границу Советского Союза!

Павлу Петровичу показали узенькую, застеленную серым одеялом коечку в казарме, над нею был Костин портрет в траурной рамке. Костя навсегда остался на своей заставе. Сколько бы лет ни существовали пограничные войска, столько лет будет жить на границе и память о лейтенанте Колосове, о его, Павла Петровича, сыне...

7

На вокзале к приходу поезда, которым должен был вернуться Павел Петрович, собрались Бородин с женой, Макаровы — Федор Иванович и Алевтина Иосифовна — и Оля с Виктором.

До прихода поезда оставалось десять минут; стояли на перроне молчаливой группкой, потупясь; солнце палило, дымились доски перрона, с веселыми криками над вокзалом чертили небо крыльями ласточки, по перрону несли букеты первых весенних цветов. Вокруг было так светло и празднично, что Оля, взяв Виктора за руку, сказала едва слышно: «Какой ужас, какой ужас, Витя!»

Виктор не только не знал, даже никогда и не видел Костю Колосова, но он знал Павла Петровича, знал Олю, они стали ему близкими, родными, и поэтому их горе было ему очень понятно. Он видел, как эти два дня металась Оля. «Витенька,— говорила она ему по нескольку раз в день,— все, все погибло. Теперь-то уж действительно семьи нашей нет». Она смотрела на фотографическую карточку Кости и плакала: «Костенька, милый Костенька». Она в этом не признавалась, но Виктор видел, что ей было бесконечно стыдно перед Павлом Петровичем. Было стыдно, что она не пришла к отцу, когда узнала об его исключении из партии.

Теперь Олино сердце сжималось от стыда, от горя, от тоски и раскаяния. И когда поезд остановился, когда Павел Петрович вышел из вагона на яркое апрельское солнце, Оля рванулась к нему, обхватила его шею руками и, навзрыд плача, прижималась к его лицу, к плечам, к груди.

Павел Петрович ее не успокаивал. Он стоял и гладил ее по растрепавшимся волосам. Лицо у него было бледное, вокруг рта проступали незаметные прежде морщины, глаза смотрели устало.

Отстранив наконец Олю, он молча пожал всем руки и, только когда уже выходили с вокзала, остановясь на каменных ступенях, сказал с каким-то горьким недоумением:

— Вот видите!.. Жизнь-то что делает.

Весь день друзья не давали Павлу Петровичу оставаться одному. Пока он мылся с дороги в ванной комнате, Алевтина Иосифовна говорила:

— Мужчины, постарайтесь не давать ему сосредоточиваться на одной мысли. Это очень важно.

— Он не мальчик,— сказал Бородин.

— Не мальчик... Что ж, что не мальчик,— возразила Алевтина Иосифовна. — Я все-таки врач-психиатр, я многое повидала... Такие испытания, какие выпали на долю Павла Петровича, и не мальчика могут надломить.

— Аленька, ну что ты говоришь! — перебил ее Федор Иванович.— От таких испытаний, какие выпали на долю людей нашего поколения, вообще всем бы нам давно надо свихнуться или лечь в гроб. А мы живем, мы воюем, мы побеждаем, черт возьми. Твои мерки к Павлу неприменимы. Я отвечаю за него головой.

— Присоединяюсь,— сказал Бородин коротко.

Не оставался Павел Петрович один и в институте.

В институте снова стояла горячая пора. Развертывались большие работы по практическому применению газообразного кислорода в мартеновском производстве стали. То, что кислородное дутье значительно интенсифицирует работу сталеплавильных печей, было доказано уже несколько лет назад. Но в практику оно не шло по самым различным причинам. Институт взялся изучить эти причины и дать рекомендации для их устранения. Снова создавалась оперативная группа, снова усилился темп всей институтской жизни.

Вместе с этим в институте происходили события и иного характера. Заканчивала работу специальная комиссия из крупных ученых, созданная министерством. Комиссия уже определила, что Самаркина, хотя она и кандидат наук, методами научного исследования в достаточной степени не владеет, и ей предложено пойти на производство. Самаркина отказывается; кажется, она собралась преподавать в индустриальном институте. Мукосеева городской комитет партии отправил на завод, в цех; он там запил, и вновь стоит вопрос: что же с ним делать? Никто не может решиться исключить его из партии: дескать, старый коммунист, дескать, товарищ всегда вовремя сигнализирует о различных недостатках и неполадках. Красносельцев, видя, что Павел Петрович остался в институте, подал заявление об уходе и уехал не то в Ленинград, не то в Москву.

Изменений произошло много. Они коснулись многих. Одни ушли, на их место пришли новые — и из аспирантуры, и из заводских лабораторий. Даже и у Мелентьева жизнь резко изменилась. Он оказался заместителем начальника городского жилищного отдела.

Весь день Павла Петровича прошел в разговорах, в заседаниях. Только поздно вечером они остались вдвоем с Олей. Они перебирали Костины фотографии. Павел Петрович рассказывал Оле обо всем, что произошло там, на границе; он рассказал даже об узенькой коечке, застеленной серым одеялом, над которой повешен Костин портрет. Оля сказала:

— Я знаю и эту коечку, и это одеяло. Костя меня этим одеялом укрывал.

Оля осталась ночевать. Утром она стала собираться в школу.

— Папочка,— прощаясь в передней, сказала она едва слышно,— вечером я опять приду. Ты, пожалуйста, на меня не сердись, папочка. Я буду к тебе часто приходить... и ты к нам приходи... Об одном тебя прошу... ты пойми меня. Я же не могу, не могу видеть тебя с *ней*. Я ее ненавижу! Не заставляй меня...

Оля взглянула в глубь темного коридора с отвращением, будто ждала, что оттуда появится эта *она*, и выскочила на лестницу.

Павел Петрович затворил дверь, пошел по своим пустым комнатам; он тоже всматривался в темные углы. Он был бы до бесконечности благодарен судьбе, если бы у него был друг, готовый делить с ним все — и радости, и вот — горе.

Под окном уже стояла институтская машина. Надо было снова ехать в институт, надо было снова работать...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Ночь на третье октября тысяча девятьсот пятьдесят второго года застала Павла Петровича в мягком вагоне курьерского поезда. Лежа и покачиваясь на пружинах, Павел Петрович отдавался чувствам ожидания необыкновенно значительного и волнующего, которое было впереди. Впереди был съезд партии.

Накануне, на перроне вокзала, в огромной толпе, которая пришла провожать делегатов, избранных на съезд от областной партийной организации, были все друзья, близкие, товарищи Павла Петровича. Федор Иванович Макаров говорил, что он завидует Павлу Петровичу так, как никогда и никому ни в чем не завидовал. «Павлуша,— говорил он,— кто из нас не мечтал попасть хотя бы на один партийный съезд, увидеть всю страну, всю нашу эпоху, которая, наверно, открывается с такой вышки, как съезд! Но прежде мы были слишком молоды, Павлуша, чтобы решать судьбы государства. Наши петушиные голоса еще мало значили и вряд ли могли кого-нибудь убедить. Эх, Павел, Павел, счастливец ты! В рубашке родился».

С Федором Ивановичем, остановившись вдруг перед ним, поздоровалась молодая полная женщина. Она была

в белом передничке и в обеих руках держала большие никелированные чайники. «Маруся! — воскликнул Федор Иванович.— Ну, как вы поживаете?» — «Ничего,— ответила она.— С вагоном-рестораном теперь езжу. Лучше». — «А ваш герой? Позабыли о нем?» Молодая женщина потупилась на минуту, вздохнула и сказала: «Извините. Мне надо идти. До свиданья». Когда она пошла дальше, вдоль вагонов, Федор Иванович объяснил: «Ничто, видно, не помогло. Уж и парень с квартиры съехал, — помнишь, я для него комнатку у тебя просил? — и времени прошло сколько... А вот любовь не прошла».

Они оба помолчали, подумав о стойкости человеческих чувств.

И снова Федор Иванович принялся говорить о том, какой Павел Петрович счастливец.

Федор Иванович, пожалуй, был главным виновником того, что Павла Петровича избрали делегатом на съезд. На областной конференции он выступил с горячей речью, он говорил о том, как канцелярско-бюрократические рогатки, устанавливаемые некоторыми плохими руководящими работниками, мешают развитию инициативы у людей, самостоятельности в решении важных вопросов, вгоняют живое дело в мертвые рамки формализма; как в такой атмосфере растут вельможи, как возле них начинают виться подхалимы, карьеристы, клеветники, интриганы. Он рассказывал о своих начинаниях в районе, о том, как эти начинания встречались секретарем горкома Савватеевым в штыки. Потом Федор Иванович начал говорить о том, что произошло в институте с Павлом Петровичем, который, кстати, присутствует в зале, он — делегат областной конференции; о том, как Павла Петровича хотели во что бы то ни стало согнуть в дугу, как он держался, стоял и выстоял. «Я горжусь тем, что это мой друг!» — разойдясь, искренне воскликнул Федор Иванович. И ему аплодировали. Потом, когда стали называть имена кандидатов для выборов в члены областного комитета и делегатами на съезд, в том и в другом случае была названа фамилия Павла Петровича.

В областной комитет избрали и Федора Ивановича. На съезд он не попал. Двумя неделями ранее Федор Иванович на городской конференции был избран в городской комитет партии. Пленум горкома избрал его вторым секретарем. И вот Федор Иванович оставался в городе, чтобы на время съезда вести текущую партийную работу. На

съезд ехал первый секретарь. Это был уже не Савватеев. Савватеева на конференции разоблачили как негодного и вредного в партийном аппарате работника, не понимающего ни жизни, ни людей, ни требований партии, воображающего, что он всего может добиться окриком, приказом, административными мерами, думающего, что ему все можно, все позволено, что он вне критики и вне требований устава.

И вот Федор Иванович жал руку Павлу Петровичу и завидовал. Завидовали, конечно, все. Все долго давали какие-то напутствия, обнимали. Обняла Павла Петровича и Людмила Васильевна Румянцева. Румянцев сказал ей, что это нехорошо, могут черт знает что подумать.

Одним из последних пожал руку Павлу Петровичу Ведерников. Он все еще не подал заявления в партию, но разговор об этом у него с Павлом Петровичем недавно возобновился. Он сказал Павлу Петровичу: «Вы поверили в меня, и я не имею права обмануть вас. Мне будет очень трудно менять самого себя, отказываться от своего образа жизни и своих привычек, но вашу рекомендацию я не запачкаю. Нет, Павел Петрович, нет».

Последней уткнулась лбом в грудь Павлу Петровичу Оля. Только месяц назад она вернулась из Новгорода, куда снова ездила на раскопки. За все лето она прислала ему одно-единственное письмо, притом очень деловое, вроде отчета о том, что сделано и что найдено. Оказалось, что экспедицией найдены еще семьдесят три берестяные грамоты, что в грамотах множество интересного, что берестяные грамоты, количество которых в новгородской земле исчисляется тысячами, дадут новые неоценимые сведения о быте жителей Великого Новгорода: о ремесле и торговле, о культуре и литературе, о государственном устройстве и событиях политической жизни. По письму чувствовалось, как увлечена Оля своим делом. Даже при прощании на вокзале и то она говорила что-то об этих грамотах. Но что именно — Павел Петрович не вслушивался.

Павел Петрович лежал и размышлял о всей своей жизни, которая привела его в этот вагон. Через что только не пришлось пройти, чего только не было на пути — каких препятствий, каких ударов и потрясений, каких тяжких утрат!

Да, он шел через все. Да, иной раз поступал, может быть, и грубовато и неуклюже. Но делал он это не из личной корысти, а только для нее, для нее, для партии.

Вот его снова обвиняют некоторые в том, что он разогнал ведущие кадры института. Опять сплетничают. А по совести-то говоря, и еще немало лишних людей осталось в институтских стенах. Ну, нет там Самаркиной, нет Мукосеева, нет Мелентьева, еще двоих-троих. Но ничего не случилось с Харитоновым. Незаметненько отсиделся в щели товарищ. За лето построил дачку, развел вокруг дачи малину, ловит раков на тухлое мясо. Никому он не сделал ничего плохого, а за то, что никому не сделал и ничего хорошего, за это человека к ответу не потянешь. А Серафима Антоновна Шувалова? Ничто ее так и не коснулось. Против нее не было ничего вещественного, не было даже свидетелей ее нечистых деяний, и она продолжала пребывать во всем блеске своей славы крупной ученой.

Павел Петрович перебирал в памяти множество людей и, уже засыпая, увидел в вагонной тьме перед собой Варю, ее большие серые глаза и вьющиеся мягкие волосы. Он не встречался с Варей много месяцев. Тогда, весной, не зная, куда деваться со своим горем, он однажды позвонил на завод, в лабораторию, спросил Варвару Игнатьевну Стрельцову. Ему ответили, что Стрельцовой нет в городе. Он навел более обстоятельные справки. Оказалось, что ее вызвали в Академию наук, в Институт черной металлургии, и она там под руководством какой-то знаменитости заканчивает свою работу, которой придают большое значение.

Она вернулась на завод две недели назад. Но, занятый на областной конференции и сборами на съезд, Павел Петрович не нашел времени с нею встретиться. Ему было только почему-то радостно, что она снова в городе, что она не уехала навсегда. Он вспомнил то время, когда сидел возле ее постели, что-то рассказывал ей. Он помнил все встречи с ней, разговоры, взгляды, помнил ее мягкие, теплые губы,— он помнил всё, потому что Варя давно заняла место в его сердце.

2

Еще не было и шести, еще из-под туч на Москву светило скупое октябрьское солнце, когда делегаты уже шли к Кремлю. От гостиниц «Москва» и «Гранд-отель», группами и поодиночке, мимо здания Исторического музея, по

красноватой брусчатке огромной площади, мимо Мавзолея с застывшими у входа часовыми они шли к Спасской башне, возле которой в стене были распахнуты широкие двери.

Началась проверка документов. Павел Петрович показал партбилет и временное делегатское удостоверение. Потом еще раз показал и очутился за Кремлевской стеной.

Никогда раньше он не бывал в Кремле. Кремль всегда казался ему священным местом, куда не ходят без дела и по пустякам, где вершатся судьбы страны, и не только страны, может быть— всего мира.

Его поразила тишина, охватывающая человека, который миновал кремлевские ворота. Было пустынно меж зданий, которые казались безлюдными, было пустынно в садике над обрывом; на посыпанных свежим желтым песочком дорожках не было следа человеческой ноги; длинные черные автомобили шли тихо, беззвучно, будто во сне.

Сразу же за Спасскими воротами, влево, вдоль всей стены стояли рябины, желтые листья почти облетели, и деревья гнулись от тяжелых огненных кистей крупных ягод. От ягод было так ярко, будто вдоль стены пылали огромные тихие костры.

Делегаты шли по кремлевским мостовым медленно, не спеша, рассматривали здания, останавливались возле царь-колокола и колокольни Ивана Великого.

Павлу Петровичу почему-то все здесь было очень знакомо. Он никак не мог понять почему. И вдруг в его памяти возникла картина: «Ильич на Всероссийском коммунистическом субботнике». Ну да же, ну да, это было в Кремле, возле тех зданий, возле той стены, вон там кипела горячая работа, в которой принимал участие великий Ленин. Он ходил по этим брусчатым мостовым, по этим дорожкам и, щурясь, смотрел в замоскворецкие дали.

Подойдя к Большому Кремлевскому дворцу, Павел Петрович тоже взглянул в открывавшуюся отсюда даль: в предвечернем прозрачном воздухе на высоком холме стояло голубое здание, уходящее острым шпилем в розовое, пронзенное солнечными лучами облако. Почти фантастическая картина. Это был университет, достраивающийся на Ленинских горах.

Павел Петрович разделся в гардеробной и стал подниматься по длинной мраморной лестнице, покрытой красной дорожкой. Тоже знакомое место, знакомые двери, в которые упиралась вверху лестница. Он уже где-то их видел — на картинах ли, на фотографиях, в кино? И вообще все вокруг было потрясающе знакомо, и стали появляться знакомые лица. Он не мог вспомнить, где и когда видел этих людей, но он их видел, видел, сомнения не было.

Дойдя до конца лестницы, Павел Петрович прошел в фойе, отметился возле одного из столиков, что он явился на первое заседание съезда, и стал бродить, как бродили все. Он вышел в огромный и светлый Георгиевский зал, о котором так много слышал, в котором происходили правительственные праздничные приемы, прошел в Грановитую палату. Ходил один, чтобы ничто его не отвлекало, чтобы полнее были впечатления; его мысли текли плавно, отчетливо и взволнованно.

Выходя из Грановитой палаты, он почти столкнулся с человеком, который был ему знаком с детства, с пионерских лет, чей портрет, вырезанный из пионерской газеты, в числе многих других портретов еще четверть века назад украшал стену над его постелью в родительском доме. «Здравствуйте, товарищ маршал!» — неожиданно для себя сказал Павел Петрович. «Здравствуйте!» — приятным высоким голосом ответил тот и с приветливой улыбкой, как старому знакомому, подал руку. Поворачиваясь то к одному, то к другому, он улыбался, на лице у него лежал загар, может быть, еще сохраненный от степных рейдов гражданской войны.

Молодость встала вдруг перед Павлом Петровичем, и он увидел еще одно знакомое лицо — лицо женщины с крупными чертами. Он и с этой женщиной поздоровался, он не мог не поздороваться с ней. Это была тоже хорошая знакомая, знаменитая трактористка того давнего времени, когда стремительными темпами росли и крепли коллективные сельские хозяйства. Потом он здоровался с генералом армии, командовавшим фронтом, в частях которого Павел Петрович провоевал всю Отечественную войну; потом с партизанским батькой, прошедшим по вражьим тылам тысячи километров; и со многими, многими другими.

Павла Петровича охватывало удивительное чувство: будто все прожитые годы, все годы существования совет-

ской власти, от гражданской войны и вот по сей день, вдруг уплотнились, сдвинулись, сошлись в одной точке,— потому что в этой точке оказались герои каждого из этих величественных лет, каждого этапа жизни страны. Тут были герои борьбы за советскую власть, за индустриализацию страны, за коллективизацию, за свободу и независимость Родины против иноземных захватчиков, за восстановление разрушенного, за дальнейший рост и расцвет отчизны.

Зазвенел звонок, распахнулись двери зала заседаний. Делегаты входили, отыскивали места своих делегаций, садились, раскладывали перед собой блокноты, карандаши, вечные ручки. Зал наполнялся, гудел.

Место делегации с Лады было почти сразу же за украинской делегацией, трибуны президиума казались отсюда совсем близкими, и Павел Петрович очень этому радовался— он хорошо будет все видеть.

Одна из лож, рядом с местом президиума, если смотреть из зала — правая, была уже заполнена. На первый взгляд думалось, что в ней незнакомые. Но Павел Петрович неожиданно для себя стал различать лица. Он узнал руководителей коммунистов Болгарии и Венгрии, узнал маленькую мужественную кореянку, известную всему миру своей неутомимой борьбой за мир, он узнал благородный и строгий профиль замечательной испанской женщины, которая сказала когда-то: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях...»

Некоторых Павел Петрович узнать не мог, он их видел впервые. Их называли соседи Павла Петровича.

Зал продолжал гудеть, все уже заняли свои места. Нарастало ожидание.

В семь часов в местах за президиумом, поднимаясь откуда-то один за другим по лесенке, стали появляться члены Политбюро. Зал встал и встретил их грохотом рукоплесканий. В этом гуле, не сразу замеченный, вышел Сталин. Был он в сером, дымчатом кителе, в таких же брюках, заправленных в сапоги. Стоял седой, как бы в дымке, и аплодировал залу.

Овация то затихала, то вновь нарастала. Наконец зал успокоился. Съезд объявляется открытым, нарастая, гремит «Интернационал».

Пели все. Павел Петрович был горд тем, что поет этот гимн вместе с учениками великого Ленина, чей образ в эту минуту осенял их, выступая из ниши в стене.

Начался Отчетный доклад Центрального Комитета съезду. Перед делегатами развертывалась картина пройденного страной и партией большого пути, картина того, что сделано, и того, что еще надо сделать, открывались перспективы дальнейшего пути.

Каждое из положений доклада Павел Петрович сопоставлял со своей жизнью и деятельностью. Он продумывал свои скромные достижения, свои ошибки, свои возможности и силы, которые он приложит для выполнения огромных, намеченных партией планов.

Отчетный доклад закончился поздно ночью. Делегаты, возбужденные, шли через Красную площадь к гостиницам. Надо было скорее ложиться спать, потому что завтра заседание начнется с утра. Но спать никому не хотелось...

Седьмого октября делала доклад мандатная комиссия. Павел Петрович узнал, что подавляющее число делегатов — люди его поколения, которым от сорока одного года до пятидесяти лет. Люди от сорока одного года до пятидесяти лет составляли более шестидесяти процентов участников съезда. Вот оно, его замечательное поколение!

Многие из собравшихся здесь еще не были коммунистами, они были только комсомольцами в годы, когда партия повела борьбу за индустриализацию страны, за коллективизацию сельского хозяйства. Но каждое дело, порученное партией, они выполняли свято, как требовала партия. Они прокладывали железные дороги через горячие пески пустынь, вручную вбивали сваи под фундаменты заводов, фабрик, доменных печей, ночами просиживали на крестьянских собраниях, рассказывая крестьянам о тех переменах, какие начнутся в их трудной деревенской жизни, если они поймут глубочайший смысл коллективизации.

Из людей этого поколения выросли первые ударники, носители зерен коммунистического будущего. Уже с партийными билетами в карманах гимнастерок они пошли в огонь Великой Отечественной войны отстаивать от врага то, что было завоевано их отцами и старшими братьями и что было построено ими самими.

Они всегда и всюду шли по пути, который им указывала партия, и путь этот приводил их только к победе.

Павел Петрович думал о партии, о том, какая она удивительная. Ведь в ту пору, когда создавалась старая «Иск-

ра», в преддверии большевизма, в этом деле, как писал впоследствии Ленин, участвовал какой-нибудь десяток революционеров. Три года спустя, когда возникал большевизм, на нелегальных съездах в Брюсселе и Лондоне участвовало десятка четыре революционеров. Горстка людей отважно пошла через годы, через испытания, в жестокой борьбе обретая силы и умение; горстка людей вырастала в партию, какой по организованности, дисциплине и ясности идей история человечества еще не знала. Павел Петрович ощущал величайшую гордость оттого, что он состоит в партии, в которой был десяток революционеров, а стало почти семь миллионов людей.

День за днем продолжал съезд свою работу. Перед Павлом Петровичем развертывались перспективы будущего. В докладе о директивах по пятому пятилетнему плану было сказано, что основой роста промышленности и всего народного хозяйства является металлургия. У Павла Петровича возникало такое чувство, будто это он, он лично ответствен за то, чтобы к концу пятилетия выплавка стали увеличилась на шестьдесят два процента.

Выходя после заседания из зала, Павел Петрович почувствовал, что его кто-то взял за локоть. Он оглянулся. Возле него стоял человек с очень знакомым, улыбающимся лицом.

— Колосов? — сказал этот человек.— Павел?

— Я,— ответил Павел Петрович, силясь вспомнить, где же он видел это широкое лицо в оспинках, эти веселые блестящие глаза.— Петров?! — воскликнул он вдруг, протягивая руку.— Алексей! — И сразу в памяти встали уральские степи, восточные злые ветры, ледяные бураны зимой и нестерпимая жарища летом. Запахло полынью и пылью, дощатыми бараками, общежитиями, тощей похлебкой тридцатых годов. Он вспомнил первые дни Магнитки, вспомнил бетонщика Алешку и едва удержался от того, чтобы тут же, среди сотен делегатов партийного съезда, не броситься на шею другу своих молодых дней.— Толстый какой стал! Не узнать,— сказал он, тиская руку Петрова.

Они не спеша шли через Красную площадь, на ходу, в нескольких словах рассказывая друг другу главное из своей жизни. Павел Петрович не думал, конечно, что Петров с тех пор, когда они расстались на больших дорогах новостроек, так и остался в бетонщиках, что так двадцать два года и стоит возле бетономешалки. Но все же

не сразу в сознании его улеглось то, что вологодский паренек Алешка, балагур, игрок в «козла», озорник на слово,— теперь директор металлургического комбината на юге.

— Да, вот так, — рассказывал Петров. — Достроили, ты-то уехал, а я остался... Достроили, значит, пошел работать к домнам, потом на мартены, сталеваром стал, учился... Ну, как все мы. Что там!

В ресторане гостиницы они заказали ужин. Сидели долго, слушали музыку, разговаривали, вспоминали. Павел Петрович присмотрелся к тем изменениям, какие произошли за двадцать два года во внешности Петрова, они уже не бросались в глаза, он вновь видел перед собой веселого и молодого Алексея. Он сказал ему об этом.

— И ты удивительно мало изменился,— ответил Петров.— Просто даже странно. Я, как только тебя увидел, так сразу узнал, и даже стишки твои вспомнил, помнишь, ты сочинял? «И так всю жизнь мне будет только двадцать».

— Помню.— Павел Петрович улыбнулся.— Переоценил свои возможности.

— А что — переоценил, — не согласился Петров. — Ничего не переоценил. Наше поколение хорошо держится, Павел. Молодость еще с нами, дорогой мой. С нами! Большой запас ее у нас. В замечательное время родились, в замечательное время живем. Стареть, брат, некогда. У меня, сказать тебе по правде, планов столько! Всяких прожектов, соображений, намерений... Мне стареть лет до восьмидесяти нельзя, иначе не успею сделать все, что напланировано. Ты ко мне приезжай. У нас на комбинате работнику науки есть чем заняться, есть над чем подумать.

— Непременно приеду.

Они еще долго сидели в номере Павла Петровича, расстались под утро. После ухода старого друга Павел Петрович испытывал такое чувство, будто бы и не мелькнули, не ушли в прошлое долгие годы, будто бы время оставалось на месте, а только шли, свершались дела людей, будто не менялись с возрастом люди, а только мужали и крепли. С этим чувством он и уснул.

Настал наконец последний день съезда.

С волнением слушал Павел Петрович заключавшую съезд речь Ворошилова и смотрел на него с нежностью. Климент Ефремович был героем его детства и юности.

«Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер! Сумеем кровь пролить за эс-эс-эс-эр!» — так, кажется, пели в бытность пионерами?

История возложила на партию великую благородную миссию — обеспечить построение коммунистического общества в стране и тем самым проложить путь к коммунизму для всего человечества, об этом говорил товарищ Ворошилов.

Он говорил:

— Разрешите заявить с этой высокой трибуны, что наша партия до конца выполнит свою историческую миссию.

Вновь грянул «Интернационал». Съезд закончил работу. Надо было покидать этот зал. Но хотелось быть тут еще и еще...

Когда в гостинице Павел Петрович подошел к дежурной по этажу за ключом, она ему сказала:

— Ключи взяли. У вас в номере гости.

— Какие гости? — Павел Петрович был сильно удивлен.

— Просили не говорить. Сами увидите.

В номере его встретили Оля и Виктор.

— Не ожидал? — воскликнула Оля, обнимая.

— Конечно, не ожидал. Как же это вы сюда попали, ребята?

— Спроси Виктора.

— Да вот, опыт приехал передавать.— Виктор смущенно улыбался.— По линии ЦК комсомола. Московским сталеварам-комсомольцам. Пригласили.

— Ну и я с ним на два дня прицепилась. У тебя, папочка, вкусного ничего нет? — Оля заглядывала в шкаф, в ящики стола.

— Сейчас попросим принести ужин. Можешь заказывать все, что считаешь вкусным. Надави вон на ту кнопочку.

— А потом,—продолжал Виктор,— поеду дальше, на Урал. Уже сам за опытом.

Павел Петрович смотрел на Виктора и думал, что, наверно, этому хорошему парню нелегко с такой взбалмошной девчонкой, как Ольга, и если он с ней счастлив, то, значит, сильно любит; и еще он думал о Викторе, что у него прекрасный характер и что из такого парня дол-

жен со временем получиться отличный сталевар, большой мастер своего дела. Павел Петрович даже улыбнулся от неожиданно пришедшего в голову сравнения. Он вспомнил Алексея Петрова. Вот такой же был простой, искренний парень возле бетономешалки, и вот приехал на съезд большой мастер своего дела.

— Папочка, чему ты так хитро улыбаешься? — спросила Оля.

— А я думаю вот о чем: через двадцать лет, когда твой Виктор приедет сюда делегатом, скажем — так, кажется, по уставу выходит — двадцать третьего или двадцать четвертого съезда партии, ты, конечно, тоже с ним прискачешь; так вот я думаю: в гости к вам приеду, вы меня вкусным угостите или нет?

— Во-первых, да, угостим,— подчеркнуто серьезно ответила Оля.— Верно, Витя? А во-вторых, я убеждена, что на двадцать четвертый съезд вы приедете с Виктором вместе.

3

На Ладу Павел Петрович вернулся поездом, который приходил поздно вечером. На вокзале его никто не встречал, потому что никто не знал, когда он должен приехать. Павел Петрович отстал от делегации своей области, задержавшись на несколько дней в Москве.

Он ехал в такси через завечеревший город вдоль Лады. С набережной открывалась даль залива, где в синих сумерках стояли яхты с распущенными парусами. Какой-то запоздалый луч ушедшего солнца отражался от высоких редких облаков, и по стеклянной синеве осенней воды скользили палевые блики.

Всё — и вечерний город, и синяя Лада, и эти таинственные яхты, уходящие куда-то в ночь,— ощущалось сегодня иначе, чем всегда, беспокоило, волновало; хотелось самому мчаться под широкими тугими парусами, мимо мигающих зеленых и красных бакенов. Павла Петровича даже немножко знобило, такую он испытывал потребность поскорее разделить с людьми груз впечатлений, привезенных из Москвы.

Впереди предстояло так много, такие обширные замыслы и планы рождались в мозгу, такая бесконечная и беспокойная открывалась жизнь. Вот когда ему поистине был нужен, совершенно необходим друг, безза-

ветный и преданный, не сомневающийся и не колеблющийся.

Едва поставив чемодан в передней, он бросился к телефону, чтобы звонить Макарову, Бакланову, Бородину. Но не успел набрать номер — позвонили у входной двери.

Павел Петрович поспешил отворить. В дверях стояла Варя.

На мгновение Павел Петрович растерялся, шагнул назад. Потом схватил Варю за руку, ввел в прихожую и обнял, прижимаясь щекой к Вариной холодной с улицы щеке.

— Варенька!—сказал он.—До чего же это хорошо, что вы пришли! Кто вас научил это сделать? Как вы узнали о моем приезде?

Варя не ответила. Как было отвечать на такие вопросы? Что она ходила встречать его каждый день, к каждому московскому поезду,—и вот дождалась, встретила, но не хватило решимости подойти там, на вокзале, в толпе людей, приехала следом за ним сюда,— так, что ли?

— А вам не страшно, Варенька? — сказал Павел Петрович.— Ведь я, может быть, скоро буду старым. А старость...

— У вас не будет старости,— поспешно перебила его Варя.— Не надо про это. У таких, как вы, Павел Петрович, старости не бывает.

— Да, пожалуй. Сразу смерть,— в раздумье согласился Павел Петрович.

Варя отстранилась от него и с улыбкой, в которой было так много любви, отрицательно покачала головой.

Не думала ли она, что, подобно той девушке из прекрасной сказки, победит смерть своей любовью...

1954

СОДЕРЖАНИЕ

МОЛОДОСТЬ С НАМИ *(РОМАН)*

Глава первая 7
Глава вторая 47
Глава третья 73
Глава четвертая 113
Глава пятая 148
Глава шестая 193
Глава седьмая 236
Глава восьмая 270
Глава девятая 311
Глава десятая 351
Глава одиннадцатая 396
Глава двенадцатая 434
Глава тринадцатая 465

Кочетов В.

К 75 Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. 2. Молодость с нами. Роман. М., «Худож. лит.», 1974

480 с.

Роман «Молодость с нами» посвящен научно-технической интеллигенции. При полной поддержке передовых людей Института металлов новый директор Павел Петрович Колосов пересматривает план научно-исследовательских работ в сторону сближения науки с производством. Автор показывает, как в острой борьбе с служителями «чистой науки», лжеучеными, происходит утверждение истинно научных открытий.

К $\frac{0732-229}{028(01)-74}$ Подп. изд. Р2

ВСЕВОЛОД АНИСИМОВИЧ КОЧЕТОВ

Собрание сочинений

том 2

Редактор Б. Буланова

Художественный редактор
В. Горячев

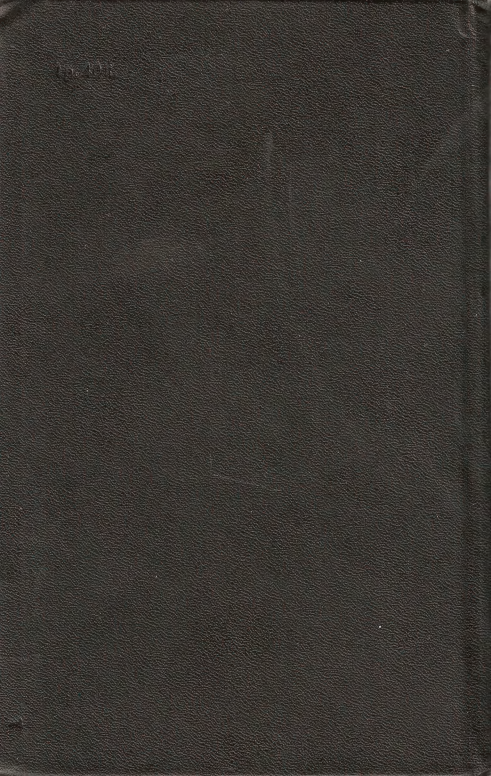
Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры А. Новикович
и В. Широкова

Сдано в набор 23/II 1973 г. Подписано к печати А04958 от 10/XII 1973 г. Бумага типогр. № 1. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. 15 печ. л. 25,20 усл. печ. л. 27,295 уч.-изд. л. Заказ № 811. Тираж 150 000 экз.
Цена 1 р. 40 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Гатчинская ул., 26


ц. 40 к.